Подписной индекс: Почта России П4254

Уважаемые подписчики!

На рынке подписных услуг сложилась тяжелейшая ситуация. В конце прошлого 2020 года АО Агентство «Роспечать» и Агентство подписки и розницы (АПР), занимающиеся сбором заказов на подписку и распространением газет и журналов, заявили о прекращении своей деятельности.

В связи с этим распространение журнала «Наш современник» и многих других изданий в январе месяце стало испытывать чрезвычайные трудности. Особенно это касается первого (январского) номера.

Мы получаем множество звонков и писем от наших преданных подписчиков из Санкт-Петербурга, Иркутска, Ижевска, Москвы и др. городов России о том, что они до сих пор не получили первый (январский) номер их любимого журнала, за который они заплатили немалые деньги.

Мы делаем всё возможное для преодоления этого кризиса и уверены в скорейшем решении этого вопроса. Хотя иные почтовые работники, по словам наших подписчиков, порой договариваются до того, что «Наш современник» якобы прекратил своё существования. Хотим Вас успокоить. Журнал выходит и будет выходить, несмотря на все жизненные перипетии.

В конце концов, когда у нас наберётся достаточное количество справедливых читательских жалоб, мы обратимся в Прокуратуру РФ, чтобы прекратить эти почтовые безобразия.

Главный редактор
Станислав КУНЯЕВ

P. S. Вот одно из последних писем, полученных нами:

Уважаемый Станислав Юрьевич! Уважаемая редакция!

Мы, писатели из Иркутска, многолетние читатели и подписчики журнала «Наш современник», не получили до сих пор ни одного номера журнала за 2021 год, хотя оформили подписку вовремя и на целый год, заплатив 4 711 руб. 29 коп.

Почему мы не были своевременно предупреждены, что меняются отношения между издателями журнала и Почтой России? Почему мы должны лишиться оплаченной подписки журнала, необходимого нам в литературной деятельности, из-за непродуманных действий неизвестных нам лиц?

Просим разобраться и восстановить порядок доставки журнала «Наш современник» в почтовые отделения города Иркутска.

СЕМЁНОВА Валентина Андреевна
(член Союза писателей России)

СИДОРЕНКО Валентина Васильевна
(член Союза писателей России)

“Наш современник”, 2021, №3, 1–288

НАШ СОВРЕМЕННИК

ISSN 0027–8238

НАШ СОВРЕМЕННИК

Журнал писателей России

№3 2021

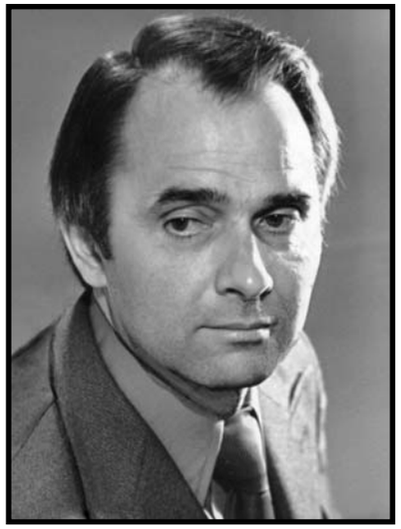
№3 2021

200 лет со дня рождения АЛЕКСЕЯ ПИСЕМСКОГО

Вершина его творчества – роман “Тысяча душ” остался заметным явлением в русской литературе. С тех пор о Писемском написано много. Но первым отозвался на роман Писемского сразу после его выхода критик Павел Анненков в статье “Деловой роман в нашей литературе”.

“Автор превосходных рассказов из народной и провинциальной нашей жизни покинул на время обычную почву своей деятельности, перенёсся в круг высшего петербургского чиновничества, и с своим неизменным талантом воспроизведения лиц, крупных оригинальных характеров и явлений жизни попробовал кисть на сложном психическом анализе, на изображении тех искусственных, темных и противоположных элементов, из которых требованиями времени и обстоятельств вызываются люди, подобные Калиновичу.

Автор не изменил своей манере притом: отличительное качество его таланта – выражать мысль свою посредством дела, – и одного дела, не прибегать к помощи описания характеров, а прямо возлагать на точное изображение их все свои авторские надежды, выдавая публике целиком образы и фигуры, без всякого косвенного ходатайства или хитрой рекомендации, – все эти качества в большей части случаев остались за ним и теперь...”



МОИ СТИХИ – МОИ МОЛИТВЫ...

2 февраля в подмосковном городе Реутово ушёл из жизни выдающийся поэт-лирик, член Союза писателей России Василий Казанцев (1935-2021). Его творчество высоко ценили Александр Твардовский, Виктор Боков, Николай Старшинов, Геннадий Красников, а также Вадим Кожинов, включивший Казанцева в число 12 поэтов в книге “Страницы современной лирики” (М., 1980). Василий Казанцев — автор 23 поэтических книг.

Поэт родился на высоком берегу реки Чая, в Томской области, в небольшой деревне Таскино, основанной его дедом во время великого добровольного Столыпинского переселения крестьян. После окончания школы поступил в Томский университет на историко-филологическое отделение, которое закончил с отличием в 1957 году. В Москве учился на Высших литературных курсах. С 1971 года жил в подмосковном городе Павловский Посад, а с 1985-го в наукограде Реутово. “Мои стихи – мои молитвы”, – говорил Василий Иванович.

Высоки вы, лесные палаты.
Гул и солнце в древесном строю.
– Что ж ты, милая пташечка, плачешь?
– Я не плачу – я песни пою.

А лесинка шумливая рядом
Всё лопочет про радость свою.
– И чему же ты, глупая, рада?
– Я не рада. Я песню пою.

Синий дым, белый день. И звучанье.
Хвойно-лиственный шорох и плеск.
Выше радости, выше печали
Этот дым. Этот день. Этот лес.

Эти песни – не плач и не гимны.
Это выше, чем плач или гимн.
Мне навеки остаться таким бы.
...Если можно остаться таким!

Итоговый сборник одного из лучших русских лирических поэтов пока остаётся в рукописи.

Наш современник 2021 №3

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1956 года

Главный редактор
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

Л. Г. БАРАНОВА-ГОНЧЕНКО,
А. В. ВОРОНЦОВ,
Т. В. ДОРОНИНА,
Л. Г. ИВАШОВ,
С. Г. КАРА-МУРЗА,
В. Н. КРУПИН,
А. Н. КРУТОВ,
А. А. ЛИХАНОВ,
Ю. М. ЛОЩИЦ,
С. А. НЕБОЛЬСИН,
Д. Н. НИКОЛАЕВ,
Ю. М. ПАВЛОВ,
И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,
З. ПРИЛЕПИН,
Е. С. САВЧЕНКО,
А. Ю. СЕГЕНЬ,
В. В. СОРОКИН,
А. Ю. УБОГИЙ,
В. Г. ФОКИН,
Р. М. ХАРИС,
М. А. ЧВАНОВ,
С. А. ШАРГУНОВ,
В. А. ШТЫРОВ

Содержание

Проза

Александр ПРОХАНОВ.
ЦДЛ. *Роман (окончание)* **7**

Светлана ЛУЧКИНА
Фотограф. *Рассказ* **61**

Евгения САМАИ.
Гель-Гью. *Рассказ* **66**

Наталия СТЯЖКИНА
Птичка моя. *Повесть* **82**

Светлана ЗАМЛЕЛОВА
Поэт. *Повесть* **111**

Наталья ЛЕСЦОВА.
Путешествие к чудесному полю. *Повесть* **139**

Поэзия

Диана КАН
На распахнутом настежь просторе... ..... **3**

Зоя КОЛЕСНИКОВА
Ничто не предвещало холода... ..... **59**

Екатерина БЛЫНСКАЯ
Край, где едины
Святой Николай и Велес... ..... **79**

Иван ПЕРЕВЕРЗИН
Я вернусь навсегда... ..... **105**

Поэтическая мозаика **135**

Очерк и публицистика

Станислав КУНЯЕВ
“К предательству таинственная страсть...” **175**

Сергей ШАРГУНОВ
Стоны страны.
Депутатский дневник **206**

Тамара КУПРИНА
Даритель **209**

Нина КРЕЙДИЧ
О русском языке и нынешнем его бытовании **223**

Татьяна ПЛОСКОВА
О том, о сём... ..... **228**

© “Наш современник”, 2021

МОСКВА

16+

Редакция

Приёмная —
(495) 621-48-71

С. С. Куняев —
заместитель главного редактора, зав. отделом критики —
(495) 625-01-81
ns-kritika@yandex.ru

А. Ю. Сегень —
зав. отделом прозы —
(495) 625-30-47
ns-proza@yandex.ru

К. К. Сейдаметова —
зав. отделом поэзии —
(495) 625-02-81
ns-poetry@yandex.ru

А. Н. Тимофеев —
редактор отдела критики —
(495) 621-48-71

Е. Н. Евдокимова —
зав. редакцией —
(495) 621-48-71

М. А. Чуприкова —
гл. бухгалтер —
(495) 625-89-95

Память

Григорий КАЛЮЖНЫЙ
“Любящий вас Михаил Лемешев...” 235

Сергей КУНЯЕВ
Вадим Кожинов 243

Владимир КРУПИН
Вот взять и остаться... 263

Владимир ЮДИН
“Необъяснимым чудом меня потянуло писать...” 267

Критика

Наталья ШУБНИКОВА-ГУСЕВА
Между “Вселенной” и “Афониным перекрёстком” 272

Валентина СЕМЁНОВА
Дух Победы, цена Победы 278

Валентина ЕФИМОВСКАЯ
Повесть – быль, да в ней намёк... 284

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и регулярно публикует лучшие, наиболее интересные из них в обширных подборках. Рукописи принимаются как в распечатанном виде по Почте России, так и по электронной почте отделов. Каждая рукопись внимательно рассматривается. Связь с авторами происходит ТОЛЬКО при положительном решении. Вступать в переписку по поводу рукописей редакция не имеет возможности. Рукописи не рецензируются. Журнал не публикует поэмы, сценарии, либретто. Журнал оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Адрес редакции: **Москва, 127051, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2**
Сайт в интернете: **www.nash-sovremennik.ru,** эл. почта**: n-sovrem@yandex.ru**
Журнал зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675.
При изготовлении оригинал-макета журнала использованы шрифты ООО НПП "ПараТайп".
Компьютерная вёрстка: Г. В. Мараканов. Оператор: Н. С. Полякова
Корректоры: С. А. Артамонова, Н. А. Павлова
Подписано в печать 04.03.2021. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,4. Уч.-изд. л. 22,9. Заказ №59-2021. Тираж 3600 экз.
Отпечатано в АО “Красная Звезда”, 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38.
Тел.: (495) 941-21-12, (495) 941-32-09 www.redstarprint.ru e-mail: kr_zvezda@mail.ru

ДИАНА КАН

НА РАСПАХНУТОМ НАСТЕЖЬ ПРОСТОРЕ...

* * *

Дитя победы и любви,
Мой городок беды не знает.
На обвинения мои
Махровым матом отвечает:

“Провинциален я? И что ж?
На кой мне ляд столичность эта?
Я, может, этим стал и вхож
В стихи великого поэта!

А вот и сам поэт — в своей
Широкополой шляпе модной —
Под сенью старых тополей
Строчит очередную оду.

С утра не чёсан, не поёт,
Не пригубив чайку с печеньем,
Мой трубадур-акын-поэт
Уже во власти вдохновенья.

КАН Диана Елисеевна — русская поэтесса, автор книг “Високосная весна”, “Междуречье”, “Подданная русских захолустий” и др. А также множества публикаций в российских и зарубежных литературных и общественно-политических изданиях. Член редколлегий ряда литературных журналов России. Член Союза писателей России. Живёт в Оренбурге.

Мне всё знакомо наизусть:
Сейчас с досадой отмахнётся,
Едва щеки его коснусь
Задорно летним бликом солнца.

О чём он пишет? О любви!
Любви к кому? Ко мне, конечно!
Его поди останови...
Ишь, распалился как, сердечный!

Лироэпическая страсть
Да плюс ухватистая сила...
Он принят (сядь, чтоб не упасть!)
В Союз писателей России.

К столичным скопищам врагов
Он безмятежно безразличен...
Ты удивишься: "Кто таков?"
Дианой Кан поэта кличем".

* * *

Словоблудием, лестью, обманом
Безо всякого чувства вины
Рассовали страну по карманам...
Вот и нету великой страны!

Пошлый фарс претендует на драму:
Что ни мразь, что ни грязь —
светлый князь.
И, похоже, что главненький самый
Со стыдом не знаком отродясь.

Закрома разменяв на карманы
И на центы — родные рубли,
Меж Зимбабве и Ганой-Гвианой
Суверенный покой обрели.

Аль не нравится вам, раздолбаи,
Инфернальное это кино?..
А страна-то, страна-то какая?
Украина, вестимо оно!

* * *

Смирению у Пушкина учусь,
Хотя от дури никуда не деться.
Но русская эпическая грусть
Всё побеждает в нашем русском сердце.

В родной Берде, мятежной слободе,
Что гениальным Пушкиным воспета,
В шальной Берде, быть может, как нигде
Себя невольно чувствуешь поэтом.

Здесь вольный дух казачий не угас...
Вдали от политического вздора
Казачки вяжут шали на заказ,
Вывязывая вьюжные узоры.

Завет Берды, мятежной слободы,
Назло всем новомодным экспертизам,
От звонких звёзд до пыльной лебеды
Высокою поэзией пронизан.

Дух бердяшей, яицких казаков,
Здесь умывался кровушкой бунтарской.
Здесь Емельян Иваныч Пугачёв
Озоровал воистину по-царски.

Рубил сплеча он, а любил дотла...
Императрица умная недаром
Яик-реку строжайше нарекла, —
Чтоб с глаз долой, из сердца вон, — Уралом.

"Какое ж тут смиренье?" — спросишь ты,
Мой умный уважительный читатель,
Спугнув тысячелетние мечты
О русском счастье, что всегда некстати.

* * *

Ей не впервой по осеням невеститься,
Ведь за погляды денег не берут,
Не призывая на себе повеситься
По автострадам мчащихся иуд.

Ты можешь кипятиться, спорить, ссориться,
Но разве не иуды ты и я,
Сбежавшие когда-то в мегаполисы
От сельского наивного житья?

Полным-полно таких по мегаполисам
Серебреникам скорбный счёт ведут...
За нас она и кается, и молится,
За нас, за неприкаянных иуд.

Она дрожит, не злясь на нас нисколечко.
Невинная — исполнена вины!
И добавляет терпкой зябкой горечи
В осенние пророческие сны.

И жарко закипают богоданные
Предательские слёзы на щеке,
Когда осина, солнцем осиянная,
Сгорает на осеннем сквозняке.

* * *

На распахнутом настежь просторе
Город мой, белокаменный князь,
Азиатским ветрам непокорен,
Что приходят, до неба клубясь.

Он расскажет немало историй,
Обойдётся при этом без слов...
Орен, Орен, ветрам непокорен,
Ибо сам — повелитель ветров!

Созерцаем высокие звёзды,
Небосвод зажигаем с утра.
На станицы, погосты, форпосты
Насылаем шальные ветра.

Но всегда вопрошаю при встрече:
“Город детства, да кто ты таков?
Как ты смеешь мне вечно перечить,
Мне, законной царице ветров?..”

Но и он себе ведает цену,
Хоть не будет трезвонить о ней,
Горделивый, строптивый, надменный
Повелитель ветров и степей.

Я б, наверно, не стала поэтом,
Пересмешница и егоза,
Если б мы не схлестнулись на этом
Много-много столетий назад.

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ

ЦДЛ

РОМАН

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава девятнадцатая

Куравлёв жил так, будто ему разрезали грудь, открыли стучащее сердце. Полоснули ножом и снова зашили грудь с разрезанным сердцем, причинявшим нестерпимую боль.

Через день его пригласили в “Большой союз”, где собрался секретариат. В “усадьбе Ростовых”, в маленьком зальце, где, должно быть, когда-то давали знатные обеды, за длинным столом сидели секретари Союза. Куравлёва усадили отдельно, у края стола. Георгий Макеевич Марков ласково на него посмотрел и обратился к коллегам:

— Дорогие товарищи, прошу, чтобы высказали своё мнение о кандидатуре Виктора Ильича Куравлёва, которого мы хотим на съезде писателей ввести в наш секретариат. Виктор Ильич зрелый писатель, снискал уважение в литературной среде. Автор интереснейших книг. К первой книге сделал предисловие Юрий Валентинович Трифонов. После афганских очерков кандидатуру Куравлёва одобряет секретарь ЦК Зумянин. Теперь остаётся услышать вас, дорогие коллеги. Прошу вас, Юрий Васильевич, — Марков обратился к Бондареву.

Сухощавый, с зоркими глазами артиллериста, с небольшим плотно сжатым ртом, Бондарев был любим Куравлёвым. Он восхищался его блестящими повестями о войне, положившими начало “фронтовой прозе”. Были интересны его романы, в которых он одним из первых заметил трещинки в теле государства. Эти трещинки превратились в трещины, разрывающие страну. Бондарев был обласкан, награждён множеством премий, заседал в самых почётных президиумах.

Окончание. Начало см. в №2 за 2021 год.

— Что ж, я ничего не имею против. Куравлёв прекрасно написал о войне. Он солдат. Нам сегодня нужны солдаты, которые смогут постоять за культуру, на которую нахлынула тьма. Прорабы "перестройки" подняли самолёт, но не знают, где он опустится. Они зажгли фонарь "перестройки" и повесили его над пропастью. Уверен, в ближайшее время нам потребуются отважные люди. Куравлёв — ещё один штык в нашем батальоне.

Вторым высказался Сергей Владимирович Михалков. Длинный, худой, с заострённым носом, заикающийся, он был симпатичен Куравлёву. Мысленно Куравлёв называл его "камергером", ибо тот был всегда "при дворе". Вся страна вставала, когда играли сочинённый им гимн. Он иронично рассказывал, как Сталин принимал его в Кремле и вносил поправки в гимн.

— "Перестройка" очень хороша! Но как бы "перестройка" не переросла в "перестрелку". Куравлёв умеет стрелять. Об этом свидетельствуют его недавние очерки.

Всё это Михалков произнёс с потешным заиканием, и казалось, он пошучивает над коллегами, над Куравлёвым и над самим собой.

— Что ж, товарищи, я только "за"! — Михаил Николаевич Алексеев, маленький, окающий, слегка приволакивающий ногу, возглавлял журнал "Москва" и внушал Куравлёву странное мучительное чувство. Алексеев написал небольшую книгу "Мой Сталинград", где рассказывал, как в бой бросались свежие дивизии из молодых новобранцев и через час остатки дивизии из окровавленных, оглушённых солдат отправлялись на переформирование. Куравлёву казалось, что Михаил Алексеев встречался с отцом, хоть на мгновение обменялся с ним взглядом. Однажды Куравлёв видел Алексеева в Дубовом зале, окружённого почитателями. Алексеев, порозовевший от выпитой водки, пел: "Шагом, шагом, шагом, братцы, шагом. Мы дойдём до города Чикаго". — Я поддерживаю Куравлёва. Если вы, Виктор, напишете книгу об афганской войне, несите её в "Москву". С удовольствием напечатаю.

— А что, скажу я вам, хороший выбор! — произнёс поэт Егор Исаев. Всегда говорливый, с бурно шевелящимися губами, он работал в манере Твардовского. Сейчас же был краток: — Вы посмотрите, как он пишет! Мы выводим свои узоры на бересте, а он выводит узоры на металле, как на бересте!

Куравлёв слушал маститых мастеров, уделяющих ему столько внимания, и у него появилось чувство, что им распоряжаются, куда-то влекут, вставляют в какую-то оправу, как недавно хотел вставить в свою оправу Андрей Моисеевич у "Аэропорта". И Куравлёв не противился, отдавал себя потоку, в который вдруг превратилось время. Мотало людей, как в центрифуге, прибивая то к одному, то к другому краю.

— А скажите, Виктор Ильич, почему вы не вступаете в партию? Этот же вопрос задал вам секретарь ЦК Зумянин.

— Право, не знаю. Наверное, потому, что я богемный человек, люблю всякие посиделки, мечусь. Привык быть одиноким, — неуверенно ответил Куравлёв.

— Ну, мы все в каком-то смысле богемные люди, — улыбнулся Марков. — Но вы подумайте. Не стоит пренебрегать мнением секретаря ЦК.

Марков поднялся, пожал Куравлёву руку и, уже о нём забывая, сказал:

— Юрий Васильевич, я просил вас ознакомиться со списком тех, кого мы выдвигаем на Государственную премию.

Куравлёв покинул "усадьбу Ростовых" и через подземный переход оказался в ЦДЛ. Первым делом увидел Макавина и рядом Петрову, которая, заметив Куравлёва, отвернулась. Ему вспомнилось, как когда-то они ужинали в ЦДЛ со Светланой. И почему им было суждено встретиться на краткий миг и так больно расстаться! "Я потерял любимую женщину. Но ведь остались дорогие друзья", — горько подумал он.

В Пёстром зале орали, веселились, ссорились, пили водку. Пьяный Шавкута выкрикивал оскорбления какому-то верзиле, махал перед его лицом грязным пальцем:

— Ты, тупица бездарная, со мной за одним столом сидеть не смеешь! Я тебе честь сделал, с собой усадил, водку из твоих поганых рук принял.

Ты, тупой, своим детям неподтёртым будешь рассказывать, что с писателем Шавкутой водку пил, дурак необутый!

Верзила молча раскачивался, словно не слышал обидчика, а потом ударил Шавкуту кулаком в лицо. Из разбитого носа и губ потекла кровь. Шавкута отёр рукавом кровь, умолк, и они с верзилой снова уселись, продолжая пить водку.

Куравлёв подумал, что ЦДЛ, как огромный ковчег со множеством палуб, плывёт в каменном океане Москвы, светя одиноким витражным окном. На одной палубе загадочные мудрецы плетут коварные заговоры. На другой отпевают, кидают в гроб прощальную розу. На третьей с обожанием слушают и читают стихи. Где-нибудь в трюме задирают женщинам подолы, а потом вновь возвращаются на верхние палубы, чтобы плести заговоры, расквасить нос неугодному собутыльнику. А ковчег ЦДЛ продолжает плыть, светя готическим витражным окном. Принимает на борт утопающих, сбрасывает в океан мертвецов.

Глава двадцатая

Куравлёв оставался в Пёстром зале за дальним столиком у стены с изображением Евтушенко, который ел тушёнку. К нему подсел Макавин, куда-то сослав Петрову, которая стала его неотступной подругой. Он принёс с собой две водки и бутерброды с колбаской. Вдруг заговорил пророческим голосом:

— Скоро ничего не будет, Витя, ни деревенской прозы, ни городской, ни военной, ни Союзов писателей, ни их секретарей. Ничего не будет!

— Что же будет?

— Взрыв! Чудовищной силы взрыв! Ничего не уцелеет, ни государства, ни границы, ни заводы, ни космодромы. Ничего! Всё разнесётся в прах!

— Страшный суд?

— Взрыв разнесёт партию, разнесёт культуру, разнесёт науку. Партийцы расползутся, как тараканы. Герои станут сморчками. Спилят все памятники, Тимирязева на Тверском, Пушкина, Маяковского, Мать Родину в Сталинграде!

— С чего ты взял?

— Все побегут, как крысы. Как в первую волну эмиграции. Чтобы избегнуть бойни! Пока не поздно, надо бежать. Ведь жили в эмиграции Шмелёв, Бунин.

— Но если будет взрыв, ты, писатель, должен написать этот взрыв.

— Нельзя написать взрыв, находясь внутри взрыва. Не уцелеешь. Взрыв можно описать, находясь на расстоянии от него.

— Например, в Париже?

— В Париже я встречался с удивительными людьми. Они знают подоплёку, а не ширму. Они знают очень богатых, могущественных людей, которые решают судьбу России, пока мы здесь рассуждаем о деревенской прозе. Эти люди уже пришли сюда, они здесь, они подпиливают сваи, на которых стоит Советский Союз. Скоро всё рухнет со страшным треском, который услышит мир. И содрогнётся! Тогда и возникнет литература взрыва. Мы с тобой, Витя, её провозвестники!

— Кто же эти могущественные люди? Может, Франк Дейч?

— Он жалкий гримёр, гримирует покойников. Но будет день, когда он явится в ЦДЛ, и все перед ним склонятся. Понесут его на руках, как избавителя.

— Не думаю, что доживу до этих счастливых дней.

— Не доживёшь, если не уедешь отсюда. Забирай семью и уезжай. Торопись! Времени осталось немного!

— Всё-таки я подожду. Ты мне из Парижа пиши.

Макавин мгновенно остыл. Ещё тяжело дышал, но уже смеялся.

— А ведь ты испугался, Витя!

— Ничто, Антоша, не кончено. Нервные писатели убегут, но армия с боевыми офицерами останется.

— Армии приходит конец. В Афганистан ушла армия, а назад вернутся наркоманы и мародёры. Начнут друг друга стрелять.

— Оставим это, Антон. Сейчас в актовом зале выступают поэты. Пойдём-ка послушаем русских поэтов.

— Пойдём напоследок.

Они покинули пьяное место и поднялись в актовый зал ЦДЛ, где проходили творческие вечера. Двери в зал были закрыты. Слышались голоса чтецов, аплодисменты. У дверей их встретила Нина Васильевна, распорядительница творческих вечеров. Полная красавица с округлым милым лицом, очаровательным маленьким ртом, с глубоким вырезом на груди, от которой по желобку исходило тепло.

— Ниночка, посади нас с Виктором Ильичом. — Макавин положил руку на её мягкое плечо.

Нина Васильевна не убрала с плеча руку Макавина.

— Сейчас, мальчики, посажу.

Она ввела их в зал, сама села с краю, рядом посадила Макавина, а ещё дальше — Куравлёва. Зал был переполнен, погружён в полутьму. На озарённой сцене Вадим Кожинов в своей утончённой манере представлял поэтов. Кожинов был не просто глубокий критик и просвещённый литературовед. Он был учитель, пастырь, добрый опекун. Отыскивал в сумерках провинции одарённых русских поэтов, выводил их из тени, лелеял, взращивал, помещал в оправу своих драгоценных суждений. Вносил в ряд самых выдающихся русских поэтов, и ученики расцветали, становились кумирами, их обожала читающая русская публика.

— Сегодня нам интересны не те громогласные "горланы и главари", которые собирают стадионы, и на трибунах сидят не ценители русской поэзии, а футбольные болельщики. Мы послушаем сегодня поэтов, принадлежащих к *тихой лирике*, но эта тишина звонче колоколов. Наши души открываются не вою сирен, а русскому колокольному звону.

Выступал поэт Юрий Кузнецов. Он был лобаст, сумрачен, тяжёл. Вдруг поднимал к небу лицо, чтобы его оросил невидимый дождь небес. Его стихи казались вытесанными из валунов. Каждая рифма откалывала от глыбы осколок, и из тёмного камня вдруг начинал проступать светящийся лик, почти прозрачный. Большой сияющий лоб, поднятое к небу лицо. Это был он, поэт, преображённый, окроплённый небесным дождём, утративший земную материю:

Было так, если верить молве,
Или не было вовсе.
Лейтенанты всегда в голове,
Маркитанты в обозе.

Кузнецов читал свой знаменитый стих "Маркитанты", столь любимый публикой, которая находила в стихотворении пророческое предвидение. Две враждующие русские рати сходились в бою, истребляя друг друга, и когда никого не осталось в живых и поле брани покрылось бездыханными телами, на поле выходят маркитанты. Собирают с убитых кольца, золотые кресты, заветные ладанки.

А живые воздали телам,
Что погибли геройски.
Разделили добро пополам
И расстались по-свойски.

Зал аплодировал, Юрий Кузнецов стоял потупясь, казалось, посторонний этому залу, прочитанному стиху. Был где-то далеко, быть может, на высокой горе, откуда открывалось русское будущее, и кто-то невидимый витал над горой, дарил ему пророческий стих.

Выступал поэт Николай Тряпкин, заика, поющий нараспев свои сказания, которых наслышался в глухих заонежских скитах, в тайных чащобах с последними старообрядцами.

Летела гагара,
Летела гагара
На вешней заре.
А там на болотах,
А там на болотах
Брусника цвела.

В его сказах слышался скрип сосен, чудился запах смолы, дым срубов, в которых сжигали себя праведники, не принимавшие власть сатаны. И зал внимал, будто и он чувствовал приближение последних времён, устремлялся за поэтом-заикой в пустыни и дебри.

Куравлёв восхищался этими русскими песнопевцами, среди которых он жил, иногда пил водку, слушая длинные, от зари до зари, заонежские песни.

Сидевшая рядом Нина Васильевна поднялась, приложила свой пухленький палец к губкам и вышла. Через некоторое время поднялся Макавин, проведя ладонью по горлу, давая понять, что пресыщен *тихой лирикой*.

Куравлёв ещё послушал глубокие суждения Кожинова о тайнах русской поэзии, ему надоело, и он снова отправился в Дубовый зал.

Зал был полон, столики расставлены. За одним, под витражным окном Евгений Евтушенко развлекал двух женщин. Взмахивал пятерней с острыми длинными пальцами, сверкал адреналиновыми глазами.

Куравлёв печально пошёл из зала. Навстречу официантки несли подносы с шипящей вырезкой, с цыплёнком, бесстыдно раздвинувшим ноги, с карпом, отливавшим жирной позолотой.

Ковчег ЦДЛ плыл по каменным волнам Москвы. На его палубах любили, дрались, отпевали, и не было сигнальщика, который мог разглядеть встающую на пути огромную глыбу льда.

Глава двадцать первая

Куравлёв видел, что жизнь, его окружавшая, выворачивается наизнанку. Всё, что пряталось внутри, притаилось, было почти невидимо, вдруг выступило наружу, мощно, шумно, назойливо, словно мстило за долгое прозябание. А то, что красовалось снаружи, величаво властвовало, требовало поклонения, теперь вдруг сморщилось, уменьшилось, норовило забиться в щель, чтобы его не разглядели.

Куравлёв чувствовал, что работает огромная машина. Подпиливает опоры, разносит вдребезги стены, перекусывает связи, раскалывает плиты. И вся незыблемая мощь государства начинает крениться, оползает, грозит рухнуть, засыпать живых своими уродливыми обломками.

Он видел очевидные признаки перемен, но не мог обнаружить глубинную волю, совершающую разрушение. Все видимые персонажи, их поступки, интриги, замыслы были понятны. Не понятен был глубинный замысел разрушения, те потаённые могущественные люди, о которых говорил Макавин.

Когда ещё в октябре Куравлёв наблюдал по телевизору встречу Горбачёва с Рейганом в Рейкьявике, ужаснулся тому, какое у Горбачёва страшное лицо, словно к нему приложили раскалённый шкворень. Между ним и Рейганом состоялось что-то ужасное, непостижимое, что изуродовало миловидное лицо Горбачёва, превратило в посмертную маску.

Куравлёв внимательно читал статьи главного теоретика "перестройки" Александра Яковлева — о гласности, демократизации, об общих европейских ценностях, о "социализме с человеческим лицом". Но этим лицом и было ужасное лицо Горбачёва: когда он что-то невероятное пообещал Рейгану, с его лица сползла кожа, и обнаружились кости черепа.

Куравлёв видел, как хлёстко и весело истреблялись репутации неуклюжих советских вельмож. Молодые журналисты из программы "Взгляд" приглашали в эфир маршала, секретаря обкома или депутата и куражились, измывались своими шуточками, остроумными вопросами. Гость хотел быть модным, современным, неуклюже, косноязычно отшучивался, обнаруживал

свою косность, убогость. Весельчаки, натешившись, отпускали покусанного маршала, включали бойкую рок-группу, празднуя победу.

Куравлёв видел, как люди, слыша треск балок, покидали прилепившиеся к балкам ласточкины гнёзда, стремились пересесть на другую, безопасную балку. Но и та начинала трещать. Люди оставляли прежних покровителей, видя, как те слабеют, и искали себе новых. Мир полнился перебежчиками.

Однажды Куравлёва разбудил ночной звонок. Звонил друг Анатолий Апанасьев. Голос был панический, умолял, требовал:

— Приезжай сейчас же! Не смотри на часы! Бери денег и приезжай!

— Ты что, пьян? Проигрался?

— Речь идёт не об игре, а о жизни и смерти! Моя смерть будет на тебе! — Апанасьев задыхался, срывался на петушиный клёкот. Куравлёв представил круглые птичьи глаза друга, полные слёз.

— Ты где?

— В гостинице "Орлёнок". Буду ждать в холле.

Куравлёв роптал на пьяного друга, но оделся, вышел в ночь и завёл машину.

Холл гостиницы "Орлёнок" лучезарно сверкал. После мрачной московской ночи здесь всё ослепляло, волновало, изумляло. Посреди холла стояла огромная ладья, напоминавшая греческий галеон. Розовый парус, античные медные шлемы вдоль бортов. Один из тех кораблей, что отправился в Трою. Вокруг расхаживали молчаливые швейцары, величественные портье.

Апанасьев высочил из-под корабля, словно прятался от строгих служителей.

— Витюша, пришёл? Настоящий друг! К кому мне ещё обратиться? Я воззвал к тебе! — Апанасьев был пьян, но не тем тупым опьянением, когда пьяница мрачнеет, исполнен угрюмой злобы. Нет, он был в восхитительном полёте, был вдохновлён, жаждал общаться. Его круглые глаза стали шире, голубее. В них переливался драгоценный сказочный мир с галеоном, медными шлемами, переливами света. В этом сказочном мире великолепен был швейцар с величественной бородой, девушки, сидящие на бревне, изображавшем причал галеона, бармен, который ставил на стойку бутылки пива с горлышками в серебряной фольге, с фарфоровыми пробками, отлетавшими после нажатия пружины.

Апанасьеву не терпелось раскрыть перед Куравлёвым этот обретённый им мир, чтобы Куравлёв, заточивший себя в четырёх стенах, восхитился вместе с ним.

— Я сделаю тебе признание, Витя, я влюбился. Наконец, после стольких неудач и разочарований! Эта девушка здесь, в отеле. Она сидит вон на том причале, с другими, будто ждёт, когда приплывёт за ними корабль под алыми парусами. Она прекраснее их всех. Какое одухотворённое лицо, тонкая переносица, как на иконах. А запястья, запястья какие, с крохотной синей жилкой, которую так люблю целовать. А щиколотки, хрупкие, как у бегущей газели. Я так люблю их касаться, когда надеваю ей туфельки.

— Где же она? — Куравлёв смотрел на девушек с голыми ногами, в лёгких прозрачных блузках.

— Она сейчас ушла. Её увёл какой-то иностранец. Но она скоро вернётся и станет моей. Она очень образована, очень духовна. Она знает Рёриха. Говорит, что я похож на тибетского монаха. Мне никто никогда не говорил, что я похож на тибетского монаха. Я отсюда её заберу. Она пойдёт со мной, она согласна. У меня выйдет книга, и появятся деньги. Мы будем жить скромно. Я и она. Это счастье, Витя, долгожданное счастье!

К девушкам подошёл господин, что-то весёлое им говорил. Девушки повскакивали, стали в ряд, чтобы господин мог хорошенько рассмотреть их ноги, грудь. Все улыбались, прельщали господина. Тот походил, не решаясь выбрать, так были они хороши. Выбрал одну и быстро удалился к лифту.

— Это ничего, она не такая, — смотрел им вслед Апанасьев. — Она вернётся, и я тебя представлю! — Апанасьев блаженствовал. Он пребывал в волшебной сказке, куда привело его поэтическое воображение. В сказке, более подлинной, чем тот мир, в котором они все находились.

— Я скоро начну новую книгу. Поверь, мою лучшую книгу! Она называется "Последний часовой". Эта книга про меня, про тебя! Мы последние часовые, Витя! Все разбежались, одних поубивали враги, другие сдались в плен. Город беззащитен. В нём наши любимые женщины. Та, о которой я тебе говорил. И мы стоим насмерть. Потому что смерти нет, а есть подвиг. Смерти нет! Есть Родина и есть любимая женщина. И мы плечом к плечу стоим, и погибнем с честью, на посту! Погибнем за Родину, Витя, и за наших прекрасных женщин!

Он задыхался. Он уже творил. Писал свою книгу, и Куравлёв верил, что книга прекрасна, написанная здесь, в лучезарном голубом свете, где плывёт галеон под алыми парусами, и его любимая тянет к нему руки с хрупкими запястьями.

— А ты знаешь новость? — Апанасьев перестал мечтать и стал вертеть головой, чтобы их не подслушали. — Фаддей-то Гуськов вступил в партию. Сегодня мне показал новенький партийный билет. "Зачем тебе? — Для общего дела! Мне дают журнал "Литературное обозрение". Теперь у нас будет свой журнал. Жертвую собой ради вас".

— Фаддей решил успеть на отплывающий пароход. Колеса крутятся, а пароход на месте. Скоро Фаддей сдаст билет.

— Но всё-таки это поступок, согласись. За общее дело! — Апанасьев умолк, стал сердитым, злым. — Денег принёс?

— Принёс.

— Давай!

Он вырвал у Куравлёва деньги, побежал в закуток, где человек с заспанным лицом обменял бумажки на монеты. Захватил в баре бутылку пива.

— Пойду сыграю! — Апанасьев метнулся куда-то в сторону, где в темноте светились игральные автоматы. Куравлёв отправился следом.

В чёрном коридоре стояли игральные автоматы. Они волшебно сияли, как павлиньи хвосты. В их стеклянных витринах открывалось подводное царство с рыбами и кораллами, автомобильные треки с гоночными, яркими, как цветы, машинами, колоды игральных карт с магическими королями, валетами, дамами. Из автоматов, как из шарманок, лилась музыка. От неё начинала кружиться голова, как от сладкого угара.

Апанасьев устремился к автомату, где плавали рыбы, шевелились морские звёзды, волновались водоросли. Уселся на стульчик, отодрал с пивной бутылки фольгу, открыл чмокнувшую пробку, сделал глоток и забыл о Куравлёве. Сыпал монеты в щель, нажимал клавишу. Кружились цифры, звонко высыпались монеты. Их было то больше, то меньше. Апанасьев волновался, добавлял монеты. Рыбы плавно скользили, похожие на серебряные полумесяцы. Разом замирали, а потом плыли в другую сторону.

Лицо Апанасьева было озарено свечением морских глубин. Глаза стремились сквозь водоросли, минуя рыб, мимо перламутровой раковины, в бесконечные глубины. Пучина манила его, утягивала в бездну, где не было рыб, кораллов, цветущих актиний, а была непроглядная пустота. Из неё раздавался зов, кто-то звал к себе Апанасьева. Он на секунду отвлекался, делал глоток пива, кидал монеты и снова устремлялся в бездну. Глаза его были расширены, он что-то видел такое, что было недоступно Куравлёву. Он рисковал, он играл не со смертью, а с чем-то более грозным, чем смерть. Он покидал морскую пучину и летел в космос к иным мирам. Они звали его, сулили открыть великую тайну. Он погибал, очарованный этой тайной. Она ему не давалась, ускользала, едва он к ней приближался.

Куравлёв понимал, что является свидетелем безумия. Оно стало захватывать и его. Музыка пьянила. Он смотрел, как проплывет, качая плавниками, электрический скат, и начинал грести руками, чтобы поспеть за рыбой. Деньги у Апанасьева кончились. Бездна его отпустила, пометив, чтобы он вернулся и снова начал игру с потусторонней стихией.

Обессиленный, поникший, Апанасьев оставил автомат и вышел на свет. Он выглядел измождённым, словно из него слили кровь.

— Довезёшь меня?

— Конечно. Ты ни на что не годен.

Девицы на причале сверкали голыми ногами, расстёгивали блузки, чтобы была видна грудь. Апанасьев не смотрел в их сторону.

— Пойдём, — сказал он.

Глава двадцать вторая

Куравлёв медленно подбирался к книге, которую не решался начать. Поездки в Афганистан не хватало для книги о войне. Он находил в Москве недавних участников войны, "афганцев", и те делились своими воспоминаниями. Он познакомился с офицером спецназа, невысоким тихим карелом, который убил Амина во дворце, у резной стойки бара. Десантник, который теперь работал на тепловозе, рассказал о высадках в горах, откуда десантники спускались в долины и громили противника. Он встречался с водителями грузовиков, которые шли по Салангу, доставляя в армию топливо и снаряды, а их подстерегали засады. Враг из крупнокалиберных пулемётов сжигал колонны. Его удостоил встречи бывший командующий армии. Он рассказал о своей первой поездке на фронт, где увидел убитых солдат, которых посылал в бой.

Куравлёв слушал рассказы о жизни на заставах, о вертолётных ударах, об операциях в Герате и Джелалабаде. В этих рассказах присутствовали и те, что поведал ему усталый подполковник в Кандагаре. О кастрированном вертолётчике. О четырёх солдатах, которые сгорели в БТРе, но не сдались. О перебежчике, чью голову ночью подбросили в окоп. И конечно, здесь были сюжеты о разрушении Мусакалы и охоте на караваны в красной пустыне Регистан.

Материалы были собраны. Оставалось преодолеть последние страхи и поймать удар сердца, с которого начнётся роман.

Куравлёв весь день провёл дома, за рабочим столом, составляя план будущей книги. Выстраивал сюжет, помещал в невидимые хитросплетения сюжета образы героев, их жизни и смерти. К вечеру отправился отужинать в ЦДЛ и оказался за одним столиком с Фаддеем Гуськовым. Обычно ворчливый и сумрачный, с мрачно опущенной нижней губой, Гуськов казался вдохновлённым:

— А что, Фаддей, верно, что ты вступил в партию? — спросил Куравлёв, давая понять, что это событие широко обсуждается в писательском мире. — Покажи партбилет.

Гуськов извлёк и показал новенькую книжицу Куравлёву. Держал её бережно, поворачивая из стороны в сторону, как зеркальце, играющее зайчиком света.

— Теперь я получу журнал "Литературное обозрение". Это будет новый имперский журнал. Он будет проповедовать империю. Не ту, которая отходит в вечность, а новую, которая идёт ей на смену. Россия — империя, таковой и останется, под двуглавым орлом или красной звездой, или под каким-нибудь евразийским барсом.

— Ты уверен, что империя сохранится? Слишком много охотников её разрушить.

— Угроза советской империи мнима. Надо арестовать и расстрелять полтора десятка смутьянов, и всё успокоится. Мы приходим в партию, полную слабых людей. Мы наполняем её сильными людьми, способными любой ценой спасти государство. — Гуськов говорил властно, от лица волевых людей, готовых взять власть в пошатнувшейся стране.

— Ценой расстрелов?

— Малой кровью спасается кровь большая. Николай Первый повесил декабристов и обеспечил империи век тишины. Николай Второй побоялся пролить малую кровь Керенского и Ленина. И мы получили кровь гражданской войны и кости ГУЛага.

— Сейчас нас забрасывают костями ГУЛага. Не боишься, что и тебя забросают?

— Нужна воля, имперская воля. Мы ею обладаем.

Гуськов говорил от имени многих сильных людей, пополняющих партию в час национальной тревоги. Он держал в руках партбилет, который был для

него символом власти, мандатом, который вручали жившие до него, построившие небывалую красную страну между трёх океанов. Гуськов принимал их завет. Отринул свои филологические пристрастия, увлечение Андреем Белым. Был в кожаной комиссарской тужурке, с маузером. Был готов сражаться за имперскую красную Родину.

Спрятал в карман свою партийную книжечку и оставил Куравлёва, не скрывая своего превосходства, глашатай новой империи из журнала "Литературное обозрение". Куравлёв остался один, чувствуя грохочущую центрифугу, разбрасывающую друзей по разным концам вселенной.

Сердце его, разрезанное и зашитое в грудь, продолжало болеть.

Глава двадцать третья

Куравлёв писал свою книгу. Не заметил, как прошёл Новый год с ёлками на углах. Как начались мартовские московские оттепели с летящими сырыми облаками. Как в скверах в проталинах открылась чёрная земля, а вершины деревьев из зимних, серых стали розовыми и золотыми.

Куравлёв жил в ином пространстве и времени. Подлинное время, где присутствовали его дети, жена, раздавались звонки, кто-то хотел общаться, видеть его, — это время потускнело, отодвинулось, всё в нём померкло. События казались мнимыми и несущественными. Время и пространство, возникшие в романе, стали подлинными, стали временем его второй, главной жизни. Всё недавнее казалось призрачным. И то безумное пророчество Макавина, сулившего взрыв. И Апанасьев, который из милого шутника, пишущего тонкие насмешливые книги, превратился в больного игрока, пьяницу, посетителя уродливых притонов. И Гуськов, романтик, завсегдатай библиотек и лекториев, вдруг позабыл Андрея Белого, вообразил себя комиссаром с маузером и партбилетом и был готов, как и его предшественники, арестовывать и ставить к стенке Павла Васильева, Есенина, Гумилёва, Пастернака, Ахматову. Комично и отвратительно, но несущественно.

Куравлёв писал штурм дворца Амина, когда спецназ пробивался по лестнице, роняя рожки автоматов, кровавые бинты, кольца гранат. И на верхнем этаже у золочёной стойки бара маленький карел пустил Амину в живот очередь. Писал о Кандагарской заставе, где днём проходили колонны, и рыжий сапёр вгонял щуп в красноватую землю, а ночью разгорался бой; над виноградниками висели осветительные бомбы, похожие на жёлтые дыни, а рыжий сапёр без ног бредил в полевом лазарете. Он писал о Мусакале, казавшейся издалека белым цветком, а после артналёта превратившейся в чёрное тряпьё, среди которого, привязанные к бревну, повисли убитые пленники. Он описывал пустыню в красных песках, бубенцы на шее верблюдов, и как медлительные животные, потеряв хозяев, равнодушно ушли в пустыню.

Куравлёв писал, стараясь успеть неизвестно к какому сроку. К тому ли, когда оборвётся его жизнь, или к моменту взрыва, который разнесёт в клочки все книги, все отношения, всю людскую память. Лишь изредка отрывался от стола, оглядывался не узнающими мир глазами. Или вдруг задыхался от боли, которую зашили в груди.

В кабинет вошли дети, старший — Степан и младший — Олег, чуть позади брата.

— Что угодно? — спросил Куравлёв.

Дети молчали. Потом младший выпалил:

— Папа, Игорь Игнатович говорит, что ты конформист. — Олег желал быть заносчивым, но робел.

— Что имел в виду Игорь Игнатьевич? — спросил Куравлёв.

— Он говорит, ты поддерживаешь преступную власть, которая принесла народу много страданий.

Разговор предстоял серьёзный, и Куравлёв, увлечённый романом, был к нему не готов.

— Какие такие страдания имеет в виду Игорь Игнатьевич?

— За что посадили нашего дядю Колю, и он чуть не умер от чахотки?

Дядя Коля был бабушкиным братом, худощавым, с серым лицом в табачном дыму. Он рисовал, был приближен к "Миру искусств" и отсидел в северном лагере десять лет.

— Дядя Коля мне признавался, что хотел воевать за белую армию. Это просочилось наружу.

— А за что посадили Петра Титовича? Мучили его, выливали ему на голову нечистоты.

Пётр Титович, дядя Петя, был вторым братом бабушки. Его то сажали, то отпускали. Когда в последний раз ему сообщили, что отпускают на свободу, у него случился разрыв сердца.

— Пётр Титович был буржуа. Имел дело с Нобелем. Владел нефтяными акциями на Каспии. Власть расправлялась с капиталистами.

— А за что посадили тётю Катю? Она не хотела служить в белой армии и не владела нефтяными акциями.

Сына не удовлетворяли ответы, и он становился запальчивей.

— Тётя Катя окончила Бестужевские курсы и была, по тем временам, нежелательным элементом. Она поплатилась за это. В Красноярском лагере она выжила потому, что зимой на капустном поле собирала капустные корешки.

— А за что тётю Веру сослали в уральский лагерь? Она лечила людей, спасала их от смерти. За что?

— Это было жестокое время. Кончилась гражданская война, вспыхивали восстания. Государство свирепо боролось за своё существование.

— Зачем же ты его поддерживаешь? — спросил старший Степан, всё это время молчавший.

— За это государство мой отец, а твой дед отдал жизнь под Сталинградом. Это государство выиграло войну и не позволило немцам нас уничтожить. Это государство построило университеты, космодромы, великие заводы. Без них мы бы стали колонией.

Куравлёв чувствовал, что не находит верных слов, повторяет избитые аргументы, с которыми давно расправились бойкие говоруны из программы "Взгляд".

— Скажи, отец, зачем ты воспеваешь грязную войну в Афганистане? — спросил старший Степан, и его лицо выражало сострадание то ли к заблудшему отцу, то ли к погибающим в Афганистане солдатам.

— Она уж стала грязная? Ты же недавно хотел пойти добровольцем на эту войну. Она тебе напоминала испанскую.

— Я многое понял, отец. Я читал честные репортажи об этой войне. Я вступил в Народный фронт. Там мне объяснили, что Сталин был преступник. Ведь ты сталинист, папа? Тебе не стыдно?

— Сталин не пустил немцев к Москве, разгромил их под Сталинградом и взял Берлин. Маршал Жуков был сталинист. Шолохов был сталинист. Королёв сталинист. Гагарин сталинист. Если бы не Сталин, мы бы сегодня говорили по-немецки и работали скотниками на немецкой ферме.

— Если бы не было Сталина, то Пётр Титович был бы жив! И тётя Катя была бы жива! И дедушка Андрей был бы жив! — Степан винил Куравлёва в гибели любимых людей, и Куравлёв не находил слов, чтобы оправдаться. Чувствовал, что между сыновьями и им прочерчена всё та же борозда, которая поделила мир на две части.

— Быть может, это так, — сказал Куравлёв. — Многие были бы живы, но умерло бы ещё больше, умерли бы все, весь народ. Ваши новые друзья, ваши наставники, ваш Игорь Игнатьевич расшатывают государство, и если оно упадёт, на улицах польётся кровь, и ты, Олег, поедешь на велосипеде по рекам крови. А ты, Степан, погибнешь не на поле брани, как твой дед, а от пули фанатика с маузером и партбилетом! Жалею, что я так мало с вами разговаривал. С вами говорили другие. Но, может, ещё не поздно?

— Не хотелось бы, папа, чтобы нам за тебя было стыдно! — упрямо сказал младший Олег. И что ему мог возразить Куравлёв, если у того в наушниках с утра до вечера звучали песни угрюмого Цоя, требующего перемен? И такое бессилие почувствовал Куравлёв, что ударил по столу и крикнул:

— Уходите!

На крик прибежала жена:

— Степа, Олег, почему вы кричите?

— Это папа кричит. Ему не нравится, когда его называют конформистом! — сказал Олег. Дети повернулись и ушли, а Куравлёв без сил остался сидеть в кабинете.

Глава двадцать четвёртая

Книга была тяжела, как слиток. Гораздо тяжелее, чем стопка бумаги. Она была тяжела, потому что в ней уместилась война. Была тяжела, потому что в ней уместился отрезок русского времени, самого тяжёлого из всех времён. Её не под силу было поднять одному человеку, как не под силу было поднять государство.

Куравлёв собрал машинописные страницы, уложил в папку, завязал тесёмки и отправился в Союз писателей к Маркову. Тот был занят подготовкой к Съезду писателей. У него были люди. Он рассеянно принял у Куравлёва заветную папку:

— Позвоните через недельку-другую.

Куравлёв разочарованно отправился в Дубовый зал и встретил Лишустина, наливающего из графинчика водку:

— Витюха, подсаживайся. Составь компанию. — Бородка Лишустина празднично золотилась, синие глазки радостно мерцали, глядя на стеклянный графинчик.

Куравлёв был рад обществу друга. Заказал обед и выпил с Лишустиным водки.

— Скоро, Витюха, будем прощаться. — Лишустин смаковал водку, будто вкушал её последний раз.

— Помирать что ли собрался?

— Выживать собрался, Витюха, выживать. Мы с тобой сейчас мясо едим с подливой, а скоро время придёт, когда будем вилкой тыкать в пустую тарелку.

— Зачем в пустую? Карпа закажем.

— Конец заказам приходит, Витюха, конец. Голод будет. — Лишустин артистично вздохнул.

— Да откуда голод? Ещё кое-что в магазинах осталось.

— Последнее доедаем. Голод идёт. Кто посмышленее, из деревенских, к голоду готовится. А кто из городских, которые думают, что манная каша в поле растёт, того голод сморит. За краюху хлеба золото родовое в магазин понесут, бриллианты, мебель из карельской берёзы, библиотеки, которые деды собирали. Большому голоду быть.

Куравлёв поначалу решил пошутить над Лишустиным, но не стал этого делать. Лишустин был из северной деревни, которая в худые времена голодала. Ели лебеду, коровьи лепешки. Мать-вдовица водила маленького Лишустина по деревням, стучала в окна, просила подаяние.

— И как же ты спасаться задумал?

— А так и задумал. Пока вы тут кто в Париж, кто в Афганистан ездили, я себе избушку купил под Рязанью. Глушь, бездорожье. Деревня в лесу стоит, половина домов заколочена.

— Что же, ты туда с семьёй жить переедешь?

— Перееду. Сяду на землю. Купил мотоблок, распашу, посею картошку, лук, огурцы, помидоры. С картошкой не пропадёшь, из подпола доставай и доставай. Кур заведу, кролей. Ты знаешь, я охотник, рыбак. Всегда с рыбкой будем, тетёрку, утку добуду. Самогон свой. Дрова за домом растут. Поеду, Витюха, спасаться. Глядишь, и ты ко мне заглянешь. Картофельной похлёбкой с зайчатиной всегда угощу.

Лишустин говорил так, словно всё у него было продумано и готово к переезду. Куравлёва задевало, что всё это Лишустин скрывал, не открывался другу. Но прощал Лишустину, зная суеверность друга.

— А как же твоё писание? Ты книгу о расколе задумал.

— Буду писать. Летом — поле, зимой — книга. Я к этой книге семнадцать лет готовился, в архивах рылся, столько грамот перечитал. Теперь готов. Будет книга о русском расколе и о смутных временах. Такое никто не напишет.

— Совсем, как сегодня. Пиши с натуры.

— Опять великий раскол начинается. В народе трещина. Из этой трещины змей выйдет. Станет жалить и тех, и других, и многих изжалит.

Лишустин поднял вверх палец, стал похож на проповедника с голосом древнего старца.

— Ну, ты, как монах-прорицатель, — усмехнулся Куравлёв. — Люди о тебе прослышат и начнут стекаться. "Отче, научи, что будет. Как нам от змея спасаться?"

— А и может быть. Вот вы меня про Горбачёва не слушали, что меченый, то есть змей. А он много народу изжалил.

— Что ж нам теперь, погибать? — Куравлёву было тревожно. Наступали такие времена, когда простые уверения теряли цену, а обретали цену пророчества.

— Погибать будем, покуда чудо не случится. Человеческими усилиями раскол не закрыть, трещину не замазать. Только чудо спасёт.

— Какое же чудо?

— А такое, какое является, когда России не быть. Народ разбежался, царь убит, поля в лебеде, а случается чудо, и Россия встаёт краше прежнего. Сейчас Россия лежит навзничь, люди друг друга бьют. Но случится чудо, и Россия станет могучей, и всё зло от неё отступит. Люди народятся сильные, добрые, честные. Одно слово, праведники. Поля засеяны, царь мудрый, и советники вокруг него с ясными головами.

— Такие, как ты?

— А хоть бы и я, — ответил Лишустин, пропуская мимо издёвку. — Понимаю историю.

— Тогда тебя из деревни в Кремль привезут.

— А я и поеду.

— А кроликов на кого?

— Жена присмотрит.

— Послушается царь твоих советов, и станет народ, как кроликов, разводить.

— И то дело!

Они рассмеялись. А Куравлёв подумал, что их дружное маленькое сообщество, которое недавно за этим столом признавалось друг другу в вечной любви, в неразлучной дружбе, теперь рассыпалось. По нему прошёлся раскол. Макавин едет за славой в Париж. Апанасьев сжигает свою жизнь в вине и в игре. Гуськов размахивает партбилетом и хочет строить империю в захудалом журнальчике. Лишустин уходит в скит, и там его не отыщешь. А он, Куравлёв, остаётся один, среди тёмной бури, чей гром уже раздаётся вдали. Он потерял любимую женщину. Потерял друзей. Потерял детей. Теперь он теряет Родину.

Через день ему позвонили из секретариата Союза:

— Виктор Ильич, с вами желает переговорить Георгий Макеевич.

Голос Маркова, обычно сдержанный, исполненный тихого величия, теперь был взволнованный, воспалённый:

— Вы сами не понимаете, какую книгу вы написали! Мы ждали подобной книги. Она всё не появлялась. И вот появилась! Честная суровая книга о войне, о советском человеке, о служении Родине! Эту книгу должна прочитать вся страна. Мы издадим её в издательстве "Роман-газеты" тиражом в миллион экземпляров!

Глава двадцать пятая

И вот она появилась, в мягкой малиновой обложке, с фотографией, где Куравлёв смотрит в иллюминатор вертолёта, а в круглом стекле видны лепные постройки, крохотные наделы в оправе глинобитных оград. И крепкая надпись: "Охотники за караванами".

Это была настоящая известность. Результат, о котором мечтает каждый писатель. Страдает над книгой, в муках приближает конец романа, торжествуя, передаёт роман редактору, который, измотанный текучкой, вяло читает рукопись, ставя на неё стакан недопитого чая. Скучно и буднично выходит заурядная книга и тут же теряется среди подобных, без рецензий, без внимания публики. Ещё один горький опыт честолюбивого неудачника.

Здесь всё оказалось иначе. Редактором и издателем выступило само государство. Появилась рецензия в "Правде", крупным подвалом, где печатались рецензии на произведения Шолохова или Бондарева. В библиотеках проходили читательские конференции. Его приглашали в театры, на киностудии. Режиссёры желали поставить по книге спектакли и снять кино.

Когда он появлялся в ЦДЛ, чуткие и всеведущие официантки предлагали ему лучшее место. Писатели кидались навстречу, поздравляли. И смехотворными выглядели несколько моралистов, по-прежнему избегавших его, не подававших руки. И совсем жалкими выглядели рецензии Натальи Петровой во второстепенных газетах с названиями "Охотник за черепами" или "Мастер цинковых дел".

Это и был тот таившийся в недрах его судьбы успех, который бурно вырвался на свободу.

Но вскоре Куравлёв стал замечать, что вокруг него происходит борьба. Всё копошилось, хватало цепкими лапками, тянуло в свою сторону, как муравей личинку. Ещё недавно он считал себя вольным художником, свободным романистом, беспартийным весельчаком. Но афганская поездка, роман "Охотники за караванами" изменили жизнь. Его стали втягивать в политику, в клейкое варенье, в котором вязнет неосторожная оса. В политике соперничали две могучие группировки. Одна отстаивала основы, которые казались незыблемыми. Отстаивала тяжеловесно, с угрозами, с обветшалыми высокомерными доводами. Другая сокрушала эти основы легко, насмешливо, пела песни, сочиняла стихи, плодила анекдоты, требовала новизны, честности, свежести. Куравлёва неуклонно вовлекали в свои ряды государственники, поощряли, награждали незаметными льготами, готовили его себе на смену.

Он уже навсегда порвал с обходительным Андреем Моисеевичем. Раздружился с переводчиком Сашей Кемпфе. Настроил против себя Наталью Петрову, узревшую в нём главного врага перестройки. Отпугнул робкого Марка Святогорова, старавшегося вильнуть в сторону при виде Куравлёва. На очереди были другие, ещё не видимые враги, которые не замедлят явиться.

Куравлёв всё твёрже, всё сознательнее вставал на сторону государства, которое потрескивало под напором горбачёвской подлой политики. Но, странное дело, его не оставляло ощущение, что две эти враждующие силы растут из одного корня, питают друг друга. Ими управляют одни и те же потаённые жрецы, лукавые маркитанты. Подают свои лукавые советы и Горбачёву, и Ельцину, делая их схватку всё злее и беспощадней. Ему всё отчетливее мерещился заговор, зреющий в кабинетах кремлёвских дворцов. Он вычислял заговорщиков. Как тайный разведчик, хотел обнаружить тайные замыслы. Один, своей писательской прозорливостью, он видел существование двух центров силы. Хотел обнаружить тайные, соединяющие их связи. Надеялся их разомкнуть, остановить взрыв, спасти государство.

Куравлёва пригласили на митинг в поддержку Советского Союза, который собирался реформировать Горбачёв, после чего грозил неминуемый распад. Митинг собрался на Манежной площади в хмурый летний денёк. У гостиницы "Москва" была сколочена трибуна. На ней ходили распорядители в красных повязках. Вся площадь до краёв, до туманного за дождём Манежа была полна людей. Крепкие ладные мужчины, одинаковые в своей монолитной сплочённости, терпеливо, под дождём ожидали начало митинга.

— Слушатели всех военных академий, — сказал по секрету распорядитель с повязкой. — Оделись в гражданское и явились по приказу.

Куравлёв любовался спокойными сильными лицами офицеров, за каждым из которых стояли полки, дивизии, армии. Вся военная мощь страны, которая разместила свои гарнизоны по всей планете, наводнила океан могучими

кораблями и подводными лодками, запустила на орбиту группировки космических спутников. Эта мощь была неодолима. Ей не страшна ватага московских крикунов и насмешников.

— Меня просили представить вас. — Распорядитель повёл Куравлёва за угол трибуны. Здесь в окружении охраны стояли министр обороны Язов и председатель КГБ Крючков. Куравлёв сразу узнал их и смутился. Он оказался рядом с могущественными носителями власти, встреча с которыми прежде была невозможна. Теперь же она состоялась.

Его ввели в магический круг, куда простому смертному путь был заказан. Он же вошёл в этот круг и приблизился к потаённому центру, в котором гнездился заговор.

На маршале Язове было кожаное пальто, которое казалось ему тесным. Тяжёлый, с осевшими плечами, с грубым красным лицом, маршал пожал Куравлёву руку мокрой от дождя тяжёлой рукой:

— А то распоясались, черт знает что! Направить бы их в Афганистан, пусть поймут, как жизнь устроена. А вы молодец, хорошая книга. Я в Кандагаре попал под обстрел. Надо войска выводить.

Куравлёв хотел использовать эту встречу, чтобы всемогущий министр указал ему незримые связи, соединяющие два враждующих центра. Их вражда казалась мнимой, удары, как в театре пощечины, издавали звук, но не причиняли вреда.

Но Язов повернулся к ординарцу, который протянул ему трубку рации. Быть может, связал с авианосцем в Тихом океане.

Крючков был маленький, подвижный, с круглым голым лицом, на котором, казалось, никогда не росли волосы. Он переминался с ноги на ногу, весело оглядывался. Чем-то напоминал китайского божка, добродушно качавшего головой. Протянул Куравлёву маленькую ладонь, сухую, хотя шёл дождь. Эта маленькая сухонькая рука управляла громадной службой, которая, как невидимка, стискивала страну между трёх океанов. Работники этой тайной службы проникали в семьи, в учреждения, в академии, в газеты. Незримо находились во всех мировых столицах, просачивались в неприятельские штабы и гарнизоны. Эта маленькая сухая ручка могла совершать перевороты. Повинуясь ей, карел из спецназа застрелил Амина, а безобидный носатый Карпович, выпивая в Пёстром зале, вёл слежку за писателями. Служба, которой руководил Крючков, была наследницей той, что отлавливала белых заговорщиков, расстреляла Николая Гумилёва, отправила в лагеря милую тётю Катю и вечно курящего, так и не взявшего в руки кисть дядю Колю. Этой службой руководили Ежов и Ягода, учинившие зверские расстрелы. В ней трудился Берия, согнавший в "шарашки" лучших математиков и физиков и построивший атомную бомбу. Разве можно противостоять этой службе какому-нибудь Собчаку или Коротичу? Разве с ней посмеет состязаться грубиян и пьяница Ельцин?

Куравлёву хотелось получить от этого всезнающего человека намёк на тайные связи, которыми опутаны два враждующих центра, две матерчатые куклы. Их мнимая борьба скрывала подлинную сердцевину заговора. Рождала рукотворный хаос, в котором гибло государство.

Он хотел обратиться к Крючкову с осторожным вопросом, но тот опередил его:

— Нам нужно больше писать о героях страны, а то сделали героем торгаша и певичку. Хотя, при умелом использовании, и певичка сможет добыть секрет атомной бомбы.

Ничего особенного не сказал Крючков, но в этом обыденном замечании Куравлёв усмотрел спрятанный смысл. Стоит как следует вдуматься в каждое слово, и можно нащупать заговор.

Митинг открывал любимец публики актёр Михаил Ножкин. Он взошёл на трибуну, упёрся в поручень, оглядел несметное многолюдье, а потом лихо крикнул:

— Здорово, мужики!

И площадь радостно ахнула, отозвалась на лихое приветствие.

Ножкин кратко сказал, что советская интеллигенция никогда не допустит осквернения священных имён героев, проведёт пятернёй по сальным сусалам осквернителей. Поднял кулак:

— Союзу быть! — и легко сбежал с трибуны под одобрительный рокот.

Выступал космонавт, рассказывая, как с орбиты смотрится наш прекрасный Советский Союз. Кажется, на ладони держишь Туркменский канал, Байкал и Северный полюс.

— Союзу быть! — закончил он своё выступление.

Когда пришёл черёд выступать Куравлёву, он в двух словах рассказал об Афганистане. На этой площади, сказал он, стоят герои его будущих книг.

— Да здравствует Советский Союз!

Не слишком бурно, но ему аплодировали. Митинг завершился быстро. Крючков и Язов сели в машины. Площадь стала рассасываться, как рассасывается сахар в чае, почти мгновенно опустела. Куравлёва поразило, с какой торопливостью офицеры покинули площадь. Как испарились вместе с ними их полки, дивизии, армии, канули корабли и подводные лодки.

Он стоял один, слыша хруст разбираемой трибуны. Пустая площадь металлически блестела в дожде. Мучнисто белел Манеж.

Куравлёв медленно поднимался по улице Горького к Пушкинской площади. Мимо телеграфа со стеклянным глобусом. Мимо памятника Юрию Долгорукому, театрально простёршего руку. Мимо Театрального общества и магазина "Армения". Каждый раз, когда он приближался к площади, он смотрел на угловой сталинский дом, облицованный бурым гранитом. Что-то в этом доме было привлекательное, почти родное, соединявшее его то ли с позабытым прошлым, то ли с не наступившим будущем.

На улице было неспокойно. Движение машин перекрыто. Люди перебегали с одной стороны на другую. Несли свёрнутые плакаты, древки со скрученными флагами.

Куравлёв остановился у гранитного дома, наблюдая людскую сутолоку.

Вдалеке у Белорусского вокзала клубилось тяжёлое облако, наливалась, темнело, набухало ливнем. Туда устремлялись люди, выскакивали из метро, из окрестных переулков, лились непрерывными ручьями. У всех были похожие, нетерпеливые лица, словно они торопились на весёлое представление. Однако эта весёлость была колючая, электрическая, искрила. Незнакомые люди улыбались друг другу, торопились, словно представление могло начаться без них.

У "Армении" и Театрального общества скапливались войска. Сначала их было немного, но подкатывали автобусы, из них выгружались солдаты в касках, с металлическими щитами. Командиры в мегафон раздавали команды. Солдаты выстраивались, перегораживали улицу Горького, закрывали своими щитами спуск к Кремлю.

Куравлёву казалось, что он стоит у высоковольтной вышки. Вокруг изоляторов потрескивает, дрожит лиловое пламя, и скоро проскочит огромная искра.

Газетные статейки, карикатуры, обмен насмешками, злыми оскорблениями перерастали в прямое столкновение. В распрю, где в ход пойдут кулаки и дубины.

Куравлёву было тоскливо. Его пугали солдаты в касках, с железными щитами, вставшие стеной на любимой площади. Он не любил тот сгусток у Белорусского вокзала, который грозил натиском, слепым стремлением.

Видел, как грозовая туча у Белорусского зашевелилась, разбухла, медленно двинулась по улице Горького к Пушкинской. Солдаты нервничали, перестраивались. Хрипло, по-собачьи, лаяли мегафоны.

Можно было разглядеть демонстрантов. Они несли перед собой огромную трёхцветную ткань, перегораживая всю улицу Горького, как рыбаки тянут бредень. Загоняют в него рыбу. Трёхцветный флаг сгребал людей с тротуаров, вливал в поток.

Они уже миновали площадь Маяковского, приближались. Куравлёв ещё издали узнавал демонстрантов. Впереди, держась за флаг, вышагивал Ельцин, большой, светловолосый, набычив голову. Рядом шёл академик Сахаров, сбивался, старался поспевать за Ельциным, не нарушать шеренгу. Куравлёв

узнал Собчака, его маленькую кошачью головку. Галину Старовойтову, ступавшую грузно, выдавливая животом флаг. Станкевича, который был славен тем, что, спускаясь в шахту, мазал себя углем, как истовый шахтёр. Отца Глеба Якунина с чёрной козлиной бородкой, похожего на чёртика.

За ними колыхался вал. Несли трёхцветные флаги. Транспаранты с карикатурами Язова и Крючкова. Отдельным строем шли играющие саксофонисты. То и дело скандировали: "Свобода! Свобода!"

Куравлёв чувствовал игривость толпы, но это была игривость атаки, которая враз превращается в ненависть, в удары, в разбитые головы.

Солдаты достали дубинки и стали колотить в щиты. Унылый металлический стук понёсся по площади, будто принялись за работу жестянщики. В этих стуках было что-то древнее, пещерное, как при охоте на мамонтов. Оно проступило из потаённых пластов земли, где таилось миллионы лет.

Перед тем, как произойти столкновению, в рядах демонстрантов произошли перестановки. Ельцин со свитой были втянуты внутрь толпы, и ещё дальше, в её глубину. Исчезли, разъехавшись на машинах. Вперёд выбежали крепкие парни в спортивных костюмах. Скачками подбегали к солдатам, с разбегу прыгали на щиты, ломали ряды. Солдаты махали палицами, топтали упавшие щиты. Их сменяли другие. Завязалась рукопашная. Падали с расквашенными лицами, валились навзничь, а по ним бежала толпа.

Из окрестных переулков выбежали солдаты, ударили с фланга толпу. Раскололи, стали теснить. Толпа не уступала, распалась на клубки дерущихся. Слышался вой, хрип, матерная ругань. Играли саксофоны. Колотили палки в щиты. Все напоминало жуткую рок-группу, на которую понуро смотрел Пушкин.

Вдруг Куравлёв увидел в толпе сыновей. Старший Степан держался за разбитую голову, прикрывался от ударов, а младший Олег вцепился в руку солдата, мешал тому бить брата.

— Назад! Ко мне! — крикнул истошно Куравлёв. Врезался в толпу, получил удар дубиной, кого-то пнул. Добрался до сыновей и за шиворот вытащил Степана из бойни. Тот закрывал рану на голове, обливался кровью, продолжал бормотать:

— Ну, я тебя, гад, достану! На фонаре закачаешься!

Младший Олег семенил следом:

— А я ему врезать успел! Он аж согнулся!

Куравлёв переулками добрался до машины, которую оставил во дворе. Затолкал в неё сыновей. Погнал прочь от проклятого места, где грохотали ударники и выли саксофоны.

Глава двадцать шестая

Куравлёв тосковал по Светлане. Садился за столик в Дубовом зале, заказывал бутылку "Мукузани" и пил, вспоминая, как начинали темнеть от вина её влажные губы. Выходил из ЦДЛ и шёл на угол Садовой, где промчался кортеж и унёс Светлану. Ему казалось, сейчас завоют сирены, замерцают вспышки, примчится кортеж, и Светлана со своей золотой прической, с милой любимой улыбкой предстанет перед ним.

Однажды он увидел женщину с золотыми волосами, на высоких каблуках, в красном жакете, и ему померещилось, что это Светлана. Он шёл за женщиной, не обгоняя её, пока не поймал запах её духов. В них не было горечи миндаля. Они были приторно-сладкие, как зрелая клубника. Женщина оглянулась, улыбнулась ему, а он, обманутый, поскорее ушёл. Боль, которую он испытывал, стала глуше, но иногда хотелось кинуться к её дому и ждать хоть целую вечность, когда она появится из подъезда.

Вечером в ЦДЛ он ужинал в одиночестве. Друзья покинули его. Их союз распался. Случайные забегавшие в зал посетители робели сесть за его стол без приглашения, боясь получить отповедь.

В глубине зала были сдвинуты столы. Горел камин. Чудесно пахло дымком. Стол украшал огромный букет роз, должно быть, праздновали чьё-то рождение. За столом было несколько знакомых лиц.

Евтушенко в жёлтом пиджаке и белых брюках витийствовал, читал мадригал, кидался целовать руку молодой женщине в японском кимоно с костяным гребнем в волосах. Так одевалась Ирина Хакамада, игравшая в политике роль гейши. У многих наивных обожателей эти нежные эластичные руки оставляли рубцы.

Среди гостей находился Франк Дейч. Его выпуклые голубые глаза то и дело поглядывали на Куравлёва, а маленький, трубочкой, рот шевелился, что-то говорил о Куравлёве соседу.

Франк Дейч встал, пересёк зал и сел за стол Куравлёва.

— Ты извинишь? Не помешал? Не ждёшь женщину? Я видел тебя несколько раз с очень красивой женщиной. — Франк Дейч был с Куравлёвым на "ты". В прежние времена они встречались в "Литературной газете". Их пути разошлись. Из Куравлёва не получился газетчик, а Франк Дейч перешёл на радио "Свобода", известное крайне антисоветскими выступлениями.

— Садись, я один. — Куравлёву был интересен Франк Дейч. Тот был с другого берега, по ту сторону линии фронта, и мог донести до Куравлёва вести с "того света".

— А мы празднуем рождение Ирины Муцуловны Хакамады. Прелестная женщина, не правда ли? В ней соединяется экзотический японский шарм и русская непосредственность.

— Когда её спросили, что делать шахтёрам, которые не получают зарплату, и им нечем кормить детей, она с японским шармом и русской непосредственностью посоветовала шахтёрам идти в лес и собирать грибы.

— Ну, это была шутка! Просто шутка!

Куравлёв предложил Франку Дейчу выпить вина, они чокнулись.

— Представляю, какой шум наделала бы такая фотография в "Московских новостях". За неё хорошо бы заплатили.

— Можно позвать фотографа. Он обретается где-то здесь, в ЦДЛ.

— А ведь, в сущности, Виктор, у нас много общего. — Франк Дейч был готов положить свою руку на руку Куравлёва, но передумал. — Мы оба интеллигенты, не какие-нибудь посконные деревенщики. Оба преклоняемся перед великой русской культурой. Ненавидим деспотизм, кровь. Твои родственники были репрессированы Сталиным. Что у тебя с ними общего, с этими динозаврами?

— С кем?

— Ну да со всеми этими Марковыми, Язовыми, Крючковыми. Ты им чужой. Они кожей чувствуют, что ты чужой. Они выкинут тебя, как только ты сослужишь им службу.

— Я не служу никакую службу. Я просто романист и по мере сил служу моему государству. Не хочу, чтобы оно погибло.

— Да оно погибло! Его уже нет! Осталась пустая шкурка, нарядная, как у змеи, а змея уже уползла, никого не сможет ужалить!

— Быть может, и так, но я присягал моему государству.

— Брось! Ты не в партии! Не секретарь Союза! Всё ещё можно вернуть. Твою репутацию можно восстановить. Я говорил о тебе с Александром Николаевичем Яковлевым. Он высокого о тебе мнения. Говорит, что хочет дать тебе газету. Ты бы прекрасно справился.

— Ты же знаешь, Франк, я не газетчик.

— Те, с кем ты имеешь дело, обречены. Их уже нет. От них все побежали к нам. Лучшие люди, академики, ядерные физики, генералы, художники. У нас сила, у них — "прощание с Матёрой". Мы ценим тебя, в новой России тебе предоставят видное место. Иди к нам.

— А если я не пойду?

— Ты страшно проиграешь. С коммунистами будет покончено. Будет громадный процесс с приглашением всех ведущих цивилизованных стран. Коммунизм приравняют к фашизму. Будут аресты, приговоры, тюрьма. Ты хочешь сидеть на скамье подсудимых, как пособник преступной войне?

— Как же вы возьмёте власть с Хакамадой? Ещё одна революция, гражданская война? Разве мало крови?

— Зачем? Не будет крови. Горбачёв добровольно, на блюдечке отдаст власть Ельцину, и Советского Союза больше нет. Добровольно, по-братски!

— Франк, спасибо за добрые пожелания, но я остаюсь на этом берегу. Здесь растут такие славные белые грибы, такие подосиновики, такие милые сыроежки! А Ирина Мацуловна пусть ест японских кальмаров и крабов.

— Я тебе всё сказал, Виктор. И ещё. Жди в ближайшие дни приглашение к Александру Николаевичу Яковлеву. Не упусти свой шанс.

Дейч встал и, не прощаясь, отошёл. Занял прежнее место. Его маленький, трубочкой, рот бурно шевелился. Куравлёв остался, допивая вино. Лазутчик Дейч, сам того не ведая, выдал деталь предстоящего заговора. Бескровно, без гражданской войны, без тачанок на улице Горького Горбачёв передаст власть Ельцину. Все республики, подвластные Горбачёву, окажутся бесконтрольными, ненужными Ельцину и отколются от Союза. Союз рассыплется, останется обрубок России со звероподобным Ельциным.

Такова была суть разговора Куравлёва с Франком Дейчем. Таков был драгоценный улов, что удалось выудить из мутных глубин демократа. Оставалось продолжить исследования.

Глава двадцать седьмая

Ему позвонили из секретариата и сообщили, что он представлен к правительственной награде, ордену Трудового Красного Знамени. Просили явиться в Кремль к назначенному часу.

Кремль был чудесен в это майское утро. Сияли в синеве золотые кресты. Круглились поднебесные колокольни. Брусчатка была голубой. На клумбе в сквере пламенели тюльпаны. Кремль, как небесный остров, плыл над Москвой, над её розовыми далями. И всё в Куравлёве ликовало, счастливо отзывалось на звоны древних и таких родных соборов.

По широкой лестнице его провели в зал. Не тот, с нишей, в которой стоял беломраморный Ленин и проходили торжественные съезды. А в Георгиевский зал с золотыми надписями по белому мрамору, с хрустальными люстрами, ослепительными, как солнца.

В зале были расставлены кресла, возведён невысокий подиум. В креслах уже сидели те, кто был удостоен наград. Здесь был знаменитый врач, исцелявший безнадёжно больных детей. Лётчик-испытатель, поднимавший в небо новый истребитель. Куравлёв не запомнил его фамилию, но знал в лицо. Сидели инженеры, конструкторы, архитекторы. Он разделял вместе с ними их успех. Его книга ценилась страной так же, как новый мост через Обь или искусственные кристаллы для лазеров. Куравлёв смотрел на золотые надписи с перечнем героических полков, батарей, экипажей, которые когда-то сражались на севастопольских бастионах, дали бой превосходящим силам японцев, атаковали неприятеля под Плевной и Шилкой. Куравлёв был среди них, принят в их бессмертное воинство, отстоявшее Отечество.

Начались награждения. Награды вручал не секретарь ЦК Зумянин, оставивший пост по болезни, а другой секретарь — Бакланов, — ответственный за военно-промышленный комплекс и космические пуски. Он стеснялся, плохо говорил, неправильно произносил имена. Когда Куравлёву вручили орден, тяжёлый, литой, с алым знаменем и красной звездой, он заметил, как у Бакланова дрожат руки, и глаза на бесцветном лице смотрят беспомощно.

Всем разливали шампанское. Бакланов обходил награждённых и чокался. Куравлёв вдруг подумал, что этот могущественный человек обязательно, неведомыми Куравлёву пружинами связан с заговором. Сейчас он чокнется, произнесёт несколько незначительных слов и скроется в правительственных кабинетах. Станет недоступен, окружённый охраной, позабыв о Куравлёве, занятый самолётами, ракетами, кораблями. Сейчас тот момент, когда Бакланов ещё доступен, возможен между ними разговор. И не зная, о чём разговор, услышав слова поздравления, Куравлёв произнёс:

— Олег Дмитриевич, почему перестройка разрушает страну? Мы становимся не сильнее, дружнее, свободнее, а рассыпаемся, ненавидим, утрачиваем связь с государством.

Куравлёв подумал, что Бакланов вскипит, оборвёт его начальственным окликом, поднимется и уйдёт. Но Бакланов остался сидеть. Его глаза были растеряны и печальны, речь невнятна и сбивчива:

— Михаил Сергеевич контролирует перестройку. Мы уже проходим самые трудные времена. Скоро станет легче. Возникают контуры нового Союза.

— Олег Дмитриевич, возникают контуры заговора. Существует проект, в котором все расставлены по шахматным клеткам, а в чём игра, не ясно. В один прекрасный день мы очнёмся без доски, без шахмат, без государства. Бондарев сказал: "Горбачёв зажёг фонарь над пропастью".

Бакланов долгим печальным взглядом смотрел на Куравлёва. Его немолодое лицо от частого соседства с алюминием, сталью, композитными материалами было серым, металлически тусклым.

— Об этом можно поговорить, — тихо сказал он. — Заходите ко мне. Мой помощник вас пригласит.

— Зачем откладывать? Времени не осталось. Мы должны обнаружить заговор и спасти государство.

— Что вы предлагаете?

— Забудьте субординацию, Олег Дмитриевич. Забудьте неотложные дела. Прямо сейчас из Кремля едем в ЦДЛ, обедаем и поговорим. Нам никто не будет мешать.

Куравлёв изумился своей дерзости. Сделанное предложение ещё недавно не могло прозвучать. Но в мире что-то сместилось. Исчезли запреты, сословные препоны, величавость одних и робость других.

— Согласен, — сказал Бакланов. — Предупрежу охрану.

Они сели в просторный "ЗИМ", украшенный изнутри дорогим деревом, с удобным столиком для бумаг. Машина с мягким шуршанием выскользнула из Кремля и остановилась на улице Воровского, откуда вёл вход прямо в Дубовый зал. Охранники вошли первыми, и скоро взволнованная метрдотель Александра Фёдоровна посадила их за самый респектабельный столик под цветным фонарём. Бакланов сел спиной к залу, чтобы не привлекать внимания. Охранники поместились за соседним столиком и взяли минеральную воду.

— Никогда здесь не был. — Бакланов оглядывал дубовые панели, готические перекрытия, витражное окно. — Что здесь раньше было?

— Говорят, здесь находилась масонская ложа. Кажется, "Звезда Востока", — неопределённо ответил Куравлёв.

— А сейчас существуют масоны?

— Говорят, что масоны затеяли перестройку. Хотят захватить власть в государстве.

— Никогда не видел масонов, — простодушно признался Бакланов. — Может, Александр Николаевич Яковлев?

— Многие его так и называют.

— А я масон?

— Вы, Олег Дмитриевич, занимаетесь космическим царством, а масоны занимаются подземным царством.

— Ну, слава Богу, хоть я не масон, — усмехнулся Бакланов. — Что вы хотели мне сообщить?

— У вас, Олег Дмитриевич, есть прекрасная аналитическая служба. На вас работает КГБ, другие службы. У меня есть только писательская интуиция, которая может сказать больше, чем КГБ. — И это заявление было дерзким и самонадеянным.

— Что же подсказывает вам ваша интуиция?

— Существуют весы, понимаете? Весы с двумя чашами. На одной чаше — государственники, такие, как вы, Крючков, Язов. Множество людей, для которых дорог Советский Союз. На другой чаше весов — демократическое меньшинство с Ельциным, Яковлевым. Коромысло весов — это Горбачёв, вокруг которого качаются чаши. Государственники слабеют, совершают ошибки. Недавно я видел, как испарился митинг военных, словно их сдуло ветром вместе с дивизиями и армиями. Видел, как в программе "Взгляд" весельчаки измывались над Лигачёвым. Он, как филин, только ухал, отбиваясь от назойливых птах. Перестройщики берут вверх. У них всё больше газет

и радиостанций. Вместе с ними талантливые актёры, умные режиссёры, маститые профессора. Они насмешничают, ставят комические пьесы, сочиняют анекдоты про Чапаева и Ленина. Горбачёв им потакает, боится их, льстит. И может случиться беда.

— Какая? — Бакланов казался скучным. Всё, что Куравлёв считал открытием, Бакланову было давно известно.

— Горбачёв может устать. — Куравлёв торопился высказать самое важное. Удержать Бакланова, чтобы тот не ушёл. — Горбачёв может заболеть, добровольно отказаться от власти. И тогда повторится история с Николаем Вторым. Он отрёкся от власти. Государство пало, рассыпалось, и большевики громадной кровью снова его собрали. Россию придётся собирать заново, с кровью. Существует заговор, понимаете? Заговор передачи власти от Горбачёва Ельцину. Неизвестны имена заговорщиков. Срок исполнения заговора. Но скоро, скоро!

— У меня к вам просьба, Виктор Ильич. Не могли бы вы всё это изложить на бумаге? А также составить обращение к народу, предупреждая его об опасности. Ну, всё то, что вы мне сейчас сказали. Мы, партийцы, технократы, излагаем всё коряво, скучно. Здесь нужен пылкий писательский слог. Попробуйте, Виктор Ильич.

— Попробую, — растерянно ответил Куравлев, пугаясь, что всё это — повод любезно прекратить разговор.

Бакланов достал визитку, протянул Куравлёву.

— Здесь мой прямой телефон и телефоны помощников. Звоните, когда будете готовы.

Бакланов встал, высокий, сутулый, нагнулся, словно боялся задеть цветной фонарь, и вышел. Охранники тенью скользнули за ним.

Куравлёв остался допивать вино. Увидел, как через зал проходит Антон Макавин. Ступает мягко, пластично, медлительно, словно позволяет любоваться собой. На нём был великолепный костюм, лицо светилось, но не внешним самодовольством, а внутренним достоинством успешного человека. Увидел Куравлёва, свернул к нему:

— Это правда, Витя, что теперь в придачу к ордену дарят "ЗИМ"?

— И танк Т-34, — отшутился Куравлёв.

— Поздравляю с орденом Красного Знамени. Теперь ты среди нас знаменосец.

— А где ты пропадал? Давно не было видно. Должно быть, Андрей Моисеевич соскучился.

— Меня приглашали в Польшу. Наградили премией Мицкевича. Хоть и не Красное Знамя, но тоже с польским стягом.

— Как там, в Польше?

— Ждут, когда развалится Союз. Тогда они сведут счёты с империей.

— Там ещё остались советские танки?

— Последний ушёл, и какой-то мальчишка мелом нарисовал на корме свастику.

— Танки имеют обыкновение возвращаться. Польшу давно не делили на части.

— Теперь я понимаю, почему они так любят русских, — засмеялся Макавин. — Был рад тебя видеть, Витя. Кстати, дарю тебе справочник, выпущенный в Польше Михником. Он специалист по советской литературе. Разродился справочником для всех библиотек и университетов.

Макавин протянул Куравлёву пухлую книжку в мягкой обложке. Встал и прошёл через зал всё той же мягкой плавной походкой успешного человека. Куравлёв рассеянно перелистывал справочник. Под фамилией "Макавин" помещалась хвалебная аннотация. В ней Макавин назывался выдающимся советским писателем, любимым учеником Трифонова, лауреатом многих литературных премий. Под фамилией "Куравлёв" говорилось, что это рупор кремлёвской пропаганды, воспевающий преступную войну в Афганистане, шовинист, которому в литературных кругах Москвы не подают руки.

Куравлёв держал справочник, смотрел на дверь, в которой скрылся Макавин. Это был подарок настоящего друга.

Глава двадцать восьмая

И вот оно случилось, невероятное чудо. Куравлёв получил квартиру, и не просто жильё, дающее простор его стеснённому семейству. Он получил от Союза писателей квартиру на улице Горького, в том самом угловом доме, облицованном бурым гранитом, что вызывал в нём тайное влечение, необъяснимое очарование, будто Куравлёв предчувствовал, что когда-нибудь в нём станет жить.

Это была квартира, принадлежавшая Союзу писателей. В ней жили советские знаменитости. Сразу после возведения дома в нём поселились Алексей Сурков и Михаил Исаковский, секретари Союза. "Бьётся в тесной печурке огонь...", "Враги сожгли родную хату..."... После Исаковского здесь жил Ираклий Андроников, великолепный повествователь, умевший заворожить публику рассказами о Кавказе, о Лермонтове. Андроников переехал в новый роскошный дом, построенный Союзом, а на освободившееся место поселили Куравлёва.

Он не сомневался, что это награда за книгу об афганской войне, как и орден Красного Знамени.

Всей семьёй они приехали осматривать своё новое жильё, пусть квартира была не прибрана, полна следов недавних хозяев. Куравлёв, жена Вера и сыновья стали облюбовывать комнаты. Самую маленькую и отдалённую от входа Куравлёв выбрал для кабинета. Из окон была видна рубиновая кремлёвская звезда и несколько золотых куполов соборов. Если открыть окно и вытянуть голову, открывался памятник Пушкину.

Но главным волшебным видом был огненный крест, который возникал на пересечении улицы Горького и Тверского бульвара. Сверкающая фарами лавина прорывала перекрёсток, неслась огненной рекой вдоль бульвара, внезапно останавливалась. На смену ей устремлялась другая лавина, такая же яростная и пылающая.

У сыновей появились свои комнаты, и кончилась их вечная борьба за пространство. Жена облюбовала просторную гостиную. Кухня была столь просторна, что заменяла столовую.

Переселение в новый дом превратилось в священнодействие. Каждый вносил в жилище свои заветные амулеты, тайные талисманы, обставляя ими жильё, будто они оберегали от духов прежних хозяев.

Дом был чудесный, с консьержкой, с двумя входами в квартиру, с бронзовыми ключами, которые ввинчивались в замочную скважину. Напротив на лестничной клетке жил Алексей Сурков. Лишь однажды Куравлёв увидел его. В пижаме, с одутловатым лицом, русыми седеющими волосами, Сурков вышел из квартиры, как привидение. Посмотрел на Куравлёва и, не сказав ни слова, скрылся. Навсегда, ибо скоро последовало известие о его смерти.

Этажом ниже жила артистическая семья. Очаровательная Людмила Савельева, так изумительно сыгравшая Наташу Ростову, и её муж Александр Збруев, весёлый, бойкий, похожий на мальчика с морщинами старости.

Ещё ниже жил директор цыганского театра "Ромен" со своей красивой, но рано увядшей женой. Они были приветливы, всегда кланялись, и иногда в их квартиру устремлялся табор ярко и богато одетых цыган. И тогда раздавались цыганские романсы под гитару.

Ещё ниже жил Алексей Маресьев, прототип героя книги "Повесть о настоящем человеке". Медленно двигался на протезах, мрачный, испытывая тайную боль. То ли от протезов, то ли от того, что время его славы ушло.

Наконец, в отдельной квартире жила одинокая вдова Сергея Королёва, милая, стройная, старавшаяся побыстрей проскользнуть в свою дверь, ни с кем не встречаясь.

На заселение потребовался месяц, когда закупались столы, кровати, буфет, книжные полки, люстры. И скоро жена пригласила своих подруг с мужьями, и устроили освящение квартиры, сначала светское, с громогласными тостами, а потом и церковное. Вера пригласила священника, и тот совершил обряд освящения, оставив на притолоке каждой комнаты крохотный, начертанный копотью крестик.

Но главной отрадой для Куравлёва был Тверской бульвар. Куравлёв выходил на него рано утром, когда бульвар был почти пуст. Шёл, любуясь особняками, воображая гулявших здесь Пушкина, Гоголя, Грибоедова. Теперь здесь гулял и он, в их обществе, кланяясь и приподнимая цилиндр. Дуб, который помнил Пушкина, был тем самым дубом, вокруг которого кружил "кот учёный". Куравлёв касался корявой коры ладонью, и они сливались с дубом, через них текло одно бесконечное русское время.

Вечерами бульвар был полон молодёжи, гуляли влюблённые, медленно вышагивали старики. А ночью, когда бульвар затихал, на деревья усаживались тысячи московских галок, поскрипывали во сне и с первым солнцем снимались и летели на окраины, где искали добычу.

На фасаде дома висели памятные доски с именами знаменитых артистов, певцов, поэтов. Марков пошутил, что когда-нибудь среди этих досок появится ещё одна, с именем Куравлёва.

Куравлёв понимал, что квартира — не просто дар. Его продолжают втягивать в длинный, всё сужающийся коридор. Туда его ведут умные, искушённые люди. Они требовали взамен не благодарности, а служения государству. Его вольнолюбивый нрав, его прихоти все больше ограничивались этим служением. Теперь он был не один. Был с теми, кто олицетворял государство.

Ночами он просыпался в своём кабинете, подходил к окну и смотрел на рубиновую звезду, которая заглядывала в его кабинет, надзирала за ним.

Тоска по Светлане то стихала — её затмевали безумные поиски заговора, — то возвращалась невыносимой болью, когда он шёл по Тверскому бульвару и вспоминал, как они целовались у каждого дерева, и за оградой белела церковь, где она стояла у подсвечника, охваченная пламенем, и это сгорала его любовь.

Он не мог удержаться и захотел хоть на мгновение увидеть её, любимую. Поцеловать издалека воздух, в котором она живёт.

Он сел в машину и поехал на Академическую, к дому, где она жила. Встал среди других машин и смотрел на подъезд, понимая, что ждёт напрасно, её появление невозможно.

Подъезд растворился, из него вышел мужчина, высокий, стройный, в летнем костюме, под которым угадывались сильные мускулы. Это был Пожарский. Он подошёл к серой новенькой "Волге" и поправил зеркальце. Дверь снова растворилась, и вышла Светлана. Она была в лёгкой блузке, которая открывала её белую гордую шею. Она подошла к Пожарскому, прижалась к нему. Он обнял её, отворил дверцу машины. Светлана села, и Куравлёв увидел её ногу в туфельке с острым каблучком. Пожарский сел за руль, и "Волга" умчалась в арку дома, унося Светлану, чтобы Куравлёв её больше никогда не увидел.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава двадцать девятая

Куравлёв не мог объяснить, когда кончилась его привычная, предсказуемая жизнь, и он ступил в поток. Его понесло, закрутило, ударяло о берега. В этом круженье открывались всё новые повороты, всё новые обстоятельства, которые он уже не стремился осмыслить, отдаваясь потоку.

Неожиданным оказалось приглашение на дачу Георгия Макеевича Маркова. Она находилась в Переделкине, в писательском заповеднике среди солнечных сосен. Бор был столь свеж и не тронут, что у подножья сосен росла брусника и стеклянно переливались муравейники. Дача Маркова была просторной, деревянной, в два этажа, с летней верандой. На веранде был накрыт стол. Марков встретил Куравлёва в домашней блузе, мягкий, чуть заспанный, не похожий на строгого, величаво ступавшего секретаря.

— Не обедали? — спросил он Куравлёва. — Составьте компанию. Сегодня у нас щавелевый суп. Анастасия, неси супницу!

Прислужница в белом фартуке и кокетливом кокошнике принесла большую фарфоровую супницу. Марков сам черпал из неё половником, разливая по тарелкам, ухаживая за Куравлёвым.

— Какой щавелевый суп без яичка? — Марков постучал по столу крутым яйцом, аккуратно, чистыми ногтями очистил скорлупу. Разрезал яйцо на две части, обнажив желток, и ножичком скинул половину яйца в тарелку Куравлёва.

— Прошу извинить. Без вина. Лекарства. Все время кружится голова, забываю слова. Поверите, не мог вспомнить, как называется дуршлаг. В руках верчу, а вспомнить не могу.

Марков подошёл к шкафчику, достал флакончик, накапал в рюмочку и выпил, поморщившись.

— Жизнь отмеряю по каплям, — пошутил он, возвращаясь к столу.

Они ели прохладный щавелевый суп. Марков осторожным взмахом руки отгонял назойливую осу.

— Ну, как вам в новой квартире? Я помню, когда там жил Исаковский. Удивительное было время. Его стихотворение "Враги сожгли родную хату..." не хотели печатать. А песню и вовсе запретили к исполнению. Слишком грустная. Такая была цензура. Сейчас нет цензуры, печатай, что пожелаешь!

— Много дурного желают, Георгий Макеевич. Вчера читал, что маршал Жуков был в сговоре с английской разведкой и готовил покушение на Сталина. А ещё читал, что у Брежнева было два желудка. Один работал днём, а другой — ночью. А ещё писали, что Горбачёв — незаконный сын Андропова, а Раиса Максимовна ставит ночью под кровать золотую вазу. Есть вещи и пострашнее. Почему мы молчим, не отвечаем?

— Знаете, Виктор Ильич, я служил на Дальнем Востоке на границе с Манчжурией. Японцы нас обстреливали, устраивали психические атаки. А приказ был: "Огонь не открывать!" Вот мы и терпели, отмалчивались. Зато потом так жахнули, что самураи кверху пятками летели!

— Вы хотите сказать, Георгий Макеевич, что мы просто выявляем врагов? А потом по ним жахнем?

— Надо быть осторожнее, Виктор Ильич, терпеливее.

Куравлёв видел, что Марков был в стороне от заговора. Сквозь него не проходила электрическая жила, которая жгла, уходила в самую толщу заговора и там копила страшное замыкание. Марков был стар, мягок. Он доживал своё время. Его не учитывали заговорщики. Он находился в стороне от места, где должен случиться взрыв.

— Я хотел поговорить с вами, Виктор Ильич, о скором съезде. Мы включили вас в состав секретарей, отвергнув кандидатуры таких писателей, как Евгений Евтушенко или Генрих Боровик. Они писатели хорошие, но не соблюдают равновесие внутри Союза. Начнут и здесь перестройку. Мы должны сохранять равновесие. Беречь традицию, все, что нам завещали Горький, Фадеев, Федин. Народ верит писателям. Писатели для народа почти святые. Слово писателя должно быть выверенным, точным, созидать, а не разрушать. Вы согласны?

— Конечно, Георгий Макеевич.

Марков был из тех осторожных людей, которыми руководил "здравый смысл". Именно это позволяло ему управлять Союзом, в котором бушевали распри, нетерпимость, желание толкнуть ногой стол с аккуратно расставленной посудой, чтобы насладиться звоном расколотых тарелок и чашек. Но именно "здравый смысл" исключал его участие в заговоре. Он был слишком пресен и старомоден.

— На съезде вы будете сидеть не в зале с остальными делегатами, а в этом, как его? — Марков потёр себе лоб. — Ну, там, где сидит политбюро.

— В президиуме, Георгий Макеевич?

— Да, да, президиум! Съезд будет представительным. На него приглашены Михаил Сергеевич Горбачёв и Александр Николаевич Яковлев. Вам будет предоставлена возможность выступить. Кратко, на три минуты. Ну, что-нибудь о новом поколении советских писателей, которые продолжают великие традиции предшественников. Хорошо?

— Конечно, Георгий Макеевич. — Куравлёв принимал условия устоявшейся игры, над которой всегда потешался, но в которую теперь приходилось играть.

— И ещё, Виктор Ильич. Так получается по указанию Александра Николаевича Яковлева, что главными редакторами газет становятся демократы. Много критики, нигилизма. Союз писателей решил организовать новую газету с позитивной программой. И поручить её выпуск вам.

— Но я не газетчик. Это особый дар.

— Научитесь. Симонов был не газетчик. Чаковский был не газетчик. А какую "Литературку" сделали!

— Но вот есть же у Союза "Литературка"!

— Туда пришли "перестройщики". Чаковского убрали. Сыроедов доживает последнее. И скоро газете конец. Уже не печатают советских писателей. Не печатают "деревенщиков". Мы это должны исправить.

— Как же будет называться новая газета?

— Вам решать, Виктор Ильич.

— Пусть называется "День".

— Почему?

— Потому что День против Ночи. День — это свет. День — это время. Газета будет ежедневной.

— День, день, — Марков несколько раз повторил слово "день", прислушиваясь, как оно будет звучать, словно прикладывал к уху морскую раковину, вслушивался в потаённые гулы. — Ну что ж, "День" так "День". Об условиях поговорим позднее.

Было видно, что Марков устал. Глаза остекленели. На лице появился отёк.

— Что-то нездоровится. Пойду прилягу. Извините, Виктор Ильич. — Марков тяжело поднялся. Прислужница в кокетливом венчике взяла его под руку, и они медленно скрылись во внутренних покоях.

Куравлёв покидал Переделкино, чувствуя, что поток продолжает его нести, ударяет о брега, открывает за поворотами неожиданные горизонты.

Заговор разрастался. Он был близко, заговорщики окружали Куравлёва, здоровались, говорили любезности, тонко прощупывали. А он был беспомощен. Чувствовал, что где-то рядом пролегает обнажённая жила, но её невозможно тронуть руками.

Глава тридцатая

Франк Дейч не обманул. Куравлёв получил приглашение в ЦК на приём к секретарю ЦК Яковлеву. То был могущественный человек, слывший настоящим автором перестройки. С его слов Горбачёв вещал об "общечеловеческих ценностях". Вторя Яковлеву, Раиса Максимовна лепетала о "Европе — общем доме". По его велению смещались редактора газет и телевидения. И множество видимых и невидимых интриг, менявших лицо страны, замышлялись в его кабинете.

Здание ЦК располагалось на Старой площади в сером, стального цвета строении, в котором когда-то был доходный дом. В апартаментах, где пировали купцы, ютились заезжие провинциалы, услаждали приезжих барышни лёгкого поведения, теперь в этих комнатах сидели деловитые партийцы. Управляли экономикой, культурой, военным делом. И среди этих похожих на соты кабинетов находился величественный, с просторной приёмной кабинет Александра Николаевича.

Яковлев принял Куравлёва сердечно, пожал руку и приобнял. Слегка прихрамывая, провёл к столу и усадил в кресло. Он был без пиджака, в жилетке, из-под которой вываливался живот. У него было большое губастое лицо, нос картошкой. Он говорил "окая" и производил впечатление простого волжского мужика, трудяги. И только из-под косматых бровей смотрели зоркие стальные глаза.

— Чаю? — Он нажал кнопку и приказал секретарше принести чай, который тут же появился в мельхиоровом подстаканнике.

— Я постоянно слежу за вашими публикациями, Виктор Ильич. А вот, наконец, встретились. Лучше поздно, чем никогда, — засмеялся Яковлев, и живот под жилеткой мягко заколыхался. — Кстати, хотел вас спросить, Виктор Ильич. — Яковлев положил растопыренные пятерни на стол, накрыл ими множество бумаг, лежащих кипой. — Почему меня "почвенники" считают масоном? — Его толстые губы улыбнулись обиженной детской улыбкой, а глазки смотрели на Куравлёва остро и насмешливо, ожидая ответа. — Пишут: "Яковлев масон". Что с этим делать?

В этом наивном вопросе было тонкое лукавство. Матёрый партиец, окончивший Колумбийский университет в Америке, работавший послом в Канаде, не нуждался в советах Куравлёва. Яковлев его прощупывал, брал с него пробу. Но и сам Куравлёв прощупывал этого грузного, играющего простофилю человека, которому подчинялась страна. Яковлев хотел понять, пригодится ли ему Куравлёв. Можно ли его поместить в одну из своих интриг, надеясь на преданность. Куравлёв же понимал, что приблизился к самой сердцевине заговора, и не хотел спугнуть Яковлева неосторожным словом.

— Мне кажется, — Куравлёв открыто и честно посмотрел в хитрые глаза Яковлева. — Мне кажется, Александр Николаевич, вам следует появиться на открытии какого-нибудь православного храма. И наши православные убедятся, что вы не масон.

— Хорошая идея! Просто отличная! Через несколько дней открывается Оптина пустынь. Я, пожалуй, поеду открывать храмы.

Яковлев был доволен советом. Доволен быстрой и оригинальной реакцией. Доволен, что не ошибся в Куравлёве. А Куравлёв был рад, что не выдал себя, расположил к себе Яковлева. Мог продолжать своё тайное исследование, в котором всё было важно. Белые телефоны, соединённые с тайными кабинетами заговорщиков. Мельхиоровый подстаканник, к которому недавно прикасалась рука злоумышленника. Жилетка Яковлева, делающая его домашним добряком.

— Ну, а что вы думаете о происходящем в стране? — Стальные глаза пытливо смотрели на Куравлёва. Это был экзамен, проверка на искренность. Нужно было показать свою преданность перестройке, не скрывая тревоги по поводу её издержек.

— Сложная обстановка, Александр Николаевич. Ломается многое из того, что могло бы сохраниться. Есть ценности, которые отличаются от мифов и служат опорой любого государства.

Ответ безошибочный. В нём не было лести. Не было отторжения "перестройки". В нём было одобрение "перестройки" с пожеланием проводить её бережней и осторожней. Ответ понравился Яковлеву, задел его. Куравлёв показался ему человеком, которого нужно приблизить, сделать союзником, найти ему достойное место.

— Вы правы, многое неточно, скороспело, грубо. Но вы представляете, какая нам предстоит работа? Космическая, с исправлением нарушенных законов Вселенной. Здесь не политика, здесь космическое мышление! Ведь Советский Союз был вырван насильно из земной цивилизации. Так Луна страшным взрывом вырывается из Земли, оставляя в Земле глубокую полость. Советский Союз — это Луна, которую мы должны вернуть на землю, в ту впадину, из которой она была вырвана. А это ювелирная работа. Кромки не совпадают. Инструмент не совершенен. Мастера не обучены. Отсюда скрипы, хрусты, страдания людей. Но мы вернём Луну на Землю и обеспечим ей земные условия существования. — Яковлев не поскупился на сложную метафору. Она предназначалась для творческого воображения и была знаком особого доверия, предполагала духовную близость. Куравлёв оценил метафору. Изобразил восхищение, чем ещё больше расположил к себе Яковлева.

Они, как разведчики, вербовали друг друга, ходили по кругу, опасаясь неверного шага.

— Люди страдают, Александр Николаевич. На них падает небо. Они не знают, что все эти годы жили на Луне. Они эту Луну украшали, строили на ней города, защищали в смертельной войне.

— Это неизбежный процесс. Кто-то не сможет смириться и будет до конца своих дней рыдать и противиться. Кто-то сдастся и покорно примет любые перемены. Но нам нужны творцы. Новые русские люди, которые родятся в России и поведут её путями всего человечества. Но таких людей надо выращивать. Их не вырастит партийный секретарь или полковой генерал. Их может вырастить только писатель. Поэтому я захотел с вами познакомиться. Включить вас в работу. Я знаю, Марков продвигает вас в секретари Союза. Одобряю, содействую этому. Знаю, что вам предложено издавать газету. Это моя идея. Нам нужна новая свежая газета писателей… — Яковлев разволновался, стал сильнее "окать". Был обаятелен, говорил с Куравлёвым на равных, посвящал в сокровенные замыслы. И это вызывало у Куравлёва отклик, делало союзником, соратником, почти другом. Тонкий обольститель, Яковлев не чувствовал, что Куравлёв сам его обольщает, ищет в общении с ним путь к заговору, который был страшно близко. Обнажённый провод проходил по этому кабинету, по столу с пятернями Яковлева, по белым правительственным телефонам. Одно неверное движение, неосторожное слово, и можно коснуться электрической жилы, и она сожжёт.

— Я пытаюсь понять происходящее, Александр Николаевич. Фантазирую, строю схему. Хочу выявить суть опасных противоречий, которые могут привести к взрыву, и Луна взорвётся на подходе к Земле.

— Что за схема? — Яковлев подвинул ему лист бумаги и ручку. — Рисуйте!

Куравлёв стал рисовать чертёж, который много раз являлся ему во сне. Овалы, круги, квадраты, соединяющие их линии, стрелы ударов. Рисовал схему двух враждующих центров власти, вражда которых вела к взрыву и распаду страны.

— Оба центра управляются одними и теми же советниками. — Куравлёв нарисовал круг со знаками, от которых расходились стрелки. — Задача передать полномочия одного центра другому, от Горбачёва к Ельцину. Это и будет возвращением Луны на Землю. В этом суть заговора. Я знаю, что заговор есть. Готовится распад страны.

Яковлев притянул к себе листок, испещрённый Куравлёвым

— Кто же те люди, которые управляют обоими центрами?

— Один из них вы, Александр Николаевич.

Яковлев молчал, рассматривал чертёж.

— Вы оставите его у меня?

— Разумеется!

— Интересно то, что за день до вашего прихода в этом кресле сидел директор "Рэндкорпорейшн" Джереми Израэль. Он нарисовал подобный чертёж. Спрашивал меня, как полномочия одного перейдут к другому. Я ответил, что в этом нет необходимости. Борьба происходит в мирных формах. Ибо ей, как вы только что сказали, управляют ответственные люди.

Яковлев по-отцовски приобнял Куравлёва и проводил до дверей. Куравлёв чувствовал, как колышется тёплый живот под жилеткой.

Глава тридцать первая

Куравлёву казалось, что он переиграл Яковлева. Очаровал, вошёл в доверие, приблизился к центру заговора, в котором тот, быть может, играл первостепенную роль.

К вечеру ему позвонил Бакланов, ещё один неопознанный заговорщик:

— Виктор Ильич, вы обещали подготовить воззвание. Через день состоится пленум партии. Хорошо бы к этому дню опубликовать послание.

— Напишу, Олег Дмитриевич, как обещал.

— Когда? — требовательно спросил Бакланов.

— К вечеру будет готово.

Он вернулся в свой кабинет. Глядя на рубиновую звезду, чувствуя её магический свет, принялся писать. Он обращался к народу в час смертельной опасности. Все, что с такими трудами, такой молитвенной любовью возводилось народом, теперь, благодаря вредоносному Горбачёву, может погибнуть

на радость врагам. Поносятся символы, ради которых умирали отцы, и они рыдают в своих могилах, слыша, как надругались над их Победой. Страну рассекут на части, и дружба народов превратится в ненависть русского и украинца, татарина и белоруса. Заводы, краса и гордость Советов, пойдут с молотка и достанутся ворам и стяжателям. Армия, бравшая мировые столицы, будет растерзана, и от неё останутся только парадные караульные роты. Врач станет брать за лечение баснословные деньги, а учитель примет ученика только за мзду. Народ, усыплённый колыбельными "перестройки", должен очнуться, ударить по рукам губителям Родины. Пусть откажет в доверии тем, кто толкает страну в объятья врага. Пусть в единый строй защитников Родины встанут космонавт и крестьянин, профессор и солдат, художник и металлург. Выше поднимем священное знамя Победы. Пусть от него в страхе отшатнутся враги Советского Союза.

Куравлёв смотрел, как остывает на печатной машинке лист. Было чувство, что окончательно исчезает его писательская свобода, и теперь он навсегда связан с заговорщиками, причём неизвестно, с какой их частью. Вынул из машинки листок. Позвонил Бакланову. Через несколько минут приехал помощник и увёз обращение. Вечером позвонил сам Бакланов:

— Отлично, Виктор Ильич! Через неделю обращение будет напечатано в "Советской России". Свои подписи под воззванием, помимо вашей, поставят видные академики, боевые генералы, прославленные артисты. Не возражаете?

— Конечно, нет.

— Жму руку.

Куравлёв сидел, медленно понимая, что теперь, написав послание, он превратился из разведчика, ищущего заговор, в заговорщика.

Через неделю все центральные газеты вышли с обращением "Слово к народу". Под обращением стояли имена академиков, разрабатывающих крылатые ракеты и подводные лодки. Генерала, выводившего полки из Афганистана. Писателей- "деревенщиков" Распутина и Белова. Всего двенадцать фамилий по числу апостолов.

Уже в дневной передаче Ельцин назвал обращение "плачем Ярославны" и пообещал всем подписантам по двенадцать лет тюрьмы.

— Это прямой призыв к свержению законной власти. Пусть наши компетентные органы расследуют это дело!

Демократические газеты откликнулись статьями, в которых говорилось о "коммунистическом реванше", о призыве к восстанию.

— Опять вокзалы, телефон, телеграф? Опять разгон Учредительного собрания? Опять ГУЛаг? — вопрошали газеты.

Куравлёв, не ожидавший столь бурного отклика, направился в ЦДЛ, место, где разносились слухи, выставлялись оценки, вскрывались подоплёки.

В Доме литераторов накануне Съезда писателей было людно. Съезжались делегаты из разных республик. Заказывали ужин, водку, сдвигали столы, обнимались, произносили здравицы. Красавец Олжас Сулейменов из Казахстана витиевато восхвалял своего собрата из Киргизии Чингиза Айтматова. Через зал процокала каблучкам миловидная Нина Васильевна, свежая, пышная, награждая всех сразу любящими васильковыми взорами.

Куравлёв едва нашёл место за столиком у дверей. И сразу же вынырнул из толпы Франк Дейч:

— Что ты, черт побери, наделал! Кто тебя дёрнул написать эту коммунистическую агитку? Александр Николаевич в бешенстве. Он считает это актом предательства. Он хотел включить тебя в круг ближайших советников. Меня подвёл. Я ручался за тебя. Теперь ставь крест на себе! Не звезду, а крест, понял?

— Понял. Значит, я попал в точку. Бомба упала прямо в цель.

— О чём ты?

— Никогда ни за кого не ручайся.

— Иди ты к чёрту! — крикнул Франк Дейч и убежал.

Куравлёв пил вино, отвечал на приветствия. Из делегатов мало кто читал обращение. Им было не до этого. Надо было лобызаться, дарить книги,

выведывать сплетни о новом составе секретариата. Многие перед Куравлёвым заискивали, ибо слух о предстоящем избрании уже разнёсся по ЦДЛ.

Он сидел, наблюдая, как сходятся писатели, как тесно становится за одним столом и шумно подвигают другой. Как раскрасневшиеся официантки счастливо встречают давних знакомых.

Внезапно в дверях Дубового зала возникла толчея. Влетела гурьба. Не было видно лиц, а одни только маски. Слепленные из папье-маше, ярко размалёванные, маски крутились по залу, склонялись к столам, тёрлись размалёванными головами о писательские носы. Здесь была маска деревенской дуры с большими губами, в румянах, с косой из обрывка мочалки. Был солдат с тараканьими усами, в бравом кивере. Была гулящая девка с развратным ртом и с причёской из медной проволоки. Была маска смерти, белая, костяная, расписанная голубыми цветочками. Была ослиная башка с ушами. Ярило-солнце из красного шёлка, с металлическими лучами. Маски скакали, сшибались. Гулящая девка лезла целоваться. Деревенская дура совалась губами в тарелки. Солдат отдавал честь и расправлял усы. Ослиная башка приставала к женщинам. Смертушка с улыбкой беззубого рта ласково заглядывала в глаза. Ярило крутился на месте, цепляя жестяными лучами. Вся ватага топталась, танцевала, плевалась, делала непристойные жесты. А потом исчезла, словно ушла в стены. Зал очумело молчал.

Куравлёв не знал, чья это выходка, кто запустил в зал этих языческих ряженых. Они вызывали жуть, словно призраки других миров. Отирал платком щеку, на которой гулящая девка оставила след помады.

Глава тридцать вторая

Съезды писателей проходили в Большом Кремлёвском дворце, в зале, помнившем Сталина, доклады о пятилетках, о полёте в Космос. Съезд длился два дня, выбирались руководящие органы Союза, а потом закатывался банкет в новом хрущёвском Дворце съездов. Накрывались столы, выставлялись деликатесы, редкие закуски, выстраивались бутылки вин и водок. И вся огромная орава писателей, давя друг друга, кидалась к столам, стараясь завладеть наибольшим количеством угощений. Через два плотоядных часа отяжелевшие, захмелевшие писатели покидали Кремль и отправлялись допивать и догуливать в ЦДЛ.

Сам же съезд начинался чинно, торжественно. Делегаты рассаживались в кресла, устремляя глаза на сцену, где в нише, белый, как лунный камень, возвышался Ленин.

Куравлёву было отведено место не в зале, а на сцене, как почти уже избранному секретарю. В центре сидел Горбачёв, придавая съезду государственное значение. Рядом поместился главный идеолог страны Яковлев. Куравлёв, увидев Яковлева по соседству, ехидно улыбнулся и поклонился. Но Яковлев мельком зло на него посмотрел и отвернулся к Горбачёву.

Рядом сидели секретари Союза Бондарев, Карпов, Михалков, Исаев. И над всеми, белый, как из лунного камня, сиял Ленин. Торжественный голос объявил открытие съезд. Стоя, прослушали гимн. Предоставили слово для доклада Маркову.

Тот вышел на трибуну с кипой бумаг и особенным, лишённым цвета и живого звука голосом начал читать. С первых же слов погрузил подгулявших накануне писателей в дремоту. Ровное бесцветное чтение, монотонное течение времени завораживало Куравлёва. Он знал, что в завершение этого мёртвого времени возникнет вспышка. Ещё один фантастический поворот его судьбы, когда он выйдет из Кремля секретарём и будет причислен к узкому кругу лиц, облечённых идеологической властью.

Но по мере того, как продолжалось мертвенное чтение, Куравлёв вдруг со страхом почувствовал, что сейчас совершится разрыв времён. Сквозь этот разрыв с бешеной скоростью хлынет поток, который его опрокинет.

Горбачёв наклонился к Яковлеву и что-то ему внушал.

Марков бесцветно читал:

— Внесут неоценимый вклад в копилку социалистического реализма...

Он вдруг остановился, потеряв нить. Начал снова читать:

— Вклад неоценимый... внесут вклад...

Снова замолчал и медленно, заплетаясь, попытался поймать потерянную фразу:

— Копилку... вклад... неоценимый... социалистический...

Марков покачнулся, схватился за края трибуны, стал оседать. К нему подбежали, взяли под руки, свели с трибуны. Медленно вывели из зала. Ряды роптали: "Инсульт"! Трибуна оставалась пустой. Белели рассыпанные листки бумаги. Зал роптал сильнее. Горбачёв ткнул в бок сидящего рядом Владимира Васильевича Карпова и властно повелел:

— Иди, дочитай!

— Я? — пробовал возражать Карпов.

— Иди, дочитай! — грубо приказал Горбачёв.

Карпов сошёл со сцены, поднялся на трибуну, перевернул листок и стал читать:

— Внесут неоценимый вклад в копилку социалистического реализма...

Вначале он сбивался, робел. Но голос его окреп, и он, не запинаясь, дочитал доклад. Зал рукоплескал. Все знали, кто займёт место разбитого инсультом Маркова.

Затем произошло нечто молниеносное. Яковлев забрал списки кандидатов на посты секретарей. Виртуозно, с ловкостью игрока, меняющего в колоде карты, вычеркнул одних, в том числе и Куравлёва, и вставил других, верных перестройке. Новыми секретарями Союза стали Евгений Евтушенко и Генрих Боровик, корреспондент в Америке, вначале обличитель американского империализма, а в последние годы рьяный друг Америки, сторонник перестройки.

Съезд завершился. На Куравлёва поглядывали одни с сочувствием, другие со злорадством. Он не пошёл на банкет. Выходил из Кремля и вдруг понял, что вчерашнее беснование скоморохов в Дубовом зале было не случайно. Было насмешкой над ним, над всеми его замыслами и проектами. Было нарядным и весёлым глумлением. Судьба прислала вестников его неизбежного проигрыша.

Через день состоялся разгром "Литературной газеты". Великая газета стала умирать ещё раньше, когда её покинул главный редактор Александр Борисович Чаковский, по болезни или предчувствуя гнетущие времена. Его сигара перестала дымить в коридорах редакции. Газета стала падать, но не громко, тихо, как падает белое облако за вершины деревьев. Ещё оставался у кормила неутомимый Сыроедов, ещё взрывались газетные страницы курьёзными суждениями и сенсациями "перестройки". Но и Сыроедова прогнали, гнусно, жестоко, не объясняя причин.

На его место пришёл ставленник Яковлева, неистовый демократ, превративший вольнолюбивую газету в злобный листок. Именно тогда в газете заговорили о "русском фашизме".

Писатели Бондарев, Белов и Распутин назывались "русскими фашистами", а Куравлёв, стараниями Натальи Петровой, получил прозвище "соловей генерального штаба".

Куравлёв выпытывал у сотрудников "Литературки", чем объяснить жёсткое удаление Сыроедова. Никто ничего толком не знал. Говорили о каких-то связях с немецким журналом "Шпигель". О любовницах, слух о которых дошёл до секретариата ЦК. Была экстравагантная версия. Во время поездки в Бухару, где золото, хлопок и вино, Сыроедов, вознося хвалу секретарю Бухарского обкома, неловко пошутил. Сказал, что на Западе начался сбор спермы выдающихся людей. Её замораживают, а через много лет оплодотворят женщин, от которых родятся великие люди. И сперма секретаря Бухарского обкома партии должна быть заморожена для будущих времён. Это оскорбило бухарского секретаря, последовала жалоба, и Сыроедова убрали.

— Ну, Сыроедов не стал бы замораживать свою сперму. Она ему нужна здесь и сейчас, — рассмеялся собеседник Куравлёва.

Газета, которая посылала Куравлёва на войну, теперь называла его военным преступником.

Глава тридцать третья

Однако была газета "День", неоперившийся птенец, только что разломавший клювом яйцо, готовый выпасть из гнезда. Но это было оружие. Куравлёв мог отвечать на удары. Он вступил в бой со множеством "перестроечных" газет и журналов, которыми управлял искушённый диспетчер Яковлев. Как стальные "Мессершмитты", враждебные газеты господствовали в воздухе, истребляя бегущие врассыпную колонны коммунистов. Газета "День", как фанерный истребитель, вылетала им навстречу. Её поджигали, сбивали, самолётик с трудом добирался до аэродрома. Его латали, чинили и вновь поднимали в небо, навстречу стальным армадам.

Куравлёв нашёл сотрудников, знающих газетное дело. Неистового критика, яростного русофила Владимира Бондаренко, которому демократы уже подбрасывали под дверь мешок с гнилыми костями. Журналиста Евгения Нефёдова, весельчака и насмешника, покинувшего "Комсомольскую правду" после того, как та стала люто антисоветской. Николая Анисина, ушедшего из коммунистической "Правды" после того, как газета убрала с первой полосы ордена Ленина и Трудового Красного Знамени. Шамиля Султанова, исламского мистика, знатока международных отношений.

Штат был невелик, зарплаты крошечные. Но всё искупалось сладостным чувством борьбы, праведного боя. Все стояли плечом к плечу. Рассматривали газету как драгоценное оружие. Куравлёв, получив газету, поместил на её первой полосе ордена, которые перестроечная "Правда" кинула в грязь.

Он не уставал цеплять маститые газеты, когда-то столпы советского строя, а теперь истреблявшие всё советское. Газеты-гиганты огрызались на укусы маленькой неуёмной газеты. "День" получал известность, рос тираж. Газету "Известия", ставшую лютой русофобской газетой, "День" назвал "пульсирующей маткой сионизма", что вызвало скандал и увеличило число сторонников.

Он разместил фотографию, где по Москве ведут колонны пленных немцев, и написал: "Так поведут демократов". Известность газеты росла, росло влияние.

Куравлёв позвонил больному Александру Борисовичу Чаковскому. Представился главным редактором "Дня" и попросил о встрече.

— Торопитесь. Встреча может не состояться.

Чаковский принял его дома, в великолепной квартире с окнами на памятник Юрию Долгорукому. Шторы были задёрнуты. Чаковский был в домашней блузе, в тёмных очках — не выносил яркий свет. Достал из шкафчика бутылку виски, хрустальные стаканы.

— За здравие вашей газеты.

Они выпили жгучую горечь, от которой Куравлёву стало свободней. Он рассказал о замысле новой газеты.

— Но ведь газета должна кому-то служить? Кому служит ваша газета?

— Мы даём отпор "перестройке", — ответил Куравлёв.

— Этого мало. У перестройки есть лицо. Это Горбачёв, Яковлев. А какие лица с вами?

— Бакланов, Язов, Крючков. Вся советская интеллигенция.

— Боюсь, этого мало. Лица, которые вы назвали, очень скоро померкнут. А новых вы не найдёте.

— Вы полагаете, Александр Борисович, газета не состоится?

— Я так не сказал. Но газета должна найти своего хозяина.

Чаковский помолчал, а потом произнёс:

— Мир сошёл с ума. В нём всё сошло с ума. Сошли с ума мои клетки. Они поедают друг друга.

Куравлёв чокнулся на прощанье с хозяином и ушёл. Остался сладкий запах сигарного дыма, пустота огромной квартиры и худой, неизлечимо больной человек, умирающий вместе со своей великой газетой.

Куравлёв решил взять интервью для газеты у Бакланова. Секретари ЦК не давали интервью, но Куравлёва и Бакланова после "Слова к народу"

связывали особенные отношения. Бакланов согласился дать интервью и пригласил Куравлёва на Старую площадь.

Вид тихих разветвлённых коридоров с одинаковыми дверями и табличками, где значились фамилии хозяев кабинетов, вызывал у Куравлёва ощущение заповедника. За тихими дверями неслышно живут таинственные особи. Их порода и клички выведены на бирках. Редко открывалась дверь кабинета, бесшумно появлялся человек с папкой, проходил часть коридора и скрывался в другом кабинете.

В приёмной Бакланова сидели в ожидании генерал-лейтенант и капитан первого ранга. Другие, как показалось Куравлёву, могли быть директорами заводов или крупными конструкторами.

— Виктор Ильич, проходите. Олег Дмитриевич вас ждёт, — произнёс помощник, чем вызвал недовольство остальных посетителей. — Вы не возражаете, Виктор Ильич, мы пригласили фотографа? Пусть запечатлеет историческую встречу, — засмеялся помощник.

Кабинет Бакланова был просторный, с длинным столом совещаний. На стене висел портрет Горбачёва, на другой — ракета "Энергия" с присевшей на неё бабочкой "Бурана". Бакланов отложил бумаги. Встреча обещала быть радушной. Их роднило "Слово к народу".

— "Слово" прекрасно восприняли на заводах, в гарнизонах, в университетах, — сказал Бакланов. — Документ обсуждали на Пленуме ЦК. Яковлев назвал документ подготовкой к госпереворот у. Горбачёв посетовал, что с ним не посоветовались. Поздравляю, Виктор Ильич!

Они сидели за столом, дерево которого было истёрто рукавами множества инженеров, учёных, военных. Они беседовали, но это напоминало не интервью, а непринуждённый обмен суждениями. Фотограф скользил рядом, пощёлкивал камерой, приседал, вставал на цыпочки.

— Мы, технократы, совершили ошибку. Строили космические корабли, реакторы, лазеры. Мы достигли такой мощи, что можем произвести всё, что не противоречит законам физики. Мы полагали, что наше дело — строить машины и космодромы, а политику мы доверили другим. Теперь эти другие хотят разрушить всё, что мы сумели построить. Мы готовы запустить на орбиту такую систему, при которой ни одна американская ракета не взлетит без разрешения нашего генерального штаба.

— То есть моего разрешения? — пошутил Куравлёв. — Ведь меня называют "соловьём генерального штаба".

— Этим нужно гордиться. Вы "соловей советского генерального штаба", а не американского.

— Когда же мы остановим всё это безобразие?

— Не торопитесь, очень скоро. Нам будет нужна поддержка прессы. Ваша поддержка, Виктор Ильич. Я поговорю с Язовым, он выделит финансирование, подыщет подходящее помещение для газеты.

Куравлёв угадывал, что близится желанная схватка. У могущественных мужей государства иссякло терпение. Они оставят на время свои космодромы и наведут порядок в стране. Куравлёв будет с ними. Его газета, сменив фанеру на металл, станет наносить удары по объектам врага. Наступает великий перелом. Вся мощь государства идёт на помощь к Куравлёву, а он, выстояв, пережив отступление, переходит в атаку. Как в Сталинграде. И пусть отец в своей безвестной могиле помогает ему.

— Что греха таить, — продолжал Бакланов, — страна задержалась в развитии. Техника на высоте, а управление хозяйством хромает. Мы начнём разрабатывать универсальные системы управления не только заводами, но и отраслями, и всей экономикой.

— Как быть с идеологией? Как изменить язык, на котором говорят наши идеологи? Нужен новый язык, способный вместить новые смыслы!

Куравлёв говорил о новых стихах и романах, в которых отразится новое время, обретёт не только своих героев, но и свой неповторимый язык. И он станет писать романы, подобные "Небесным подворотням", где люди будущего заговорят волшебным языком.

— Это большая проблема. Не "новое мышление" Раисы Максимовны, а новая идеология. Мы слишком поспешно отказались от религии. В мире есть нечто такое, что не отразить математикой, не объяснить физикой. Почему нас манит Космос? Он манит нас тайной и мечтой. Мы надеемся найти в Космосе ответы на наши земные вопросы. Есть вопросы, на которые на Земле нет ответа. Что такое счастье? Возможна ли вечная жизнь? Возможно ли вечное счастье? Когда-нибудь мы разгадаем эту тайну, и скажем о ней словами великих писателей и поэтов. Вашими словами, Виктор Ильич.

Куравлёв был удивлён. Сухой технократ, замкнутый партиец вдруг предстал мечтателем, мистиком. Нашёл в Куравлёве собеседника, которого не находил среди генералов, конструкторов, приземлённых хозяйственников. Куравлёв был благодарен за это Бакланову, видел в его сером, как алюминий, лице черты мечтателя.

— А что говорит вам Космос? Нас не задушит Яковлев?

— Космос на нашей стороне. Космос на стороне Советского Союза. Советский Союз — это и есть Космос!

Фотограф закончил работу, сложил аппаратуру в кофр.

— У меня к вам предложение, Виктор Ильич, — Бакланов отвёл Куравлёва в сторону, чтобы их не слышал фотограф. — Мы собираемся лететь на Новую Землю. Посмотреть, что осталось от старого атомного полигона. Казахи перекрывают нам Семипалатинск. Поедут начальник генерального штаба, главком ВМФ, министр внутренних дел Пуго, вице-президент Янаев. Может быть, Крючков. И я. Присоединяйтесь.

— Разумеется! В газете "День" появится репортаж с Новой Земли.

— Вот и ладно. Через два дня вылетаем.

Через день в газете вышла полосная беседа с Баклановым. На снимке Бакланов и Куравлёв сидели голова к голове, как два надвратных льва, и что-то показывали друг другу на пальцах. Беседа вызвала бешенство в "перестроечной" прессе. Закрепила за газетой "День" репутацию рупора генерального штаба.

Глава тридцать четвёртая

Ранним утром Куравлёв приехал на правительственный аэродром во Внуково. Было солнечно, ясно. Редкие облака по-летнему бело-голубые. Окрестные леса стояли тучные, в тяжёлой зелени, напитавшись за лето влагой и светом. Сладко пахло скошенной травой — косили взлётное поле. Самолёт стоял белоснежный, одинокий, готовый к полёту. В маленьком здании аэропорта пили кофе, радуясь нечастому поводу собраться вместе не на рабочем заседании, а за чашечкой крепкого кофе.

Бакланов представлял Куравлёва. Секретарь ЦК, министр внутренних дел Борис Карлович Пуго, любезный латыш, крепко пожал Куравлёву руку:

— Давно хотел познакомиться с вами. Отличная беседа с Баклановым в вашей газете. Давайте дружить.

Вице-президент Янаев, только что с курорта, имел золотистый загар. Такой загар получают не под открытым солнцем, а под легким тентом, ловя отраженные от моря вспышки ультрафиолета.

— Никогда не был на Новой Земле. Летай, летай, а всю Россию не облетишь, — он дружески пожал Куравлёву руку, и тот подумал, что беседа с вице-президентом в газете "День" вызовет сенсацию.

Начальник генштаба, отяжелевший генерал армии, был в рубашке с короткими руками, не скрывавшими волосатых рук.

Командующий ВМФ был немолод, сух, строен, умудрился не располнеть в дальних плаваниях, совершая по палубе многочасовые прогулки.

Куравлёв оказался среди людей, которые прежде были для него недоступны. До них было не дотянуться. Теперь же они были рядом, обладали человеческими чертами, были обыденны и доступны. Пустили в свой круг Куравлёва, пусть с некоторым удивлением, но приветливо.

Бакланов казался энергичным, не похожим на усталого, с алюминиевым лицом технократа. Радостно оглядывал соседние рощи, вдыхал запах вянущего сена.

— Вот, Виктор Ильич, ещё несколько чашечек кофе, и вы станете членом Политбюро, — пошутил Бакланов.

— А что говорит вам Космос, Олег Дмитриевич? Звёзды на нашей стороне?

— Красные звёзды на нашей.

Их пригласили к самолёту. Поднимались на борт и занимали места в головном салоне, где стоял стол и была разложена карта Новой Земли. Помощники, ординарцы, офицеры управлений генштаба прошли в хвост самолёта и заняли кресла. Турбины вздохнули, самолёт покатил по полю, взлетел. Летняя земля с лесами, речками, дачными посёлками стала удаляться. По ней плыли прозрачные тени облаков.

Куравлёв сидел чуть в стороне от стола. Гул турбин мешал слышать разговоры тех, кто склонился над картой.

— "Кузькина мать" вот здесь, в этом месте.

— Но только подземные взрывы, надо учесть ландшафт.

— Произвести замеры фона.

— А "роза ветров" в зимнее и летнее время?

— Нельзя допустить, чтобы полетело на Архангельск и Мурманск, да и норвеги завоют.

— И ещё учтите: там оленьи пастбища, ненцы пасут стада.

Куравлёв прислушивался к разговорам. Было чувство, что, помимо атомных дел, будет обсуждаться нечто ещё, секретное и опасное, связанное с заговором, исключающее посторонние глаза и уши, системы прослушивания. Оттого и выбрана Новая Земля, едва ли не Северный полюс, чтобы избежать утечек, сохранить в тайне драгоценную информацию. Но было не ясно, почему его подпустили так близко к сердцевине заговора, какая ему уготована роль.

Разговоры над картой Новой Земли завершились. Карту убрали. Две молоденькие стюардессы застелили стол скатертью. Появились закуски, бутылки, рюмки. Не забыли и тех, кто дремал в хвостовой части салона.

Началось застолье на высоте десяти тысяч метров, с тостами, с аппетитно поедаемыми закусками. Куравлёв лишь пригубил коньяк. Его занимали тосты, в которых проскальзывали скрытые смыслы, нечаянные оговорки. Они намекали на неведомый замысел, собравший вместе могучих мужей и повлекший их на Северный полюс.

— Пьём за здоровье Владимира Александровича Крючкова. Пусть скорее излечивается от гриппа. Он должен быть, как стеклышко. Одним словом, за холодный ум и горячее сердце! — Начштаба осушил рюмку.

— Запуск атомного полигона, товарищи, требует точности и быстроты. Точности и быстроты требуют наши действия, которые всё ещё подлежат согласованию. За всё хорошее! — Вице-президент Янаев браво, с особой лихостью застольного тамады опрокинул рюмку, подцепив вилкой лепесток сёмги.

— Мне кажется, что всё-таки мы должны были проинформировать Михаила Сергеевича. Вы доложили ему, Олег Дмитриевич, но он не сказал ни "да", ни "нет", — осторожно заметил Главком флота, поставив на стол недопитую рюмку.

— Михаил Сергеевич сам корректировал списки. Он внёс туда Стародубцева. — Бакланов чокнулся со всеми, а чокаясь с Куравлёвым, сказал: — Красные звёзды за нас! Космос за нас!

Борис Карлович Пуго обвёл всех карими ясными глазами и произнёс:

— Здесь главное: сказал и сделал. Язов в воскресенье прилетает из Ферганы и в понедельник будет на совещании.

Куравлёв слушал, и ему казалось, он читает шифрограмму. Её полное содержание от него ускользало, но по косвенным признакам речь шла о каком-то близком событии, в соседстве с которым он находился.

Самолёт стал снижаться и летел над морем. Оно было зелёное, в мелкой ряби шторма. Куравлёв подумал, что, быть может, по той же траектории летел четырёхмоторный бомбардировщик, спускал на парашюте водородную бомбу, затмившую океан и небо, и землю слепящим шаром огня. Самолёт опустился на бетонную полосу, убегавшую в зелёную тундру с негаснущим солнцем, окружённым кольцами радуг. Тут же виднелись капониры, и тонкие, с плавными линиями крыльев и хвостовых оперений перехватчики.

Всё общество прямо с самолёта направилось к столам, где крепкие гарнизонные официантки разливали раскалённую уху, потчевали строганиной, вяленой олениной, множеством ягодных настоек. Подкладывали жареную дичь. Все забыли трапезу в самолёте и начали с белого листа. Макали в солёный перец розово-белые завитки строганины, хлебали, обжигаясь, уху, лакомились колбасками из оленины. Не забывали наливать водку или настойку с плавающей красной ягодкой.

— Товарищи, я нахожу, что Новая Земля гораздо лучше Старой, — острил Янаев. — А настоечка у вас радиоактивная? Ой, как шибает!

Официантки деликатно улыбались.

— А теперь, товарищи, — провозгласил начальник гарнизона, — прошу в баню. Самая северная баня в Советском Союзе. Веники берём на Северном полюсе! Банщиками работают белые медведи!

Баня была бревенчатая, из кругляка. Камни на каменке стали седыми от жара. В тазах мокли душистые веники. Маленький бассейн выложен керамической плиткой. Раздевались, вешали на крюки одежду. Входили в пекло, где воздух туманился от жара, а на досках выступала смола. Кидали на камни ковш воды. Ахали от огненного взрыва, который пролетал под потолком, обжигал голые плечи, выдавливал из глазниц очумелые глаза. Хлестались вениками, словно хотели забить себя насмерть. Вырывались из пекла в прохладный предбанник. Плюхались в бассейн, ревели, орали, задыхались от хрипа. И снова лезли в геенну огненную.

Куравлёв парился со всеми. Как и все, орал, падая в ледяной бассейн, возвращался в парилку, вжимал голову, когда под потолком проносился огненный змей. Но при этом его не оставляла весёлая мысль. Эти великие мужи, властелины народов, голые ничем не отличались от остальных смертных. Мундиры, эполеты, строгие пиджаки с орденскими колодками делали их значительными. Но как только всё это спадало, и они оставались голыми, то превращались в обыденных смертных, коих миллионы.

Голыми они обнаруживали свои телесные несовершенства. У начштаба от ожирения образовались огромные груди, они колыхались, как у женщины. У главкома флота на ноге не было двух пальцев, их отхватило чем-то острым. У Янаева на шее вспучился большой жировик. Когда распаренное тело Янаева краснело, жировик оставался белым, был похож на гриб “дедушкин табак”.

Но ещё одна мысль мучила Куравлёва. Все они казались недалёкими, почти примитивными для того дела, которое затевали. Куравлёв не знал, что это за дело, но оно требовало изощрённости, гибкого ума. Всего того, чем в полной мере обладали “перестройщики” Яковлев, Франк Дейч, Явлинский, Чубайс. Множество советников. Всё многочисленное дружное племя, которое ополчилось на государство, готовило ему бесславный конец. Государственные мужи владели флотами, воздушными армиями, разведкой, казной. Но не владели тем сатанинским интеллектом, каким владели противники. И это мучило Куравлёва, когда он плескался в ледяном бассейне с Янаевым, который выкрикивал:

— Эхма! Забодай меня комар!

После долгого перелёта, сытного ужина, огненной бани, казалось, наступило время отдыха. Но только для Куравлёва, которого отвели в гостиничный номер. Остальные уединились в небольшом зальце в той же гостинице, выставили у входа охрану. Отправили спать сопутствующую группу офицеров, а сами собрались на совещание.

Куравлёв не был приглашён и лежал в своём номере, среди ровного безмолвного света, видя сквозь закрытые веки негасимое солнце. Веки были

прозрачные и не задерживали лучей. Ровная белизна проникала в него не только сквозь измученные глаза, но и сквозь поры тела. Свет казался раствором, в котором Куравлёв плавал, как в огромной колбе.

Он устал с дороги, хотелось спать. Но свет не давал. Он погружал Куравлёва в сновидение наяву. Ему виделось множество маленьких кубиков, которые он силился собрать. Но едва он строил из них башню, как они рассыпались и разбегались, как маленькие человечки. Возникали пирамиды, которые он хотел сложить в правильный геометрический ряд. Но едва ряд складывался, как пирамиды разбегались, словно крохотные гномики, и он снова их пытался собрать.

Ему показалось, что где-то рядом, совсем близко, находится мама. Он не видел её, но чувствовал её присутствие, её нежность. Несколько раз позвал: "Мама! Мама!" Ему стало казаться, что его окружает множество невидимых бесшумных тел. Они непрерывным роем взлетали верх и, как тени, касались его. Он подумал, что это души умерших покидают Старую Землю и несутся к Новой Земле, чтобы отсюда, от Северного полюса, продолжить путь всё выше и выше. Ему казалось, повторяется сюжет его книги "Небесные подворотни". Он предвосхитил в ней этот негаснущий свет, души умерших, улетающие сквозь "небесную подворотню". Он спал и не спал. Это была мука. Его кто-то мучил, посылал пригоршни кубиков и пирамидок, дарил их ему, а потом отбирал. Он сходил с ума. Так действовала на него радиация давнишнего взрыва. В этом особенном, близком к полюсу месте пространство сужается в трубку, сжимает магнитные линии, и это сжатое магнитное поле управляет его мозгом, толкая в другие миры.

Куравлёв мучился. Думал о тех, кто совещается в соседней комнате. Они подвержены тем же неведомым излучениям, которые искажают мир, приводят к ложным решениям.

Он очнулся. Оказывается, он спал всё это время и бредил во сне, сражаясь с миражами, с радужными кольцами негасимого солнца.

Его спутники выглядели чуть помятыми, но вполне бодрыми. Быстро выпили кофе и отправились на вертолётную площадку совершать облёт территории.

Вертолёт шёл высоко над тундрой. Куравлёв прильнул к иллюминатору, в котором лучился солнечный спектр. Тундра казалась ровной, зелёной, с чёрными озёрами, которые вдруг вспыхивали, как зеркала, попадая на солнце. Ему померещилось, что продолжается недавнее безумие. Земля внизу вдруг стала жидкой, поплыла, полилась, стала куда-то сползать. Он не сразу понял, что это огромное стадо оленей, испуганное вертолётом, разбегается в стороны. Они пролетали над Маточкиным Шаром. Земля была покрыта огромной свалкой. Бесчисленные жестяные бочки, обрывки кабелей, ржавая арматура, остатки каких-то сооружений. Всё, что осталось после ядерных испытаний.

Вертолёт ушёл от берега в море. Оно было зелёное, восхитительное. Бакланов подошёл к Куравлёву, стал что-то показывать в иллюминаторе. В море плыла белая медведица с медвежонком, который вцепился ей в загривок.

— Ниже! Ниже! — показывал Бакланов вертолётчикам.

Вертолёт снизился, сделал круг, и было видно, как медведица, огрызаясь на вертолёт, раскрыла пасть: белые клыки, розовый язык. Медвежонок теснее прижался к материнской спине.

После облёта опять состоялось совещание, на которое Куравлёва не пригласили. Начальник гарнизона сообщил, что через пару часов будет уха на берегу моря.

— Гольцов никогда не видали? Интересная рыба, пахнет свежими огурцами.

Он сунул руку в ведро, кишащее рыбой. Достал рыбину с открытым ртом и выпученными глазами. Дал Куравлёву понюхать. Рыба действительно пахла слизью, морем и свежими огурцами.

— Пока товарищи совещаются, вы возьмите удочку, спуститесь к морю, поймайте гольца.

Начальник гарнизона снабдил Куравлёва удочкой, насадил на крючок наживку, забросил в море. Некоторое время смотрел на поплавок, а потом ушёл. Куравлёв остался на каменистом берегу, где плескалось море. Смотрел на поплавок, качавшийся на волне. Он не знал, о чём совещаются властные мужи. Быть может, о полигоне, но, быть может, о чём-то грозном, предстоящем, которое он выкликал, ожидал, а теперь вдруг испугался. Испугался непоправимой ошибки, небывалого краха, который опрокинет множество жизней, и жизнь Куравлёва, и жизнь жены Веры, и сыновей, Степана и Олега, и жизнь такой далёкой, недоступной, но любимой Светланы. Должно быть, она забыла о нём и счастливо живёт с Пожарским в Анкаре, куда Куравлёву никогда не попасть.

На волнах колыхалась доска с обугленными краями. Куравлёву казалось, что это обломок разбившегося о скалы корабля. Он видит остатки кораблекрушения. Волны медленно прибивали доску к берегу. Куравлёв не хотел, чтобы доска коснулась камней. Оттолкнул её. Но доска, подгоняемая волнами, снова приблизилась к берегу. Помрачение Куравлёва продолжалось. Он подумал, что это панель Дубового зала ЦДЛ. Что неведомыми путями она оказалась на Новой Земле и преследует Куравлёва. На этой дубовой панели, взятой из стены у готического окна, сидела маленькая изящная женщина с рыжими волосами. Он отчётливо видел её стройные ножки, шляпку, из-под которой выбивались рыжие волосы. Он оттолкнул дубовую панель, но доска снова стала приближаться к брегу. Рыжеволосая, закинув ногу на ногу, кокетливо ему улыбалась. Куравлёв брызнул себе в лицо солёной морской водой. Оставил удочку и пошёл наверх, где на скале был накрыт стол, блестели бутылки, дымилась уха.

Они улетали с Новой Земли. Многие дремали в креслах. Но только не государственные мужи. Облачённые в свои мундиры и пиджаки, они вновь собрались за столом, рассматривая карту. Но теперь это была карта Москвы. Куравлёв всматривался в береговую линию, и ему казалось, что он видит дубовую доску и на ней рыжеволосую женщину, которая ему улыбалась.

Глава тридцать пятая

В тёплом московском воздухе появилось свечение. Оно возникает каждый раз в конце августа, когда утомлённая летом зелень парков и скверов начинает тонко сочиться позолотой, и этот золотистый воздух делает тёплыми фасады зданий, камень памятников. Лица даже тех, кто не вернулся в Москву с южным загаром, слабо сияют особой прощальной нежностью к уходящему лету.

Куравлёв был счастлив вернуться в Москву, в свою великолепную, свежую квартиру, где у каждого была своя комната. Все вместе: жена, дети, он сам, — разделённые толстыми стенами и длинными коридорами, не мешали друг другу, но чувствовали себя большой благополучной семьёй.

Куравлёв зашёл на маленький рынок, угнездившийся в глубине Палашевского переулка. Купил букет фиолетовых флоксов и золотых шаров — цветы осени. Поставил букеты в вазы в гостиной.

Старший сын Степан готовился к состязанию моделистов. Заканчивал модель крылатого автомобиля, управляемого по радио. Что-то паял, наносил на металлический лепесток капельку олова. От его паяльника струился синий дымок.

— Смотри не улети со своим автомобилем. Потом ищи тебя по крышам, — сказал Куравлев.

— Я поставил на нём маячок. Мама полезет на крышу и сразу найдёт.

После той демонстрации на улице Горького, когда Куравлёв выхватил сыновей из-под дубин, оба сына присмирели, примирились с отцом, стали реже ходить на молодёжные сборища.

Младший сын расправлял бабочек, которых изловил во время летних походов. Пинцетом брал бабочку с влажной тряпицы, где она возвращала гибкость своим хрупким крыльям и усикам. Помещал бабочку в липовую расправилку, накладывал на крылья узкие полоски бумаги, белые, как бинты.

Бабочка несколько дней сохла в расправилке, после чего сын переносил её в стеклянную коробку. Несколько таких коробок драгоценно сияли на столе.

— Это что за бабочка? — Куравлёв указал на большую, с тёмно-лиловым отливом.

— Переливница. Представляешь, поймал сразу несколько переливниц у лужи после дождя. Они прилетали на водопой.

— А эта? — Куравлев кивнул на небольшую, огненно-красную, с золотом бабочку.

— Это червонец. Он летает, как молния. Золото мелькнёт и исчезнет. Я поймал его на лугу, когда он сел на луговой колокольчик.

— А ты знаешь, что все разведчики собирают бабочки? Это лучшее прикрытие.

— А Паганель тоже был разведчиком?

— Несомненно.

— А ты разведчик?

— Все писатели — это разведчики Господа Бога. Господь посылает их на землю, чтобы они добыли для него ценную информацию о людях. Писатель возвращается к Богу, и тот либо принимает информацию, либо прогоняет с глаз долой.

— А ты принесёшь ему ценную информацию?

— Это выяснится, когда я умру.

Сын, казалось, не расслышал ответ, сжал пинцетом мягкое тельце бабочки.

Вечером, когда в гостиной горела люстра, чудесно пахли фиолетовые флоксы, золотые шары напоминали деревенские палисадник, а за окном бесшумно полыхал перекрёсток, жена Вера положила руку на плечо Куравлёва:

— Витя, что происходит?

— А что происходит?

— Не знаю, но что-то тебя тяготит.

— Ничего.

— Но я же вижу. Твои звонки, телефонные разговоры, поездка на Новую Землю. Тебя окружают опасные люди. Ты вошёл в какой-то сговор. Боюсь за тебя.

— Никакого сговора, просто работа. Упорная работа в газете. Ты же знаешь, какой я упорный. Чем труднее и безнадёжнее, тем я упорней.

— Я боюсь за тебя.

— Зачем бояться? Мы живём в довольстве, наслаждаемся этой квартирой. Афганистан, книга, орден. Все благодаря моему упорству. Бывают срывы, когда я могу сломаться. Александр Николаевич Яковлев решил испытать моё упорство. Обвинил в государственном заговоре, пригрозил тюрьмой.

— Я очень боюсь. Что-то приближается, ужасное, смертельное. И ты в плену этого ужасного и смертельного.

— Посмотри, какие чудесные флоксы. Это цветы осени. Всё будет хорошо, моя милая. Я всё преодолею. Я упорный.

Жена убрала руку с плеча Куравлёва и погрузила лицо в фиолетовые флоксы. Закрыла глаза, словно пьянела.

Куравлёв помнил, как его ломали. Он оставил профессию ракетчика, покинул дом с любимыми мамой и бабушкой и кинулся в странствия, как в пучину с обрыва. Пересекал пустыню с верблюдами. Гонял во льдах упряжки собак. Плавал на сейнере, вытягивая сети, полные рыбы. Работал на раскопках с археологами. И всё для того, чтобы писать. Утолить сладостную потребность изображать этот мир.

Вернулся в Москву, привёз кипу рассказов. Не зная им цену, решил показать знатоку, писателю, владеющему волшебным искусством. Ему порекомендовали писателя по фамилии Финк, старичка, который воевал в Иностранном легионе и написал об этом книгу. С робостью, благоговея, Куравлёв отнёс Финку кипу рассказов. Был приглашён через неделю. Финк добросовестно перечитал рассказы и посоветовал Куравлёву больше никогда не браться за перо:

— Делайте, что хотите. Строгайте табуретки. Копайте землю. Работайте напильником. Но никогда не берите в руки перо.

Большего страдания Куравлёв ни прежде, ни потом не испытывал. Ему отказывали не просто в мастерстве. В нём отрицали сердцевину, личность, перечёркивали все усилия, все жертвы, которые он принёс во имя творчества. Уничтоженный, с потухшим сознанием, он вернулся домой. Сжёг во дворе кипу мерзких рассказов. Он очутился на краю смерти. У него поднялась температура. Он был чёрный, с пустыми глазами. Жена в белой ночной рубахе принялась его утешать. В кроватке чмокал во сне их первенец Стёпушка. Куравлёв чувствовал, что колеблется на зыбкой струне. Минуту, и он сорвётся с каната и разобьётся.

Он почувствовал под сердцем толчок, угрюмое упорное противодействие наступающей смерти. Зажёг настольную лампу, взял бумагу и среди ночи написал один из лучших своих рассказов, вошедших в первую, одобренную Трифоновым книгу. Это ночное писание, одинокое сопротивление смерти, угрюмое, огненное стремление к победе он не забывал никогда. Знал за собой способность побеждать смерть.

За окном пылал ночной перекрёсток. Туманно светила рубиновая звезда. Куравлёв сидел в кабинете и мучительно, в который раз, вычерчивал схему предполагаемого заговора. "Союзный Центр" с Горбачёвым и примыкающими к нему государственными мужами он заключал в овал. "Параллельный центр" с Ельциным, которого окружали Яковлев, Шеварднадзе, рой советников, среди которых были политологи из "Рэндкорпорейшн", он поместил в другой овал. Соединял их стрелками, смыкал, размыкал. Чертил, перечёркивал. Искал ответ, какая сила разомкнёт оба овала, они сомкнутся, как два урановых полушария, и произведут взрыв чудовищной силы. Ответ всплывал и вновь погружался в глубину, в хитросплетение имён, интриг, недомолвок. В изнеможении оттолкнул исчёрканные листы. Лёг спать на диван. Но и ночью кошмар продолжался. Возникали стрелки, круги, имена, линии связей, направление главного удара, и всё тонуло в расплавленном олове больного воображения. Он был бессилен разгадать жуткий ребус.

Но внезапно во сне ребус был разгадан. Появилось ясное знание. Обнаружился ключевой элемент заговора. Лицо того, кто совершит смыкание урановых полушарий.

Это сновидение потрясало. Можно было бежать в газету, оповестить людей о грозящей катастрофе. Можно звонить Бакланову, назвав лицо, которое всех погубит.

Куравлёв проснулся, и в момент пробуждения открытие стало улетучиваться. Сон забывался. Всё превращалось в жидкое олово.

Его разбудил ранний звонок. Владимир Бондаренко, соратник по газете, задыхаясь, голосом, срывающимся на петушиное кукареканье, требовал включить телевизор:

— Ничего не знаешь? Горбачёв свергнут! Ельцин арестован! В Москву ввели войска! Наконец-то!

Куравлёв кинулся к телевизору. Диктор, который обычно вёл официальные передачи, освещал ход партийных съездов, комментировал парады, твёрдо, металлическим голосом сообщал: в связи с болезнью Горбачёва власть в стране переходит к Государственному комитету по чрезвычайному положению. Комитет берёт на себя всю полноту власти. Прекращает деятельность деструктивных антигосударственных сил. Восстанавливает нарушенное управление страной. Приводился состав Комитета. Вице-президент Янаев, председатель Совета министров Павлов, председатель Комитета государственной безопасности Крючков, министр обороны Язов, зампредседателя комитета обороны Бакланов, министр внутренних дел Пуго, председатель колхоза Стародубцев.

Куравлёв ждал, что назовут и его фамилию. Но её среди членов ГКЧП не было. Сверкнула догадка. Вот что привиделось ему накануне. Какое событие он увидел во сне, но не смог перенести его в явь. Оставил в расслабленном олове сна. Он чувствовал ликование, торжествовал. Кончились его страхи. Враги государства арестованы. Государство спасено. Об этом совеща-

лись государственные мужи на Новой Земле. Об этом принимали решение, а когда оно было принято, в самолёте на столе лежала карта Москвы с её проспектами, магистралями, учреждениями, к которым выдвигались войска.

Куравлёв подбежал к окну. По улице Горького вниз, к Кремлю, двигались танки. От их тяжёлого хода, рокота двигателей дрожали стекла. Колонна боевых машин пехоты вильнула острыми носами и ушла по Тверскому бульвару, оставив синий дым.

Надо было срочно отправляться в газету.

Глава тридцать шестая

В газете "День" давалось полное заявление ГКЧП, состав Комитета. Куравлёв быстро, на одном дыхании, написал передовицу, где приветствовал Комитет. Давал ему наказы первых шагов после ареста Ельцина и подавления "перестройщиков".

— Прошу вас работать в полную силу. Этот номер газеты будет историческим. Его будут показывать в музеях. Коллекционеры станут платить за него большие деньги, — обратился Куравлёв к сотрудникам.

— Этот "День" мы приближали, как могли... "День" победы! — пропел Бондаренко.

— Готовьтесь, товарищи. Мы становимся главной газетой страны. Слава ГКЧП! — воскликнул Нефёдов.

— Надо создать при газете свой аналитический центр, — заметил Султанов.

— Всё будет, друзья, всё будет! — воодушевлял Куравлёв сотрудников.

Он раздал задания небольшому коллективу газеты. Направил корреспондентов в город расспрашивать на улицах прохожих. Вступать в разговоры с военными, с этими сельскими парнями в танковых шлемах. Поручил взять интервью у деятелей культуры, выступавших против Ельцина и Горбачёва. Запустив механизм газеты, Куравлёв поспешил на улицы, чтобы стать свидетелем грандиозного события.

Было солнечно, людно. По улице Горького катились машины. Не было страха, паники. Люди подходили к танкам, заговаривали с экипажами. Глазели на проходящие колонны, как глазеют на технику во время репетиции парада. На перекрёстке стоял танк, направив пушку на Тверской бульвар. Танкисты сидели на броне. Девушки протягивали танкистам цветы.

— Покатайте на танке!

Старушка наливала из термоса кофе, поила танкистов.

— Пейте, сынки. Мой-то муженек, Царство Небесное, был танкист. Любил выпивать.

Куравлёв направился к Белому Дому, где должен был заседать Верховный Совет. Белый Дом казался огромным кремовым тортом. Вокруг было людно, но не очень. Люди входили в Белый Дом, выходили, собирались редкими группками. Перед Белым Домом стоял танк, повернув пушку в сторону набережной. Командир танка без шлема стоял подле машины, общался с людьми.

— Да никого мы не будем давить. Стали тут, чтобы вас защищать.

— А от кого защищать?

— А кто нападёт. Может, пьяный.

— А если Крючков нападёт?

— И от него защитим.

— А если Павлов?

— И от него.

— А если Язов?

— Он не нападёт. Он нас сюда и поставил.

Танкисту нравилось внимание людей. Он был экскурсовод, дающий пояснения любопытным. Ему несли бутерброды с колбасой. Кто-то пытался налить водку. Танкист брал бутерброды, но от водки вежливо отказался. Кругом было много фотографов, виднелись телекамеры. Танкист с удовольствием позировал.

Куравлёв собирался пройти в Белый Дом, посмотреть на депутатов, увидеть воодушевление одних и подавленность других. Тех, кто рьяно поддерживал Ельцина. Тот был арестован, и они лишились предводителя.

От набережной к Белому Дому вырвалось три "мерседеса". Развернулись у танка и встали. Из передней машины вышел Ельцин. Его окружала свита. Защёлкали фотоаппараты, загорелся огонёк телекамеры. Ельцин бурно раздвигал руками охрану. Прошёл к танку. Ему помогли забраться. Вслед за ним залезли другие, все, кто мог разместиться на броне. Ельцин держался за пушку. Кто-то сзади поднёс ему мегафон. Рыкающий голос, похожий на грохот танкового двигателя, полетел над толпой.

— Граждане России, в стране произошёл государственный переворот. Кучка предателей попыталась захватить власть, устранить законного Президента. Остановим преступников!

Куравлёв был потрясён. Ельцин не арестован. Явился, как призрак, из воздуха, и сразу на танк, и с брони обращается к народу с воззванием.

В воззвании повторялось: в стране произошёл государственный переворот. Группа заговорщиков изолировала Горбачёва, который находится на отдыхе в Крыму, и пытается захватить власть. Не дадим осуществиться перевороту! Все, как один, на защиту демократических завоеваний "перестройки"! Против террора, за идеалы демократии!

Его снимали. Он сжимал кулак, двигал желваками. Знал, что на танке он выглядит мощно. Куравлёву казалось, что тулово Ельцина переходит в танковую броню, в гусеницы, а сам он, с ходящими желваками, набыченной головой, бурно дышащими ноздрями, является кентавром. Сиплым рыком он запустит двигатель и, грохоча гусеницами, двинет через Москву, круша и ломая. Ельцин кончил речь, сошёл с танка, скрылся в подъезде Белого Дома. Множество людей побежало за ним, выкрикивая: "Ельцин! Свобода!" Куравлёв, потрясённый, стоял, не понимая, почему не арестован Ельцин. Почему не сработал план ГКЧП. Какая сила вмешалась и сорвала план. Какой обман таился в его вещем сне, который обернулся злой насмешкой.

Куравлёв увидел, как к танку подкатила машина. Из неё вышел виолончелист Мстислав Ростропович, с отвисшими губами, с тиком, похожий на юродивого. Ему поднесли футляр, достали виолончель. Ростропович стал играть перед танком страстную, виртуозную музыку, быть может, Моцарта. В музыке было ликование победы. Музыканту аплодировали. Кто-то подбежал и протянул ему автомат. Ростропович отложил виолончель, неумело через голову нацепил автомат. Счастливо позировал, слюняво улыбаясь, как блаженный, пока его снимали, а потом увели в Белый Дом.

Не понимая случившегося, предчувствуя непоправимую беду, Куравлёв вернулся в газету. Сотрудники были растеряны, требовали от него объяснений. Куравлёв позвонил Бакланову. Помощник ответил:

— Олега Дмитриевича нет на месте. Когда появится, я вас соединю, Виктор Ильич.

Номер газеты был почти готов. Куравлёв распорядился крупным шрифтом на первой полосе набрать: "Слава ГКЧП!" Но лозунг звучал надрывно, неискренне. Куравлёв включил телевизор. Передавали пресс-конференцию ГКЧП. В президиуме сидели Янаев, Пуго, Бакланов, Павлов и Стародубцев. Не было Крючкова и Язова.

Все пятеро сидели плотно друг к другу, как куры на насесте. И было в них что-то птичье, пугливое. Словно их лишили языка. Поразили косноязычием. Журналисты бойко задавали вопросы.

— А правда ли, что Горбачёв отравлен?

— А кто поимённо должен быть арестован?

— Вы не боитесь, что всё это кончится грандиозным судебным процессом, и вы уже сидите на скамье подсудимых?

Ответы были рыхлые, квёлые. В них не было воли. Их словно заколдовали, опоили зельем. Они были несравнимы со свирепым кентавром, с его могучей волей и сокрушительной мощью. Казалось, они побывали под гусеницами его танка. И зал это чувствовал, вопросы становились всё ироничнее. Казалось, зал смеётся над ними.

Куравлёву стало страшно. Стена, которая защищала государство, на глазах осыпалась. Эту рыхлую саманную стену проламывал танк. Человек с бычьим лбом и свирепыми глазами знал свою цель, добывал победу. Куравлёв вдруг вспомнил, как Янаев бултыхнулся в бассейн и радостно охнул:

— Эхма! Забодай меня комар!

Куравлёв вернулся в газету. Макет "Дня" висел на стене с бравурным лозунгом "Слава ГКЧП!" Слава этим растерянным беспомощным людям, которых переиграли, обманули.

Куравлёв отправил газету в набор с обречённым чувством, как отправляют в крематории гроб в щель к горящим печам. Он снова покинул редакцию и поехал к Белому Дому. Не доехал. По Новому Арбату шла многотысячная колонна. Впереди, окружённый сподвижниками, шагал Ельцин. Несли трёхцветное полотнище, перекрывающее весь проспект, от тротуара до тротуара. Полотнище напоминало нож бульдозера, который срезал любые препятствия, сдвигал в сторону любые помехи. Сила, которая двигала колонну, была нечеловеческой, имела иную природу. Она смещала материки. Это была сила самой истории, которая крылась под спудом и вырвалась на свободу. Творила свою историческую нечеловеческую волю.

Куравлёв прижался к стене. Мимо двигалось множество лиц. Иные он узнал, ибо они появлялись на телеэкране. Промелькнул Франк Дейч, с озарённым лицом. Бочком, сбиваясь, просеменил Марк Святогоров. Вдруг показалось — это могло померещиться — в толпе прошагал Фаддей Гуськов, что-то выкрикивая.

К вечеру Куравлёв вернулся домой. Жена ни о чём не спрашивала, глядя на его почернелое лицо. На телеэкране танцевали балерины, глупые, легковесные, словно это была насмешка над случившейся жуткой бедой. На перекрёстке стоял танк. Вокруг толпился народ. Танкист что-то объяснял, а ему кидали цветы.

Глава тридцать седьмая

Весь следующий день был мутный, рваный. Куравлёв не понимал, что происходит. Опять позвонил Бакланову, и услышал вежливый ответ:

— Олег Дмитриевич в отъезде. Как только вернётся, я вас сразу соединю.

По радио "Свобода" Франк Дейч сообщил, что несколько членов ГКЧП летали к Горбачёву в Форос, но тот их прогнал. По другим источникам, среди членов ГКЧП возникли разногласия, и военное положение скоро будет снято. В редакцию "Дня", надеясь что-нибудь выведать у осведомлённого Куравлёва, звонили министры, которых он не знал, звонил начальник Главного политического управления армии, которому было известно о близости Куравлёва к начальнику штаба. Все хотели узнать обстановку. Это говорило об общем смятении, об отсутствии информации. О военном положении, при котором работали все телефоны, выходили все газеты.

Вышел номер "Дня" с бравурным лозунгом, набранным красной краской: "Слава ГКЧП"! И сразу начались звонки из демократических изданий.

— А правда ли, что вы летали на Новую Землю, чтобы там с членами ГКЧП обсуждать детали путча?

— А почему ваше имя отсутствует среди членов ГКЧП? Значит, есть тайные списки?

— А кто, кроме Ельцина, подлежал аресту? И правда ли, что в "Матросской тишине" уже подготовили отдельные камеры?

На одни вопросы Куравлёв отшучивался. На другие отвечал зло. От третьих отмахивался.

Он тосковал. Почему с лозунгом "Слава ГКЧП"! он остался один, а сам ГКЧП испарился? Почему он в одиночестве отбивается от натиска врагов, и никто из государственной прессы не спешит к нему на помощь? Почему второй день на телеэкранах танцуют насмешливые балерины, похожие на голубых насекомых? Их выпустили специально, чтобы мучить его. Они напоминают голубые цветочки на костяной маске смерти, что явилась в ЦДЛ. Где друзья, в час его муки покинувшие его?

Куравлёв оставил машину и шёл по людной улице Горького мимо Елисеевского магазина. Он увидел женщину, худую, с измождённым лицом, в длинном до земли синем платье, всю в кружевах, в шляпе, увешанную бусами, колокольчиками, амулетами. Женщина шла, пританцовывая, как в менуэте, улыбалась неподвижным, ярко накрашенным ртом. Она приподнимала подол платья, словно перепрыгивала лужи. Тогда становились видны белые чулки и стоптанные туфли. Женщина кланялась встречным, делала книксены, снимала шляпу, рассыпая седеющие волосы. Она обращалась ко всем по-французски: "Мадам! Месье!" Но когда с кем-нибудь случайно сталкивалась, начинала грязно браниться.

Она увидела Куравлёва, устремилась к нему. Повисла у него на локте:

— Месье, я вижу, вы приличный человек. Избавьте меня от этой черни. Я приглашаю вас к себе. У меня ничего не приготовлено, только суп. Мы интересно проведём время.

Куравлев отшатнулся, почувствовав удушающий запах пудры. Женщина не отпускала его. Он вырвался и побежал. Она гналась за ним и хохотала:

— Куда же вы, месье! Суп очень вкусный. Мы прекрасно проведём время!

Куравлёв с трудом от неё ускользнул. Ему казалось, он пропах удушающей пудрой, дешёвыми духами и каким-то несвежим супом.

Явился домой измученный. Ничего не объясняя жене, затворился в кабинете и заснул на диване. И во сне за ним гналась женщина в синем платье. Она снимала белые чулки, обнажая худые, в синих венах ноги. Куравлёв проснулся, когда было уже темно. Потолок полосовал огненный крест. Куравлёв собрался и вышел из дома.

Он свернул с улицы Горького на Садовую и шёл мимо Концертного зала, театра Сатиры, мимо окаменелого Маяковского и ресторана "Пекин". На улице было пустынно, хотя в такие тёплые летние вечера клубилась молодёжь, играла музыка. Куравлёв шёл по опустелому городу, и ему казалось, вокруг что-то меняется. Сдвигались дома, жильцы переселялись из одной квартиры в другую, асфальт начинал странно бугриться. Словно город был слеплен из пластилина, и неведомая сила сминала его.

Приближаясь к Новому Арбату, у въезда в туннель он заметил скопленье людей. Ходили какие-то активисты в белых повязках. Делали распоряжения. Крутились репортёры, водили телекамерами, прицеливались к чему-то, что ещё не появилось. Внизу на входе в туннель была собрана груда арматуры, построена самодельная баррикада. Активист с белой лентой на рукаве давал указания трём молодым людям, которые стояли перед ним навытяжку. Их лица в сумерках казались бледными, нервными. Светились странным светом, каким светятся ночью болотные цветы. Они слушали активиста, который указывал вдоль Садового кольца, а потом наверх, к повороту на Белый Дом. Операторы их снимали. Молодые люди видели, что их снимают, хотели казаться бравыми, но продолжали волноваться.

Их к чему-то готовили, что-то внушали, чем-то оснащали. Куравлёв не разбирал слов, только слышал: "За свободу! За нашу и вашу свободу!" Ему стало страшно. Показалось, что три молодых человека намерены совершить нечто, что обернётся ужасом для них самих. В этом месте у въезда в туннель сошлись жестокие силовые линии. Этими линиями, как путами, связаны, и не в силах выпутаться, трое парней, и активист с белой повязкой, и он сам, Куравлёв. Всех стянуло к устью туннеля, чтобы дать совершиться чему-то непоправимому.

— Внимание! — крикнул активист и выбежал из туннеля. — Внимание!

Парни остались внизу. Куравлёв в руках у одного заметил бутылку, которую тот держал за горло. Вдалеке на Садовом кольце раздался звенящий лязг. Из сумерек, светя огнями, появились боевые машины пехоты. Три остроносых танкетки теснили к тротуару проезжие автомобили. Они приближались. Были видны их башни, тонкие пушки. Из командирских люков торчали головы в шлемах. Журналисты, давя друг друга, снимали. Зажглись лучи телекамер. Куравлёв чувствовал, что приближается последний момент, когда можно задержать беду. Нужно кинуться на проезжую часть, замахать руками, остановить машины, развернуть их обратно.

Первая машина стала погружаться в туннель. Парень с бутылкой пропустил её, забежал с кормы и кинул бутылку. Огонь загорелся. Машина встала, дернулась, рванула назад. Парень, бросив бутылку, стоял, раскрыв руки, не желая пустить машину. Танкетка кормой сшибла его, подмяла под гусеницы, прокрутила среди катков и зубчатой стали кровавое месиво костей.

Второй парень ловким скачком кинулся на броню, пытаясь достать торчащую из люка голову. Машина рванулась, сбросила парня. Из-под гусениц раздался истошный вопль, как крик убиваемого зайца. Машина помчалась в туннель, волоча за собой изуродованное тело.

Третий парень набегал на машину, но на броне запульсировал огонёк пулемёта, и парень упал, а машина на большой скорости, огибая парня, ушла в туннель, раздавив откинутую на асфальт руку.

Кругом кричали. Мерцали фотоаппараты. Пересекались лучи телекамер. Народ выкрикивал:

— Убийцы! Убийцы!

И уже сыпали фиолетовыми вспышками милицейские машины. Подкатывала с воем карета "скорой помощи". Куравлёв понимал, что случилось необратимое. Эти кровавые кости, застрявшие в гусеницах, эта раздавленная на асфальте рука опрокинули всю громадную махину ГКЧП.

Ночью дома он подошёл к окну и видел, как по улице Горького уходят танки. Войска покидали город. Танк, что стоял на перекрёстке, фыркнул дымом, крутанулся волчком и пошёл догонять остальные машины.

Глава тридцать восьмая

Наутро в Москве не было ни единого танка, не одной машины пехоты. Броня ушла, оставив в городе тёмные вмятины. Бушевало телевидение. Депутаты Верховного Совета, перекрикивая друг друга, клеймили путчистов, чтобы никто не посмел заподозрить их в связи с заговорщиками. Коммунисты на митингах жгли партбилеты, показывали, как горит в их руках красная книжица. Александр Яковлев назвал Куравлёва идеологом путча, написавшим манифест путча "Слово к народу". Газету "День" окрестил главным штабом путчистов. Появились первые сообщения об арестах. Показали Крючкова, взятого под стражу, маленького, с весёлой стариковской головкой. Янаев всё поводил плечами, совершал винтообразные движения шеей, словно хотел вывинтить себя из скверной истории. Стародубцев растерянно оглядывался, забыв закрыть рот, казался губастым деревенским мужиком. Маршал Язов, уже в тюрьме, сидел перед камерой в спортивных штанах и слезливо просил прощения, но почему-то не у Горбачёва, а у Раисы Максимовны:

— Простите меня, старого дурака. Бес попутал!

Ещё недавно могучие повелители сейчас были ничтожными, безмерно испуганными человечками. Куравлёв ждал ареста. Всё в нём ныло, тосковало, страшилось. Ждал, что в дверь позвонят и, как в былые времена, появятся офицеры в синих фуражках и поведут его вниз к машине. Было жаль жену и детей. По телевизору он услышал, что час назад арестован Бакланов. Вспомнил, как недавно Бакланов показывал ему плывущую в море медведицу с медвежонком. Это воспоминание о чудесном море, о косматом вольном звере лишь усилило боль.

Зазвонил телефон, который молчал всё утро. Звонил помощник Бакланова:

— Виктор Ильич, вы хотели переговорить с Олегом Дмитриевичем? Он у себя в кабинете.

— Но ведь он арестован?

— Нет, работает у себя в кабинете.

— Могу я его увидеть?

— Я вам выпишу пропуск.

Куравлёв оставил машину у Политехнического музея и направился мимо часовни Плевны. Ему попался человек с чёрными ужаснувшимися глазами. Должно быть, узнал его, и, казалось, волосы у него поднялись на загривке,

то ли от испуга, то ли от ненависти. Подгулявшая молодёжь окружила его:

— Путчист! Теоретик путча! На фонарь его! — Куравлёв протиснулся сквозь взвинченное сборище, получив болезненный удар в бок.

Город, по которому он шёл, который любил, знал его родные улочки и закоулки, город был против него. Против были люди, фасады, фонари, летящие в небе галки. Он был один, всеми покинут. Город мог его расклевать, растерзать, повесить, и никакой храбрец не кинется на помощь.

Перед входом в ЦК он показал постовому паспорт. У постового была синяя фуражка. Тот долго сличал с фотографией лицо Куравлёва. Куравлёв нервничал, ожидал, что его арестуют. Постовой вернул паспорт, и Куравлёв прошёл к лифту.

Коридоры были пусты. Ни единого человека, ни шагов, ни стука двери. Казалось, кабинеты наглухо заперты, и все недавние их обитатели, вкрадчивые, полные достоинства, враз покинули здание.

В приёмной Бакланова дверь была распахнута, помощника не было. Куравлёв прошёл в кабинет. В большом знакомом кабинете всё было перевёрнуто, стулья сдвинуты, шкафы раскрыты. На полу валялись книги, бумаги. Казалось, здесь прошёл обыск.

Бакланов, небритый, в несвежей рубашке, совал в хрустящую, разрубавшую бумаги машину какие-то листы. Они исчезали в машине, превращаясь в лапшу. Бакланов доставал всё новые бумаги, и они превращались в лапшу. Куравлёв смотрел на чавкающую гильотину, в которую Бакланов без устали совал бумаги. Ему казалось, что, запечатлённые на этих бумагах, исчезают навек чертежи великих изделий, формулы великих открытий, стихи великих поэтов. Быть может, неизданный Пушкин или вторая часть "Мёртвых душ", или его собственная, лучшая, ещё не написанная книга.

Бакланов поднял голову, увидел Куравлёва:

— Скоро за мной придут.

— Но объясните, что случилось? Почему не арестован Ельцин? Почему ушли войска?

— Дрогнули Язов и Крючков.

И это скупое, ничего не объясняющее "дрогнули" ошпарило Куравлёва. Его тоска, многодневное ожидание победы и бездарный проигрыш всеведающих, всемогущих мужей, оказавшихся жалкими карликами, всё это хлынуло из него, как ливень:

— Никто не дрогнул! Все изначально дрожали! Вас обыграли! Это знали все советники, знали в "Рэндкорпорейшн", знал Горбачёв, знал Крючков, этот человечек с весёлой стариковской головкой! Горбачёв сам составил список ГКЧП, включил крестьянина Стародубцева! Уехал на отдых в Форос, поручил вам якобы сделать вместо него "чёрное дело". Убрать Ельцина, расчистить завалы, а потом вернуть Горбачёву власть! И вы поверили? Он с вами обошёлся, как с куклами! Крючков, этот маленький комитетчик, был главным в ГКЧП! Он должен был дать приказ на арест Ельцина. Он его не дал, и давать не хотел! Ельцин на танке назвал вас государственными преступниками. Вы и есть государственные преступники, бездарно проиграли государство! Вы метнулись к Горбачёву, просили его вернуться в Москву. Он прогнал вас, бросил на растерзание толпы! Вы метались между Москвой и Форосом, а Ельцин присваивал главные государственные полномочия! И теперь у Горбачёва нет полномочий! Нет Союзного центра, а есть Ельцин, который распустит Союз! Вас использовали, выбросили, и государство погибло! Вас всех повезут в тюрьму, а Крючкова на дачу! Контора, которой он управляет, не может ничего, кроме как ставить к стенке! Россия весь двадцатый век провисела на дыбе, а теперь будет висеть весь двадцать первый! Какое несчастье!

Куравлёв изо всех сил удерживал рыданья. Бакланов молча выслушал и сказал:

— Есть просьба. Борис Карлович Пуго просил взять у него документы, очень важные. Его через час арестуют. Если можете, поезжайте в Барвиху к нему на дачу и заберите документы.

— Хорошо, — подавленно сказал Куравлёв.

Бакланов подошёл, и они обнялись. Куравлёв покидал кабинет, слыша, как чавкает гильотина. Он шёл по коридору и услышал крик, шум многих шагов, звуки борьбы. Появились люди в чёрных пиджаках. Они держали за руки человека. Тот вырывался, падал на пол, и тогда его волокли. Они поравнялись с Куравлёвым, и он узнал в человеке того обитателя кабинета, с кем встретился неделю назад в коридоре, и тот слегка улыбнулся. Теперь, вырываясь, человек умоляюще посмотрел на Куравлёва:

— Помогите! Умоляю!

Его протащили мимо к кабинету. Дверь в кабинет была раскрыта. Человека вволокли в кабинет, схватили за ноги и пихнули в раскрытое окно. Он исчез, издав в падении слабый крик. Люди в пиджаках вышли из кабинета. Посмотрели на Куравлёва, словно что-то решали. Повернулись и быстро ушли.

Дверь к кабинет оставалась открытой, открытым оставалось окно. Куравлёв стоял перед раскрытой дверью. Только что у него на глазах убили человека. Человек взывал о помощи, умолял Куравлёва, но тот не помог, испугался. Он знал, что настало время убийства людей. Вчера на Садовой он видел, как убили трёх парней, перемолов гусеницами. Сейчас увидел, как убили ещё одного. Впереди будет много убийств, много крови.

Он спустился в лифте, боялся, что люди в пиджаках догонят его. Показал паспорт постовому в синей фуражке и пошёл к Политехническому музею. На Рублёвском шоссе было необычно мало машин. То и дело проносились шальные черные "Волги" с фиолетовыми вспышками. В Барвихе он нашёл дачу Пуго. Ворота были раскрыты. Виднелся деревянный дом с верандой, цветник с астрами. Куравлёв не решался войти, искал кнопку звонка на воротах. С крыльца дома сбежало несколько людей, все в таких же чёрных пиджаках, будто сшитых у одного портного. Один нёс кейс, а другие, обступив его, защищали кейс. Прошли мимо Куравлёва, не взглянув на него. Свернули за угол, где раздался шум отъезжающей машины.

Куравлёв не решался войти в дом. Надеялся встретить Пуго на пороге. Навстречу с белым лицом, с рассыпанными кудряшками, хватая воздух рыбьим ртом, вышел Явлинский.

— Как же можно так прямо! Я же просил!

Он едва не упал с крыльца. Шатаясь, пошёл к воротам, и снова прошумела отъезжающая машина.

Куравлёв поднялся на крыльцо. На веранде стоял букет астр. Висел писанный маслом портрет стареющей женщины. На диване лежал огромный кот с медовым глазами. Куравлёв шагнул в комнату, увидел лежащего на ковре Пуго в белой рубашке, на которой расползалось, ещё булькало пятно крови. Тут же на кровати стонала полная женщина. У ней в голове среди волос кровенела дыра.

Куравлёв опоздал. Он опоздал повсюду. Опоздал родиться, а теперь опаздывает умереть. Наступило время, когда убивают людей. И его непременно убьют, но почему-то ещё не убили.

Он вызвал по телефону "скорую помощь", слыша стоны умирающей женщины. Садясь в машину, по радио узнал, что Бакланов арестован.

Глава тридцать девятая

Куравлёв гнал по Рублёвке среди крякающих сирен, воспалённых лиловых вспышек. Свернул на другое шоссе, на третье. Гнал вслепую, на юг или на север. Ему казалось, за ним погоня. Его перехватят люди в чёрных пиджаках и убьют каким-нибудь жутким способом. Он спасался от них, удалялся от Москвы, хотел забиться в леса, в болота, в бедную, никому не известную избу, чтобы воющие чёрные "Волги" промчались мимо. Хотелось скрыться от людей, которые убивают. Быть может, уйти в чащу леса, вырыть землянку и жить там, в стороне от троп и дорог, одичать, обрасти бородой.

Так он мчался, одержимый страхом, пока вдруг не вспомнил о жене и детях. Он бросил их в Москве, где убивают. К ним явятся люди в чёрных

пиджаках и станут выведывать о нём у милой беззащитной жены, у Стёпушки и Олежки. И когда они будут выведывать, ломая им руки, он притаится в глухой избе, спасаясь от мук.

Это прозрение было ужасно. Страх сделал его низким животным. Он испытывал к себе отвращение. Развернул машину и помчался в Москву.

В Москве был вечер, зажглись фонари. Люди попрятались по домам, только в окнах горели одинаковые оранжевые абажуры. Куравлёв ехал по бульвару мимо Чистых прудов и вдруг увидел Макавина. Тот медленно шёл, переставляя длинные ноги. То ли гулял, то ли брёл, забыв дорогу.

— Макавин! Антон! — позвал Куравлёв, опуская стекло.

Макавин обернулся:

— Витя, ты?

Куравлёв вышел из машины и пошёл рядом с Макавиным.

— Видишь, что творится? Город пуст. Народ как вымер. Все спрятались, как улитки, — сказал Куравлёв.

— Русский народ — предатель. Сначала предал царя. Потом предал Сталина. Предал Хрущёва и Брежнева. Сегодня предал Горбачёва. А завтра предаст Ельцина. Ненавижу русский народ!

— Народ, как тростник. Его буря гнёт.

— Россия подошла к самоубийству. Здесь будет разрушено всё. Народ, что громил церкви и жёг усадьбы, теперь станет громить заводы и университеты, которые сам и построил. Русский народ испытывает сладость самоубийства. Народ — убийца и народ — самоубийца.

— Народ обманули. Его предали. Он беззащитен.

— Ты увидишь, как беззащитный народ станет убивать. Россия должна быть разрушена дотла. Она будет разрушать себя целый век, пока какой-нибудь кровавый людоед не укротит народ и не заставит заново строить заводы и университеты. На костях. Чтобы всё это снова разрушить. Раз в сто лет Россия разрушает себя дотла, а потом заново строит себя на костях. Дурная бесконечность. Россия — медуза, которая пульсирует между трёх океанов, не давая покоя ни себе, ни другим.

— Но ты же писатель! Тонкий умный писатель! Быть может, лучший из современных писателей. Ты должен описать народ, который погрузили в ад!

— Перестань! Какой писатель? Наташка Петрова с её паскудными статьями. Саша Кемпфе с его тупым непониманием России. Андрей Моисеевич у "Аэропорта", как паучок, плетущий из слюнки свои паутинки. Трифонов, последователем которого хотели меня назначить. Всё вздор, сор, забыто, нет ничего. Начали шевелиться земные платформы. Земля стряхивает с себя Россию, а Россия цепляется, хочет удержаться. Сыпет костями, среди которых ползают рубиновые морские звёзды. Ненавижу! Уеду!

— Ты хочешь спастись от взрыва? Но ты же писатель, должен описать этот взрыв.

— Уже написаны "Окаянные дни". Написан "Архипелаг ГУЛаг". Мне здесь нечего делать. Я убегаю. Я — человек убегающий. А ты оставайся! Ты опишешь взрыв, если одна из костей не ударит тебя в лоб!

— Ты покидаешь страну?

— Завтра сажусь на самолёт и улетаю в Эквадор, в джунгли. Чтобы никогда не видеть русского лица, не слышать русской речи. Прощай, Витя!

Они хотели обняться, но воздержались. Макавин пошёл дальше, длинноногий и одинокий. Куравлёв смотрел ему вслед, как он мелькнул под фонарём. Воздух был сухой, горячий. Быть может, таким его сделал их разговор. Кругом тихо потрескивали, пробегали розоватые сполохи. Внезапно с крыши сорвался огненный шар, полетел по дуге, обогнул деревья и упал в пруд. Шипел, искрился на воде. Медленно ушёл в глубину и погас. Другой шар прилетел, ударил в фасад дома, отскочил, перелетел улицу, ударил в другой фасад, повис на древе. Как бенгальский огонь, рассыпал искры и выгорел, превратившись в белый пар. Ещё один огненный шар медленно плыл прямо на Куравлёва. Остановился перед самым лицом, уплыл в сторону и с треском взорвался. Там, где он только что был, светилось и не гасло пятно.

Куравлёв не знал, что это было. Может, сухая гроза, рождавшая шаровые молнии, кидавшая их, как гранаты, в омертвелый город. Он сел в машину и поехал домой.

Он стал открывать ворота, чтобы поставить машину во двор. Мимо бежал растрёпанный бестолковый человек, в котором Куравлёв узнал поэта, завсегдатая Пёстрого зала, где тот выяснял, не он ли лучший поэт России.

Поэт увидел Куравлёва:

— Собирайся, пойдём! Евтушенко захватил ЦДЛ! Теперь с толпой демократов направляется на Комсомольский, чтобы захватить российский Союз! Все наши собираются! Не отдадим Евтушенко Союз! Бондарев всех собирает!

Поэт побежал дальше, размахивая руками, словно боялся поскользнуться на льду. Куравлёв замер, забыв открыть ворота. Там, на Комсомольском проспекте, собираются писатели, чтобы дать отпор победителям. Не чувствуют себя побеждёнными. Готовы сражаться. Всесильные генералы, могучие партийцы, надменные хозяева жизни — все разбежались, сдали страну. А писатели, братья его, без оружия, без танков, без бомбардировщиков, дают отпор врагу, как последний, обречённый на смерть батальон. Сберегают малый клочок земли, крохотный плацдарм, с которого начнётся наступление.

Куравлёв позвонил жене, просил не тревожиться, обещал скоро вернуться и помчался на Комсомольский. Особняк Союза писателей России с белоснежными колоннами, янтарным фасадом, горящими окнами, напоминал дворец, в котором идёт бал. Куравлев подёргал литые медные ручки входных дверей. Ему отворили не сразу:

— Это наш, наш, Куравлёв! — сказал кто-то, карауливший у дверей.

В просторном фойе двигались люди, быстрые, ловкие, хваткие. У них были светлые бороды, русые волосы, перетянутые лентами. Они переставляли мебель, толкали к дверям диван, готовились к осаде. Напоминали героев фильма "Александр Невский".

— Вы откуда? — спросил Куравлёв.

— Славянский собор, — ответил парень с русой бородкой, пришпиливая на стенд листок. Это был приказ по гарнизону, предписывающий членам штаба собраться на втором этаже. Куравлёв с радостью прочитал приказ. Здесь была оборона, дисциплина, осмысленный отпор.

Куравлёв прошёл на второй этаж в обширный кабинет Бондарева, полный народа. Бондарев сидел за столом, чуть нахохлившись, зорко вскидывая глаза на окружавший его люд. Он беседовал с Валентином Распутиным и Василием Беловым, что-то им твёрдо втолковывал.

— А, солдат! Здравствуй! — Бондарев увидел Куравлёва, и это бондаревское "солдат" утвердило, успокоило Куравлёва. Он почувствовал себя бойцом, солдатом в общем строю, у которого есть командир, этот отважный фронтовик Юрий Васильевич Бондарев.

Теперь Куравлёв был не один. Его окружали солдаты. Все вместе, единой волей, отражают захватчиков. И если придётся умереть, то не в чёрном пыточном подвале, не в петле, а на поле боя, вместе с товарищами.

К Бондареву подошёл долговязый, очень худой поэт, кажется, из Воронежа:

— Юрий Васильевич, — наклонился он к Бондареву, — разведка докладывает. В ЦДЛ много народу. Среди них Евтушенко. Обсуждают, идти ли им на Комсомольский.

— Молодец, — сказал Бондарев, — Каждые полчаса мне докладывай.

Один из поэтов, писавший о растениях и животных, вскочил на стул и громко, сначала фальшиво, а потом всё уверенней, запел:

— Наверх вы, товарищи, все по местам! Последний парад наступает!

Все подхватили мужественную песню, и их писательский дом превратился в "Варяг", где экипаж облачается в белые рубахи, чтобы дать последний бой. Громогласно, бодро пропели: "Артиллеристы, Сталин дал приказ...", поглядывая на Бондарева. Тот строго, внимательно слушал.

Все гомонили, обнимались. Куравлёв обнимался, даже с теми, кого не знал. Был благодарен им за то, что приняли его в своё братство. Перед

смертью проведут вместе свои последние часы. Поэты читали стихи. Сумрачный Кузнецов, раскачиваясь, гудел, как в рог, своих "Маркитантов". Николай Тряпкин, как волхв и сказитель, пел про гагару. Татьяна Глушкова читала чудесный стих про Ахматову.

Поэт Александр Бобров достал гитару, схватил щепотью струны, а потом с лихим отчаяньем, слёзной удалью запел:

— Матушка родные, налей воды холодные...

И все опять обнимались, целовались, братались. Командир Славянского собора спросил у Бондарева:

— Разрешите начать ломать мебель. Приступаем к строительству баррикад!

— Погодите, ребята, — остановил его Бондарев, оглядывая дорогие дубовые столы и кресла с гнутыми спинками.

Опять появился тощий разведчик:

— Всё тихо, Юрий Васильевич. От Садовой до Комсомольского нет скопления народа.

— Продолжай наблюдать, — приказал Бондарев.

Появилась водка. Её разливали бережно, чтобы хватило на всех, только закрывали донце стакана. Поднесли Бондареву:

— Выпейте фронтовые сто грамм.

Бондарев взял стакан, сделал вздох и выпил. Поморщился, поморгал глазами.

— Как пошла, Юрий Васильевич?

— Как в сорок третьем.

Все вдруг закричали:

— Чучело, чучело Евтушенко! Жечь его!

Появилось чучело, неумело склеенное из картона. Длинный нос, балахон, клок волос. Чучело было насажено на шест.

— Жечь его!

Все высыпали на пустой Комсомольский проспект. Ни одной машины, только тускло блестел под фонарями асфальт. Чучело облили бензином, кто-то поднёс зажигалку. Оно запылало. Его крутили на шесте, вокруг него скакали, свистели, улюлюкали. Смотрели, как отпадают от чучела горящие лохмотья, падают на асфальт. Куравлёв скакал и кружился вместе со всеми. Это был колдовской обряд, шаманский танец, отгонявший злого духа, лишавший его силы. Враг отражался ворожбой, заклинаниями. Чучело догорело, остатки истлевали на асфальте. Шаман, совершивший сожжение, опираясь на обугленный шест, повёл народ обратно во дворец.

Ещё пили водку, читали стихи, молились, плакали, клялись в вечной дружбе. Куравлёв верил, что здесь, в московской ночи, начинается русское сопротивление, ещё не названное, но уже состоявшееся. Народ бузил, некоторые в изнеможении сдвигали стулья и засыпали. Куравлёв держал стакан с водкой. Рядом оказался человек, невысокий, с широким лицом в оспинах.

— Хотите водки? — протянул ему стакан Куравлёв.

— Спасибо. Не пью. Я татарин.

— Писатель?

— Нет, оказался случайно.

— А откуда вы?

— Я пресс-атташе советского посольства в Анкаре.

— Подождите, в Турции! А вам ничего не говорит фамилия Пожарский?

— Как же, он работал в военном атташе. У него была такая очаровательная жена.

— Почему была?

— Месяц назад Пожарский с женой разбились в машине. Жена слишком лихо водила машину. В горах такая опасная дорога.

Куравлёв был слишком изможден для того, чтобы это известие ошеломило его. Он отставил недопитый стакан и вышел.

Глава сороковая

Он приехал в редакцию, собрал свой маленький коллектив:

— Друзья, я считаю своим долгом предупредить вас, что с сегодняшнего дня работа в газете "День" становится опасной. Возможны репрессии, возможны гонения, возможны нападения на каждого из вас. Не смею никого принуждать к работе. Вы можете покинуть редакцию "Дня". Это будет понято мной и оправдано.

Никто не покинул редакцию. Неистовый Бондаренко сказал:

— Работаем, как работали, Виктор Ильич. Когда ещё придётся постоять за Отечество!

Николай Анисин, тощий, длинноногий, похожий на журавля, пошутил:

— Будет "День", будет пища.

Шамиль Султанов, радикально настроенный, произнёс:

— Мы должны признать, что буржуазная контрреволюция совершилась. Мы будем готовить новую революцию!

Куравлёв просмотрел текущую прессу. В "Литературной газете" печаталась статья, посвящённая путчу. Среди прочего говорилось об особой связи Куравлёва с Баклановым. Бакланов награждал Куравлёва орденом. Он ужинал с ним в ЦДЛ. Куравлёв сделал с Баклановым обширное интервью. По поручению Бакланова Куравлёв написал путчистское "Слово к народу". С Баклановым он летал на Новую Землю разрабатывать стратегию путча. И вчера, за несколько часов до ареста Бакланова, Куравлёв побывал у него в кабинете. Должно быть, получал наставления от своего патрона, как организовать коммунистическое подполье, что и проявилось во вчерашней писательской сходке на Комсомольском.

Статья натравливала на Куравлёва общественное мнение. Была доносом, сулила арест. Должна была сломить Куравлёва, запугать, лишить воли. Но вчера Бондарев назвал его солдатом. Он и был солдат разгромленной армии, которая сражалась в окружении.

Куравлёв распорядился достать плёнку, сделанную в кабинете Бакланова в момент интервью. Поместил в газету все кадры, на которых он с Баклановым беседуют, взмахивают руками, что-то бурно, дружески обсуждают. Дал всему этому заголовок: "Бакланов Космический". Враг, напечатавший донос, был посрамлён. Арестованный Бакланов оставался близким Куравлёву человеком, был великим советским государственником.

Куравлёв просматривать прессу. Была предсказуема статья Натальи Петровой, кипящая ненавистью к Куравлёву. Но удивила статья Марка Святогорова. Тот уверял, что давно замечал за Куравлёвым ненависть к демократии, свободе, увлечение такими фигурами, как Сталин. И эти черты очень хорошо разглядел в Куравлёве Андрей Моисеевич Радковский, с которым согласна писательская общественность "Аэропорта".

Ещё больше поразила Куравлёва статья Сыроедова, этого опального редактора "Литературки", который направлял Куравлёва в Афганистан. Об Афганистане шла речь в статье. О кровожадных сценах, питающих вдохновение автора. О любовании смертями, что говорит о некрофильских наклонностях. О милитаристском духе, с которым так боролся Сыроедов, редактируя репортажи Куравлёва.

Неужели так велик был страх Сыроедова перед победителями, так стремился он отрешиться от своего коммунистического прошлого, что решил кинуть камень в Куравлёва, чтобы снискать благосклонность победителей? Чтобы те приняли его в свой круг и, быть может, вернули должность?

Наконец, верхом вероломства и низости показалась статья Фаддея Гуськова, говорившего о Куравлёве, как о слабом писателе, желающем скомпенсировать свои литературные неудачи проповедью путча и насилия. Куравлёв не понимал, что двигало Гуськовым, близким товарищем, другом, вступившим в партию, чтобы бороться с "перестройкой". Какие глухие углы таились в его душе? Как велико было его страдание, если он пошёл на низость и включился в общую травлю? Куравлёв был угнетён, размышлял о тайном подполье, что темнеет в каждой душе.

В кабинете появилась съёмочная группа Центрального телевидения. Её возглавлял телеведущий Молчанов, тот, что до этого вёл программу "После полуночи". Он приглашал в программу представителей белой эмиграции, отпрысков княжеских родов, потомков тех, кто покинул Россию на "философском пароходе". Он усвоил, как ему казалось, аристократические манеры, особую паточную любезность, особый льстивый тон, которым извинялся перед отпрысками именитых родов за те зверства, что учинили большевики с белой эмиграций. У него были сдержанные отрепетированные жесты. Он носил смокинг с бабочкой, излучал изысканность салонов. Теперь же ворвался в кабинет Куравлёва, облачённый в американский камуфляж. На нем был капроновый пояс, какой носят американские пехотинцы. На ногах — грубые бутсы с толстенными подошвами. Он демонстрировал дух военного времени. Оставил свой салон, чтобы сражаться за демократию.

Оператор навёл камеру на Куравлёва, а Молчанов с грубоватой наглостью репортёра спросил:

— Как вы считаете, убийство трёх молодых людей, учинённое ГКЧП, является преступлением?

— Если смерть трёх людей спасает жизнь миллионов, то она оправдана, — Куравлёва слепила подсветка телекамеры.

— Хорошо. А не кажется ли вам, что вы вашей позицией предаёте общечеловеческие ценности и ценности свободы?

— Будь проклята ваша свобода! Слышите? Будь она проклята! — Куравлёв испытал мгновенную ненависть к мясистому лицу Молчанова, к его бутафорскому камуфляжу, ко лживости всего, чем тот занимался, с бабочкой на кружевной рубахе или с капроновым поясом американского пехотинца.

— Спасибо, — и Молчанов, громыхая бутсами, выбежал из кабинета. Поспешил в Останкино, чтобы добытый уникальный сюжет попал в вечерние новости.

Вчера, после визита к Бакланову, после жуткой смерти Кручины, выброшенного из окна на его глазах, после убийства Пуго, после прощального разговора с Макавиным во время сухой грозы, после осады Союза писателей на Комсомольском — после всего этого Куравлёв был так обессилен, что, узнав о гибели Светланы, не пустил в себя это известие. Не дал ему распуститься в нестерпимую боль. Оставил эту боль на потом.

Теперь же эта пора наступила, и боль была нестерпима. Он не мог понять, что в солнечном воздухе, пахнущем флоксами, больше не существует она, кого он продолжал любить, надеялся на невозможную встречу. Теперь эта встреча вовек не случится.

Он ненасытно вспоминал её белую открытую шею, которую целовал, её дышащий живот, к которому прикасался губами, её пленительный танец, когда она, не касаясь земли, подлетала к вазе с быками, а потом сбросила полупрозрачную блузку, и он ловил её маленькие девичьи груди; и как она загорелась в церкви и как лежала в ванной с закрытыми глазами, а он любовался ею сквозь воду, которая вздрагивала, когда из крана падала капля. Он вспоминал её на сиденье машины, когда мимо прошёл грузовик, и она вспыхнула, как серебряный слиток, и их ужин в ЦДЛ, когда принесли бутылку красного "Мукузани", и она пила, сладко пьянела, и губы её темнели от виноградного вина.

И ему вдруг захотелось сесть за тот столик, заказать "Мукузани" и пить в молитвенной надежде, что вдруг она сядет рядом, протянет бокал с тёмным вином, и он протянет навстречу свой, и раздастся тихий звон волшебного стекла.

Это желание было столь сильным, надежда на чудо столь сладостной, что он поднялся и поехал в ЦДЛ.

Напрасно. Дом, который был его вторым домом, где он впервые познакомился с Трифоновым, держа в руках расписное яйцо, где с друзьями столько было говорено, выпито, где столько очаровательных женщин были готовы слушать их глупости, позволяли себя дурачить, — ЦДЛ встретил его враждебно. Куравлёв был проигравший, был зачумлённый. Был тем, кто может принести несчастье.

Две старухи с каменными львиными лицами, которые обычно при его появлении пытались изобразить улыбки, с трудом раздвигая каменные губы, теперь, увидев его, отвернулись. Несколько человек в фойе трусливо метнулись, спрятались за колонны. Киоскёрша, продававшая книги, всегда оставлявшая Куравлёву новинки, теперь на него не смотрела.

Куравлёв подошёл к прилавку, разглядывая книги. Увидел книгу Карповича с названием "Честные люди". Недавно он читал рукопись, написал добрую рецензию, хвалил автора за интересный рассказ о работе советского агента, изобличившего отвратительных антисоветчиков из Народно-Трудового Союза. Теперь же, прочитав аннотацию, он узнал, что книга повествует о самоотверженных людях из Народно-Трудового Союза, гонимых советской властью, делающих всё, чтобы эта власть поскорее пала. Куравлёву было горько и смешно. Карпович на старости лет решил нарушить присягу, предал организацию, которой обязан карьерой. Вспомнились слова Макавина о народе-предателе.

Когда Куравлёв проходил Пёстрый зал, все, увидев его, умолкли. Только пьяный Шавкута бесстрашно крикнул:

— Куравлёв, что ж ты им, сукам, отдал страну!

В Дубовом зале было людно. Шумные компании, все демократы, пили, произносили здравицы, славили победу.

Увидев Куравлёва, умолкли, оглянулись, иные засмеялись. Официантки, чувствительные к перемене погоды, были с ним холодны. Он сел за столик у готического окна, поджидая, когда к нему подойдут. Но долго не подходили. Когда мимо прошла пышногрудая красавица Татьяна, и он попросил принести вина, она огрызнулась:

— Разве нельзя подождать? Я занята!

Он сидел за пустым столом. В стороне пировала компания. Среди пирующих был Андрей Битов с запущенной щетиной, что-то шепелявил ртом, полным слюны. Сидела Галина Старовойтова, толстоногая, с тяжёлым крупом и нездоровыми глазами. Она принимала поздравления, царила в застолье, окружённая сторонниками. Среди подвыпивших обожателей Куравлёв заметил Гуськова. Тот требовал тишины, стучал по тарелке вилкой:

— Господа, я требую внимания! То, что я собираюсь совершить, заслуживает внимания! Ибо не каждому из вас доводилось видеть самосожжение!

Гуськов достал из кармана партбилет. Ему поднесли зажигалку. Он поджёг книжицу, и все смотрели, как пламя поедает листки, пепел опадает на стол. Гуськов терпел, пока огонь не подобрался к пальцам. Уронил горящие остатки партбилета на тарелку, показывая тлеющие остатки всему залу. Отовсюду хлопали.

Куравлёву это показалось отвратительным. Он поднялся и вышел. Когда он пересекал фойе, в ЦДЛ входил корреспондент радио "Свободы" Франк Дейч. Он шёл, высоко подняв голову, властный, уверенный, как завоеватель, ступающий по завоеванной территории. За ним тянулся шлейф встречавших нового кумира. Две каменные старухи встали при его появлении. Несколько писателей торопились подарить ему книги. Очаровательная смешливая Нина Васильевна, устроительница литературных вечеров, умоляла назначить день, когда на встречу с ним она соберёт полный зал. Франк Дейч прошёл мимо Куравлёва, не заметив его.

Куравлёв уже собирался уходить из враждебного дома, как вдруг увидел при входе фотографию с траурной лентой. На фотографии был изображён тот, кого называли "ангелом смерти". Загнутый, как у беркута, нос, откинутая, на короткой шее, голова, надменный огненный взгляд. И имя: Трофим Степанович Цыплятников.

"Что же мне здесь остаётся, если умер даже сам "Ангел смерти", — Куравлёв вышел из ЦДЛ, чтобы больше никогда не возвращаться.

Дома он застал жену и детей. Они сидели за столом тесно друг к другу и рассматривали фамильный альбом в кожаном переплёте с монограммой. С фотографий смотрели строгие, спокойные люди, исполненные величия прожитых жизней. Они были в армяках, поддёвках, кафтанах — пахари, кузнецы, ямщики, купцы. Оттуда, где они сейчас находились, дул ровный

таинственный ветер. Куравлёв чувствовал на лице давление этого ветра. Ветер приносил запах зерна, дыма, калёного железа, дёгтя и молоканской лапши. И чего-то ещё, что не имело названия, запаха. Просто ветер, соединявший времена, поколения, наделявший ныне живущих чертами фамильного сходства. Мама, пока была жива, карандашом написала под фотографиями имена, которые сообщила ей бабушка. Куравлёв, узнавая милый материнский почерк, читал. Тит Алексеевич. Аграфена Петровна. Алексей Вонифатиевич. И легендарный Степан, основатель молоканской деревни, куда привёл выходцев из Тамбовской губернии, на "млечные воды". Предки, мужчины и женщины, смотрели на Куравлёва, спокойно поджидали, когда он придёт к ним и займёт своё место за деревянным столом, рядом с прадедом. Тот знал всё о его напастях, о преодолении этих напастей, о том времени, когда у Куравлёва, прожившего жизнь, появится такой же спокойный величавый взгляд. Этот взгляд устремлён на двести лет вперёд, и от него будет веять всё тот же таинственный ветер.

Они сидели всей семьёй над альбомом и чувствовали себя частью огромной семьи, которая их продолжала любить.

Глава сорок первая

А ЦДЛ сгорел, весь, дотла. Быть может, в него попала шаровая молния во время "сухой грозы". Или повеса писатель, прихватив за талию шаловливую Нину Васильевну, кинул горящий окурок в корзину с бумагами. Или обугленная страничка из партбилета Гуськова упала на сухой, как порох, паркет. Но Дом литераторов горел жарко. Было видно, как из горящих панелей Дубового зала, окутанные дымом, вылетают писатели. Нелепый усатый Горький, похожий на моржа, размахивал руками. Бабель с лицом, похожим на скрученный узел. Длиннорукий, с кошачьими усиками Симонов. Щекастый Фадеев. Задумчивый и печальный Твардовский. Их вылетало множество из горящих панелей. Они летели в небо, образуя круг, поджидая тех, кто спасался в огне. Последней вылетела Лиля Брик, маленькая, как птичка, семеня в воздухе тонкими ножками. Писатели выстроились в клин и полетели из Москвы к далёким, в сыром золоте лесам. Писатели улетали из России. Москвичи, глядя на высокий клин, думали, что это талдомские журавли.

На пепелище ничего не осталось, кроме гнутых вилок и оплавленных дверных ручек. Маленький мальчик, роясь в углях, отыскал металлическую дощечку. На ней был изображён треугольник, а в треугольнике — широко раскрытый глаз. Мальчик прибежал домой и показал дощечку маме:

— Мама, мамочка, посмотри, какой красивый глазик!

ЗОЯ КОЛЕСНИКОВА

НИЧТО НЕ ПРЕДВЕЩАЛО ХОЛОДА...

* * *

Ничто не предвещало холода.
Земля была приветливо прогрета.
Мелькали дни. Смыкались города,
как тьма и свет, совсем сойдя со света.

Там было тяготение меня
к тому, что называется "до смерти" —
тень мотылька на линии огня,
там, где всегда и до-всегда — о лете...

И вот теперь мне видится броня
твоей души у каменной избушки,
где не узнать любимую меня
в той у окна почти слепой старушке...
.....
Ничто не предвещало холода.

КОЛЕСНИКОВА (Покорная) Зоя Константиновна родилась в с. Елизаветино Воронежской области. Окончила исторический факультет Воронежского педагогического университета. Автор восьми стихотворных сборников. Стихи публиковались в журналах "Подъём", "Наш современник", "Берега", "Новая Немига литературная", "Молодая гвардия". Лауреат нескольких литературных премий. Руководитель Литературной студии "Современник" при Воронежской писательской организации. Живёт в Воронеже.

* * *

Отрывной календарь уменьшается вновь.
Вот уже и февраль устремился в отлёт.

Холодеет душа. И мятежная кровь
начинается здесь, но замедлила ход.

Мне бы завтра войти и остаться с тобой
там, где зреет восход, зеленеет трава...

Даже царь Соломон говорил про любовь,
утверждая твои надо мною права.

* * *

Станиславу Куняеву

Мы почти что привыкли к российским высоким лесам —
там набухшие почки у тоненьких тёплых осин...
Прошлогодний ковыль тянет венчики грёз к небесам,
заполняя собой эту вечную млечную синь.

На исходе апрель. Подрастает подлесок. Нездешний
проникает сквозь явь неизбежный избыток весны.
В придорожном кафе остановимся, будем неспешны,
и отныне поймём, как великие дали ясны!

* * *

Приютился домик на окраине
меж рекой и брошенным погостом...
Русская душа так любит тайное
бурное течение, где звёзды
постигают видимую истину
единенья. Или — одиночества?
Русская душа здесь очень искренна
если не в Отечестве, то — в отчестве!

СВЕТЛАНА ЛУЧКИНА

ФОТОГРАФ

РАССКАЗ

Лето 1991 года в фотосалоне Якова Ильича Сикорина проходило излишне спокойно. Люди совсем перестали фотографироваться.

Яков Ильич помнил времена, когда его салон в родном Омске считался местом, посетить которое обязана была каждая порядочная семья. Люди наряжались во всё лучшее и шли в фотоателье Сикорина запечатлеть…

Молодожёны. Крестины. Приезд родных. Юбилей. А девушки? Это вообще отдельная песня! Какие портреты он делал… А потом на обороте красивым почерком старательно выводилось:

“Люби меня, как я тебя!”

“Вспомни и посмотри!”

“Дарю тому, о ком мечтаю”.

“Если нравится — храни, а не нравится — порви!”

Во все времена фотограф был режиссёром, актёром и знатоком человеческих душ. А сейчас? Разве это фотография? Люди не приходят за портретами, они заскакивают между делом за каким-то глупым слепком, суррогатом себя, который потом вклеится в такой же никчёмный документ, ничего не говорящий о человеке.

Где эти взгляды, устремлённые ввысь? Глаза, наполненные светом? Изящные профили, повороты головы, неуловимые улыбки… Его портреты решали людские судьбы. Именно по ним целые поколения помнят жизнь. Помнят именно такой, какой и он видел её.

ЛУЧКИНА Светлана Александровна родилась в Москве в 1977 году, с красным дипломом окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности "связи с общественностью". Журналист. Кандидат филологических наук. В "Нашем современнике" публикуется впервые.

Яков Ильич сокрушенно вздохнул. Сидя на ступеньках своего салона на улице Ленина, он вот уже несколько часов наблюдал за карнавальным историческим шествием омского прошлого, как его представляют себе люди, толком его не знавшие. Родному городу фотографа сегодня исполнялось 275 лет. Омск был ровно на 200 лет и один месяц старше Якова Ильича.

— Яша, ты чего надулся, как сыч? Праздник сегодня! — прокричала ему парикмахерша Галка из соседней "Сказки". — Дворников видал, какие прошли? Жаль, у нас сейчас таких нет.

— Жизнерадостная ты женщина, Галина. Это хорошо. А дворников таких у нас отродясь не было!

— Да откудова тебе знать, Яша? Это ж до революции было.

— А я до революции уже был, ясно тебе?

— Да где ты был… Год тебе от силы в семнадцатом. Дитё ещё. Сам же мне рассказывал.

— Не то ты помнишь, Галина! А я вот всё помню. И дед мне рассказывал, как всё было устроено. А потом, не забывай, мы фотографы. У нас архивы имеются. Мы эту жизнь сохраняли. Только благодаря нам она и осталась.

— Ой, а Шанину видел на балконе? Какая артистка красивая, блеск. Из Москвы, можь, приехала? Не знаешь, кто? Причёска у ней — точно не наши делали.

— Легковерная ты женщина, Галина… Шанина, если б так выряжалась, на балконе всем рукой махала да зубы скалила, так ничего бы в жизни своей купеческой не успела. И предприятие бы её торговое прогорело ещё в гражданскую. Да и в городе половины бы не было, что сейчас есть.

— Ну ты даёшь, Яша. Никак ты и Шанину помнишь, — залилась смехом Галка.

— А то нет. У меня Марьи Александровны снимки в дедовом альбоме хранятся. Покажу тебе как-нибудь, посмотришь, лицо-то какое. Могла она хохотать да на балконах приплясывать с перьями на голове? Вон двести лет Омску в шестнадцатом году отмечали… Она что сделала, известно тебе? — горячился Яков Ильич.

— Ну что, что твоя Шанина сделала? Колбасы нам привезла? — продолжала веселиться парикмахерша.

— Она, родимая, двадцать пять тыщ дала на университет народный городской. Твои губернаторы десять еле наскребли, а она двадцать пять тыщ кровных не пожалела. А благодарность какова? Все отобрали через пару лет, да и саму в расход пустили.

— Да хорошо-хорошо, Яша. Ну, я что, против, что ли? — пошла на мировую Галина. — Ты сейчас-то что надулся? Праздник у нас. Ну смотри, красота какая. Смотри, вон люди идут, радуются. А вчера марафон бежали, видел? Ой, говорят из семнадцати стран к нам самые знаменитые спортсмены приехали.

— Приехали… знаменитые спортсмены… А выиграл-то кто? Афанасий из Копейска? Вот и весь твой марафон международного уровня.

— Ох, Яков, договоришься ты когда-нибудь… Как ты ещё до годов таких дожил, удивляюсь. Почему из Копейска-то? Марафонец из Ульяновска выиграл. Хороший мужик. Тракторист, говорят. Так и бабы бежали. Видел? Там и женщины были.

— Представляю…

— Нельзя так, Яша… Вечно ты недоволен, — наставительно изрекла Галина, поправила косынку и скрылась в "Сказке".

Яков Ильич остался один на один со своими думами на ступеньках старого фотосалона, где работали ещё его дед и отец. Мимо проходили демонстранты. Ехали казаки в царской форме. Шли священники с хоругвями. Какие-то ряженые в шляпах, цилиндрах, кринолинах. Шли эпохи, которые он так хорошо знал по фотопластинкам, уцелевшим в его семейном архиве.

"Чудно нынче праздники празднуют, — размышлял фотограф. — Есть нечего. В магазинах пусто. А ряженая купчиха Шанина, чей торговый дом гремел на всю Сибирь, чему-то радуется на своём балконе. Да Марья Александровна, царствие ей небесное, удавилась бы с горя…"

Отец рассказывал, в городе хотели пышно отпраздновать двухсотлетие, как раз, когда он и родился, в 1916 году. Четыре года готовились. Чего только не напридумывали. Но случилась гражданская война. И не стали. Отслужили молебен и простили бедным все долги. Такой вот праздник.

Впрочем, у нас так во всем. По традиционному рецепту.

Вот решили лет сто назад памятник Петру Великому поставить и назвать проспект в его честь. И что? Теперь-то я как раз на этой улице и сижу — Ленина называется.

А памятник Пушкину? Та же история! Даже заказали его в Москве. Заложили основание — табличку повесили, что, мол, тут будет Пушкин. Нарекли именем поэта прилегающий сквер и улицу. А на открытии — бац! — а это снова Ленин. Так и стоит до сих пор!

Яков Ильич поднялся со ступеньки и направился в салон. Надо закрываться — кто будет фотографироваться сегодня среди этого маскарада.

— Прифе-ет! Топрый тень! — вдруг прозвучало ему вослед.

Фотограф обернулся и остолбенел. Перед ним стояла невиданной красоты девушка. В спину ей светило солнце и рождало вокруг головы ореол лучисто-соломенных волос, струящихся до пояса. Она была выше Якова Ильича практически на две головы, но ничего прекраснее он в жизни своей вспомнить не мог.

— Это фот-то? — спросила она, улыбаясь. — Стесь можно фотографирофаться?

Идеальные белоснежные зубы. Загорелые плечи. Бесконечные ноги, тянущиеся чуть ли не на весь рост Якова Ильича.

— Конечно… Ну, конечно, — забормотал он, — вам на паспорт или на студенческий? Чёрно-белое?

— Мне просто та-ак, — развела руками девушка, — я перфый ра-аз в эт-том гороте. Хочу на память! Просто краси-ифо чтобы.

Яков Ильич подумал, что он перегрелся на ступеньках, умер от теплового удара и сейчас попал в рай для фотографов.

— Просто та-ак… — снова принялась объяснять девушка. — Как вы пософетуете?

Как же посоветовать? Как можно сфотографировать юность? Смеющиеся глаза? Загорелые коленки? Запах солнца? Как остановить мгновение на том, что передаётся только в ощущениях? Как запечатлеть тончайшие флюиды молодости?

— Минутку… Вы можете подождать одну минутку? — Фотограф постепенно приходил в себя и начинал творчески осмысливать действительность.

— Та-а! Конечно! Я гуляю, не спешу. Фчера марафон. Мы бежали…

— А!!! Так это вы из семнадцати стран?

— Не-ет, только из отной! Эстония! — засмеялась девушка. — Меня зовут Эрна.

— Эрна! Очень приятно! А я — Яков! Ильич не надо… просто Яков! Одну минутку!

С несвойственной его возрасту скоростью Сикорин выскочил на улицу и одним прыжком оказался в парикмахерской “Сказка”:

— Галка! Галина! Ух! Где ты?

— Яша! Помер кто? Что случилось?! Тебя ограбили?

— Дай мне венок, ты на той неделе показывала. Из трав! Ты говорила, на стену повесишь. Дай мне. Верну через полчаса!

— Да тебе плохо, Яков. У тебя пятна по всему лицу…

— Дай венок, Галина! Потом, всё потом!

Яков Ильич впрыгнул обратно в салон. Подъём он ощущал невероятный. Наконец, у него будет портрет. Настоящий! С характером и историей! С подтекстом и смыслом! В нём будет всё: девушка, сны, горы, сияющая копна волос, весна. Всё то, что способны оценить только мудрость и годы. Годы побед и разочарований, плодотворной работы и пустоты.

Все последующие две недели Галина практически не видела Якова Ильича. Венок он ей отдал в тот же день. А вот потом… Куда-то бегал, хлопотал. Что-то химичил в своей студии. Говорят, заказал какой-то дорогущий

багет, велел мастеру обработать его исключительно вручную и запретил покрывать позолотой… Жалко ей Яшу… Хороший старик, бодрый, работящий. Но, ей-богу, — такой чудной.

На исходе второй недели, в воскресенье, Яков Ильич появился. Он стоял возле витринного стекла своего фотосалона и, хмуря брови, что-то придирчиво прикидывал. Позднее прохожие на улице Ленина видели, как в витрине фотоателье сам мастер долго копошился, вытаскивал стоявшие десятками лет мольберты с образцами фотографий, натягивал по периметру какую-то ткань, вкручивал шурупы вверху.

В обеденное время Галина решила зайти к соседу, спросить, чем это он был занят так долго. И, проходя мимо стекла, обомлела. Почти на всю высоту витрины в широкой раме натурального дерева красовался огромный портрет девушки в венке. Том самом. Но венок — единственное, что она могла узнать из реальной для неё жизни. Все остальное было космически нездешним. Чуть раскосые зелёные глаза. Тёмные брови, летящие к вискам. Улыбка. Вроде ничего особенного по отдельности. Но всё вместе — инопланетная красота. А главное — целый светящийся стог соломенного цвета волос вокруг лица, падающих на… Стоп!.. Галина отошла подальше, встала на газон, чтобы охватить портрет на расстоянии. Она же голая! Конечно, волосы закрывают срам, но… Яша окончательно сдурел!

Галина решительно бросилась к салону, рванула ручку двери, чуть не оставив её в руке.

— Яков Ильич! Ну-ка, поди сюда! Где ты?!

Пока Галина и Яков Ильич что-то эмоционально обсуждали, размахивая руками и хватаясь за голову, при этом делала это преимущественно парикмахерша “Сказки”, перед витриной фотоателье набралось несколько человек, также имеющих что обсудить, судя по разнообразию выражений на их лицах.

— Закроют твоё ателье к чёртовой матери! Ты дождёшься! — доносился из помещения женский голос. — И что, что девяносто первый год? Что у нас изменилось? Порнографию вешать можно?

— Дурная ты женщина, Галина! Стыдись! — тряс головой фотограф. — Это искусство. Это красота! Красота спасёт мир!

— Чем она спасёт?! Какого ты бреда понабрался, Яков!

— Это Достоевский понабрался. И, кстати, прямо здесь, в нашем Омске. Он тогда сразу понял: “Омск — гадкий городишко”. И это он тебя ещё не видел!

— Ой, посадят тебя, Яша… И за разговоры, и за фотографии твои. Вместе с твоим Достоевским, — выкатывала глаза Галина.

— Он своё отсидел уже… И я, если надо, тоже отсижу.

— Сними портрет, Яша! Скоро первое сентября — дети в школу пойдут!

— Пусть идут. У меня возражений нет…

— Я о тебе же волнуюсь, пойми! — не унималась Галина. — Вот завтра понедельник. Все увидят твои художества. Что ты вытворяешь в центре города! Устроил сексуальную революцию…

Яков Ильич был непреклонен. Он не убрал с витрины портрет Эрны. Как можно? За прошедшие с 4 августа две недели он окончательно уверился — это лучшая его работа. Его Афродита. Его Венера. Его Джоконда. Это счастье, что в жизни выпала такая художественная возможность и такая… модель. Она словно из другого мира. Из внеземной цивилизации. Галка, хоть и тёмная женщина, и то почувствовала что-то революционное в её фото. Да! Мятежно прекрасное. И он готов отвечать за это. Благо ехать далеко не надо — он уже в Сибири.

Жил фотограф в старинном особняке на берегу Иртыша. Постепенно, год за годом, его соседями становились одни депутаты да начальники. И только Яков Ильич сохранял своё историческое родовое гнездо фотомастеров Сикориных.

Не то чтобы Яков Ильич совершенно не был готов к резонансу… Он даже хотел этого. Но утро понедельника даже его заставило задуматься о радикальности им содеянного. Началось с того, что в дверь соседа, народного

депутата СССР, только вернувшегося из отпуска, долбила чуть ли не ногами его помощница. Яков Ильич знал её — встречались на лестнице и во дворе. Фотограф подкрался к глазку и видел, как Валентина Андреевна колотит в дверь и причитает: “Да просыпайся же ты… Господи… Что теперь будет…” Далее Яков Ильич перенёс пункт наблюдения за оконную занавеску: наспех одетый депутат, на бегу завязывающий галстук, и Валентина Андреевна неслись к самому центру города, где и находились фотоателье и Эрна.

Через некоторое время Сикорин увидел, как по улице в том же направлении буквально галопом бегут люди… Волнуясь, фотограф вышел на балкончик. Другой его сосед, сотрудник горсовета Василий Иванович, выскочил на улицу в состоянии полного раздрызга.

— Василий Иваныч, — робко вскрикнул Сикорин с балкончика. — Случилось что?

Василий Иваныч остановился, резко покрутил головой, ища источник звука, увидел фотографа и, тыча в него пальцем, проорал:

— Яков Ильич, вы — пожилой человек. Вам оставаться дома. Понятно?

Яков Ильич прекрасно понял, что это значило. Он достал из шкафа чистую белую рубашку с коротким рукавом, отыскал тёмно-синюю бабочку, отутюжил и без того идеальные парадные брюки. Оделся и принялся ждать. По его расчётам, прийти за ним должны были через час-полтора. Пока все соберутся. Пока отправят милицию изъять Эрну из витрины. Пока вынесут решение.

Приняв самый торжественный и мученический вид, Яков Ильич сел скоротать время перед телевизором. Он был абсолютно готов пострадать за искусство и отстоять свободу его выражения.

Будто в унисон его возвышенному и печальному настрою, по всем каналам транслировалось “Лебединое озеро”.

ЕВГЕНИЯ САМАИ

ГЕЛЬ-ГЬЮ

РАССКАЗ

Море — заманчивое, волнующее, с криками чаек, с белым пароходом, скользящим по горизонту, — манило шумом набегающих волн и тем непередаваемым запахом, в котором искрились ароматы плодов, роз, рыбы и соломенной сухости земли. Море манило, но было так далеко.

— Три дня работаешь, три дня отдыхаешь — загорай, купайся; выход — тысяча рублей, без процентов, с жильём я договорилась. В восемь уже раскладываешь товар, и вечером — пока подходят: до восьми, девяти, как получится. Отработаешь, и делай, что хочешь. За месяц успеешь отдохнуть. Шляпу возьми с полями, столик на улице.

Вера слушала Раису молча. Приятельница искоса посмотрела на неё и продолжала:

— Когда ты ещё окажешься в Крыму на таких выгодных условиях? И заработаешь, и отдохнёшь, жильё бесплатно.

Феодосия — так давно желанная — становилась почти реальной, и шум прибоя казался сказочной музыкой, но Вера всё ещё в нерешительности молчала. Раису она знала плохо, та приходила пить кофе по утрам, когда Вера подрабатывала прошлым летом на рынке. Раиса торговала на улице мелочёвкой и сувенирами. С отпускных Вера наконец-то погасила кредит, и к середине отпуска денег у неё как раз хватало, чтобы купить билеты на самолёт до Симферополя и обратно. В остатке — две тысячи. Знакомых на юге у Веры — ноль, а ехать почти без денег в Крым — кто бы решился. Но если за отработанные три дня получать расчёт сразу и экономить, то можно как-то

САМАИ Евгения родилась в Горно-Алтайске. Окончила филологический факультет Горно-Алтайского педагогического института. Работает в школе. Дебютировала как драматург, участник "Авторской школы" 2013 года с пьесой "Кайф по пятницам". Данная публикация — прозаический дебют.

прожить, да ещё съездить в Коктебель и в Ялту. Месяц пролетит незаметно, а там и спасительный сентябрь, школа.

— Да, я согласна.

Ей хотелось танцевать: море, солнце, заливающее всё ярким светом — красота!

— Жильё! Жильё! — обступили её таблички. — Такси!

— Нет. Спасибо, — она направилась к автобусной остановке.

Хозяйка её встречала и оказалась высокой седой женщиной с короткой стрижкой.

— Валентина Семёновна, — представилась она.

— Вера.

— Можно, конечно, проехать ещё остановку, но вы сказали, что вещей с вами немного, и я подумала, что лучше сразу показать, что где находится.

— Валентина Семёновна, меня интересует музей Грина.

— Вы учительница?

— Да.

— Ну, так это ж мы сейчас пойдём мимо.

И чемоданчик весело покатил вниз.

— Вот ваш музей. — Валентина Семёновна кивнула на небольшой домик с якорем у входа. Казалось, он пришвартовался, да так и осел на месте. Вера улыбнулась. На перекрёстке небольшой фонтан с влюблёнными под зонтом привлекал к себе молодёжь и прохожих с детьми.

— Обратите внимание, Вера, наш город был награждён орденом Отечественной войны. — Они замедлили шаг у высокой плиты на углу дома. — А вот и кассы в галерею Айвазовского, главный вход со стороны набережной. Иван Константинович завещал свои картины родному городу.

Снова замелькали таблички: "Жильё". Улица упиралась в небольшое белое круглое сооружение, и за ним синело небо. Вера не сразу поняла, что они вышли к морю, так это было непривычно.

— Море! — выдохнула она.

— Вот наша галерея, — с гордостью произнесла хозяйка.

Вера повернула голову влево и увидела забавную картину: у памятника, видимо, Айвазовскому, толпились приезжие; женщина поддерживала девочку, карабкающуюся на сидевшую статую, та, потерев ботинок, отполированный до блеска, спускалась вниз. Остальные также приложились к ботинку и довольные отправились в сторону пляжа. Пляж тянулся влево, справа виднелись суда.

— Купаться лучше за четвёртым молом, — сказала хозяйка, — там вот торговые ряды, — махнула она за галерею, — и по бульвару тоже сувенирные лавки, сейчас пойдём мимо.

— Можно я две секунды, только подойду к воде, я вас догоню, Валентина Семёновна.

— Идите, Верочка, я подожду.

Море плескалось у её ног. Сбылось!

По дороге хозяйка рассказывала об Айвазовском, как он провёл в город водопровод, железную дорогу, указала на красивый фонтан в турецком стиле его работы. Голос её по мере рассказа становился всё более и более взволнованным, и Вера поняла, как горожане гордятся своим великим земляком. К стыду своему, она знала об Айвазовском лишь то, что он нарисовал картину "Девятый вал". Пройдя по платановой аллее, они свернули направо. Валентина Семёновна торжественно объявила, что сейчас они пройдут мимо могилы Айвазовского, расположенной в ограде старой армянской церкви недалеко от её дома. Вера заверила хозяйку, что обязательно почтит и церковь, и могилу, но сейчас ей хочется скорее добраться до места.

Домик оказался уютным. Две кровати, стол, место для одежды, вентилятор. Во дворе — летняя кухня, туалет и душ. Небольшой двор упирался в гору Митридат, наверху виднелась смотровая площадка. Стояла жара, и Вера подумала, что хорошо бы завтра проснуться рано, подняться на эту площадку и оттуда полюбоваться "Дарованным Богом" городом. Под окнами хозяйского дома росло персиковое дерево и наполняло весь двор запахом

спелых плодов. Хозяйка принесла ей три персика и предложила попить чаю с дороги.

Муж Валентины Семёновны умер пятнадцать лет назад. Сыновья выросли, старший — военный. Она уже на пенсии, вот и пускает к себе отдыхающих. Мать у неё осталась на Украине, и помогать ей стало очень сложно.

— Кушайте, Верочка, не стесняйтесь. Здесь недалеко есть музей сестёр Цветаевых, а если от могилы Айвазовского свернуть направо и идти по улице Ленина, можно прийти к Генуэзской крепости. По дороге встретится мечеть, а дальше увидите три церкви, одна "Иверской Божией Матери". Обратно можно автобусом проехать до центра.

— Простите, Валентина Семёновна, — перебила она хозяйку, — я всего не запомню. Мне хотелось бы пойти к морю.

— Конечно, конечно, идите, вы за тем и приехали. Не буду вам мешать, Верочка.

Кинув в сумку купальник и полотенце, она отправилась на пляж, но дойдя до галереи, повернула налево. "Целых три дня ходить мимо — слишком долго", — подумала она и зашагала к музею Грина. У входа, где лежал якорь, несколько человек фотографировались, ожидая экскурсовода. Она тоже сделала снимок на память. Внутри домик оказался ещё более похожим на корабль — дерево, канаты, лампы-фонари, навигационные приборы, подзорная труба, макеты парусников. В одной из комнат она увидела подобие капитанского мостика с настоящим штурвалом, тут же висел спасательный круг с надписью "Secret". Экскурсоводша рассказывала так вдохновенно, что Вера сделала вывод: все жители Феодосии влюблены в свой город.

Из домика Грина она вышла грустная и зачарованная. У выхода задержалась перед книжным киоском, долго держала в руках "Бегущую по волнам" с рисунками Нади Рушевой, прикидывая в уме оставшиеся деньги, и решила, что один обед можно и пропустить. Выход из музея был на другую улицу, в палисаднике стояли две скамейки, на одной свернулась клубочком кошка. Ей захотелось ещё немного побыть в тишине, она присела на скамейку и достала из сумки хозяйкины персики. Предположительно на карте Грина Феодосия называлась Гель-Гью, а Ялта — Лисс. Она мысленно представила себе это путешествие, надо было лишь дождаться попутного ветра.

Пляж оказался галечный. Вера вспомнила слова хозяйки и побрела вдоль берега за четвёртый мол. Там она окунулась в воду без риска оступиться на камнях. Её охватило то удивительное, ни с чем не сравнимое блаженство, когда тело погружается в морскую воду, и тебе становится радостно и легко. Вера вспомнила про Грина — здесь, в Феодосии, он гулял, купался, ходил с женой на рынок, писал, его печатали, он был счастлив.

Накупавшись, она прошла по молу почти до конца и устроилась на волнорезе загорать. День шёл к вечеру, и уставшее солнце ласкало нагретое за день тело. Она улыбалась и уже не могла представить, что этого всего могло бы и не быть. Кругом плескались и шумели дети, двое мужчин неподалёку вели какую-то непонятную ей беседу, на самом носу мола устроилась влюблённая парочка — каждый, существуя отдельно, вливался в пёструю радостную картину "Отдых на море", возбуждённо-безмятежную и прекрасную в своей истоме.

С берега до неё доносились звуки музыки и запахи готовящейся еды. Вера вспомнила, что ещё не обедала. Шевелиться было лень, но желудок настойчиво напоминал о себе. Она опять вспомнила Грина, как он пытался с луком охотиться на птиц в окрестностях Старого Крыма, движимый голодом, но безуспешно. Видимо, в последний момент рука его вздрагивала от мысли, что он способен убить Божью тварь. Солнце потихоньку сползало в море. Вера решила дождаться, когда и к ней подползёт тень, и в блаженстве закрыла глаза, подставив лицо последним лучам.

Набережная утопала в музыке и красках. Музыканты на разные лады без устали играли и играли. На тонком бордюре клумбы выделывала свои па балерина.

— Каждый зарабатывает, как может, — услышала она от проходивших мимо двух пожилых женщин.

Прямо на проходе стоял улыбающийся золотой джентльмен. Глядя на него, раскрыв рот, остановились женщина с дочерью. Девочка, видимо, сначала подумала, что это памятник, но потом джентльмен дёрнул рукой и шагнул назад к бордюру, девочка засмеялась и захлопала в ладоши. Вера тоже заулыбалась и, проходя мимо, пытливо заглянула ему в лицо, но джентльмен ничем не выдал своего человеческого происхождения.

Её настиг блистающий прозрачный шар, и, обернувшись, она увидела небольшого роста чародея, который, макая две длинные палки в ведёрко с мылом, выпускал на волю огромные пузыри, которые тут же лопались в ладошках у малышей. Черноусый чародей недовольно хмурился, и его качающаяся голова говорила "ай-ай-яй", но мальчишки этого не замечали или не хотели замечать. Иногда он что-то говорил, но речь его была ей не понятна, и она решила, что он грек.

Гитарист в соломенной шляпе и белой рубашке, в чёрной жилетке играл так зажигательно, что ноги сами пошли в пляс, и она закружилась в каком-то непонятном восторженном танце. Вере вдруг показалось, что весь этот праздник для неё. Она зажмурилась от счастья и пожалела, что не надела то лёгкое шёлковое платье, которое лежало на особый случай, и босоножки на каблуках. Тогда бы она почувствовала себя настоящей принцессой цирка, раскинувшего своё невидимое шапито. Навстречу ей шли гуляющие — женщины в красивых платьях, дети в панамках, с шарами, мороженым и сладкой ватой в руках, вальяжные мужчины, аккуратные старушки. Вера улыбалась: "Вот он — город у моря".

Оказалось, что вечер здесь наступает значительно раньше. С семи часов солнце уже начинало уходить с набережной, но небо оставалось голубым. Голубым становилось и море, которое днём было синим. Эта перемена её удивила ещё больше, когда по горизонту прошла сиреневая полоса. Она никогда бы не догадалась, что сочетание голубого и сиреневого так прекрасно, и по этой сиреневой полоске двигался белый теплоход. Вера остановилась и, затаив дыхание, следила за тем, как медленно он перемещается справа налево. Ощущение счастья заполнило её до краёв, но тут же она почувствовала усталость и, вспомнив, что ещё не обедала, направилась в сторону торговых рядов.

Цены в "Столовой по-домашнему" её не удивили, но она отметила, что за ту же порцию борща в Москве она заплатила бы вдвое больше. Уже у кассы Вера вдруг решила продолжить праздник и взяла кусок аппетитного пирога, решив, что чай она попьёт дома.

Район, где Вера поселилась, радовал тишиной, хотя располагался рядом с центром. Вера зашла в магазин, купила на утро творожной запеканки, цена которой её приятно удивила, коробочку плавленого сыра и хлеб. Цены на овощи были московскими. На её вопрос продавщица только равнодушно улыбнулась, а какая-то женщина посоветовала: "А вы сходите на рынок, тут недалеко".

Следующий день начался хлопотами. Вера проснулась рано и отправилась, как и намечала, вверх по склону к смотровой площадке. Но когда она поднялась и вышла на выложенный брусчаткой островок, увидела, что площадка захламлена пакетами и бутылками, и её романтический настрой пропал. Вера немного посидела на скамейке, отсюда открывался вид на залив, порт, стены крепости. Она вспомнила свой родной городок, обрамлённый горами, потом подобрала пакет, собрала в него то, что не вошло в урны, взглянула ещё раз на город и подумала, что, может быть, и там найдётся человек, который вот так же соберёт мусор, оставленный вездесущими туристами, и пошла вниз. Стрелка подходила к середине восьмого, но уже чувствовалось приближение жары.

Только она спустилась со смотровой площадки, как позвонила Раиса. Она сказала, что едет, и что Вера должна быть готова отправиться на работу. Раиса сразу внесла в её размеренную жизнь деловой импульс, она задвинула вещи дальше под кровать, выпила на ходу какую-то жидкость, которую предварительно встряхнула в шейкере, и, увлекая её за собой, помчалась по направлению к центру.

В рядах они заняли пустующее место. Раиса несколько раз повторила цену товара, хотя везде стояли ценники.

— Запомнила? — деловито спросила и по-птичьи покосилась на неё.

Вера отметила эту манеру говорить, не глядя прямо на собеседника.

— Запомнила, — ответила она.

— Ладно, изучай товар, отдыхающих пока немного. Пойду, улажу дела с арендой.

Ряды столов с сувенирами тянулись далеко вдоль набережной, отделяемые веткой железной дороги. Народу здесь было меньше, но зато падала небольшая тень от зданий. Несмотря на довольно раннее время, отдыхающие уже слонялись туда-сюда и даже подходили посмотреть на разложенный товар. Вид у Веры был неуверенный, и, видимо, это бросалось в глаза, потому что соседки-товарки начали её подбадривать и прогнозировали, что дня через три она "научится, как надо". На удивление, ей удалось продать три вещицы, на что Раиса заметила, что этого мало и что в хорошие дни были продажи и на пятьдесят тысяч. От этого Вера пришла ещё в большее уныние, но то, что свою положенную ей тысячу она уже заработала, внушало ей оптимизм. Того куража, который она испытывала вчера, не осталось и в помине. Море теперь плескалось не для неё. Она подумала, что к концу дня адаптация пройдёт, и весёлость к ней вернётся. И ещё она подумала, что Раиса всё время как-то психологически давит на неё, и в её присутствии она чувствует себя скованно. В середине дня Раиса притащила откуда-то складной стульчик и отпустила её пообедать. Затем, поворчав, что она ходила целых полчаса, а на такое время товар нельзя оставлять без присмотра, воруют, и что надо брать еду с собой, удалилась и появилась только к вечеру.

К концу дня Вера почувствовала усталость и головную боль от томления на солнце и стояния на ногах. Прибыль небольшая, но все кругом жаловались, что в этом году не так, как в прошлом, и что после дождей клиент вялый, и вообще денег у людей нет. Вера чувствовала себя курицей с подрезанными крыльями. Завтра ей предстояло работать одной. Раиса пересчитала деньги и товар, сказав, что заплатит за работу потом, выгрузила из багажника коляску и уехала, пообещав вернуться дней через пять.

Вера шла с коляской по тому же бульвару, что и вчера. Навстречу ей попадались беззаботные отдыхающие, и она подумала: какое счастье, что был вчерашний день! И ещё она подумала, что сказка закончилась. Она пыталась убедить себя: надо радоваться, что нашлась такая удачная подработка, не в лагере, где неусыпно следишь за детьми, а они разбегаются и разбегаются; не в магазине, где нет места, чтобы присесть, и ты тупеешь с каждой тележкой, выложенной на стеллажи.

Здесь, буквально в ста метрах от того места, где она поселилась, на невольничьем рынке была продана Роксолана. Здесь жили Грин, Волошин и Цветаевы. Бывали Пушкин, Грибоедов, Чехов, Горький и Мандельштам... Айвазовский воспел море в своих картинах и прославил родную Феодосию на весь мир. И потом у неё появится возможность щеголять южным загаром на зависть тем, кто на юг не попал.

Вера пыталась смотивировать себя на радость, но у неё это плохо получалось. Вдруг в ней щёлкнул невидимый замочек, который сковывал её весь день. Она почувствовала солидарность с балериной на тонком бордюре, с золотым джентльменом, с повелителем мыльных пузырей и с тем музыкантом в чёрных брюках и жилетке, в соломенной шляпе, который весь день дарил свою музыку тем, кто купался, ел и загорал; с её товарками и Грином, охотящимся с луком на птиц и говорящим: "Амба. Больше печатать не будут".

К ней вдруг вернулся вчерашний кураж, только в каком-то другом, осознанном качестве, и от этого ещё более бесшабашный. Вера почувствовала, как расправились плечи, голова встала на место, и белый теплоход поплыл по сиреневой кромке голубого моря.

Вечером следующего дня её ждал сюрприз. Хозяйка, виновато глядя на неё, пожаловалась:

— Раиса плату так и не внесла и, видимо, собирается тянуть, как и в прошлом году. Вода дорогая, а тут попросились люди, семья, на три дня,

сразу оплатили. Уже вечер, и куда они пойдут? В доме тебе будет даже удобнее, потому что отдельная комната и туалет с ванной. Вещи я уже перенесла.

На столе красовались бутерброды с сыром и колбасой, и Вера молча согласилась. Выяснилось, что с хозяйкой живёт младший сын, который всё пропивает и теперь лежит в больнице, поэтому его комната свободна. Валентина Семёновна показала ей чудодейственные капли "Алкостоп", которые приобрела за четыре тысячи, и поинтересовалась, не слышала ли она чего про эти капли. Вера ответила, что не слышала, но может посмотреть в интернете.

В комнате, где она спала, её не покидало чувство какой-то неуютности, то ли от голых стен, то ли от высоко поставленного небольшого окна, в которое не проникало солнце из-за выстроенного совсем рядом соседнего дома. Вера пыталась понять, почему сын местного фельдшера стал алкоголиком. Она подошла к книжной полке, посмотрела на корешки стоящих книг, прочла: "Волкодав", читать дальше ей не захотелось.

Валентина Семёновна целыми днями смотрела телевизор и с особым интересом — заседания парламента. На вопрос Веры, как изменилась жизнь после возвращения в состав России, вздохнув, ответила:

— Конечно, довольны, что вернулись. Поначалу всё было хорошо. Но сейчас цены выросли. Да и медикаменты раньше были лучше.

Потом хозяйка начала рассказывать о начавшихся тогда перебоях с водой, но Веру это мало интересовало.

Торговала Вера покупными сувенирами и бижутерией — пёстро, красиво, но без того особого тепла, которое приобретали вещи, рождавшиеся из-под рук на её глазах. Товарки вокруг неё между делом что-то мастерили, и ей было неловко, что она бездельничала. Рядом с ней Елена, приехавшая с семьёй с Украины, ловко складывала из разглаженных руками кусочков ткани куколок-хозяюшек. Девчонки-соседки торговали глиняной посудой, которую мастерил их отец. Младшая, Аиша, нанизывала на нитку бусинки. По ту сторону от Елены — Галина, женщина уже в возрасте, местная, продавала свои картины, но их брали мало, зато магнитики с изображением тех же картин уходили "на ура". Галина приносила из дома инжир, крупный, мясистый, угощала товарок, угостила и Веру. Вера такого инжира никогда не видела и не ела, а до рынка она так и не дошла.

Продавцы и мастеровые приезжали сюда целыми семьями. Пока дети плескались в воде, взрослые занимались своим товаром. Вера как-то сразу полюбила их всех. Её восхищало их умение делать из простого нужное и красивое. Ей хотелось у каждого что-то купить. Особенно понравилась Вере цветная глянцевая посуда с тонкими краями, изящная и радостная.

О бывшей украинской принадлежности напоминал только кинотеатр в центре города, небольшой, с непропорционально большими буквами "УКРАИНА" да отсутствие банкоматов Сбербанка. Выяснилось, что снять деньги можно только в РНКБ с комиссией. Вот уж глупо получить пятьсот рублей, заплатив при этом сто.

Раиса появилась так же напористо, как и в первый раз. Пересчитав деньги и товар, она заявила, что не хватает серёжек с камнями и кольца, которые не числятся проданными, следовательно, с зарплаты минус тысяча восемьсот пятьдесят.

— Но я никуда не отходила. — У Веры перехватило дыхание.

— Как? Совсем никуда?

— В туалет.

— Ну вот.

— Мы с соседками доверяем друг другу, и подменяем, если надо. Вы сами меня оставили работать без сменщицы. И потом, вы не дали мне опись товара, я сама составила список, вот, можно проверить.

— Ты хочешь сказать, что я тебя обманываю?

— Конечно, нет, но… давайте проверим.

— Заткни свой рот, — прошипела Раиса, — я плачу за то, что ты тут припеваючи живёшь у самого моря, а ты решила меня проверять.

— Я подумала, что правильно было бы передать мне товар по описи, но если вы этого не сделали, я переписала сама.

— Ну, хорошо. Я высчитаю половину.

— Вы обещали мне тысячу в день за выход.

— Обещала, получишь в конце сезона.

— Но я предупреждала, что денег у меня совсем мало, и я рассчитывала на то, что вы будете мне выплачивать каждую неделю.

— Сейчас мне надо заплатить за квартиру, в которой ты живёшь, между прочим.

— Но мне тогда нечего будет есть.

— А ты как рассчитывала, что я тебя ещё и кормить буду? И не надо давить мне на жалость, плачь где-нибудь в другом месте. А не нравится — убирайся.

Вера вышла за ворота. Здесь в переулке было тихо. "Какая я дура! Ехать в такую даль без денег, когда никого из друзей или родных рядом. Сама виновата". Ноги привычно шли к набережной. Там беззаботно гуляли, сидели на верандах кафе, о чём-то говорили, потягивая напитки, и никому не было дела до неё. "Надо как-то успокоиться". Она подошла к морю.

— Где ты, Фрези Грант? Куда бежишь ты по волнам? Может быть, твой путь лежит в Лисс или Зурбаган?

— Гель-Гью, Гель-Гью, — послышалось в ответ. Вера улыбнулась, и счастье тихо вернулось к ней. Она ещё постояла на берегу, наслаждаясь прохладой, потом пошла к парку сквозь праздничную карусель набережной и, казалось, забыла о неприятном разговоре. Свернув с аллеи в сторону дома, она отметила, что здесь безлюдно. Проходя мимо скверика с могилой Айвазовского, повернула голову и увидела ещё одну тень. Она оглянулась — никого. Странно. Кошки, которые вечно сидели вдоль дороги, даже не шелохнулись. Вера сделала несколько шагов и остановилась. Обе тени последовали за ней. Вера ещё раз оглянулась, ей стало как-то не по себе. Бывает же. И к чему это? До дома оставалось несколько шагов.

Когда Вера подошла к воротам, хозяйка, сидевшая за столом в летней кухне, окликнула её:

— Отдыхай. Завтра я поработаю сама.

Вера промолчала. За день домик нагрелся. Душно. Кровати стояли недалеко друг от друга, она постояла и, что-то решив для себя, вышла. Найдя несколько дощечек, она сложила их друг подле друга, устроив настил. Потом взяла в охапку постель, расстелила её на дощечках и нырнула под одеяло. Над нею сияли звёзды.

Утром Вера нашла подсунутую под её чашку тысячу рублей. Валентина Семёновна, увидев её, засуетилась, стала предлагать ей показать рынок, где можно всё купить задёшево и откуда можно будет уехать в Коктебель на городском автобусе, но Вера отказалась, сказав, что сегодня уезжает. Позавтракав, она решила дойти до крепости, зайти в церковь и, как предлагала хозяйка, обратно вернуться на автобусе, но проехать дальше до автовокзала и купить билет на последний рейс. Если даже билет ей не обменяют, в аэропорту можно будет переночевать, а там уже решить, что делать дальше.

Из трёх храмов вблизи крепостных стен, по всей видимости, действующим был только один. На развилке Вера повернула направо. Дорожка вывела к старой кубообразной церкви, увенчанной строгим крестом. Она обошла её вокруг и остановилась там же, куда вывела её дорожка. "Идти вперёд или вернуться назад?" — подумала она, глядя на церквушку, утопающую в зелени и цветах. Навстречу ей, легко перебирая ножками, шла девочка лет шести.

— Ты с кем идёшь? — спросила она девочку.

— Ни с кем, одна, — моргнули белёсые реснички.

— И куда ты одна идёшь?

— В церковь.

— В церковь? И я в церковь, вот только не пойму, как туда пройти. Может, пойдём вместе?

— Пойдёмте, — девочка легко поскакала по дорожке и светлые волосики травкой закачались на её голове.

— Как тебя зовут? — еле поспевая следом, спросила Вера.

— Обыкновенно.

— Обыкновенно… это как?

— А так!

Девочка шла вприпрыжку, и было забавно на неё смотреть. “Кузнечик”, — подумала Вера и рассмеялась.

— Сколько тебе лет?

— Осенью пойду в школу.

— Считать умеешь?

— Да.

— А читать?

— Нет ещё.

— В школе научат.

Церковь опоясалась палисадником: белые, алые, вишнёвого цвета розы, утомлённые солнцем, но оберегаемые зеленью, красовались, и Вера невольно потянулась, чтобы их сфотографировать. Девчушка скользнула в открытые ворота и исчезла. У ворот сидел здоровяк без каких-либо признаков уродства и даже не старый, и если бы не консервная банка у его ног, ей и в голову не пришло бы, что он просит милостыню. Вера прошла мимо по широкой дорожке, выложенной булыжником, остановилась в арке ворот, увитой зеленью, перекрестилась с поклоном и спустилась по ступенькам на каменную дорожку, ведущую к старой церкви. Стены её были каменной кладки, такой же, как и развалины крепости. У входа обращал на себя внимание ряд плит с выдолбленным рисунком — звёздами, каменными цветами и письменами на непонятном языке. Вера подумала, что это как-то связано с Рождеством.

Церковь — небольшая, но уютная, с иконами прямо на каменных стенах — окутала её прохладой и тишиной. Справа продавали иконки и свечи. Она увидела свою знакомую девчушку — та стояла на цыпочках у прилавка и силилась вбросить монетку в ящичек для сбора пожертвований. Она уже собралась ей помочь, но тут монетка скользнула в щель, и девочка радостно заулыбалась. “Какая милая”, — подумала Вера. Купив три свечи и подав записочку “за здравие”, она погрузилась в молитву и не заметила, как девчушка ушла. Выйдя наружу, она поспешила надеть шляпу и очки.

— Дамочка, подайте бывшему матросу, — здоровяк встал во весь рост, и она отметила, что он хорошо сложен. Один глаз его прищурен, и невозможно понять, хитрость ли это или дефект. Вера молча его разглядывала.

— Мадам, вы находитесь на территории Старого города. Говорят, когда-то в этой долине находилось более тридцати храмов. Обратите внимание на остатки Генуэзской крепости, она, как и город, носила название Кафа. Этим стенам больше шести веков. Если дамочка желает, подальше есть родник, и еще одна церковь, но закрытая. Слева от неё за гаражами — море, дикий пляж, справа — дорога на крепость.

Вера с интересом слушала. Здоровяк пытливо взглянул на неё, переступил с ноги на ногу и снова заговорил:

— Здесь были итальянцы, и вообще кого тут только не было. Поэтому и церковь “Иверская”. Дамочка! Ссудите бывшему матросу.

— А вы матрос?

— Закончил когда-то Нахимовское.

— Да вы что!

— Да ничто, хватит с меня, отслужил, — он брякнул банкой.

— Нет. Я думаю, что обижу вас, если дам вам денег.

— Что ж обидите-то?

— Вы — отличный гид!

— Да ну… — Он безнадёжно опустился рядом со своей банкой.

— Подумайте. Вы можете стать прекрасным экскурсоводом. — Вера улыбнулась, махнула ему рукой и зашагала вперёд по тропинке.

Дорожка привела её к памятнику. Он был вполне современным и среди древних сооружений выглядел странно. Она подошла ближе, чтобы прочитать надпись на постаменте: “Афанасию Никитину, купцу-путешественнику, автору “Хожения за три моря”, приидохшему в Кафу в лета 1474 ноября 5 дня”.

Слева от памятника дорожка шла наверх, к крепостным стенам. Склон показался ей небольшим, но подниматься в жару тяжело. Каменная громадина нависала и то ли угрожала, то ли защищала. Вера обратила внимание на круглое отверстие с рваными краями, видимо, след от пролетевшего ядра. Отсюда хорошо просматривалась бухта с затонувшей баржей — и стены, и эта баржа, и вросшие в землю камни — всё было неподвижно-величественно. Пред ней простиралась карантинная зона — памятник человеческой вражды и смирения. От жары воздух подрагивал. Вера прислонилась к стене, закрыла глаза и вдруг отчётливо услышала какой-то шум. Она силилась посмотреть, что за шум, но глаза придавили потяжелевшие веки, и она только напряжённо вслушивалась. Ей показалось, что она слышит лязг оружия, храп коней и крики людей. Вера сильнее прижалась к стене, глаза её медленно с опаской открылись, и она замерла в восторге от картины, открывшейся её взору. Море величественно и спокойно простиралось вдаль, и солнце софитами заливало окрестности. Жара становилась невыносимой, и Вера направилась к морю.

На обратной дороге она повернула к роднику и там разговорилась с молодой женщиной. Они познакомились, женщину звали Мария. Она рассказала, что они сбежала от родителей, решила пожить самостоятельно и в Крым приехала с попутчиками. Вера поинтересовалась, не опасно ли это, но та только рассмеялась. По дороге к остановке они полакомились уже начинавшей поспевать ежевикой. Показался автобус, и Вера, пожелав Марии удачи, побежала к остановке.

Когда от кинотеатра "Украина" она спускалась вниз к морю, вдруг увидела имя Пушкина на табличке. На улицу со второго этажа небольшого здания выходил красивый балкончик, и она представила, как Александр Сергеевич читал оттуда свои стихи, посвящённые местным дамам. Остаток дня она провела у моря, посетила галерею Айвазовского и даже позволила себе обед в столовой — гулять так гулять.

Вернувшись, она стала собирать чемодан. Валентина Семёновна позвала её пить чай. За чаем рассказала, что сына завтра выписывают. Вера вспомнила, что в церкви поставила свечку за здоровье хозяйки и пожалела, что не узнала имени сына, но сейчас это было уже не важно. Калитка щёлкнула, и показалась Раиса. Веру удивило, что она пришла так рано.

— Зайди, я хочу с тобой поговорить. — Раиса прошла в летнюю кухню.

"Сдала", — подумала Вера, глядя на Валентину Семёновну, поблагодарила за чай и пошла к домику. Раиса сидела за столом в тёмных очках. Подойдя к двери, Вера замешкалась: войти или нет.

— Ты поступаешь неправильно, это обыкновенные деловые отношения.

— Извини, я не хочу опоздать на автобус, — ответила Вера с порога.

— Зайди. Вот твоя зарплата за проработанные дни.

На столе веером лежали четыре тысячи. Вера зашла, взяла деньги, но тысячу положила обратно.

— У меня нет оснований тебе не верить. Я думаю, ты сможешь найти кого-нибудь из местных. — Вера подхватила свой чемоданчик, махнула хозяйке рукой и вышла за калитку.

На автовокзал она приехала с запасом времени. Тощая кошка ходила между сиденьями в надежде, что её покормят. Объявили посадку на Москву, что Веру сильно удивило. Рядом засобиралась женщина.

— Я не ослышалась? Это автобус на Москву?

— Да, — ответила женщина.

— И сколько стоит билет?

— Три тысячи.

— Всего-то?

Бросались в глаза всё те же таблички: "Жильё". Женщины переговаривались с таксистами, и из их разговора Вера поняла, что они недовольны, что москвичи понастроили здесь жилья, и клиент уже с вокзала едет с ключами; что приезжих всё больше и больше, и скоро самим негде будет отдыхать. Объявили посадку. В аэропорт шла маршрутка. Вера взяла билет так, чтобы хотя бы проехать мимо Коктебеля. Её место оказалось с оторванным

сидением, которое плавало под ней, и она села на соседнее, тринадцатое, пока оно было свободно. Небо заволокли тучи, и жаркий солнечный день насупился дождём. "Домой", — сказала она про себя. У неё ещё оставалась надежда найти работу и остаться в Симферополе, но она понимала, что скорее это её фантазии и никакой работы она не найдёт, надо было обменять билет и лететь как можно скорее, пока ещё оставались деньги. Ещё она подумала, что день всё же прошёл хорошо.

Стемнело, и Вера не заметила, как они проехали Коктебель. В Судаке была остановка. В маршрутку с весёлым шумом ввалился худощавый молодой человек в панаме, из-под которой выбивались наружу светлые курчавые волосы. "Том Сойер на длинных ногах", — подумала она и улыбнулась. Молодой человек плюхнулся на заднее сидение в середине прохода и стал рассматривать билет.

— Тринадцатое место, — сказал и стал искать глазами.

— Это здесь, — сказала она, — я на нём сижу.

— Ну и сидите, — улыбчиво ответил он.

— Моё кресло сломано, может быть вам удобнее будет остаться там, где вы сели? — Она смерила взглядом его длинные ноги.

— Да всё нормально. Наверняка, кто-то сядет ещё. — И он втиснулся в соседнее кресло.

— Летите? — спросил он.

— Да, хотелось бы. Мне надо поменять билет.

— Что так?

— Денег осталось только, чтобы вернуться домой.

— Хорошо отдохнули?

— Да. Отлично!

— А почему улетаете раньше?

— Подработка не задалась. Если обменяют билет без проблем и будет время, то хочу доехать до Гурзуфа и до Ялты, говорят, туда ходит троллейбус из Симферополя.

— В Ялте тоже море.

— Там жил Чехов.

— Это так важно?

— Для меня да.

— А я был в Артеке.

— Так вы паинька и отличник?

— Нет, — он рассмеялся, — я там учился на кондитера. Булочки, бисквиты, эклеры, кексы…

— М-м-м-м, какая вкуснятина!

— Мне просто повезло. Другие пацаны ходили красно-жёлто-чёрные.

— В смысле?

— В смысле чистили морковь, свёклу и картошку.

Она представила себе эту троицу и рассмеялась.

— Видимо, тому, кто был на картошке, службу в армии засчитали экстерном.

— Попробуйте-ка почистить всё это каждый день на тысячу двести человек.

— Круто. А вы, значит, на булочках?

— Ну да, мне повезло. Мне вообще всегда везло. По молодости мы сходились стенка на стенку у памятника Ленину.

— И вы?

— И я, почему нет.

— Зачем?

— А так, я рос хулиганом. Целыми днями лазили по всему побережью. Были у нас в Генуэзской крепости?

— Нет.

— А зря, наша, в отличие от Кафы, сохранилась хорошо. Теперь даже деньги за вход берут. Всё моё детство прошло под стенами этой крепости: откапывали там всякие железные штучки, рыбу ловили, там же и жарили на берегу. Есть что вспомнить.

— Тоже летите?

— Да. В Москву.

— Работать?

— Экзамен сдавать.

— Вы что, куда-то поступаете?

— Я сдаю экзамен по немецкому языку, два раза уже завалил.

— Моя подруга тоже заваливала два раза экзамен, правда, по экономике, решила поменять профиль. И вы знаете, что ей помогло?

— Что?

— Выхухоль, я, правда, не знаю, что это за зверь.

— Мне кажется, это что-то птичье.

— Не важно, можно посмотреть в интернете. Я ей пересказала тест: когда заходишь в первый раз и видишь человека, попробуй представить его в виде животного, это поможет наладить с ним контакт. Если ты видишь перед собой, допустим, льва, а ты заходишь и трясёшься, как заяц, то навряд ли ты выиграешь от этого. Или, допустим, ты заходишь, и сидит козёл, а ты такой кочан капусты…

— Понятно. У вас в Москве нет хорошего учителя по немецкому языку?

— Нет. Я живу от Москвы ещё час езды. Зачем вам немецкий?

— Без экзамена по языку на ПМЖ не пустят. Все мои уже уехали, остался я один. У меня и паспорт есть. Вот.

— Да, заграничный. Ну, так вперёд! Как вас зовут? — Она с любопытством разглядывала паспорт.

— Артур.

— Артур Грау. Вы что, из Прибалтики?

— Нет. Я родился здесь.

— А сейчас хотите уехать?

— Да. Не вижу смысла здесь оставаться. К тому же родные все уже там.

— Вы думаете, там будет легко? Не факт, что вы сможете работать по профессии.

— Да, там жесть. Либо ты доказываешь, что ты крутой профи, либо: “Вот тебе тряпка”.

— И зачем же вам туда?

— Все мои одноклассники либо сидят, либо уже отсидели, я один везучий.

Она посмотрела на него, прикинула в уме — тридцать пять лет, всё ещё может состояться.

— Вы знаете, как учил языки Шлиман, а он знал пятнадцать языков, это тот, кто раскопал Трою? Он брал книгу на двух языках и читал, сопоставляя текст, заучивал куски, а потом находил собеседника. Русский, кажется, он учил по “Робинзону Крузо”, а потом нанял какого-то нищего еврея, и тот за шиллинг в день слушал, как он пытается говорить по-русски. А вообще лучше всего учить язык в среде, где никто тебя не понимает.

— Ага. Вам надо придумать какую-нибудь историю, чтобы они согласились поменять билет.

— Зачем? Можно просто сказать, что возникла такая необходимость. А вы чем занимаетесь, Артур?

— Да всем понемногу. Что придумаю, тем и занимаюсь. Я плитку кладу, знаете, так… — И он сделал жест рукой, что означало, видимо, красиво.

— Здорово! Слушайте, Артур, я в школе учила немецкий, правда, терпеть его не могла. Но однажды мы проходили Генриха Гейне и учили его стих “Лорелея”, я его до сих пор помню. Благодаря Гейне я поняла, что немецкий может быть тоже прекрасным: “Их вайс нихт, вас золь эс бэдойтен, Дас их зо траурих бин, Айн медхен аус альтен цайтен, Дас комт мир нихт аус дэн зин”. Правда, красиво?

— Ну да. Симферополь. Почти приехали.

— Может быть, попробовать устроиться куда-нибудь, допустим, в Артек? У вас там нет знакомых?

— Нет. Туда раньше было трудно попасть, я не думаю, что сейчас легче.

— Значит, надо лететь. Жаль. Я так и не побывала в Коктебеле, а там весь Серебряный век. А ещё собиралась в Ялту.

— Ещё приедете, не переживайте. Вы что, литературу в школе преподаёте?

— Ну да. Полжизни не хватило приехать, хотя… почему бы и нет.

Маршрутка остановилась около аэропорта. Артур подхватил её чемоданчик, и они пошли к ярко освещённому зданию, на котором большими буквами красовалось "Симферополь". Аэропорт был великолепен! Стены внутри утопали в зелени. И как она раньше не догадалась из прилётного отсека зайти в зал ожидания?

— Поменяем билет и пойдём пить вино. Может, и смысл появится. Вы что пьёте?

— Кажется, я всеядна. За свою жизнь я перепробовала все напитки, кроме кактусовой водки. А вообще люблю красное сухое.

Они подошли к кассе Аэрофлота. Билет, оказалось, сдать нельзя, но заменить можно без проблем, надо только доплатить три тысячи пятьсот. Она подумала, что за эти деньги можно было уехать автобусом до Москвы прямо из Феодосии.

— Что? Меняют?

— Да. Только у меня не хватает денег.

— Возьмите. — Он протянул пятисотку. — Сейчас ещё посмотрю.

— Этого достаточно.

"Какая я дура, — подумала она, отходя от кассы, — и зачем надо было брать билет обратно! Совершенно никакой проблемы уехать, а ещё месяц надо как-то жить".

— Спасибо, я верну. — Вера посмотрела на Артура и смущённо улыбнулась.

— Да ладно. Возьмите ещё. — Он протянул ей двести рублей.

— Нет, не надо.

— Тогда пойдёмте быстрее пить вино, у вас уже идёт регистрация.

Они поднялись на второй этаж. Там тянулся длинный хвост желающих улететь.

— Да, пожалуй, туда не пробраться. — Он кивнул на посадочную зону. — Там есть то, что нам надо, но… Пойдёмте пить пиво.

Они вернулись на первый этаж. Он взял тёмное. В его лице было что-то мальчишеское, и лишь какая-то помятость лица выдавала в нём взрослого мужчину.

— Как вас зовут? — спросил он.

— Вера. Извините, я забыла представиться.

— Ничего, норм. Пьём?

— За удачу! — они звякнули кружками.

— Я вообще-то не пью, но лететь так скучно, а выпьешь, и хорошо спится.

— Да, — согласилась она почему-то.

— Вот возьмите, Вера, — он протянул ей белый камушек, — это не простой камушек, он вылупился из другого камня, тот был коричневый.

— Как это вылупился? — спросила она, рассматривая маленькую, похожую на большой соляной кристалл пирамидку.

— Сам не знаю. Тот коричневый, лопнул, а внутри него оказался этот. Возьмите, пусть вам повезёт. Потом передадите кому-нибудь ещё.

— Спасибо, — сказала она, крутя на ладони камушек.

— Давайте. — Он махнул рукой в сторону эскалатора. — У меня ещё дела. — И зашагал в сторону.

Вера пошла на посадку, на эскалаторе обернулась: Артур шёл, широко шагая по залу, не оглядываясь, и она пожелала ему удачи. Хмель начинал подходить к голове, и когда самолёт взлетал, сон уже окутал её. "Прощай, Крым! Я вернусь к тебе! Я ещё погуляю по набережной Лисса". Она спала, и на лице её была улыбка.

В Москву она прилетела ночью. Шёл дождь. "Вот и закончилось моё лето, — подумала она и грустно улыбнулась, — а всё же хорошо, что я побывала в Крыму! Спасибо Раисе, вытащила. В конце концов, всё, что ни делается, всё к лучшему".

Вера устроилась поудобнее в кресле. Ближе к утру ей захотелось выпить горячего чая, с самолёта у неё оставался контейнер с едой, и можно было позавтракать. Она посчитала мелочь и направилась в сторону автомата.

— Вера! Вы ещё здесь? — услышала она знакомый голос.

— Ну да. Жду утра. А вы уже прилетели?

— Как видите, — рассмеялся Артур, — значит, мы всё же пьём вино?

— Вино на завтрак — это как зефир с креветками.

— Не хотите вина, давайте кофе.

— Да, от кофе я бы не отказалась.

— Пойдёмте, я видел, где уже открыто.

— Хорошо, пойдёмте.

И чемоданчик весело покатился вслед за ними.

ЕКАТЕРИНА БЛЫНСКАЯ

КРАЙ, ГДЕ ЕДИНЫ СВЯТОЙ НИКОЛАЙ И ВЕЛЕС...

* * *

Силы нет — ума уже не надо.
Если знаешь больше... подскажи.
Опадал наряд сырого сада,
Тикали кузнечики во ржи.

Может быть, не стоило об этом?..
Посмотри, перед грядущей тьмой,
Станет сад по осени скелетом,
Обнажится дочиста зимой,

А потом, гуденьем пчёл наполнен,
Выпросит несмелые цветы,
Заплетутся скрюченные корни,
Изогнут тяжёлые хребты.

БЛЫНСКАЯ Екатерина Николаевна родилась в Москве. Поэт и писатель. Окончила Театральную мастерскую Ролана Быкова, работала в театре. Окончила Экономико-гуманитарный институт. Автор четырёх книг стихов: "Боязнь паденья", "Закон несложный", "Святослово", "Всё забудь" и книги прозы "Змий Огнеярый, повести и рассказы". С 2010 года жила в Сибири, в шахтёрском посёлке Тайжина. Работала в газете "Время и жизнь" в г. Осинники Кемеровской области. В 2013-м вернулась в Москву. Окончила Высшие литературные курсы Литературного института им. М. Горького. Дипломант литературного форума "Золотой Витязь". Публиковалась в журналах "День и ночь", "Зензивер", "Нева", "Сибирские огни", "Дети Ра", "45 параллель", еженедельниках "Поэтоград" (Москва), "Литературные известия" и др. Член Союза писателей XXI века, член Союза писателей Кузбасса. Замужем, воспитывает четверых детей.

Так на почве, в бледной, бедной толще
Будто и у нас другая жизнь.
Даже и цветов не нужно больше,
Если уж корнями обнялись.

Ждёшь чего-то, а ещё не пожил.
Шмель над вербой бзыкает с утра.
Умирает стоя сад заросший,
Трескается бурая кора.

СОРОКА

Над Маринкиной башней — столбом тишина,
Круговертью ветра, недвижима стена,
Только вороны хрипло базарят.
Кто здесь прав... а никто, говорит им она...
На Руси нет любви — только жалость одна,
И черно, и синё тут от гари.
За Коломной широкое поле легло.
И не кажется злом очевидное зло,
Только сыпок наскок комариный.
Вишь, сказала мне бабка, была тут одна,
Стародревлих двоих самозванцев жена...
Только помню, что звали Мариной...
А потом, как её посадили сюда,
Прокляла и князей, и бояр навсегда...
И с тех пор на Руси нетолока...
Вроде кинулись было её убивать,
Как ударилась оземь, и люди-то, глядь...
А она обернулась сорокой...
Через век моя бабка не зрела почти.
Ей истории тёмной неясны лучи,
Ей, купеческой дочке, досталось
И в окопах кровавую жижу месить,
И потом о невыживших детях просить,
И, смахнув огневую усталость,
Говорит она что-то, и пахнет земля,
И мне в детское сердце вонзается жля,
А понять мне её не по силам...
И за что заточили царевну давно?
Я в пшенице теряюсь, сама, как пшено...
Виновата, что крепко любила...
И бежит до деревни тропинки стежок,
Бабка тяжко идёт, заливает стрижок,
Кувыркается в горней остуде.
И всё ширится чёрное с белым пятно,
И стрекочет, и бьётся под сердцем оно
И всегда там, наверное, будет.

* * *

В лугах ещё не начался покос...
Моя Земля, что Господом хранима,
Прекраснее Иерихонских роз,
Блаженней храмов Иерусалима.
Мы в жизни то бегом, то кувырком
Спешим, летим... Но есть ночная морось,
Когда неповторимым ветерком

Весна от тела отделяет голос.
Когда по устью прыгает ручей —
Мне каждый камень памятен до дрожи,
Дороже всех персидских крепостей
И золота царьградского дороже...
А воздух прян, и влажен вешний сад.
Сирень вскипела изморозью вышней...
И, будто не поздней, чем час назад,
Бог создал землю и уснул под вишней.

* * *

Шурша листвой, залюбленной давно,
Дождями и ветрами предосенья,
Мне хочется поехать в Люблино
Тотчас же, а не ждать до воскресенья.
Найти качели в папином дворе,
Сесть на подразбитый край забора...
Особенно сегодня, в сентябре
Я понимаю, как ужасно скоро
Дни мчатся. Вот моя дорожка в парк...
Разлепленные веки листопада,
И пёс бегущий, и неспешный шаг,
И лиственниц желтеющих каскады...

И новых птиц несметные полки,
И гнутые боярышника ветки,
Которые рисую от руки
В тетради сына на листочке в клетку.
А дождь летит разреженно из створ,
Уже открытых для грядущих бедствий...
Но дом ещё стоит. И тихий двор
В песочницах растит чужое детство.

* * *

Мухе пора в домовину, а мне домой,
Шкурку печёной картошки в овсюг забросив.
Будет о чём подумать ещё зимой.
Яблок медовых щедро отсыплет осень,
Не дошептав остывшему очагу
Тайн суматошных, выдуманных безделиц, —
Так понимаю, что отпустить могу
Край, где едины Святой Николай и Велес,
Где над дерновыми избами муравьёв
Выросли глазки цикория голубого,
Где беспокойное сердце живёт моё,
Чтобы до ручки когда-то добиться снова.
Бродят сады, и воздух вечерний пьян,
Пахнут прозябшие плёсы далёким маем,
И серебристый месяц, идя в туман,
Нож из кармана медленно вынимает.

НАТАЛИЯ СТЯЖКИНА

ПТИЧКА МОЯ

ПОВЕСТЬ

Глава первая

Нежно-серое утро разливалось по комнате, ласково щекотало ноздри. Всего одно мгновение. Следующее мгновение повергло в шок до дикой слабости в ногах. Я лежала в чужой спальне, совершенно не помня, как оказалась в этой комнате. И судя по смятой рядом подушке и откинутому одеялу, спала здесь не одна. За дверью, прикрытой портьерой, на балконе курил Глеб, чужой, в общем-то, мне человек.

Как это со мной могло произойти? Какая гадость!

Тихонечко вынырнув из-под одеяла, с облегчением увидела на себе бельё и колготки, нашла своё платье на тумбочке рядом, аккуратно свёрнутое по-чужому — конвертиком. Судорожно, путаясь в рукавах, натянула его кое-как, гармошкой и рванула в тёмное пространство за дверью. Справа прихожая и входная дверь. Где-то здесь должны быть сапоги, пуховик и сумка. Я щупала в темноте чьи-то ботинки, когда резким щелчком включился свет.

— Сбегаешь от меня? Вот так, не попрощавшись даже? С добрым утром!

Я увидела Глеба, который стоял сзади меня, облокотившись о косяк, в характерной позе хозяина, провожающего гостя.

— Нет, просто… С добрым. Да, я хотела уйти.

— У меня тут есть целый мешок колумбийского кофе…

СТЯЖКИНА Наталия Владимировна родилась в 1980 году в Москве в семье учёных. В 2002 году с отличием окончила МПГУ (МПГИ имени В. И. Ленина) по специальности сурдопедагогика, филология. Работала учителем в школе для глухих детей, литературным редактором. Пишет эссе, рассказы, очерки. Публиковалась в газетах "Завтра", "Московский литератор". Изучает культурологию, русскую философию.

— Глеб, я должна прийти в себя. Мне не свойственно вот так… это вообще не моё! Прости!

Он подошёл ко мне и ласково, немного с вызовом дотронулся до подбородка, чуть приподняв моё лицо к себе. Всё это напоминало какой-то глупый водевиль. Я молчала, глядя ему в глаза.

— Послушай меня, девочка. Ты просто вырубилась вчера в кресле. Сидела, улыбалась, и вдруг раз — смотрю — спит. Свернулась калачиком, закуталась в плед. Потеплела, как котёнок… Это не стыдно. Это не страшно. Ничего не случилось, поняла?

Щеки и уши вспыхнули нестерпимым жаром. Я знала, что он это заметил. Но было уже всё равно.

— Да. Просто… мне очень неловко. Раздел меня… Мне кажется, я никогда в жизни так не уставала!.. А потом это вино вкусное. И твой глинтвейн… Ничего не помню. Кошмар.

— Я боялся, что ты сбежишь, как только проснёшься. Даже на ключ дверь закрыл. На диван вчера пролили шампанское, поэтому положил у себя. Хотя… Всё равно бы положил у себя. Честно признаюсь. Но я тебя не трогал. Только платье снял, тебе в нём жарко было.

— Спасибо…

— Сейчас я такси вызову. Какой адрес отеля?

Действительно, какой? Полезла в WhatsApp, смотреть сообщения от Ираклия.

— Суаридзе, та-а-ак… Сейчас…

На улице мерцало, искрилось зимнее петербургское утро. Позёмок, поднимая дымку снега, охватил колени ледяным порывом. Во дворе-колодце никого не было. Глеб, запахнувшись в пальто, гулко открывал мне тяжёлые ворота дома.

— Давай, миленькая. Не пропадай, Бога ради! Днём буду вызванивать тебя. Хорошо? Ладно?

Поцелуй, небритый подбородок больно царапнул щёку, и я нырнула в темноту салона такси.

Первым делом душ. Потом спать. И ни о чём не думать! Как хорошо, что до 4-х никуда не надо… Мимо меня в тёплых окнах проплывал скованный льдом рассветный Петербург. Синтетический запах отдушки действовал наркотически, хотелось прижаться лбом к стеклу, прикрыть глаза и вот так нестись мимо домов, соборов, бульваров, переулков — часами, сутками напролёт…

Номер оказался хорошим. Тёмным и тихим, как сейф. Проснулась в сумерках. Рванулась к телефону, похолодев в ужасе, что опять проспала целую жизнь. Но нет. Неотвеченные незначительны, и до выхода оставалось целых полтора часа. Розовые тёплые сумерки, томно разлитые по комнате, были фикцией от плотно задёрнутого бордовым гостиничным атласом окна. В запасе для размышлений двадцать минут. Я переметнулась на соседнюю прохладную подушку и начала вспоминать вчерашний нескончаемый день. День, в который случилось что-то такое, что должно перевернуть всю жизнь. Я это чувствовала. Вернее, нет, — знала.

Позавчера мне позвонил мой научный руководитель:

— Настя… Простите, не отвлекаю? — Обострившийся грузинский акцент на фоне осипшего голоса мог говорить только о двух вариантах: либо это отчаяние от чего-то приключившегося, либо Суаридзе взбешён, и моя диссертация в очередной раз выкинута на помойку. Был третий вариант — комбо, но о нём я не успела подумать. — Анастасия Романовна, умоляю вас!.. Со мной приключилась беда! Опять эти приступы. Ни лечь, ни встать, ничего!.. Сейчас была "скорая". Хотел ринуться на обезболивающих, но они непреклонны, нельзя! А завтра ехать на презентацию книги Стогова, в этот… как его?.. на Литейный! Столько разговоров было, столько готовился, и вот!..

Лифт, уютно скрипнув, задвинул дверь и, лениво покачивая ламинированными стенками, стал меня поднимать.

— Чем я могу помочь, Ираклий Владимирович?

— Я понимаю, это страшно неудобно, но мне некого просить, я умоляю тебя — выступи там. Это очень нужно руководству, они просили его завлечь. Он нам нужен, возможно, на будущий год удастся договориться о небольшом курсе. Какие-то даже зацепки уже есть. От тебя требуется проявить внимание со стороны нашего университета. А мы потом с ним поговорим. Он выслал нам приглашение на презентацию, мы же его родная кафедра…

На другой день Суаридзе, как-то неровно шагая, вышел из своего коттеджа встречать меня в шерстяной лыжной шапке с понурым помпоном из далёких шестидесятых, роскошном кашне и распахнутой дублёнке, из-под которой виднелась огромная пуховая шаль, обмотанная вокруг поясницы. Он дал мне книгу Стогова, несколько листов с тезисами выступления и какую-то неприлично огромную пачку денег в банковской перевязке.

— Возьми-возьми-возьми-возьми! Там организаторше надо отдать, она скажет, я должен, остальное — это компенсация. Командировочные, то есть. Это совсем немного, так кажется только. Возьми по-человечески просто! Возьми, я истерзал тебя.

На прощание он по-отечески обнял меня, сообщил, что это мой первый настоящий бой, и уже в спину патетично выдохнул:

— Порви этим питерским задницу!

Глава вторая

Как Суаридзе и обещал, за полчаса в вестибюле перед входом в малый зал меня встречала миниатюрная пожилая дама, одна из организаторов вечера.

— Вы Анастасия Романовна? Я Мила. Рада вас видеть! Пойдёмте, я вас представлю. Одежду можно будет оставить там, у него.

Виновник торжества сидел в небольшой гримёрной и что-то нервно набирал в смартфоне.

— Глебушка, познакомьтесь, это Анастасия Романовна, от Суаридзе. У неё выступление на пять минут. Анастасия Романовна, это Глеб Дмитриевич. Собственной персоной!

Глеб порывисто вскочил. Я как-то видела его на фотографии. На снимке он был самый обычный итальянец — ухоженный, загорелый, с тонкими руками и красивой, очень располагающей улыбкой. Помню, удивилась тогда, как быстро человек утратил признаки русскости во внешности. Сейчас он был почти такой же, как и на фото, — бархатный пиджак необыкновенно глубокого орехового оттенка сидел идеально. Лёгкая небритость, аромат изысканного парфюма и внимательный, прямой взгляд выдавали в нём ловеласа. Однако уставшие глаза, обаятельная паутина морщинок и нервность в каждом жесте сообщали о возрасте, который он, судя по всему, ощущал. Обычный и лёгкий человек. Я смело протянула руку:

— Рада знакомству. Настя.

— И я… рад, рад знакомству… Глеб… О-о-о… Мне говорили, что с кафедры кто-то приедет, что Ираклий болен. Но чтобы… это были вы… Наша родная кафедра процветает, как погляжу! Очень признателен вам за то, что приехали, за то, что выступите.

Он проговорил первые слова привычной светской скороговоркой, но затем встретился со мной взглядом и остановился. В его глазах отчётливо промелькнуло удивление, очаровательный огонёк интереса и одновременно тёплое расположение, которое волной охватило весь его облик и передалось мне. Он всем корпусом наклонился ко мне, взял мою руку и неожиданно прижал к груди. Мила проворковала:

— Глеб Дмитриевич, мы нашу гостью пока здесь устроим?

— Да, конечно, Настенька, располагайтесь здесь! Тут будет удобно всё оставить.

Приобняв меня за талию, Мила ласково подвела к дивану напротив кресла Стогова.

— Присаживайтесь, Анастасия Романовна. Вот тут виноград, шоколад, орешки… Вода, чай, пожалуйста! Угощайтесь. А я отойду на три минуты.

Мила скрылась, мы остались наедине.

— Вы простите. Я в нервном расстройстве, в некотором роде, конечно. Уже жалею, что поддался на уговоры. Этот питерский народец такой настырный! Мы, москвичи, менее цельные, более мягкие. Бр-р-р… Бьёт током от одной мысли, что весь этот ужас начнётся совсем скоро.

— Понимаю. Но вечер пройдёт прекрасно, публика вас уже любит! Презентация — дело в этом смысле выгодное. — Я улыбнулась.

— Благодарю вас! Ваши слова да Богу в уши! Чаю? Не хотите?

Я поблагодарила и подвинула свою чашку к чайнику. Он дописал что-то в смартфоне, отложил его, без спросу налил мне крепкий чай (странно, именно с такой крепостью я всегда его пила) и снова пристально на меня посмотрел.

— После вечера, пожалуйста, если вдруг начнётся суматоха, и я не смогу сразу к вам подойти — не уходите. Вы ведь не сегодня уезжаете в Москву?

— Нет. У меня есть ещё дела в Петербурге. Вероятно, через два дня.

— Это прекрасно! Значит, мы сможем пообщаться. Я хотел расспросить об университете, как сейчас у вас там всё обстоит. Вы после вечера дождитесь меня, пожалуйста. Я могу задержаться немного. Но вы покушайте, тут много разной снеди. Всё в вашем распоряжении.

— Хорошо. Конечно!

Разговор об университете напрягал. Суаридзе ясно дал понять, что они крайне заинтересованы в Стогове, и мне не хотелось бросать какую-либо тень лишней информации на их планы. Но думать об этом было уже поздно, так как меня позвали в зал. Мила подходила и уходила, знакомила меня с каким-то бесконечным потоком гостей, все ласково и покровительственно мне улыбались, интересовались здоровьем Ираклия, передавали ему приветы из самых разных точек мира и отходили. Сосредоточиться перед выступлением и ещё раз всё обдумать я не успела. Значит, будем выплывать, импровизировать, как умеем. Главное начать, а потом сформулировать приличный конец. Остальное менее важно.

Вечер был дивный. Публика собралась действительно прекрасная, невероятно отзывчивая и воспитанная. Стогов, при всей своей уверенной импозантности, сильно волновался. Он отпустил себя, не пытался это скрыть, и это правильно. Благодаря этому Глеб был естественен, доступен и очарователен. Прочитав по диагонали его книгу, проработав и осмыслив основные тезисы, послушав его самого и предшествующих мне гостей, я согласилась с мыслью Суаридзе, что Стогов если не гений, то, безусловно, где-то на подходах к Олимпу. Я поняла, что мой приезд и моё выступление не должны стать данью вежливости и этики научного сообщества, равнодушно-комплементарным ходом. Моя речь должна выглядеть признанием. Без лишних эмоций и фактологии. Актом любви по отношению к редкому дару и прозрению мастера.

Я знала этот трепет и восторг, когда хочется взвизгнуть, подпрыгнуть и, расправив крылья, со сладким замиранием сердца взмыть ввысь. Счастье восхищения и обретения. Именно это чувство охватило меня вчера и вынесло на сцену.

Талант — это тайна. Чем владеем мы и кому принадлежат наше тело и душа, когда мы производим на свет великую энергию миротворения? Искусство — это высшее проявление человека или…? Только ли человека?

Древние греки и римляне верили, что творцом владеют духи, сократовские демоны, потусторонние гении, которые надиктовывают ему вирши и идеи.

Рациональные гуманисты прославляли человека, который в гордом одиночестве и ореоле дара творит всё сам, без вмешательства и помощи потусторонних сил.

Мы же, современные люди, дети двадцать первого века, в благодарности преклоняемся перед собственным подсознанием, что, по нашему убеждению, так изощрённо и метко надиктовывает нам наши творения.

Возможно, и мы ошибаемся? Ведь если наше творческое созидание — это только наше подсознание, то получается, мы должны легализовать те

психотропные вещества, которые расширяют и делают ярче наше сознание. Почему нет? Я вижу возмущение на ваших лицах. Значит, в этой системе есть сбой. Памятуя о мысли известного психолингвиста, вашего земляка, что наш мозг нам не принадлежит, хочется спросить: а кому он принадлежит тогда? И почему работа только лишь над подсознанием бесполезна и опасна? Чем опасно вообще неправильное толкование своего Я в искусстве? Кривое зеркало психоанализа и убожество современного искусства — не звенья ли одной цепи?.. И не пора ли нам остановиться и оглянуться на традиционное искусство, пока не поздно?

Возможно, ответив на этот вопрос, мы приблизимся к отгадке тайны творчества. Для чего нам нужна эта отгадка?

Все мы пребываем в лоне седьмого дня творения. Возможно, на его закате.

Многие провидцы сегодня чувствуют дыхание последних времён. Времён, одним из признаков которых будет мир и безопасность на всей планете при тотальном отсутствии любви. Любви нормального адекватного человека — к родителям, детям, возлюбленным, миру человеческому и миру божественному.

Что должно произойти с человеком, чтобы он перестал любить? Чтобы он утратил любовную связь с миром человеческим (миром науки и искусства) и миром божественным (религия, природа)? Что должно произойти?

Не надо моделировать мир апокалипсиса. И не надо изображать искусственную преждевременную агонию, боясь и кликушествуя на ровном месте. Надо ответить на вопросы о любви. Как нам не утратить её?

Мы — культурологи, историки искусства, искусствоведы — приставлены охранять и блюсти покой мирового искусства. Его истинность, его правду, его сохранность, незыблемость. Искусство — один из мощнейших проводников любви. Мы должны сделать всё, чтобы этот проводник не исчез.

Глеб Дмитриевич как искусствовед, чьи имя и слава гремят во всём цивилизованном мире, даёт ответы на эти вопросы. Новые, более конкретные, более прочувствованные, более адекватные времени, спасительные ответы...

Это было начало. Мне было важно добиться от себя в речи сердечности и искренности. Всю ночь и весь день до знакомства со Стоговым меня мучил единственный вопрос: "Как я смогу честно и при этом комплементарно рассуждать о книге и её авторе, не имея чёткого представления и собственного мнения о них?" Выдрессированная планка Суаридзе не позволяла мне сдаться. И какое же было счастье, когда я смогла, успела составить своё собственное мнение, вычленить собственные мысли и взгляды и скомпилировать всё это с тезисами Суаридзе, которые, как родниковая водица, в своей чистой и незыблемой научности заполнили центральную, расслабляющую часть моего выступления.

Помимо этого вопроса были и начавшие разгораться сомнения о своём месте и уместности на этом вечере (двадцатитрёхлетняя аспирантка, "совсем ещё ребёнок"). Я закончила так:

— Глубокоуважаемый Глеб Дмитриевич! Дорогие слушатели! Я поздравляю вас с началом новой эпохи. Своей монографией вы совершили прорыв в синтезе и синкретизме наук. Благодаря вам, нам открыт значимый фрагмент новой традиционной системы паттернов для глубокой духовной и культурной жизни в современных условиях тотальной разбалансировки ценностной шкалы человечества. Жизни в любви. Вы, Глеб Дмитриевич, в своём вступительном слове обмолвились, что монография ваша не что иное, как "старые песни о главном". Позвольте с вами не согласиться. Ваш труд — новые, невероятно востребованные в будущем "песни о главном". Мы, юные, в своём благородстве молодости чувствуем новое всеми фибрами души, и вы, опытные и мудрые, должны нам верить. Благодарю вас за внимание!

Медленно поднимаясь по ступеням к выходу из зала, проходя сквозь поздравления и комплименты, я думала только об одном — оставаться мне или нет. Завтра ближе к вечеру мне надо было встретиться с бабушкиной подругой, а послезавтра с раннего утра ехать два часа на электричке на дачу к своей подруге и своему крестнику. Ночью они должны привезти меня на вокзал.

Общаться со Стоговым… зачем? Конечно, интересно. Бесспорно! Но всё же — ради чего? Всё, что от меня требовалось, я сделала. Моя миссия на этом заканчивалась. Или… я усугубляю и вижу проблему там, где её нет?

Я решила положиться на случай. Стогов был занят раздачей автографов. Очередь к нему выстроилась немаленькая. Мой путь был очень простым: лестница, туалетная комната, гримёрная, где я оставила верхнюю одежду, вестибюль, выход. Если бы мне встретился Глеб или кто-то из организаторов и попросил остаться — я бы осталась. Если нет — нет. "Побуду Золушкой. Трусихой. Ничего страшного", — облегчённо решила я. И тут же услышала за собой уже знакомый голос, почти крик:

— Настя, я вас очень прошу, подождите меня в гримёрке!

Стогов махал мне поверх голов почитателей, что окружили его для подписи книги.

"Не успела", — подумала я, и тут же с удивлением почувствовала радость в замирающем сердце и облегчение.

На удивление, я ждала его недолго. Или так время пронеслось, что я не заметила. Резко, с шумом он ворвался в гримёрную, распахнув настежь дверь.

— Ждёшь! Какое счастье! Это всё тебе! Посмотри, какие дивные каллы! А вот эти гвоздики! Твоя речь была глубже, чем моя монография. А ведь это была твоя речь! Суаридзе там и не пахло!.. Боже мой, ты сокровище! Следующее издание выйдет с твоим предисловием. Нет! следующим изданием будет твоя монография с моим предисловием!

Горячая волна, настоящий шквал внимания и обожания без каких-либо прелюдий обрушился на меня с первым его взглядом. Он бросил мне на колени ворох цветов, поставив стул напротив, сел на него верхом, спинкой вперёд, и стал смотреть на меня.

— Спасибо за цветы. Хотя они всё равно ваши… Вы меня смущаете. Мне неудобно от такого пристального взгляда.

— Ты, ты!.. Настя, говори мне "ты".

— Извини, я не привыкла… Наверное, можно открыть здесь форточку? Или дверь… Очень душно.

— Всё, ладно. Мы идём отсюда. Заказан столик в ресторане, здесь неподалёку, в переулке. Собирайся.

Он действовал быстро и решительно. Схватил мой пуховик, помог одеться.

— Нас ждут внизу. Небольшая компания. Немного посидим.

В вестибюле нас действительно ждала компания из полутора десятков человек. Со всеми я уже была знакома благодаря Миле, которая тоже шла с нами.

— Мы немного опаздываем. На полчаса. Но это ничего страшного. Я их предупредила. Мы к ним уже лет двадцать ходим. У них совершенно изумительное вино. Кахетинское. Ираклий Владимирович бы оценил! А чахохбили, хачапури, пхали… М-м-м… Глеб попросил, чтобы грузинский ресторан был. Соскучился. У них там этого ничего нет ведь… Сейчас только по гололёду допрыгать осталось.

Мила взяла меня под руку. Стогов шёл с издателем. Рядом чинно вышагивали, стуча каблуками, дамы-профессорши. Давясь от хохота, позади всех шли друзья и коллеги Глеба. Кто-то из них прилетел из Лондона, кто-то — из Парижа, кто-то так же, как и я, — из Москвы. Выйдя из театра, мы углубились во дворы, проходя узкие и неприветливые арки, оставляя за собой эхо оживлённых разговоров и облачко благородных ароматов. Говорили, как всегда, обо всём и ни о чём. Мелькали знакомые и незнакомые фамилии, кто-то что-то сказал, издал, рассказал, показал. Я мало участвовала в этих разговорах, меня никогда не интересовала богемная и околонаучная жизнь незнакомых мне людей. Я всегда была сама по себе, не вступая в союзы, партии, компании и тусовки. Наверное, это было наследственное…

Возможно, мне казалось, но Мила словно ограждала меня от суеты и пустоты богемных разговоров. В ресторане она села рядом, закрыв собой от шумной компании мужчин, сидящих возле неё. Потчевала и кормила чуть ли не с ложечки. Возможно, поэтому людей, сидящих за столом, я совсем не

запомнила. Хотя каждый из них был знаменитостью и яркой личностью… Ко мне подходили, подсаживались, заговаривали, начиная с вкрадчивых комплиментов, но Мила воинственно, как мать-орлица, отваживала от меня всех:

— Дайте девочке отдохнуть!.. Только что с поезда, устала!..

Милые разговоры с примесью слухов и сплетен перетекли в интеллектуальные споры в бархатных тонах и велеречивые тосты в честь Стогова. Вино лилось рекой, нескончаемые речи убаюкивали.

— Ты любишь грузинское пение? — неожиданно подойдя сзади, коснувшись губами моего затылка, спросил Стогов.

— Люблю, если не громко. Фоном.

— Значит, сейчас будет фоном. Мила Львовна, я на секунду украду у вас Настю? — Глеб наклонился к уху Милы.

— Что же я могу против тебя? Кради! — Мила подмигнула мне, легонько похлопав по руке. Глеб Дмитриевич, видимо, обладал особыми полномочиями.

— Анастасия Романовна, можно вас на минуточку?

Сердце застучало, я заторопилась. Ну вот, сейчас он будет спрашивать меня про университет. Как это не вовремя! Голова немного кружилась, в ногах — странная тяжесть.

Мы вышли в основной зал ресторана. В правом углу, в полутьме звучало тихое мужское многоголосие. Хор из семи красавцев, одетых в национальную одежду, негромко тянул дивную песню на грузинском языке. Глеб направил меня к противоположной стене, усадил на диван возле выхода.

— Скажи, ты устала?

— Немного.

— Хочешь, я всё сверну? Я обещал показать фильм сегодня у себя. Я снимал его для итальянцев, на заказ, но, думаю, русской публике он дороже. Сегодня будет в своём роде закрытый показ, для своих и заинтересованных. Хочу, чтобы ты тоже его увидела. Давай немного сейчас прогуляемся. Я остановился недалеко. Ты у меня отдохнёшь, там будет время. В одиннадцать или чуть попозже подъедут люди. Миле и нашим дамам пора домой, они набегались сегодня порядочно. Сейчас их отправлю. Пойдём, попрощаемся.

Он не поинтересовался у меня — хочу ли, могу ли я ехать к нему смотреть фильм, считаю ли приемлемым оставаться с ним наедине… Со вчерашнего вечера, с момента звонка Суаридзе у меня оставалось странное ощущение, что кто-то взял меня за руку и вёл по крутым и тёмным ступеням судьбы. Я отдавала себе отчёт в том, что моё сопротивление даже не будет замечено, потому что я каждой нервной клеточкой слышала, как стучали и скрежетали невероятно мощные рычаги и шестерёнки чьего-то очень волевого замысла и желания. Обидное в тот момент заключалось в том, что я не могла расслышать, почувствовать, может быть, даже просто поверить, чего же на самом деле хотели от меня? И главное: что творилось с моими желаниями?.. В тот момент я ощущала себя слепоглухим, которого быстро и уверенно ведут по дороге без обочин над обрывом… “Когда ничего не знаешь, не понимаешь, — проси о знаке и тихонечко подгребай к берегу”, — говорил всегда папа. Это я и пыталась сделать.

Через четверть часа все действительно стали подниматься и собираться. На прощанье Мила дала мне свой телефон:

— Запишите, Настенька. Я профессиональный организатор всего и вся. У меня огромное количество связей, город мой. Если что-то нужно будет вам, если просто покажется, что я могу быть полезна, — звоните, не раздумывая, хорошо?

— Благодарю вас, Мила!

— Вы сегодня вдохновили всех своей лёгкостью, молодостью. И при этом от вас исходит такая, знаете, надёжность, спокойствие, старомосковская интеллигентность. Мягкая, тихая, тёплая, как свет лампады. Я вам желаю не угасать никогда. Вы уникальны.

Её слова меня растрогали. Я пожала ей руку, сдерживая неожиданно навернувшиеся слёзы.

— Благодарю вас, Мила. Ваши слова невероятно для меня ценны!

— Дайте мне свой номер телефона, Настенька. Вы наверняка не будете меня беспокоить завтра, а я буду волноваться. Разрешите вам набрать? Старая, переживательная стала.

— Конечно, пишите!..

Я продиктовала ей свой номер. Мы проводили её до такси. Глеб долго благодарил Милу, обнимал и целовал руки. Наконец, дверь захлопнулось, и такси, шурша, в белом морозном пару умчалось. Глядя вслед машине, Стогов задумчиво проговорил:

— Мировая тётка. Очень умная, но при этом и добросердечная необычайно. Редкое сочетание. Крёстная моей сестрицы, родственница, можно сказать… — Затем, обернувшись ко мне, с улыбкой добавил: — А можно и мне попросить твой телефон? Я тоже стал много переживать. С сегодняшнего дня особенно.

Достал смартфон, вопросительно взглянул на меня.

— А я взамен тебе свой дам… Все свои — и русский, и итальянский, и домашний здесь, и домашний там… Какие там у меня ещё есть? — он шутливо нахмурился, словно вспоминая.

— Дай все, какие вспомнишь.

Я сообщила ему свой телефон, он продиктовал мне два мобильных номера, заглядывая через руку — правильно ли записала.

— Ну всё, закрепились… А сегодня ветрено. Я позавчера прилетел, было тепло, очень. Как весной.

Мы перешли дорогу и пошли по набережной Фонтанки, немного поодаль друг от друга. Справа высился отель с красивыми флагами, отчаянно и громко хлопающими с каждым порывом ветра.

— Надо посмотреть адрес отеля, в котором забронирован номер. Может быть, мы возле него?

Я сняла варежку, чтобы вновь достать телефон.

— Погоди, пожалуйста. Если это та самая гостиница, то ты попрощаешься и уйдёшь?

— Некрасиво будет, да? А ты очень не хочешь, чтобы я уходила?

— Да, я не хочу. Ты не замёрзла?

— Нет. Пока нет.

— Тогда давай дойдём во-о-он до того храма. Обойдём его, и прямо ко мне. Тут совсем близко. Согласна?

И мы пошли, глядя на словно прозрачные серые купола петровского барокко, тихо мерцающие в снежной питерской дымке.

Через двадцать минут мы уже сидели на тёплой огромной светлой кухне. Среди белоснежной кухонной мебели, сверкающей кое-где тонкими золотыми ободками, висели жостовские старинные подносы — дымно-чёрные, шоколадные, с пышными розанами и бутонами. На подоконнике стоял огромный ярко-оранжевый с васильковыми проблесками букет из сухоцветов в старинном медном кувшине. Чувствовалась женская, щедрая рука. Хозяйка, несомненно, была умна и имела художественный вкус.

Глеб рассказывал о странностях котов в Италии, потом о потрясающей Болонье, потом о смешном соседе в самолёте. Я молча слушала, не вставляя ни единого слова. Со стороны могло показаться, что он разговаривал сам с собой.

— Тебе не кажется, что меня нет? Я к вечеру стала плохим собеседником.

— Ты замечательный собеседник! Ты же слушаешь меня, а это главное!.. Ну вот. А это всё бескрайние хоромы моей сестры, когда-то это был дом семьи её мужа. Они жили здесь в двух комнатах, а потом, в начале двухтысячных каким-то образом смогли выхватить всю коммуналку. Но жилые пока только кухня, одна ванная и те две каморки. Тут камин есть, если пойти дальше по коридору, чуть попозже покажу. Лепнину восстановили уже полностью в одной комнате, хотят перебрать весь паркет, спасти его по возможности. Окна тоже пойдут на реставрацию со всеми своими шпингалетами, задвижками и петлями. Наташа принципиальна в этих вопросах. Художник…

Сестра вышла замуж, родила четверых детей. Давно уж переехала из Москвы в Питер. Сначала в эту квартиру, а теперь живёт под Питером, в каком-то роскошном новом особняке. Я ещё не был у них, но судя по видео — круто.

Стогов варил гостям глинтвейн. Для меня же он заварил чай с лимоном, который я с удовольствием цедила из кружки с рельефным Амстердамом на боку.

— Сейчас мы приготовим свечи, найдём печенюшки, фрукты, финики и HD-провод. И всё. Можно будет передохнуть.

В переднике, с поварёшкой в руках он мирно суетился на кухне, уютно приговаривая, как настоящая хозяюшка.

Мне было хорошо с ним. Спокойно. Он поглядывал на меня из-за плеча, иногда внимательно всматриваясь. Мы больше ничего не говорили друг другу. Мои волнения относительно расспросов о факультете улеглись: само собой пришло решение, что если он спросит, я честно отвечу, что не хочу своими рассказами вмешиваться в эту историю. Также я запретила себе думать о том, что будет дальше. Наслаждалась мгновением.

Глеб накрыл полотенцем кастрюлю с готовым глинтвейном, и мы пошли по длинному тёмному коридору смотреть на камин в одну из дальних комнат. Света в комнате не было, Стогов зажёг одну из свечей и поднёс её к глянцевому боку камина. Камин был действительно уникальный. Обложенный дивной майоликой, он драгоценно переливался, попеременно вспыхивал разноцветными искрами, отражая блики лежащего за огромным высоким окном города и колышущееся пламя свечи.

— Здесь есть, конечно, сколы, трещины. Но единичные, ерунда. Керамика на самом деле удивительной сохранности. А вот здесь, — скрипя рассохшимся паркетом, он подошёл к окну, — посмотри, здесь виден Михайловский замок, а внизу Фонтанка. “Дому твоему подобает святыня Господня в долготу дней”. Ты знаешь? Над входом висит надпись медными буквами. Какая насмешка над пустотой слова, когда в его силу уже никто не верит! Очень красивое место. Одно из любимых. Ты гуляла там когда-нибудь?

— Нет. Я много бывала в Петербурге, но очень плохо его знаю. Наверное, потому что мало ходила. Не получалось почему-то.

— Твоё счастье впереди. Ну, пойдём.

Мы вернулись в комнату возле кухни, Глеб зажёг свет.

— Ну вот. Осталось зажечь свечи и… До гостей у нас полчаса. Что мы будем делать? Беседовать? Спать? Танцевать? Слушать музыку? Или фрагментик из моих лекций на итальянском? Или на французском?.. А может быть, ты есть хочешь?.. Хотя мы вроде только что ели…

— Давай танцевать. Я обожаю вальс. В этой комнате можно станцевать камерный вальс.

— Ого! Тогда ты будешь мне считать: “раз, два, три…, раз, два, три…”

Стогов сел за стол, раскрыл ноутбук и, немного поразмыслив, что-то набрал. Полилась тихая, нежная музыка, чарующий вальс. Глеб, как на балу, выпрямившись и встав почти в третью позицию, склонился в поклоне, протянул правую руку:

— Позвольте пригласить вас.

Я скинула огромные меховые тапки, которые он меня заставил надеть, и вложила свою руку в его. Мы не смогли долго танцевать. Я чувствовала, как бьётся, трепещет его сердце. Чувствовала своё волнение…

— Настя, ещё десять секунд, и я потеряю голову, — проговорил он охрипшим голосом и, опустив голову, отошёл от меня. — Сорок три года, а веду себя, как мальчик. Прости…

Мы разошлись, я села в кресло.

— От танца правильно терять голову. Он для этого и существует.

— Странно, что никогда раньше не думал об этом. Сколько тебе лет?

— Двадцать три.

— Двадцать лет разница, Господи… Моей дочери восемнадцать, почти твоя ровесница. Живёт в Кембридже. Я в разводе с её мамой. Дочка такая же, вы чем-то похожи с ней.

— Ты не хочешь вернуться в Россию? — Вопрос вырвался из меня совершенно неожиданно. Я услышала его извне, где-то рядом с собой, когда мои губы произносили последнее слово. То ли кахетинское вино, то ли усталость, то ли наступившая расслабленность в глубоком мягком кресле — не знаю, что конкретно размягчило мой мозг до такой бестактности. Мне стало неловко, вспыхнули щёки. — Прости! Я…

Глеб знаком прервал меня.

— Я вернусь в Россию, когда точно буду знать, что кому-то здесь нужен.

— Ты нужен. Разве очередь была маленькая за автографом?

— О да, конечно! Я им нужен. Каждый день! Со всеми потрохами. — Стогов засмеялся, потёр лоб. Неожиданно протренькал звонок. — Кто это среди ночи, а, Настасья? — Глеб, продолжая хохотать, пошёл открывать.

В квартиру ввалились оживлённой толпой гости. Крича, веселясь, балагуря, целуясь и обнимаясь с Глебом, они шумно раздевались. Было смешно наблюдать, как, входя в комнату, каждый из них с удивлением встречался со мной взглядом.

— Это Настя, из Москвы. Знакомьтесь!

Стогов почему-то ограничился этим скромным представлением. Ко мне подходили его друзья и коллеги, приветливо знакомились, и было видно, с какой жадностью и любопытством они ждали продолжения регалий: кто же это такая?..

В числе последних в комнату вошла высокая брюнетка, невероятно красивая и яркая девушка лет тридцати. Гладкие шёлковые волосы струились по плечам, глубокие светло-зелёные глаза, благородный нос, точеная фигура. Внешность портил только слишком острый подбородок, некрасиво торчащий вперёд. Увидев меня, она застыла на долю секунды, а потом, всплеснув руками, воскликнула:

— Какая дивная птичка у тебя есть, Глебушка! Она певчая, надеюсь?

Она стремительно подлетела ко мне и обняла.

— Я — Софья. Левая рука, правое крыло и маленький бесовский хвостик вот этого проказника. — Она игриво, с истерично-насмешливым тоном указала на Стогова, с интересом обернувшегося на её сентенцию.

— Нет, дорогая, хвостик у меня не бесовский, а просто поросячий, — парировал он.

— Не обращайте внимание на этого флорентийского блаженного. Он не поросёнок. Ангел во плоти. Матерится вот только, никак не отучу. Но всё равно ангел… Мне, вечному твоему альтер-эго, как не знать?! Да, Глебушка? — подчёркнуто-усталым, свойским голосом промурлыкала она. — А вас как зовут? Вы из Питера?

— Нет, я из Москвы. Факультет искусств, МГУ. Зовут меня Настя.

— Студентка? Класс! Вы, наверное, на презентации даже были?

— Да. Была.

— Настя выступила так, что зал ей аплодировал стоя.

— Да нет, Глеб Дмитриевич преувеличивает. Мне аплодировали сидя. Обычная речь.

— Глебунчик, как действительно прошёл вечер? Правда, были одни старички? — Соня отвела от меня взгляд с выражением скуки и повысила голос, слегка повернув голову в сторону кухни, куда Стогов ушёл разливать глинтвейн.

— Ну, в общем да. Всё так, как я и предполагал. Интеллигентное высокоблагородное собрание. Своеобразная, но очень отзывчивая и благодарная публика… Молодёжи нема. Хотя вот Настя верит в лучшее, говорит, что всё же за мной будущее. — Стогов вошёл, неся на подносе дымящиеся бокалы с густым тёмно-красным варевом.

— Круть! Настя, будьте осторожны. Этот глинтвейн — настоящее зелье. Очень пьянит. Глеб держит в секрете ингредиенты, и не зря. Там явно что-то запрещённое.

— Уймись, Соник. Хватит уже. Друзья, показ не ждёт. Рассаживайтесь. Посмотрим, потом поговорим. Мне это очень важно! Прошу вас!

Глеб присел за стол, подключая ноутбук к телевизионному экрану. Я тихонько вышла в коридор, вспомнив, что не отзвонилась Суаридзе. В одну из комнат в коридоре была приоткрыта дверь.

Персиковый светящийся прямоугольник окна манил к себе своим волшебным зимним свечением. На полу, в белёсых полосах света стояли коробки и рулоны, похожие на свёрнутый ватман. На пыльном подоконнике чернел силуэт огромного подсвечника с оплавившимися огрызками свеч. Из приоткрытой форточки несло свежим зимним воздухом. Прижавшись коленями к звеньям горячей батареи, я пила этот вкусный снежный сквозняк, вглядываясь в закоулки двора и разноцветные окна напротив.

Вот моя жизнь. Эти намёки, следы, отсветы прошлого, ветра, дожди, метели, мятущиеся, мигающие огни города в отражениях стёкол проносящихся машин. Они подлинны! Как тошнит от этих масок, вальяжных тугоумных дискуссий и баек под аккомпанемент изысканной музыки. Вечно они, как в том фильме, "обнюхивают свои интеллектуальные задницы"… Хотя… может быть, я не права, и всё прекрасно: и люди, и музыка, и дом, и альтер-эго Стогова…

Суаридзе я набрала сообщение в WhatsApp, но он тотчас перезвонил. Откуда-то издалека, словно из-за закрытой двери раздалось его откашливание и деловое: "Алё! Настя!"

— Ираклий Владимирович, простите, что поздно отписалась!

— Ничего, Настюша! У тебя всё хорошо?

— Я выступила. Всё в порядке. Огромное количество приветов и пожеланий выздоровления вам.

— О-о, спасибо! Мне звонил Стогов. Благодарил. Спрашивал про тебя. Дикий интерес ты вызвала.

— Ерунда всё это. Как вы себя чувствуете?

— Ох, птичка моя!.. Всё капельницы ставят. Вот опять лежу, смотрю на всё это с тоской и унынием. Пригвоздили меня!

— Поправляйтесь, Ираклий Владимирович!

Не хотелось возвращаться обратно. Тишина и покой зимней ночи манили к себе, в себя… Но надо было идти.

Перед входом в комнату, где горел остановленными титрами экран и потрескивали в сумерках свечи, стоял ко мне спиной Глеб. Рядом, в обнимку с ним, — Соня. Случайно услышала обрывок разговора:

— …Я поняла. Короче, новый полевой цветок в твой гербарий. Ну, где она, драгоценность твоя?

— Сейчас придёт.

— Я тут, извините. Срочный звонок.

— Всё в порядке, Настя. Садись вон туда.

Глеб усадил меня в кресло с высокой английской спинкой, заботливо укрыл пледом и поставил передо мной на блюдце ароматный глинтвейн.

Тихим, вкрадчивым голосом Стогов начал рассказывать о фильме, первом своём опыте документалиста.

— Об этом никто не снимал раньше. Я специально интересовался. Никто! А нынче, — вот что значит: идея витает в воздухе. Все обратили разом внимание. Я в числе первых. Чем немного горжусь, конечно…

Глаза закрывались. Обжигающий нёбо напиток с каким-то горьким, терпким вересковым послевкусием тёк по горлу, сладостно согревая. Глаза закрылись, и мне стало казаться, что я иду среди болот, по сухой топи, среди тощих осин и берёз, по мягкому мху по колено, обхожу брусничник. Рядом мой ненаглядный дед в плащ-палатке, на сгибе руки — корзинка с обмотанной белым проводком ручкой. Он обмахивает меня багульником, огромным сиреневым букетом "от мошки". Я говорю ему: "Дедушка, у нас с тобой сейчас голова заболит, багульник же такой коварный, брось его!" А он мне, мол, нет, терпи, голова она что — поболит и перестанет, о душе надо печься, мы ж по топи идём!..

Да, мне снилось, что меня раздевают. Но то были руки папы, красивые и ласковые. А я была маленькая, совсем крошка. Я видела свою маечку с нарисованным цветным мороженым, свой толстенький детский живот со

складочками. Папа мягко брал меня на руки и нёс в кроватку, и я, прижав голову к его груди, нюхала его, папин запах, слушала ровный стук сердца и качалась в такт мерным, ровным шагам, зажмурившись, чтоб не видеть длинный и тёмный коридор нашей квартиры…

Потом мне снились какие-то дюны, сухие травы и бесконечный пыльный и мёрзлый ветер.

От слабого стука балконной двери и охватившего лицо сквозняка я проснулась и увидела за окном курящего Глеба в белом махровом халате…

Глава третья

Теперь я лежала в отеле и вспоминала весь вчерашний день. Звонить Стогову я не собиралась. Надо было ехать на встречу с бабушкиной подругой, тётей Ирой, передавать ей какую-то книжицу ко дню рождения и горячие поцелуи от бабули. Ещё надо было зайти в книжный рядом с домом тёти Иры. Потом я планировала побыть одна. Хотелось выхватить особый момент, чтобы подумать.

Органически думать, то есть спонтанно садиться и размышлять, как Штирлиц и другие нормальные люди, я не умела. Все самые прекрасные и потрясающие мысли ко мне приходили в самый неподходящий момент или в момент сосредоточения на каком-то из любимых дел. Или когда я была максимально расслаблена в восторге перед чем-то очень красивым. Только так.

Размышляла о том, куда идти гулять вечером, и перед глазами сразу представала лососевая громадина последнего пристанища Павла. Я много раз с родителями, бабушкой или одна бывала в Русском музее, расположенном поблизости. Но до Инженерного замка никогда не доходила… Теперь же он манил меня к себе, звал, навязчиво всплывая своим вчерашним образом перед мысленным взором.

Завибрировал телефон.

— Да, Мила, добрый день! Рада вас слышать!

— Настенька, всё у тебя хорошо? Всё устраивает?

— Да, спасибо огромное. Гостиница замечательная. По-моему, совсем новая.

— Да-да, так и есть! Просто прекрасно!..

Мила на секунду замолчала.

— Настенька… я хотела через тебя передать Суаридзе, что, скорей всего, Глеб Дмитриевич не примет их предложение о сотрудничестве до тех пор, пока не зацепится здесь, в России. Он не ответит отказом, потому что, видимо, надеется… Но пока это пустые разговоры, они зря тратят свои силы. Им что-то показалось, они развернули бурную деятельность, но на самом деле… Я, конечно, всё сама скажу Ираклию, но, если вдруг…

— Да, Мила, мне тоже показалось, что их усилия бесполезны. Пока, по крайней мере. Я спросила его об этом напрямую. Случайно получилось, но тем не менее. Он мне ответил именно так, как вы сказали.

— Вы знаете, как у мужчин, Настенька? Если они жалуются, что очень одиноки, то бегите скорее, и подальше. Это ловушка, блеф, откровенная ложь. Если же они, будучи холостяками, ни при каких обстоятельствах не сознаются в том, что одиноки, значит, действительно нет рядом близкого, любящего человека. Наш Глеб Дмитриевич — второй вариант. Он говорит, что больше никогда не женится. Представляете? Мне, старухе, это просто смешно!.. Каждый человек нуждается в любви. Тихой, спокойной, надёжной. У него много женщин, Настенька, было и, думаю, есть. Вьются вокруг. Они слетаются к нему, как бабочки на цветок за нектаром. Но всё это не то. Вот в чём беда, Настенька. Мда… Вы меня простите, если вам это совсем не интересно. Просто я давно знаю их семью. Я крестила Наташу, его сестрёнку. Она мне теперь, как дочка… Не о том говорю… В общем, конечно, у меня душа болит. Он снова и снова летит в Россию, он обожает свою родину, но вот пока никак не вернётся… А мне кажется, здесь он нужнее. Простите, Настенька, если нагружаю вас нашими переживаниями.

— Не извиняйтесь, Мила. Я поняла.

— Я знала, что вы поймёте мою боль. Вы тонкая девочка… Всё, собственно. Вот это я и хотела вам сказать. Просто пусть останется у вас в памяти наш разговор. Вдруг когда-нибудь… Всё! Не отвлекаю! Настенька, всех благ! Прощаюсь!

— До свидания, Мила. Спасибо вам за вчерашний дивный вечер!

Мила заторопилась и повесила трубку. Пора было вставать и собираться. Уходя в ванную, взяла с собой телефон. Не хотела признаваться себе, но всё же ждала звонка от Стогова. Однако он не звонил. "И что я вообще об этом думаю?! Все как помешались вокруг, и я вместе с ними. Настя! Не ведись! Живи своей жизнью", — как мантру, повторяла я себе каждый раз, когда снова и снова в мозгу всплывала мысль о Глебе.

Деловой день пролетел стремительно. Тётя Ира была нездорова, поэтому я пробыла у неё совсем немного. В книжном не оказалось книги, которую нужно было полистать. Консультант предложил адрес издательства где-то на окраине, заверяя, что там точно всё есть. Но ехать в час пик через весь Петербург не хотелось.

Вечер был свободен. Походив ещё немного по необъятному раю книголюбов, насладившись разнообразием и диковатостью издаваемого нынче, побрела к выходу. В воздухе витал весенний аромат и было значительно теплее, чем вчера. Даже в распахнутом пуховике было жарко. В голове настырно, без моей воли выстраивался маршрут: от Дома книги на Невском, где я находилась сейчас, пойти на набережную Мойки, дойти до квартиры Пушкина, потом выйти на Конюшенную через дворы, зайти в Конюшенную церковь, оттуда подойти к Спасу-на-Крови и идти к Инженерному замку. Можно по Мойке, можно через Михайловский сад… А дальше… Взглянуть в те окна, на тот дом… Быть может, даже увидеть отсвет-мерцание камина в одном из них. Проститься, покрыть лёгкой вуалью это воспоминание. Похоронить его в себе, отпустить…

Почему-то было нестерпимо грустно. Может, ну его?! Сесть сегодня на ночной. Завтра спозаранок на электричке дуть куда-то к подруге — зачем на самом-то деле?!.. Нет настроения. Ладно, сейчас пройдусь. Если что — в номер за вещами заскочу и на вокзал.

Я уже знала — когда в голове и на сердце творится что-то непонятное и размазанное, надо принять любое позитивное решение на время: "Пока я буду делать так…" Глупое, скоропалительное, ошибочное, незначительное, — главное, позитивное, и, главное, решение. После этого сознание успокаивалось и начинало работать цельно и поступательно. Баги устранялись. Можно жить дальше и отменять необдуманные решения.

Жёлтые окна домов, фары машин, затейливая, милая иллюминация, прохожие с плоскими белыми лицами — всё это городское месиво, казалось, слагалось в один мощный пучок энергии, прожектор, который безразлично светил сквозь меня. Впервые одна в Питере. Никто не ждёт, не к кому торопиться. Никому не нужна здесь. Странное ощущение. Наверное, именно это надо почувствовать, чтобы окончательно стать взрослым?..

Наобум зашла в кофейню. Заказала капучино. Парень в бейсболке и коричневом фартуке привычно затараторил:

— У нас свежая выпечка, девушка. Только что испекли. Выбирайте.

— Нет, спасибо.

— Возьмите пирожные. Берлинское у нас особенное. Со всего города приезжают. Тортик "Павлова" есть.

— Спасибо. Не хочется.

— Там сливки, клубника. Не мороженая, кстати. Настоящая.

— Не-а.

Кассир поднял на меня глаза и неожиданно произнёс:

— А у вас глаза грустные. У нас можно порисовать. Там карандаши, мелки, распечатки, альбомы. Смотрите, во-он там. Арт-медитация. Это бесплатно.

— Ничего себе. Это что, помогает от грустных глаз?

— Ну да, помогает. Берёте, раскрашиваете. Можно на желание, можно на настроение. На что хотите, короче. Ну, и там настрой… Знаете? Прокачаться так нехило можно.

— Как здорово и легко вы тут живёте! — от неожиданного предложения парня у меня даже немного улучшилось настроение.

Расплатившись, ради интереса наугад взяла один листок-распечатку и стакан с цветными карандашами. С листка на меня глядел Кришна со слоновьим хоботом и в цветке лотоса. Внизу было написано: "Обрети свою внутреннюю гармонию". Ещё ниже шла инструкция: что думать, как раскрашивать, куда девать готовый рисунок.

Не зацепило. Не понравился хобот. Перевернула листок белой стороной. Сверху написала: "Обрети!" — и поставила знак восклицания. Нарисовала домик, качельки, рядом деревья, пионы…

Промурчал телефон. Сообщение по WhatsApp'у. Высветилось: "Глеб Стогов". Сердце замерло, а потом сделало кувырок: "У-и-и-и!"

В голове моментально пронеслось: "Э, Настя, да ты влюбилась!"

Прочитала: "Ты где?" Ответила: "На Мойке". — "Что ты там делаешь?" — "Рисую". — "Пленэр?!?!?!" — "Нет. Домик на Кришне". — "?"

Выслала ему фотографии Кришны и своего домика. Подписала: "В кафе. На обороте".

"Еду на такси по КАДу. Можно, наберу?" — "Да".

Тут же зазвонил телефон.

— Вообще, конечно, Анастасия… Ну, вы и дрыхнуть. Я до сих пор в шоке.

— Ну, хватит уже. Вы сначала сон-траву кладёте в своё зелье, поите им…

— Грешен, не удержался… Как вы ловко все мои секретики раскрыли!

— Фильм так и не увидела. Придётся ещё раз показывать мне.

— Хорошо, о'кей! Ну, а сейчас чего ты дурью маешься? Сидишь на Мойке…

— Медитирую. Посоветовали тут.

— Вообще-то у тебя со статусом "обрети" приоритетом должна стоять диссертация, а у тебя что на уме?! Домики, цветочки, как я погляжу…

— Я не виновата. Это моё испорченное подсознание. Засорили в детстве просемейными установками.

— Даже ничего не говори мне. Сейчас Суаридзе маякну, чем его аспирантка занимается.

— Мяукну.

Мы оба засмеялись. Парень в фартуке, услышав смех, удовлетворённо, с торжеством посмотрел в мою сторону, как бы говоря: "Вот что Кришна животворящий делает!"

Вскоре мы встретились напротив Михайловского замка. Всё было для нас, даже часы работы по четвергам — до 21.00.

— А ты знаешь, что если взяться за руки и пройти под этой надписью, — Глеб указал на надвратный девиз, — и произнести вслух её с верой, что сбудется — то сбудется.

— А как конкретно должно сбыться?

— Ну, долгие дни будут… Счастливая и долгая жизнь у тех, кто взялся за руки. Я так думаю… Давай руку. Хуже не будет. На всякий случай, авансом.

Думала ли я, могла ли предположить ещё вчера утром, что, перекрестившись, схватившись за руки со Стоговым, благоговейно буду входить в Михайловский замок, громко и с верой молясь молитвой замка о долгих днях, священных стенах дома и святыне Господней в нём…

— Вера, Настька, вера. Главное — вера. Она творит чудеса.

Несмотря на шутки, Глеб в этот миг был серьёзен. Он провёл меня мимо Петра через ров в узкую арку входа. Словно продев нас в узкое игольное ушко невероятности встречи и союза.

— А теперь надо поцеловаться.

Стогов не дал мне опомниться. Притянул к себе.

— Стой смирно. Дай губы.

Он целомудренно поцеловал, едва коснувшись, как юный жених свою невесту перед аналоем.

— Если к нам ночью сегодня явится разгневанный Павел, то мы сделали что-то неправильно. Если не явится — значит, мои расчёты верны.

— Мы будем спать в разных частях города. Интересно, если он захочет подать гневный знак, то сначала явится к тебе, а потом ко мне?

— Гм… Эту ночь мы должны провести вместе. Что же ему, действительно, гонять туда-сюда?

— Нет, знаешь! На самом деле я думаю так: затея твоя, ты и отдувайся, если что. Ко мне он не явится. Я ни при чём.

Тётенька-билетёрша, случайно оказавшаяся свидетельницей спора, очень смешно и долго переводила строгий взгляд поверх очков — с него на меня и обратно, а потом веско заметила:

— Вообще-то, молодые люди, это трагическое место. Здесь убили самодержца российского, а вы развели тут *Comedy Club*.

— Простите. Но мы про другого Павла, не про этого, — махнул рукой Глеб.

Мы прошлись по залам замка, заглянули на выставку от Русского музея. Пустынные, омузеенные залы и комнаты были немы и обезличены. А ведь как много могли рассказать эти стены! Меня не покидала профессиональная мысль: что можно сделать с таким домом, дворцом, замком, чтобы он заговорил с нами? Запáх самыми нужными ароматами, заскрипел, заворчал, зазвенел дверцами шкафов, навощённым паркетом, хрустальными гирляндами в люстре, фарфором чашечки от касания серебряной ложечкой, детским хохотом и визгом? Чтобы проснулись в нём голоса и шорохи, шаги и шёпот, вздохи, метания, признания, ссоры и замирения. Если обойтись без спиритизма и говорящих пошлых экранов, на корню уничтожающих историческую эстетику ретроградности и древности, — то как это сделать? С помощью чего?

Я поделилась своими мыслями со Стоговым. Он молча кивнул. Выходя из замка, обернувшись ко мне, сказал:

— Давно заметил: что здесь, что в Павловске, от уборщицы до администрации, поголовно весь штат предан Павлу. Фантастика просто! Как рьяно, страстно они отстаивают его право на звание великого и мученика, о! Особенно отличаются научные сотрудники. Прям секта какая-то.

— Я бы не шутила на этот счёт. История ведь наша перелопачена донельзя. Исковеркана, изгрызена, изгажена. Сначала одними, потом другими, потом третьими. Вообще стыдоба!.. Вероятно, они знают что-то такое, чего не знаем мы. Может быть, когда закрываются двери музея, дворец и замок оживают и рассказывают им свои секреты.

— Кстати. Вот ты отметаешь спиритизм, а зря. Вот если бы созвать знаменитых призраков и уговорить их снова разместиться в своих покоях без кокетливого прятанья, хотя бы ночью! Тогда бы мы создали настоящий музей! Ух!

Стогов, казалось, парил над землёй. Это был совсем другой человек, не тот, которого я встретила вчера в половине шестого в театре. Лёгкость взгляда, блеск в глазах, я бы даже сказала — сияние, молодая улыбка, звонкий голос… Было отрадно видеть его таким… Даже одежда перестала сидеть идеально, как на манекене, — слегка помялась, покрылась паутинкой складок, перестала пахнуть дорогим и оттого отталкивающим парфюмом.

Мы шли куда глаза глядят. По крайней мере, мне так казалось. Попеременно в голове вспыхивала красным тревожным огоньком мысль: “Что дальше? Настя, спроси его об этом”. Мысль была унылая и гложущая. Какое-то время я увиливала от неё, и вот наконец она меня настигла, накрыла своим циничным прагматизмом, жестокой бытовой необходимостью.

— Может быть, зайдём? — Глеб неожиданно притормозил возле надписи “Ресторан”, дотронувшись ладонью до кончика моего носа. — Холодный. Замёрзла. Посидим?

— Давай!

Мы прошли через полутёмный пустой зал, сели в углу, рядом с огромным аквариумом. Стогов взял меню из рук официанта.

— Зажгите нам свечи, пожалуйста. Та-а-ак… Европейская кухня, японская… Угу. Как, быка съедим?

— Кугочку.

— Понял.

Странное беспокойство одолевало не только меня. Беззаботность и словно пьяное веселье Стогова сменились сосредоточенностью и строгостью в его глазах. Мы очень мало общались, но из-за ясного ощущения, что я знаю его вечность, я хорошо считывала все его интонации, жесты, выражения и полутона.

Еду принесли довольно быстро. Зажгли две белых свечи. После некоторого молчания, поиграв желваками, Глеб налил мне и себе вина.

— Всё становится не так радужно — так тебе кажется, Настя?

— Ну, в общем…

— Ты, наверное, думаешь — успеешь на свои семинары или нет. От такой проблемы у кого хочешь настроение испортится!..

Глаза Стогова смеялись.

— Твоей эмпатии нет предела. Ты читаешь меня, как раскрытую книгу!

— Ну хорошо… Что именно тебя беспокоит? По пальцам перечисли мне.

Смеющиеся секунду назад глаза Глеба строго и даже жёстко смотрели на меня.

— Мне всего двадцать три. Вдруг это совпадение? Хотя совпадений не бывает… Мне нужно понять, как дальше будет выстраиваться моя жизнь. Мне завтра ночью надо уезжать. И тебе… улетать. Если бы не обстоятельства… В общем, хотя бы умозрительно, в ближайшие дни, месяцы… Я хочу просто понять… Я хочу понять, что сейчас происходит между нами. Кто ты для меня? Кто я для тебя? Это флирт? Роман? Игра? Просто мимолётная встреча? Если это что-то такое… серьёзное, то я хочу, чтобы был знак. Свыше. Я хочу увериться. Или я хочу понять, что слишком романтично настроена. Но это в силу возраста и очень изысканного старомодного воспитания. Если так, то прошу прощения. Было приятно познакомиться. Вот.

Я выдохнула и уставилась на шёлковую скатерть. Высказать ему то сокровенное, что сама только что осмыслила и, возможно, вовсе не должна была произносить, — было почти подвигом в этот момент для меня.

— Птичка моя. Девочка…

Стогов, совсем как моя бабуля, подпёр подбородок ладонью и нежно смотрел на меня, о чём-то одновременно усиленно думая.

— Суаридзе тоже меня птичкой называет…

— А ты похожа… В вечном полёте. Открытая счастливому восторгу птичка. Как маленький стрижик.

Мы молчали. Было видно, что он борется с собой, спорит, что-то проговаривает внутри себя. Он долго не решался заговорить. Прошло ощутимое количество времени, пока он, наконец, опустив глаза и откашлявшись, не произнёс:

— Кто я для тебя — ты уж ответь сама себе. И что тебе делать — тоже. Хотя иногда, клянусь, хочется тебя засунуть в карман и вообще ни о чём не спрашивать. Инстинкт. Надо подавлять в себе. Ладно! А если серьёзно… Ты говоришь “знак”… Недавно, с месяц где-то, я оказался в одной усадьбе в Тоскане, по делам. Спустился к Арно. Там было красивое место, вётлы наклонялись к самой воде, чиркали листьями по глади, когда ветерок пробегал. Так: “Ш-ш-ш…” Я подошёл, закурил и стал смотреть на водную рябь. И вдруг в зеленоватой воде, среди солнечных бликов, поверх воды я увидел лицо. Твоё лицо. Очень отчётливо. Помню, я даже на сигарету посмотрел — что я, собственно, курю?.. Вот это был мой знак. — Глеб сделал глоток вина из бокала и продолжал: — Я всё время помнил об этом. В ночь, когда ты мирно и сладко отсыпалась без задних ног, я не мог спать. Я всё время смотрел на тебя. За окном спальни висит уличный фонарь. Я сдвинул занавеску, чтобы свет падал на тебя, и смотрел, как ты спишь. Я спал, занимался любовью со многими женщинами в своей жизни. Но я никогда не испытывал желания сидеть рядом с ними, не касаясь их, и просто смотреть. Любоваться. Насыщаться созерцанием. Я получал высшее наслаждение от одного твоего спящего, покойного вида. Сердце останавливалось от восхищения, от того, что я тебя нашёл. Я умирал от счастья, глядя на тебя.

Я молчала. Мне было страшно, что после этой речи он произнесёт роковое “но”, и всё закончится.

— В общем, так прошла моя первая ночь с тобой. Я просто смотрел. Узнавал тебя. Уже тогда я понял, что это то самое, чего я отказывался все эти годы ждать, но всё равно ждал. Я понял, что передо мной моя женщина. Моя Беатриче. Но только счастливая, полнокровная, будущая жена и мать моих детей. Хотя клянусь тебе, ни о каком будущем я думать не мог… И сейчас не могу. Это так пошло, так прагматично, так несвоевременно сейчас. Все эти контракты, обязательства… Я говорю: “Господи, дай мне насладиться этим открытием без суеты. Дай мне пока просто помечтать, Господи!” Я всё время думаю, что это не со мной. Я знал, твёрдо знал, что развратник в своём разврате теряет своё сердце, теряет способность полюбить. Вожделение, похоть, однажды вкравшись в душу, постепенно и хладнокровно убивают в человеке способность любви. Именно поэтому столь внимательно древние относились к целомудрию и святости брачного ложа, к девственной чистоте жениха и невесты. Со мной же произошло чудо. Закон возмездия за блудный грех не возымел действия. По какому-то особому благоволению, заступничеству… не знаю, почему.

Стогов коснулся рукой моего кольца.

— Хрусталь?

— Нет, светлый раухтопаз. Вообще-то он серый, но у меня на руке почему-то становится белым. Меняет цвет.

— Удивительно!.. Это чистота… Может быть, твоя чистота и есть причина милости, свершившейся надо мной?.. Так вот. Вчера утром я проводил тебя, повалялся ещё с часок и поехал к Наташе, сестрице. Она меня очень ждала. Родила четвёртого, они не приезжали ко мне, а я был в замоте, Россия слишком далеко и не всегда подпускает к себе таких, как я, меркантильных перебежчиков. Мистика тут тоже есть особенная… У меня был обвал каких-то проектов, выездных лекций. Очень устал, мотаясь между Францией, Флоренцией и Болоньей. Потом книга, параллельно фильм… Везде хотел успеть. Что-то доказать всем. На пределе возможностей… У Наташки с эмоциональным интеллектом всё в порядке. Вчера она моментально просекла моё состояние, представляешь?! Я ничего ей не говорил. Мы просто сидели, болтали. Она зевала, чесалась, кормила ребёнка, тапку на ноге качала. Потом так застыла, и вдруг говорит: “Ты влюбился. И сам в шоке. Рассказывай”. — Он засмеялся, изображая удивление и радость сестры. — Короче. Если что, это её идея… Что у тебя завтра?

— Вообще-то я обещала подруге, что приеду к ней. Она живёт за городом, два часа на электричке. Тысячу лет не виделись.

— Угу… А я хотел предложить метнуться в Вырицу. Меньше ехать, всего час, с Витебского. Раненько выехать, затемно… Знаешь, есть такой старинный посёлок под Питером. Сосны, дачки, интеллигенция… Сейчас всё это, конечно, повыдуло, особняки понастроили.

— Я слышала. И даже была когда-то, с краешку. Там Серафим Вырицкий жил. Давно, ещё в детстве я ездила со своей бабулей, тётя Ира с нами, у которой я сегодня была. Она что-то писала про него… Это особая культура, очень глубокая. Особенные люди. Знаешь, такие… богатые духом. От поездки мало что помню. Сосны там корабельные! Жара стояла, не продохнуть. Песок, зелёные и жёлтые калиточки, штакетничек...

— Сейчас там сугробы лежат. Там есть ещё одна святая. Наталия Вырицкая. Знаешь?

— Нет. Тётя Ира наверняка знает. Она даже там экскурсии водила. И бабуля знает, она несколько раз бывала там.

— Я так понимаю, эта святая не прославлена пока, но её почитают как блаженную. В своё время она очень помогла моей Наташке. Зримо. Это касалось всей нашей семьи, в общем-то… Уже потом, на фоне этой явной помощи, сестра крестилась. Она удивительная была, эта Наталия Вырицкая. Из бывших, образованная, мудрая. Что-то случилось, и она приняла подвиг юродства. Умерла в середине семидесятых, уже старенькой. Я не очень знаю, хотя как-то ездил с Наташей за компанию, года три назад. Давай съездим?

Там красиво сейчас. Только идти от станции минут сорок. Ну, в принципе, можно и на такси…

— Сорок минут, и даже час — это ерунда! Такси не нужно. Но что мы там будем делать? Это на кладбище нам надо?

— Нет, её мощи перенесли к храму. Что делать? Идти в паломничество с открытым сердцем. В храм зайдём. Там деревянный храм. Побудем в тишине. Я знаю, как сестра доверяет этой святой. Я знаю, что она получает от неё утешение, помощь, старица подаёт ей знаки, подсказывает, когда надо что-то решить. Мне нужно благословение. Точка опоры для моих простых решений. Тебе нужен знак. Немного разный подход, но смысл один, по-моему… Я уверен, что мы получим просимое. Не представляю — как, но получим.

Странно было всё это слышать. С раннего детства меня сопровождала Вырица. Там раньше жил бабушкин родной брат, там экскурсии проводила тётя Ира, почти наша родственница, туда вместе с ней в паломничество к Серафиму Вырицкому ездила моя бабушка. Далёкое от Москвы, затерянное в сосновом бору на берегу реки Оредеж купеческое дачное место. Что было в нём такого? Почему опять Вырица из далёкого детства снова всплыла в моей судьбе?

— Надо почитать об этой юродивой.

— Наташа говорит, что о ней мало известно. Всё, что нам нужно знать, — она расскажет о себе сама.

— Ты веришь, что так и будет?

— Верю, да. Поедем?

— Да.

Глава четвёртая

В утренних сумерках огромными хлопьями шёл мокрый снег, создавая звуковой вакуум в воздухе. Как во сне, лениво, замедленно ехали машины, выбрасывая из-под колёс грязно-снежные фонтанчики, сомнамбулически проходили мимо люди.

Мы встретились на вокзале, под главным табло.

— Не приходил? — спросила я, приняв тёплый поцелуй в щёку.

Глеб на секунду завис, а потом захохотал:

— А-а, это ты про Павла Петровича? Не-е-е, всё норм!

В электричке было жарко. Одиночные наши попутчики, рассевшись по одному, как воробушки ощеривались пёрышками, уютно задрёмывали. Глеб читал что-то на английском в своём смартфоне, я, положив ему голову на плечо, слушала в наушниках второй концерт Рахманинова, ловя настроение.

Через час с небольшим мы приехали. Вышли на только что очищенную от снега платформу под огромную стену заснеженных елей и прозрачное свечение жёлтых фонарей. Рассвело. Снег перестал идти, но небо по-прежнему хмурилось серыми облаками. Станция была тиха невероятно, мгновенно заполнивший и расширивший лёгкие воздух напоён свежестью и неповторимым запахом февральского предчувствия весны.

— Нам туда.

Глеб указал на дорогу с грязноватыми сугробиками-обочинами, идущую от станции вглубь посёлка.

Шли долго. Оглядываясь по сторонам, я не могла избавиться от мысли, что иду внутри акварельного пейзажа в серо-коричневых тонах: набухшая — вот-вот потечёт! — серая умбра и тауп влажно пропитывали здания, заборы, небо, снег с песком… Дачные дома и домики, словно призраки, стояли притаившись, немым равнодушным взглядом чёрных окон с проблесками неба сопровождая наш ход. Сосны потемнели от зимней стылой влаги и высились медно-чёрными столбами, торчащими стайками тут и там.

За магазином свернули влево. Кое-где лаяли наиболее общительные собаки, из труб некоторых домов вился дымок.

— Мало снега, надо же. Думал, сугробы лежат…

Я думала о том, что не чувствую никакой радости и что ожидания мои напрасны. На душе скребли кошки. В голове то и дело всплывала мысль, что поездка эта — блажь и что сегодня ночью я трагически уеду в Москву, и два этих невероятно счастливых дня канут в Лету, превратятся в странный сон о любви и моём человеке…

Молча подошли к храмовой территории. Среди бурых огромных сосен, за аккуратной деревянной оградой стояла дивная церковь с решётчатыми оконцами на крыльцах и маленькая избушечка-часовня. В храме шла Литургия.

Скрипя снегом, мы обошли вокруг церкви и часовни и увидели несколько могил. Одна из них принадлежала Евстигнеевой Наталии Михайловне — блаженной старице Наталии Вырицкой.

Мы приложились к кресту, поклонились до земли и встали перед ним рядом, касаясь друг друга рукавами.

То странное чувство, что накрыло меня через минуту, я не забуду никогда. Напряжённое ожидание, сомнения, тоска, тягостная неизвестность, лёгкое раздражение от смурного дня сменилось спокойствием и умиротворением. Душа, сжатая тисками неведения и беспокойства, расслабилась и начала пить жадными глотками благодать, проливающуюся на меня из неведомого источника.

Я молилась без слов. В благодатном озарении я ясно чувствовала, как открывается моё сердце и как Кто-то читает его.

Столько формулировок накопилось в моей голове за прошедшую ночь и утро. Столько раз я вновь и вновь обдумывала, как и что попросить. Но оказавшись в Вырице, перед местом упокоения неведомой мне святой, я вдруг почувствовала, что слова как таковые не нужны. Я не просила любви, замужества, решения проблем и ответов на вопросы, здоровья близким, какого-то знака, указания свыше… Сложно передать то, что не передаётся словами… Душа говорила на своём языке, без слов: “Вот я стою здесь — нагая, как есть, со всеми своими победами и поражениями; Ты видишь моё сердце, знаешь, что мне нужно, лучше, чем я знаю. Научи меня верить, научи благодарить, дай мудрость и смирение. И дай мне то, что необходимо. Я приму всё от Тебя с благодарностью. Наташа, блаженная Наталия, помоги! Донеси мою молитву Ему, попроси за меня… за нас…”

Мы стояли так минут десять. А может, и больше…

— Пойдём? Сейчас можно в храм зайти, с краю постоять. А потом, сестра попросила, надо в свечную лавку зайти, записки написать. Ты как?

— Хорошо… Да, пойдём.

Я не спрашивала Глеба об ощущениях. Я видела, что глаза его наполнены радостью.

Мы зашли в почти пустой храм. Лишь несколько стариков и женщин ровными, замедленными движениями крестились в такт возгласу из алтаря. Служба завершалась. Женщина и юная девушка безразлично взглянули на нас с клироса, перекладывая ноты. Батюшка вышел на аналой. “Сегодня мы празднуем день памяти блаженной Ксении Петербургской. Особой заступницы и молитвенницы нашей. Во всех храмах нашей епархии сегодня служатся праздничные молебны…” После краткой проповеди мы приложились ко кресту и вышли на улицу. На панихиду не остались. Написали записки о своих. Посидели на лавочке, взявшись за руки. Говорить ни о чём не хотелось. Большим наслаждением было думать об одном и том же, не говоря об этом ни слова.

— Электричка через полтора часа. Мы шли сорок пять минут. Так что можно двигаться потихоньку обратно. Возле станции можно ещё пройтись.

Глеб светло улыбнулся мне, и мы, перекрестившись и поклонившись святым Вырицы, отправились в обратный путь. Пройдя небольшое расстояние, услышали, что кто-то нас окликает.

— Ребята, подождите!..

Нас догоняла немолодая женщина с рюкзаком за спиной и в сбившемся белом пуховом платке. Я видела её в церкви. Она стояла недалеко от нас, переступая с ноги на ногу, шёпотом повторяя: “Господи, помилуй! Господи,

помилуй…” Красивое лицо — полные губы, яркие синие глаза, тёмная прядь волос завитком, выбившаяся из-под платка. Лицо умное, сосредоточенное.

— Вы не очень торопитесь? — с трудом сквозь одышку произнесла она, подбегая к нам.

— Нет, мы никуда не торопимся. Отдышитесь, пожалуйста! — Глеб мягко положил ей руку на плечо.

— Простите. Я да, я сейчас…

Некоторое время она молча стояла, положив руку на грудь, тяжело дыша.

— Я вот что хотела. Я видела, вы к Наталюшке нашей ходили. Специально к ней приехали?

— Да, специально к ней. — Стогов улыбнулся.

— Да, приезжать стали люди. Как хорошо… И к Серафиму Вырицкому, и вот теперь и к Наталии Вырицкой ездить стали. Слава Богу! — Она перекрестилась. — Я что хотела… — Женщина неожиданно смутилась и начала мяться.

— Вам чем-то помочь надо? — решила я ей подсказать.

— Да, наверное… Я, простите, вас никак не беспокою? — опять тревожно осведомилась она, исподтишка оглядывая роскошное кашемировое пальто Глеба.

— Наоборот. Мы счастливы будем с вами пообщаться! — успокоил он её, снова дотронувшись до плеча.

Она выпрямилась, в лице проявилось спокойное благородство.

— И я счастлива… Меня зовут Татьяна. А вас?

Мы представились.

— Я тут что-то вроде вольнонаёмной учительницы. Детей лепить учу. Летом у меня их очень много, зимой поменьше, конечно. Немножко про искусство рассказываю, в музеи ездим… Я бывший скульптор. Мы с ребятишками занимаемся мелкой пластикой. Лепим фигурки, скульптурные миникомпозиции и продаём их, кто сколько даст. Я с детьми бесплатно занимаюсь, своя пенсия небольшая, к сожалению. А мастерскую надо топить, и печка для обжига много электричества ест… В общем, мы, как сейчас модно, на самоокупаемости.

— Понятно.

— Да. Вот. Я хотела вам предложить, если вдруг вам интересно, подойти к нам в мастерскую. Я вас ненадолго задержу. Может, что-то выберете себе, своим деткам или друзьям?

— Деткам очень даже можно, они будут рады. — Глеб подмигнул мне.

— Ой, как я рада! Ну, тогда пойдёмте. Здесь недалеко.

Мы немного прошли вперёд, потом свернули в небольшой переулочек. Подъездная дорога здесь кончалась, и дальше шла узкая протоптанная тропинка. Мы прошли по ней, задевая кусты акаций с лёгким снежным пухом на веточках, и упёрлись в зелёную калитку из штакетника. Я её узнала. Именно такие аккуратные, с нерусской педантичностью сделанные воротца и калиточки я запомнила в прошлый свой детский приезд в Вырицу. Сдвинув деревянную вертушку на калитке, Татьяна прошла к дому.

Милый домик с небольшим балкончиком и широкой застекленной террасой прятался в глубине заснеженного сада. Летом дом, наверное, был совсем не виден с улицы, — столько перед ним сейчас белело кустов и деревьев. Черные лианы с единичными трухлявыми сморщенными листиками свисали с крыши и водосточного желоба перед окнами террасы — остатки былой роскоши от буйно разросшегося дикого винограда.

— У вас летом, наверное, тут и цветов много?

— Цветы есть, но я совсем не цветочница. Растут старые многолетники. Семена, рассады — всё это я не делаю. У меня вообще всё тут растёт, как хочет. Я и траву особо не кошу. Так, немного, косой если только. Зачем? Вы знаете, какая русская трава красивая? Трава-мурава, она же птичий горец, клевер, мокрица, яснотка, пастушья сумка… А крапива, царица русского разнотравья, какова?!… Каждая былинка — красавица, глаз не отвести! А мы её триммерами. Слово-то какое, фу! Ой, что ж мы стоим, простите! Проходите, пожалуйста! Не разувайтесь!

Татьяна открыла перед нами дверь. Пахнуло натопленным деревенским домом, чудным ароматом каких-то трав, яблок, хлеба, ещё чем-то русским, родным…

— Ну что, нагулялись? — ласково спросила Татьяна у кошечек, подбежавших к ней под ноги. — Урчат, ишь, проголодались. Верхнюю одежду, пожалуйста, вешайте вот сюда и проходите. Сейчас я чаем вас буду поить, у меня есть вкусный сыр, пряники.

— Да вы не беспокойтесь, мы … — попыталась возразить я, но Глеб, пихнув, сделал мне страшные глаза, и я умолкла.

— Ну, почему же? Вы же с ранней электрички. Чай — это всегда хорошо. Присаживайтесь пока вот сюда. Я на минутку.

Татьяна ушла за перегородку хлопотать на кухне, а мы остались в горнице, присев на стулья у стены. Комната была чисто убрана, но при этом сильно загромождена старой тяжёлой мебелью эпохи модерна, книжными шкафами, забитыми книгами под завязку, многочисленными полками с гипсовыми академическими слепками. В дальнем правом углу стоял угловой иконный шкафчик. Перед стройным рядом икон висела миниатюрная лампада из перегородчатой эмали и стоял аналой с небольшой стопкой потёртых книжиц с тёмными, расшитыми шёлком закладками. Круглый стол, на который хозяйка выставила три чашки на блюдцах и высокую вазу с антоновкой, был покрыт скатертью с бахромой. Очень скромный внешний вид дома совершенно не вязался с внутренним интерьером, словно вывезенным из петербургской квартиры начала века.

— Сейчас сядем за стол, — с приветливой улыбкой вернулась хозяйка, принесла блюдце с сыром, деревянную доску с нарезанным хлебом, конфетницу с мармеладом и пряниками. — Вода закипит, заварю чайничек. У меня иван-чай, вы не против?

— Это замечательно! Русский чай! — Глеб встал, подошёл к книжному шкафу.

— Здесь я живу. Там, за печкой, есть ещё комнатка небольшая. А в другой половине наша мастерская. Дом с улицы кажется небольшим, но на самом деле это крестовик, большой дом. За домом ещё птичник у меня, курочек держу. Яичек вам не надо?

— Нет, спасибо. Мы в Петербурге проездом.

Татьяна деликатно, еле заметно окинула нас взглядом. Но вопросов никаких задавать не стала.

Через пять минут она пригласила нас к столу. Мы немного перекусили. Поблагодарили за угощение, и я спросила:

— Татьяна, а вы знали блаженную Наталию?

— Лично нет. Мы купили этот дом в семьдесят седьмом, она к тому времени уже отошла ко Господу. Нас не интересовала тогда ни история посёлка, ни тем более православная страница этой истории. Приезжали иногда, проведать. Здесь поначалу наши мамы жили. Они были подружками, хотели старость проводить среди леса, на природе, вне городской толчеи. А мы с мужем были молоды, дерзки, думали о чём угодно, но только не об этом.

В конце восьмидесятых пришли к вере. Муж перед смертью перебрался в этот уже опустевший дом. Ну, и я чуть погодя к нему переехала. Я ухаживала последние годы за ним. В местный храм стала ходить. Тогда-то от церковных старожилов, тех, кто занялся восстановлением памяти о святом Серафиме, и узнала о юродивой, которая тут жила. Сейчас у нас при храме есть женщина, которую благословили собирать свидетельства о помощи и исцелениях по молитве старицы Наталии. Очень много людей с благодарностью возвращаются, пишут нам. Она, конечно, странной казалась. Многим была не понятна. Действительно, чудила часто. В коротком платьице, как девочка, могла ходить. Зимой в кроенном-перекроенном пальтишке с голыми ногами и по Вырице, и по Петербургу ходила. С корзинкой в руке, там у неё то курочка, то уточка, то кошечка, то собачка сидела. Козла, козочек в доме держала. Много непонятного людям говорила. Люди поначалу и не понимали, о чём она, а потом удивлялись, как она провидела всё, предупреждала… Мать Наталия видела людей, их скорби и болячки, и всегда старалась

им помочь. Знаете, прозорливость, иносказание — это всё составляющие. Но главное — та сила, та вера, та радость и свет, что исходили от неё. Любовь, понимаете? Наша вера — это ведь про любовь, правда? Что нам нужно? Чтоб нас утешили, приголубили, пожалели. Чтобы на душе было светло и радостно. Чтобы легко было. Она была очень мудрая. Любила маленькие подарки дарить. Через них она подавала благословение людям. Сообщала им веру в себя, в правильность своего пути…

— Говорят, она происходила из дворянского рода, образованная?

— Да, так говорят. Но о жизни её до приезда в Вырицу мало что известно. Я знаю лишь, что она приехала сюда из Печор, по благословению старца Симеона… Если вы просили её о чём-то, то она обязательно поможет.

Татьяна поднялась.

— Скоро электричка будет. После неё долгий перерыв. Вам на неё успеть надо. Пойдёмте, покажу вам мастерскую. Ой, ребята, в окно взгляните. Жемчуга какие! Видите, светится как? Это вот в феврале часто — солнышко пробивается теперь каждый день к земле. И небо перламутровым становится…

Мы поглядели в окно на светящееся небо, на белоснежные шапки сосен, графично чернеющих на горизонте.

— Только в России такое небо! — восторженно шепнул мне Глеб.

Пройдя через холодные сени, где в ряд стояли жестяные вёдра и на бревенчатых серых стенах висели веники, мы прошли во вторую половину дома, открыв мягкую клеёнчатую дверь.

— Как знала, что будут сегодня гости. Сначала думала вечером печку затопить, перед учениками, а потом передумала, с утра истопила. Для вас, оказывается.

Справа высилась белой горой русская печь. Посредине большой комнаты стоял длинный деревянный стол с лавками. Возле стен на стеллажах стояли готовые поделки и заготовки. Широкий книжный шкаф, наподобие тех, что стояли в горнице, забит альбомами и книгами по искусству. Сверху лежала стопка журналов “Наше наследие” и небольшая горка то ли карт, то ли путеводителей. Ближе к окну расположилась металлическая печь для обжига.

— Вот так мы тут обустроены. Вот кадушки с глиной, там мы обжигаем, тут готовые работы, тут ребята могут смотреть, читать про искусство. Я немного им рассказываю ещё. В музеи вожу, дворцы наши, парки показываю. Учу мир видеть, не только экраны телефонов. Ходим, на небо смотрим, в поля, в лес. Но не за грибами, а на деревья любуемся, на солнышко сквозь ветки, на наши камни. Ходим на реку. Здесь очень красивые берега! Лепим, рисуем, описываем это всё… И вот что у нас получается.

Она подвела нас к одному из стеллажей. Там размещались дивные, яркие работы: пни с опятами, поваленное дерево с причудливыми корнями, белка, выглядывающая из дупла, разнообразные люди — лица, фигуры, подробные и эскизные, с обозначением-намёком движения, народные игрушки и академические этюды. Лодка с рыбаком, маленькие, трепетные копии статуй, групповые скульптурки на бытовые, исторические, евангельские сюжеты. Бусы, чётки, шкатулки, пиалочки, кони, коты умывающиеся, тянущиеся, лакающие молоко, спящие… Чуть поодаль от других работ стояла пушка с ядрами — потрясающая работа, завораживающая какой-то бравой энергетикой, вниманием к деталям, с инкрустацией и орнаментом по лафету.

— Эту пушку можно купить? — чуть ли не в один голос проговорили мы.

— Конечно! Цену у нас покупатели сами назначают. Дети сами отбирают на продажу вещи. Это их ассортимент. И выручка вся идёт на их учёбу, на поездки, на содержание мастерской.

— И белку, и лодку, и вот этого дядьку с бородой…

Глаза разбегались от красоты, таланта и безукоризненной правды этих детских работ.

— Вы, простите, как это всё делаете? То есть, что вы с детьми делаете, что они у вас так лепят? — Глеб казался потрясённым до глубины души.

— Да в том-то и дело, что ничего не делаю. Они сами всё делают! Глаза есть, руки есть, душа есть. А остальное… Я чуть-чуть направляю, учу. В остальном у нас полная свобода, — засмеялась Татьяна. — Дети — чистые души. Они, как губка, всё впитывают и всё считывают. Любую фальшь, любое пренебрежение. Я их всех очень уважаю. И ценю. Вот и весь секрет.

Собрав все деньги, какие у нас были, оставив лишь что-то на обратные билеты, мы передали их Татьяне. Сумма получилась приличная.

— Спасибо вам! Благодарю вас за щедрость! Пусть эти скульптуры радуют вас… Ещё подождите немного. Я хочу вам кое-что подарить. От себя уже.

Татьяна подошла к другому стеллажу, покрытому ситцем с глиняными разводами, и что-то достала оттуда.

— Вам, Глеб, я хочу подарить вот эту птичку. Мать Наталия часто обращалась к людям с ласковым словом "птичка", "птичка моя"… Это стриж — символ начала лета, счастья, символ возвращения. К себе, к истокам, к счастью, к чему-то ещё… не знаю… Зачем она вам — вы поймёте сами, это ваше сокровенное. Пусть птичка будет у вас, как благословение от вырицкой старицы.

Глеб молча, не глядя на меня, принял дар. Закрыл двумя ладонями крохотное тельце с острыми серпами-крыльями.

— А вам, Анастасия, я хочу подарить вот эту фигурку. Это сама блаженная. Видите? — как я и рассказывала.

На ладони у Татьяны лежала маленькая фигурка статной женщины в пальтишке, в чунях на босу ногу и с корзиночкой, из которой выглядывала мордочка лохматой собачки.

— Это вам на добрую память. Помните о ней, она вам всегда будет помогать своими молитвами.

Пора было уходить. Мы сердечно обнялись с Татьяной, попрощались и, потрясённые, пошли на станцию.

Шли молча. Я держала в руках тонкую статуэтку блаженной, Глеб сжимал стрижа. Ни неба, ни сосен, ни домов я не видела. Взор был обращён к душе, которая, как стриж в воздухе, неслась в бешеном счастливом полёте, кувыркаясь и замирая в своём ликовании.

ИВАН ПЕРЕВЕРЗИН

Я ВЕРНУСЬ НАВСЕГДА...

РОДОВЫЕ КОРНИ

Дом родной далеко, за немыслимой бездною звёзд,
за пустыней, за морем, под охраной надёжного Бога.
И однажды, устав от земных перегрузок и вёрст,
я вернусь навсегда, и застыну свечой у порога.

Успокоив волненье, в знакомую дверь постучусь
и услышу в ответ: "Заходите, все дома", — и это
сердце болью пронзит, но я с неба на землю спущусь
и войду в коридор, освещённый привычно вполсвета.

Мать, узнав во мне сына, руками по-птичьи взмахнёт
и заплачет, заплачет, сугробом на стул оседая,
а отец, завершивший победно военный поход,
просто руку протянет: "Здорово, кровинка родная!"

Сядем дружно за стол в свете яркого вешнего дня,
и до ночи глубокой продлится о жизни беседа,
и теплом, и покоем наполнится грусть у меня,
будто пригоршню выпил брусничного ясного лета.

ПЕРЕВЕРЗИН Иван Иванович родился в 1953 году в поселке Жатай Якутской АССР. Автор многих поэтических сборников, выдающийся поэт, вышедший из сибирской глубинки, из русского простонародья. Лауреат многих литературных премий. Его стихи были впервые напечатаны в нашем журнале с благословения Юрия Кузнецова в 1993 году. Постоянный автор журнала "Наш современник".

* * *

Ни лучше, ни хуже я жить не смогу!
Душе, как всполоху горящему, верю.
Цветут незабудки на росном лугу,
и есть чем питаться голодному зверю.

Я жалостен так, что и смерть воробья
считаю навеки печальной утратой.
Но вслед за отцами идут сыновья,
идут и идут, чтобы гибнуть в солдатах.

И нет ведь отечества, чей бы закат
так не был душе упоительно сладок.
Вдали громыхают грома невпопад,
а мнится, что мины взрываются рядом.

О, грусть, о, тревога, о, мука, о, боль! —
От вас никогда не бежал безоглядно.
Но я без слезы устою пред судьбой,
хотя она бьёт через меру нещадно!

Я к славе приду иль безвестным умру?
От века нерадостна участь пророка...
Но дел моих сад отцветёт на ветру,
как будто за жаркою пазухой Бога!

* * *

Я в этой жизни, словно в смерти,
в тяжёлой страшной круговерти,
навзрыд не знаю, как мне быть:
иль бражничать, причём запоем,
или башкою смертным боем
об камень-стенку колотить.

Должно хоть что-то в самом деле
помочь прозреть в конце туннеля
свет вдохновенья, свет любви,
ведь я же человек-то добрый,
хоть и ломаю в драках рёбра,
но пью всегда лишь на свои.

Вот только бы в глухой печали
твои глаза вдруг не завяли,
как розы в сумасшедший зной.
Они мне были чем-то вроде
горящих звёзд на небосводе,
и будут впредь, клянусь душой!

А чтоб они цвели счастливо,
я должен всей душой ревниво
воспеть их, не пугаясь зла.
Гори огнём, моё предсердье,
гори с надеждой на бессмертье —
пусть жизнь вокруг и тяжела!

* * *

Жизнь оборвалась на полувздохе
и летит, свистя, в тартарары.
И молчат бессовестно эпохи,
угасают звёздные миры.

Но люблю сияющую память,
что покуда я не растерял.
Жил народ наш верно под царями
и на верность Богу присягал.

А сегодня разве он свободен,
с горькою душою, нищ и наг,
радостен кому, кому угоден,
коль признал безродной власти стяг?

При царях народ жил добротою,
и полмира кланялись ему
за возможность под его рукою
мирно жить, одолевая тьму!

Звёздная, великая Россия,
где ты, зову сердца отзовись!
Всё возьми: судьбу, тепло и силу,
только, заклинаю, возродись!

* * *

В магазине очередь за хлебом
длинная, не очередь, а срам!
И с высоким неуёмным гневом
власть ругает старый ветеран.

Слушаю... На сердце боль и мука:
Господи! а кто же эту власть
выбирал, тянул согласно руки,
твёрдо веря, что она за нас?

Я в ответ не говорю ни слова,
чтоб напрасно душу не травить,
ведь она давным-давно готова
разорваться... и меня убить.

Я куплю заветную буханку,
не пойду ругаться в сельсовет,
А отправлюсь в поле спозаранку
сеять хлеб: там очереди нет!

* * *

Жизнь мне досталась понарошку,
пусть и с тяжёлой солью слёз.
Как будто снег занёс дорожку,
и напрочь застудил мороз.

Но в самом деле-то открылась
моей души той меры ширь,

что всю пройти никто не в силах,
что звать по-древнему «Сибирь».

Вот где возможность замахнуться
на жизнь, в которой смерти нет.
О ней не зря стихи поются
уже, считай, пять сотен лет.

Я вскормлен молоком кобыльим,
как сталь, на стуже закалён,
решился, чтоб в сказанья-были
был честь по чести занесён.

Для этого с тайгой сражался,
вершил до "белых мух" стога,
из темноты в свет обращался
и зряшным не считал врага.

Жизнь прожита, а может, только
вновь начинается, Бог весть.
Но если мне в аду не горько,
то сил моих и впрямь не счесть!

* * *

Мой новый век, как зверь, безжалостно свиреп,
навряд ли сосчитать погибших в нём судеб.

И сколько бы по ним ни плакал я душой,
не станет меньше боль, рождённая бедой.

Тем боле, между злом и добротой борьба
всегда жестока в край, до мерзости слепа!

В грусть думаю порой, чтоб с жаждой бытия
в конце концов навек не сгинул в бездне я.

Нет, я не стал слабей от боли злой в крови,
Но страшно жить в борьбе без счастья и любви!

У МОРЯ

Горит и гаснет вечер поздний,
на белых скалах синий лёд.
Из бездны гул прибоя грозный
уходит в стылый небосвод.

От сада, где поёт пичуга,
тень отошла и пала ниц.
Забыв о тяжком зное юга,
над морем ветер без границ.

И терпко-горький запах йода
бьёт ободряюще в лицо,
как в миг свободного полёта
пред тем, как выдернуть кольцо.

О край рассветного поэта,
чья жизнь стихом оборвалась!
Я чувствую, как морем света
твоя любовь ко мне зажглась.

Я здесь проездом по работе,
но кажется, что вечно жил, —
душа в стремительном полёте
земных не ощущает крыл.

Отсюда мне, как на ладони,
вся жизнь бессмертная видна.
И не перо орёл обронит,
а песню, что в душе одна.

* * *

Люблю один бродить в лесах,
когда поёт печально сойка.
Туман, как вату, на ветвях
берёза держит одиноко.

То ль от вчерашнего дождя,
то ль от росы лист прошлогодний
промок и не шуршит, когда
я в лес вхожу, от зла свободный.

А вот и солнце над землёй
восходит, огненно пылая,
весь мир — и мёртвый, и живой —
лучами вновь преображая.

Где мыслей дрожь, где сердца гром,
где тела горькая усталость?
Словно коровьим языком,
потоком солнечным слизалось.

Иду счастливый, молодой
по тропкам заячьим и лисьим
и обретаю вновь настрой
на чистые от счастья мысли.

И станет жизнь на час светла
и вдохновенна до предела,
как будто век не знала зла,
как будто лишь цвела и пела!

КАИН

Мой век уходит, словно Каин,
рукой сурово сжав топор.
В твоё сознанье словно впаян
его горящий, ярый взор.

Ты не остыл ещё от битвы,
и ни на пядь не отступил,
и защитил свои молитвы,
сестёр и братьев защитил.

Морщины радости и горя
ползут, как лава, по лицу,
со смертью в неуёмном споре
нет передышки молодцу!

Дрожит земля, вскипают реки,
бой не унять на рубеже
последний, видно, в этом веке
и, может, в жизни вообще.

СВЕТЛАНА ЗАМЛЕЛОВА

ПОЭТ

ПОВЕСТЬ

Несчастный всё-таки он был человек — Алексей Венедиктович Машкин. Зачем он явился в Москву?.. На то было несколько причин. Во-первых, наступил миг, пробил великий час, и заметалась большая страна. На юг из Петрограда и Москвы потянулись голодные и недовольные, вчера ещё призывавшие революцию, а ныне чуравшиеся и ненавидевшие её. Присоединился к недовольным и Алексей Машкин, но — увы! Даже боги не могут сделать бывшее небывшим. И те, кто понял эту немудрёную истину, разделились надвое. Одни приняли неотвратимое новое, другие пустились в дальнейшие странствия, всё ещё надеясь на нечто призрачное и очевидно несбыточное. Алексей Машкин, или, как называли его друзья, Лёсик, оказался в числе первых. А это значило, что нужно было возвращаться куда-то и где-то оседать. И когда Лёсик задумался, куда и где, он в первую очередь подумал о Москве. И, не размышляя больше, отправился туда. Ехал он, влекомый каким-то древним, необъяснимым зовом, внушающим всякому, в обстоятельствах жизни непроходимо увязшему и пропащему русскому человеку, что спасение его именно в Москве.

Во-вторых, Лёсик Машкин был поэт. Его уже знали в Петрограде, в Киеве и Харькове. У него была уже своя, пусть и совсем небольшая, книга стихов, на обложке которой значилось: “Алексей Машкин. Град Петров”. И да-

---

ЗАМЛЕЛОВА Светлана Георгиевна родилась в Алма-Ате. Окончила РГГУ (Москва). Прозаик, публицист, критик, переводчик, драматург. Автор книг: “Блудные дети” (роман), “Исход” (роман), “Эдуард Стрельцов: воля к жизни”, “Александр Алёхин: партия с судьбой” и др. Член Союза писателей России и Союза журналистов России. Кандидат философских наук (МГУ им. М. В. Ломоносова), защитила кандидатскую диссертацию на тему “Современные теологические и философские трактовки образа Иуды Искариота”. Живёт в Сергиевом Посаде.

же одна знаменитая петроградская поэтесса покровительствовала ему, называя "другом" и "братом". Но как-то постепенно он признал, что стихи почему-то перестали писаться. Он то немел вовсе, то снова обретал голос и слух, но написанное почти не приносило облегчения и радости. Как-то ещё в детскосельском кафе, где собиралась богема, один поэт с прилизанными, разделёнными чётким пробором чёрными волосами сказал, послушав новые стихи Лёсика:

— А ведь ты, брат, поэт одной строки…

В те времена стихи вроде бы ещё удавались, и Лёсик не понял, что это значит, но страшно обиделся. Он заглянул в смеющиеся, с опущенными уголками глаза обидчика, перевёл взгляд на африканские его губы, брезгливо сжимавшие папироску, и воспылал такой ненавистью, что, не в силах сдерживаться, выхватил эту папироску, бросил с размаху об пол и раздавил каблуком.

— Дуэль! — кричал Лёсик. — Я намерен драться с вами на дуэли, милостивый государь!

Обидчик было опешил, но в ту же минуту расхохотался и призвал Лёсика перестать чудить.

— Что, угадал я? — спрашивал он и снова смеялся. — Угадал?.. Оттого ты и злишься, что и сам в глубине души это знаешь.

И это было правдой, сознаваться в которой не хотелось. Да, с некоторых пор что-то будто сломалось — Лёсик перестал слышать стихи, как прежде. Музыка стиха по-прежнему звучала, но слова приходили не те, и всё, что получалось, было то непонятно, то бессмысленно, а то и вовсе вымученно. Рифмы и ритмы оставались там, где им положено оставаться, но это были стихи немого поэта. Чувства захлёстывали Лёсика, восторг переполнял, и страшные образы теснились перед мысленным взором, как тени предков в Элизиуме. Первая строка являлась сама, подсказанная мирозданием. А дальше он сам нанизывал слова, словно искристые камни на шёлковую нить. Но слова зачастую оказывались случайными, не связанными между собой ничем, кроме рифмы. Оттого и самому ему казалось, что стихи не выпевались. Стихи перестали быть песней его души, они превратились в мычание. А разве может поэт, чья душа, перестав петь, замычала, оставаться на месте? И вот тогда ещё Лёсик решил, что ему надо в Москву, надеясь, что древняя столица тронет его остывающее сердце.

К тому же ходили слухи, что в Москве образовался какой-то союз поэтов и что будто бы всем, в этом союзе состоящим, полагались дешёвые обеды. А в отдельных случаях — даже и безвозмездные. Словом, для истосковавшегося и наголодавшегося Лёсика Москва казалась спасением. И вот однажды ранней весной он въехал в Москву на санях со стороны Тропарёва. Москва в подтаявшем снегу, проглядывавшая сквозь дымку испарений, показалась Лёсику какой-то прокисшей. И, съезжая с Воробьёвых гор, он упал в эти влажные объятия, да так и не вырвался больше из них. Москва открылась вся сразу, необъятная и пёстрая. Тускло сквозь дымку посверкивали сорок сороков, а грай чёрных птиц казался недобрым её смехом. Но по мере спуска с Воробьёвых гор к реке видение таяло. Теперь Лёсик видел дома, фонари, мостовые, покрытые мокрым снегом, слышал крики извозчиков и мальчишек, торгующих рассыпной "Ирой".

Но мало приехать в Москву. В Москве надо где-то жить. Впрочем, в любом городе любой писатель, если, конечно, он не бирюк и не отшельник и поддерживает с собратьями по перу хоть какие-нибудь отношения, прекрасно осведомлён, что в Москве бездомных литераторов отправляют в общежитие на Тверском бульваре. Там, в жёлтых флигелях, сидят себе советские писатели по комнатам, пописывают стихи и рассказы и лопают оладьи из муки с содой. Вот и Лёсик ехал в Москву, зная, что нужно обратиться к заведующему Дома имени Герцена, чтобы получить ключ от комнаты в жёлтом флигеле при том же Доме и право на паёк. И то, и другое Лёсик получил без особенных затруднений, отчего взыграл духом и начал подумывать, что жизнь не так уж и безнадёжна. Ощущение это усугубилось при виде изразцовых печей и дубовых панелей в стенах флигеля. Изразцы, правда,

соседствовали с гудящими примусами и наглыми кастрюльками — непременными обитательницами любой кухни. Но на кастрюльки и примусы Лёсик согласился смотреть как на неизбежное зло. Так бы и сидел он в комнате с окном во двор, где прогуливался когда-то маленький Герцен, так бы и писал свои стихи, довольствуясь оладьями с содой или горсткой пайкового риса. Но комната не нравилась Любочке.

Ах, в самом деле! Ведь Лёсик явился в Москву не один, а с женой — с Любовью Леонидовной Машкиной. Забегая вперёд, скажем, что Москва и Любочка стали роковым выбором поэта Машкина. И та, и другая оказались злющими и памятливыми. Но если Москву ещё можно было смягчить хотя бы собственной кротостью, то с Любочкой дело обстояло сложнее. Впрочем, обо всём по порядку.

* * *

Любочка называла себя художницей, что выражалось в написании огромных букв на кумачовых плакатах, вывешиваемых в те годы поперёк улиц и звавших обывателя строить новый мир. Буквы Любочка писала в Харькове, где и нашёл её Лёсик. В отношении Любочки природа оказалась невероятно скупой. Природа расхохоталась, когда ангелы умоляли о красоте для новорождённой. В результате Любочка оказалась маленькой и тщедушной, с огромным ртом и огромным носом. Подрастая, она отлично понимала, какую злую шутку сыграла с ней природа. И чем старше она становилась, чем больше видела людей, тем злее делалась, уверенная, что все эти рослые, красивые, одарённые люди — её, Любочкины, должники. Потому что это у неё, у Любочки, природа забрала то, чем наградила других. Все они хороши и талантливы за её, за Любочкин счёт.

Конечно, Лёсик не мог не видеть, что Любочка далеко не красавица. Но дело было в том, что и Лёсик не блистал красотой. Такой же маленький и тщедушный, с большим кадыком, обделённый здоровьем и силой, он существовал только потому, что в мире существовала поэзия. Давным-давно, ещё в Царском Селе, он в окружении тогдашних столпов русской поэзии, не уверенный в себе и в то же время заносчивый, приносил свои стихи на обсуждение старших товарищей. И общими усилиями стихи его шлифовались и выправлялись. Тогда все любили его и относились к нему, как к младшему брату в большой семье. Он и был самым маленьким и самым щуплым. И на фоне барственных собратьев своих смотрелся дитём. Непутёвым, не приспособленным к жизни, наивным и безыскусным дитём. “Тебе нужна женщина, которая полюбила бы тебя и взяла под опеку”, — уверяли его друзья. Его сравнивали с бодлеровским альбатросом, что прекрасен только в полёте. И как-то раз в царскосельском кафе, собиравшем петербургских тогда ещё поэтов, одна зеленоглазая поэтесса прочитала с посвящением “А. В. М.” свой перевод Бодлера:

От плаванья устав, порой забавы ради
Поймают моряки огромных белых птиц,
Что рядом с кораблём летят вдоль водной глади, —
Бесстрастных спутников, не знающих границ.

Как жалок альбатрос, лишь палубы коснётся!
Когда огромных два крыла влачит спроста.
И кажется, к нему уж больше не вернётся
Былая мощь, былая красота.

Прекрасный пилигрим, король морской лазури,
Он вдруг становится уродлив и смешон.
В клюв сунут трубку, точно табакуре,
Глумясь, изобразят, как ковыляет он.

Так и с тобой, поэт! Гремит твой голос вещий,
Ты с бурями знаком, тебе неведом страх.
Но изгнанный с небес, ты чернью обесчещен,
И крыл твоих удел — лишь путаться в ногах.

Он зарделся, он готов был исчезнуть, провалиться сквозь землю или, напротив, улететь, потому что знал: аплодисменты адресовались не только Бодлеру и зеленоглазой поэтессе, переведшей Бодлера на русский язык, но и ему — Алексею Машкину.

А потом вдруг всё изменилось. В Харькове — и какая нелёгкая понесла его в Харьков? — он, не помня себя, женился. А женившись, вскоре метнулся в Москву. Уже в Москве один из петербургских орлов, случайно залетевших в столицу по пути в Европу, с удивлением глянул на Любочку и пробормотал, адресуясь к Лёсику, что-то вроде: "Ну что же… Твоё дело, конечно… Впрочем, виноват… тоже женщина…"

Но зато это именно Любочка первая заявила, что Лёсик — гений. Не младший брат петербургско-петроградских гигантов, не воспитанный орлами воробей, а птица редкая и самобытная. Что ж, пусть даже будет альбатрос. Но ни к чему альбатросу возвращаться к орлам. У него своя стихия и свой полёт. В Москву! И там начать всё сначала, стать целым числом, а не дробью. Запеть наконец-то своим голосом, а не в хоре благодетелей.

Маленькая Любочка, едва доходившая Лёсику до плеча, смотрела на него снизу вверх желтоватыми, чуть навыкате глазами и называла Иосифом Прекрасным. Она говорила, что Петроград только подавляет его и не даёт стать самим собой. И где ещё, как не в столице, расправить альбатросу крылья. Лёсик, которого никто прежде не называл Иосифом Прекрасным, мало-помалу уверовал, что петербургско-петроградские орлы никогда сами не выпустят его из общего гнезда. А среди них он обречён навечно оставаться младшим братом, последышем и поскрёбышем, затмеваемым вальяжно-красивыми, от рождения уверенными в себе братьями. Приходилось признать, но именно с Любочкой они были сделаны из одного теста, и никакая другая женщина не нашла бы его рост статью, а воробьиные плечи — косой саженью. В чём они расходились, так это в том, что Любочка, в отличие от Лёсика, уже умела ненавидеть. И ненавидела рьяно, со страстью почти всех, с кем доводилось ей сталкиваться. Добродушного и непутёвого Лёсика она тоже учила ненавидеть — соседей, коллег, торговцев на Сухаревке по приезде в Москву, и даже самоё литературу. Тех, кто осмеливался хвалить стихи не Лёсика, а чьи-то ещё, она называла "маразматиками" и уверяла, что только люди "с внутренним изъяном" могут хвалить это.

Злая и некрасивая Любочка, не обладавшая никакими талантами, а лучше сказать, не сумевшая отыскать в себе талантов и найти им применение, вовремя сообразила, чем именно она сможет выделиться из серой человеческой массы и начать уважать себя. Сама эпоха подсказала ей путь. Революция сменялась революцией. Война — войной. Старые связи обрывались, а новые не успевали завязываться. Идеи боролись за умы, а группы — за власть. Люди ожесточались, налаженное когда-то хозяйство рассыпалось. Затянувшееся противостояние разрушало доверие, а в образовавшемся хаосе, как это всегда бывает, выскочили и стали заметны не лучшие представители рода человеческого. Всё запуталось настолько, что не осталось человека, в чьих силах было бы ласково всё распутать. А поскольку распутывать всё-таки приходилось, то узлы и колтуны зачастую обрывались. Мир ожесточился, и по-другому не могло быть.

Но Любочка не утруждала себя вопросами. Любочка не думала о том, что человек всегда и везде одинаков и что нет ничего нового ни под солнцем, ни под луной. Любочке было безразлично, что все события имеют первопричину, искать которую следует не здесь и сейчас, а исключительно в прошлом. Зато каким-то звериным чутьём Любочка уловила: чтобы выделяться в этом новом, ожесточившемся и пока ещё не успокоившемся мире, нужно пестовать в себе неприятие этого мира. Пестовать не на показ, а для себя, чтобы, глядя вокруг, неизменно сознавать своё превосходство. Отныне, когда Лю-

бочка слышала о труде как о владыке мира, она шипела про "идиотство". В ответ на призывы к пролетариям всех стран объединяться, она заверяла, что люди к такому звать не могут.

Поселившись с Лёсиком в жёлтом флигеле, она немедленно возненавидела всех его обитателей. Комната, куда их с Лёсиком определили, ей не нравилась. Оладьи с содой тоже не нравились, главным образом потому, что и мука, и сода выдавались Лёсику пайком второй категории. И комната им досталась с одним окном, тогда как соседняя — угловая — казалась и больше, и светлее.

— У него два окна, — шипела Любочка в сторону соседа, — и паёк первой категории, он колбасу жрёт. А ты чем хуже? Почему у тебя второй?

Лёсик только разводил руками, но Любочка так страстно ненавидела и соседа с двумя комнатами, и распределителей пайков, что и Лёсик начинал проникаться этой ненавистью. И, встречая худющего, но неизменно румяного и весёлого эссеиста, наслаждавшегося двумя окнами, думал, что тот, должно быть, служит в ЧК. Потому что иначе невозможно объяснить ни колбасу в пайке, ни два окна.

Лёсику же полагалась: мука, сода, рис, хлопковое масло, спички, папиросы "Ира" и вдобавок ко всему — страшная коровья голова, о которой Лёсик, впервые получивший её, поинтересовался у женщины, распоряжавшейся провизией:

— И что мне с ней делать?

Женщина бросила на Лёсика взгляд, в котором читалось: "Ну и сволочь ты!" — после чего дёрнула плечом и сказала:

— Что хотите, то и делайте. Хотите — варите, а хотите — так ешьте. Можете на кол надеть и перед входом поставить.

— Перед входом куда? — уточнил зачем-то Лёсик.

— Куда хотите, гражданин, — строго ответила женщина и снова бросила на Лёсика страшный взгляд, очевидно, сожалея, что взглядом нельзя проткнуть или хотя бы хлестнуть.

"Перед входом в твой будуар я бы поставил", — хотел было огрызнуться Лёсик, но вовремя спохватился, сообразив, что разговор этот не имеет никакого смысла. После чего завернул страшную голову в газеты и понёс домой.

Дома он предупредил Любочку, чтобы та не пугалась. Но предупреждения не помогли: едва завидев появившуюся из газетных слоёв голову, Любочка завизжала и отпрыгнула в сторону. О самостоятельной варке головы нечего было и думать. Впрочем, как счёл Лёсик, они всё же сумели распорядиться мясной частью пайка весьма разумно. Обёрнутую "Правдой" голову торжественно передали дворничихе Степановне, обязавшейся готовить возможные по случаю обеды и приглашать на них Машкиных. Конечно, обеды в дворницкой ничем не напоминали обеды в "Доминике" или хотя бы в том самом детскосельском кафе. Но есть было можно, и голод отныне не грозил им своим костлявым пальцем.

Когда же на пороге общежития появился романист Задворкин, колбаса и коровья голова отошли на второй план. Немедленно выяснилось, что Задворкин вселяется в двадцатый нумер. А двадцатый нумер известен был тем, что состоял из двух смежных комнат — тринадцати и шести метров. Это было возмутительно.

— Он один в двух комнатах, а ты с женой — в одной… — с деланым недоумением, неизвестно к кому обращаясь, говорила Любочка, стоя перед единственным окном и водя пальчиком по пыльному стеклу.

Но счастье Задворкина было недолгим. И уже примерно через неделю к нему в смежную комнату подселили поэта Ценкевича, которого Любочка неизменно величала Витенькой, вкладывая в это что-то среднее между презрением и жалостью. По поводу вселения Витеньки Ценкевича в шестиметровую комнату говорили, что в поисках жилья он дошёл до сестры Ленина. Комнат во флигелях не оставалось, а жить Витеньке, явившемуся в Москву из Киева, было решительно негде. И он печаль свою понёс в Кремль. Мария Ильинична вникла в муки Витеньки и убедила московских писателей помочь

собрату по перу. Так и было принято решение подселить поэта Ценкевича в шестиметровую смежную двадцатого нумера, где благоденствовал Задворкин.

— Нехорошо, если у одного писателя две комнаты, а у другого — ни одной, — будто бы заметила по этому поводу Мария Ильинична.

Любочка, до которой дошли слухи из Кремля, прошипела только:

— Она бы эту уравниловку с себя начала…

С тех пор Любочка ненавидела и Задворкина, и Ценкевича, и Марию Ильиничну.

Сама Любочка мечтала, чтобы Лёсику предоставили квартирку или, на худой конец, комнатку в коммунальной квартире — не в общежитии. И чтобы Лёсик не чувствовал себя обязанным за эту квартирку. А ещё — чтобы Лёсика почаще печатали в газетах и журналах. Чтобы платили гонорары и не смели критиковать. Чтобы выпускали книги поэта Машкина, но никакая цензура не смела бы касаться его творений своим острым коготком. А ещё — о туфлях-лодочках и шёлковых чулках. Чулки у Любочки водились, но отчего-то рвались они так часто, что, заливаясь злыми слезами, Любочка только и успевала поднимать на них петли. Лишь через несколько лет по приезде в Москву скопились какие-то деньги от гонораров Лёсика за статьи и переводы в газетах и журналах, на что в бывшем "Мюр и Мерилизе" были куплены и несколько пар новых чулок, и чёрные замшевые лодочки. Любочка надела их тут же, в магазине. И в новых туфлях вышла на Петровку. Взяв Лёсика под руку, она потянула его к Охотному ряду. Они медленно пошли по тротуару вдоль Малого театра, и Любочка бросала на проходящих мимо женщин злобные, недоверчивые взгляды, словно подозревая, что каждая из них намеревается украсть её замшевые лодочки.

* * *

Чёрные замшевые лодочки обыкновенно покупаются не для того, чтобы не ходить босиком. Такие лодочки нужно выгуливать. Именно по этой причине, выйдя от бывшего "Мюра", супруги Машкины оказались вскоре на Никольской улице, продвигаясь понемногу к Красной площади. Но, не дойдя до сердца столицы, они вдруг остановились возле арки тёмной и длинной подворотни. Остановились потому, что перед аркой образовалось странное и на первый взгляд необъяснимое скопление народа, а из подворотни доносились невнятные причитания и старушечий плач. Лёсик заглянул в арку и по ту сторону перехода, во дворе, увидел людей в военной форме, какие-то ящики на земле и причитавших старух. Старухи вообще сновали туда-сюда, то исчезая в подворотне и выныривая во дворе, то снова появляясь на Никольской, при этом тихонько причитали и подвывали. Тут же на Никольской прямо перед аркой стоял священник — невысокий, средних лет человек. Лёсик заметил, что по малиновым щекам его стекали редкие слёзы. Он не утирал их и, казалось, весь был сосредоточен на том, что происходило во дворе.

— Что это здесь? — тихо, ни к кому не обращаясь, спросил Лёсик, когда старухи в очередной раз заахали и запричитали, напомнив стайку испуганных птиц. Священник вдруг закрыл руками лицо, отошёл в сторону и отвернулся, точно не в силах видеть происходящее.

— Матушку! Матушку ободрали! — послышался вдруг старушечий голос со двора. И ближайшая к Лёсику старуха в нелепой бурой кофте взвизгнула. Эта старуха, как и все остальные, ни на секунду не оставалась в покое, поворачиваясь, перемещаясь с места на место, всплёскивая руками, а то и просто перетаптываясь.

— Какую "матушку"? — тихо спросил Лёсик у Любочки, всё это время державшей его под руку.

— Вероятно, богородичная икона, — ответила Любочка и кивнула в подворотню.

И Лёсик вспомнил, что бывал однажды в этом дворе и видел церковь — маленькую белую церковь нарышкинского барокко. И даже вспомнил икону,

чей оклад был покрыт мелкими, как пшено, жемчужинами. А вспомнив, подумал, что это, должно быть, и есть "Матушка".

— Какая мерзость! — перебила его воспоминания Любочка. — И зачем?..

— В пользу голодающих собирают, — хмуро ответил мужичок в бесформенном пиджачке и таком же видавшем виды картузе. Всё это время мужичок стоял перед Лёсиком с Любочкой. И у Лёсика, то и дело бросавшего взгляды на его потёртую спину, мелькала какая-то смутная мысль о неустроенности гегемона. И вот теперь гегемон заговорил с ним, сурово и прямо. Но Любочка, громко фыркнув, снова перебила его мысли.

— А такое слово — "святотатство" — вам ни о чём не говорит? — ядовито поинтересовалась она у мужичка.

— Святотатство, дамочка, это когда на этой вон колокольне, — мужичок махнул куда-то в сторону Красной площади, — в октябре семнадцатого пулемёт стоял. И брата моего юнкер с этой самой колокольни пулемётом скосил. Это, так мыслю, было святотатство. А металл — дело наживное. Ежели Бог есть, он всё верно рассудит. А ежели нет...

Но Лёсик не стал дослушивать богословские рассуждения никольского мужичка и уже тянул Любочку мимо Казанского собора.

— Прошу тебя, — говорил он горячо, но тихо, так, чтобы слышала одна Любочка, — не вступай в дискуссии с народом. И вообще не разговаривай с незнакомыми людьми, которые, страшно представить, кем могут оказаться.

Любочка слушала его молча и, казалось, со всем соглашалась. Но едва он замолчал, она снова заговорила о святотатстве и о том, что на ободранные со всех русских церквей сокровища можно накормить голодающих всего мира. Лёсик даже попробовал возражать, что им ничего не известно ни о количестве ободранных сокровищ, ни о числе голодающих в мире, ни о биржевых ценах на хлеб. Но Любочка была неумолима и долго ещё разглагольствовала об "идиотизме рационализма".

Странное творилось с Любочкой. Не будучи прежде религиозной, она полюбила пускаться в разглагольствования о грехах и свободе, уверяя, что вокруг одни искушения, а святых нет. Новую жизнь Любочка тоже называла греховной и подлой, уверяя, что коллективный грех проистекает от коллективного своеволия. Лёсик даже подивился, как далеко она зашла в своих помыслах, и заметил, что один грех может быть попущен Богом за другой — сильнейший. Но Любочка только фыркнула, назвала слова Лёсика ерундой и затараторила о преступной эпохе, об уродливом обществе, о потерявших свободу индивидах. Она призывала бороться за свободу, но сама при этом тушила папиросы в хлеб и не убирала постель, куда могла запрыгнуть прямо в уличных башмаках, не замечая, что пачкает простыни. Когда Лёсик смотрел на пепел в хлебном мякише, слова о свободе где-то в глубине души казались ему ложью. Но чувство превосходства над всеми, внушаемое Любочкой, уже отравило его. И Лёсик, не сомневаясь, считал себя великим непризнанным поэтом, вынужденным коротать дни среди приспособленцев и бездарей. Он уже не мог воспринимать окружающий мир как прежде: всё вокруг казалось ему глупым и уродливым. И только они вдвоём с Любочкой — свободными и хранящими благородство, хоть и бедствующими. Откуда-то, чего раньше с ним не было, взялись обида на всех и чувство обделённости, словно были ему должны и недодали чего-то, обделили. И хорошо бы, с одной стороны, вытребовать положенное, но с другой — как сладостно было бы хлопнуть дверью или плюнуть кому-нибудь в лицо.

Лёсик и сам замечал происходящие с ним перемены и даже как-то подумал, что перемены эти от Любочки, что это она заразила его ненавистью. Но он гнал эту мысль как неприятную и даже унизительную для себя. Он говорил себе, что эпоха действительно преступная и что порядочный человек в такие дни просто не может оставаться спокойным и благодушествовать. Он уже не удивлялся, что Любочка, гуляя по Москве, только и делает, что зыркает вокруг, выискивая подтверждения своего превосходства. Мало-помалу он и сам стал зыркать. И когда однажды Любочка, остановившись у края

мостовой и указав на регулировщика в белой форме, шепнула: "Ты только посмотри на него! Ведь это страшно — он и сам стал машиной!" — Лёсик почти с наслаждением уставился на белого человека. Его движения действительно поражали механической отточенностью, но ещё недавно Лёсик не придал бы этому никакого значения, признав такой порядок вещей совершенно естественным и даже необходимым. Теперь же регулировщик стал ему жалок. Он, Алексей Машкин, свободный человек и большой поэт, смотрел на этого пляшущего среди гудящих автомобилей человечка и убеждал себя, что увиденное им отвратительно. Не работа регулировщика, не гармонизация дорожного хаоса казались ему отвратительными, но исчезновение личности у белого человека на островке среди мостовой — явление, по их с Любочкой убеждению, ставшее типичным и повсеместным. Но спроси кто-нибудь у Лёсика: "А как же надо?" — Лёсик бы только отмахнулся: почему он должен знать, как надо? Он знает, как ему и Любочке не нравится, а стало быть, как не надо. Разве этого недостаточно для человека свободного и талантливого?

И всё же, соглашаясь с Любочкой, глядя на мир её глазами, Лёсик порой чувствовал какую-то раздвоенность, потому что Любочкина ненависть отдавала пустотой. Он не смог бы объяснить, почему это так, но временами, глядя на Любочку, он чего-то боялся. Как в юности, купаясь у берегов Коктебеля, боялся заглянуть в бездну, начинавшуюся за мелководьем.

Ах, как давно это было! Коктебель, Чёрное море… Он снимал тогда комнату в пансионе старухи-армянки. Соседом его был молодой московский биолог Павел Петрович Бузий, оказавшийся любителем поэзии и даже читавший стихи Лёсика в каком-то журнале. Лёсик и Павел Петрович ходили вместе купаться, читали стихи, горячо спорили и жаловались друг другу на хозяйку. Толстая и усатая владелица пансиона всё время улыбалась полубеззубым ртом. Даже когда выслушивала неудовольствие жильцов по поводу вчерашнего хлеба к завтраку или заветренного сыра.

— Сусанна Хачиковна, — взывал Лёсик, — в моей комнате пыли на палец! Помилосердствуйте!

— Чего для вам не сделать! — улыбалась хозяйка, и огромное тело её колыхалось.

И действительно, в тот же день на полу и на столе в комнате Лёсика появлялись разводы в виде огромных восьмёрок.

— Вот старая ведьма! — жаловался Лёсик Бузию.

— Вам ещё повезло! — отвечал тот. — Вы определённо ей нравитесь. У меня она убирает только с третьей жалобы. На вашем месте я бы женился на ней и унаследовал пансион.

И они принимались так хохотать, что прохожие останавливались и смотрели вслед двум загорелым, с выгоревшими волосами молодым людям в белых рубашках и белых же брюках.

В те годы Лёсик грезил революцией. Говорил, что предчувствует и приветствует её. Верил, что она несёт счастье и освобождение и что похожа революция на огромные ножницы, срезающие путы с ног России.

— А вы не задумывались, мой друг, — загадочно вопрошал Бузий, — что революция — это не кисейная барышня? Ведь эта дама может и постоять за себя.

— Вот и прекрасно! — восклицал Лёсик. — Прекрасно! Не понимаю, почему вы говорите об этом так… Так странно. Словно видите в этом нечто ужасное.

— Вы правы, — соглашался Бузий, — я и в самом деле вижу в этом "нечто ужасное", как вы изволили выразиться. Потому что революция — это драка. И драка не до первой крови. Драка затяжная, до окончательного утверждения одних и уничтожения других. Инерция революции может быть страшней самой революции. Не так страшна внезапная остановка поезда, как падающие в силу инерции пассажиры, ломающие руки и разбивающие головы. Что, если и ваша голова пострадает после того, как стоп-кран с надписью "Революция" будет приведён в действие в поезде под названием "Россия"?

— Этак уже и на войну больше похоже, — улыбался Лёсик.

— И снова правы! Я не хотел только использовать это слово так, сразу. Но если начистоту, революция — это и есть война. Причём война до победного конца, на уничтожение. Иначе ей просто не выжить. Любого, кто встанет у неё на пути, она уничтожает. И это — аксиома. Так нужно ли? Стоит ли оно того?

— О, нужно! Нужно! — восклицал Лёсик, пускаясь в пространные рассуждения о народе, которого не знал, и об идеях, в которых почти ничего не смыслил.

— А вы не допускаете, что любое новшество далеко не всегда и не сразу оказывается тем, чем и было задумано? И что становление новой жизни может затянуться и затянуться болезненно?..

— О, нет! — снова восклицал Лёсик. — Я не боюсь нового. Нельзя бояться! Иначе ничего и не будет. Мы все станем работать. Работать много, не поднимая головы, засыпая там, где только что работали. Потому что только такой труд преображает мир...

Павел Петрович улыбался в ответ, и спор затихал.

А вечерами, отужинав, они снова шли к морю, садились на песок и слушали плеск волны. Иногда Бузий просил:

— Почитайте что-нибудь!

И Лёсик тихо читал:

Вы слышите: поёт звезда о том, что ночь близка,
О том, что видели с земли чудного седока.

Ведь ночь летит на соловье — ни сбруи, ни седла,
А в клюве держит соловей шкатулку из стекла.

И что-то светится во мгле, на дне шкатулке той.
И кто-то шепчет из ветвей: там месяц золотой.

Пред ночью небо, как сапфир, за нею вьётся тьма —
То грива чёрная волос чернее, чем сурьма.

Распустит ночь свои власы, укроет небосклон,
Опутав сотни светлячков и звёзд квадриллион.

Но стоит скрыться соловью за хрупкий окоём,
Как смоляных её волос уже не видно днём.

— Ах, как это хорошо! — говорил Бузий. И они снова умолкали, слушая волну и вглядываясь в синее свечение воды.

Да, тогда были стихи. Были образы — то прекрасные и загадочные, то грозные и величественные. Было Слово — осмысленное и стройное. Временами он видел странные сны, походившие на явь. И просыпаясь, долго не мог проникнуться уверенностью: проснулся он только что или, напротив, уснул. Ему снились петербургские мосты, дамы с лимонными плечами, обсыпанные корицей бабочки и печальные стрекозы, что заглядывают в глаза прохожим. Мир, виденный им во сне, казался родным. Там он ощущал себя в безопасности. Просыпаясь, он пугался и думал, что так, должно быть, чувствует себя младенец, появляющийся на свет. Во сне текли кофейные реки, а псы, ходящие на задних лапах, раскланивались и снимали цилиндры. Лёсик очень хорошо помнил, как один из псов, рыжей, кажется, масти, улыбнулся ему, показав золотой клык. Рыбы в полосатых чулках ехали по Невскому проспекту в старинных экипажах, высовывая морды в окошки. А в редких сугробах расцветали кусты алых роз. Ещё из студенческих лет Лёсик вынес, что старый мир должен упасть. Что будет затем — кто его знает? Быть может, псы с золотыми зубами станут снимать цилиндры, а рыбы в полосатых чулках ездить в экипажах. Но мир в пошлой своей прозаичности повлёкся в другую сторону. Туда, где невозможны ни кофейные реки, ни бабочки, обсыпанные корицей.

* * *

А потом что-то переменилось. Слова шли сплошным потоком, замыкаясь на рифме и утрачивая первоначальный смысл; втискиваясь в заданную форму то боком, то задом; игнорируя всяческие нормы и правила. Эти слова отрекались от своего значения, произвольно меняли род с женского на мужской и обратно и занимали место в строке только потому, что подходили по звучанию и ритму. Ни мудрости, ни прозрений, ни даже внятного сюжета не было в этих стихах. Лёсик и сам всё это видел, но превозмочь не мог, отчего только злился.

Он всё ещё дышал стихами. Музыка стиха звучала в голове, и смутные чувствования преследовали его, как злые духи. Поэзия клокотала в нём, но не находила выхода. Казалось, ему всё равно, о чём он пишет. Взволнованный мыслью или промелькнувшим чувством, он выплёскивал из себя стихи, где главным было не значение, а звучание. Причём звучание, понятное только самому Лёсику. Тишина для него выражалась буквой "ш", солнце — буквой "л", тревога — "р". Главными были звуки. А образы теперь заменялись какими-то смутными видениями, выплывавшими не то из сумрака лет, не то из недр сознания, не то из других миров или снов. Временами эти видения приставали в музее после простаивания перед какой-нибудь картиной или отыскивались в сутолоке блошиного рынка. Получалось сложно и непонятно. Поэзия его обретала сходство с Талмудом, где одна книга необходима для того, чтобы истолковать другую.

Лёсику приходилось признать, что стихи — настоящие стихи, за которые он и в самом деле мог бы считать себя поэтом, — были связаны с Петербургом и тогдашним окружением. И что так или иначе, но без тех людей его стихи перестали быть стихами, превратившись в потоки полубессмысленных слов. О Москве он писал, что она слеплена сороками в духе раннего буддизма. Яблоки его тянуло назвать "грамотными", груши — "прилежными", закат — "резиновым". "Арбузно-пустым" представлялось ему лето, "по-институтски скромным" молоко. И дело было в том, что, назови он молоко "развратным", ничего бы не изменилось — и так, и так смысла не было ни на грош. Стихи его были криком, но голоса порой не хватало, а слова застревали в горле, отчего выходило то неправильно, то непонятно.

Конечно, всему можно было подыскать объяснение, что и делала с охотой Любочка, растолковывая знакомым, будто "янтарная зима" означает "морозная", потому что янтарь — это застывшая смола, а зимой тоже всё застывает. Но Лёсик-то знал, что всё это не то.

Напрасно он понадеялся на Москву. Чуда не произошло, столица не пробудила прежних чувств, не научила вновь слышать хор светил. Зато с некоторых пор стала раздражать едва ли не на каждом шагу. О, эта Москва! О, грубая славянщина, ничтожная и однообразная, помесь человека с крысой! Молох, языческая прорва. Ни одна другая столица мира не требует столько крови и не забирает столько силы. Всё худшее, что есть в России и в русских, вобрал в себя этот город. Видит Бог, он честно пытался прорасти в Москву, впитать её соки, обретя в них источник жизни. Но то ли впитывать было нечего, то ли Москва не желала питать его и видеть в числе детей своих. Однажды Лёсик явственно осознал, что это чужой и чуждый ему город. Больше того, он вынужден был признать, что и страна теперь была чужой и чуждой. Сначала он даже испугался перемен в себе. Ведь он и сам был низкого сословия, да и красотой не наградил его Господь. Так чего же он хотел от людей вокруг, если сам он — один из них, такой же бесцветный и угрюмый? И если бы ничего не менялось в стране, всё равно ни одна из великих княжон не держала бы его под руку и ни одна красавица Петербурга не отдала бы ему своё сердце.

В голове у Лёсика всё смешалось. Когда-то он мечтал о революции, но потом возненавидел её. Всё было дико. Никакой ясности, ничего определённого, одна только нескончаемая путаница. Конечно, появлялось что-то новое, разумное по сути и в замысле, но тут же в этом новом обнаруживалось человеческое присутствие, проявлявшееся то пошлостью, то глупостью,

то жестокостью, то подлостью. И тогда казалось, что нужно было как-нибудь по-другому. Но как?! На этот вопрос ответить было некому, но все прежние мечты, все ожидания рассыпались. Те, кто пытались объяснить этот крах, винили во всём революцию и людей, действовавших от её имени. "Идея-то хорошая, — шёпотом говорили другие, — но претворима ли она? Взять хоть христианство. Тоже ведь утопия. Но оно и понятнее, да и покрасивше будет. А тут что?" Но потом все расходились, служили, спали, жевали, сидели, как ни в чём не бывало, в театрах. А Лёсику думалось, что одни обещают невозможное, другие лгут, третьи шпионят, четвёртые травят тех, чьё место хотели бы занять, пятые, может, и пытаются упорядочить этот нескончаемый хаос, но ничего у них не выходит. И голова у Лёсика начинала кружиться. "Революция — это война до победного конца... Любого, кто встанет у неё на пути, она уничтожает...", "Инерция революции может быть страшней самой революции..." — звучал в этой голове голос Павла Петровича Бузия.

Но Лёсик не хотел признавать свою неправоту. Находясь к тому же под влиянием Любочки, он поступил так, как нередко поступают несчастные и недовольные, — нашёл источник всех бед вовне. Источником этим оказалась... Россия. Это именно в России всё происходит не так, как должно происходить; всё в России неправильно и непохоже на остальной мир. Даже хвалёная русская литература не так уж и хороша, как принято о ней думать. И революция здесь неправильная. Да и женщины не так уж красивы — все они бесцветные, курносые, сероглазые. Отыскав это объяснение, Лёсик даже немного успокоился. Но вместе с тем стал наливаться ненавистью, как сосущее насекомое кровью.

А нужно было жить. Нужно было работать, чтобы покупать колбасу и белое вино, чулки и замшевые лодочки, чтобы добыть квартиру и съездить в Крым. Приходилось не просто писать стихи в своё удовольствие, а трудиться, как он сам же недавно призывал. Приходилось "отдавать талант революции", как объяснили ему в одном толстом журнале.

Зарабатывать он хотел и мог исключительно литературным трудом. Но писал он так мало, что даже при условии оплаты за каждое маленькое стихотворение прожить на заработанное они всё равное не смогли бы. В писательском союзе предложили заняться переводами — переводить европейскую литературу для массового советского читателя. Лёсик хоть и знал по-французски, но переводить спервоначалу отказался, потому что презирал и сами переводы, и работу переводчика. Впрочем, он всё же попробовал было перевести кое-что из поэзии Гюго, но переводы его издатель не просто не принял, но и пустился в долгие и, как показалось Лёсику, обидные разглагольствования.

— Поймите, — объяснял ему редактор недавно образовавшегося издательства "Серп и молот", — мы создаём институт перевода. У нас государственный заказ. Это не баловство! Наш читатель — массовый, заметьте, читатель — должен познать Гюго на русском языке. Скажете: невозможно?! А должно стать возможным. Поэтому перевод должен максимально соответствовать оригиналу и по форме, и по содержанию. А у вас, извините, вариации на тему...

Тогда жизнерадостный эссеист из угловой комнаты надоумил писать статьи в газеты. А романист Задворкин подсказал насчёт пьес и сценариев — сценарий можно было пристроить в "СовКино". Лёсик стал писать о том, что хорошо знал, — о литературе, о Крыме, о Ленинграде. Но сценарии ему вовсе не удавались — он выделял не то и не так, и никогда никакого фильма не могло бы получиться по написанному им сценарию. Пьесы также не получались — поставить их было не под силу даже Мейерхольду.

— Почему так? — спрашивал Лёсик у Любочки, и глаза его исполнялись скорби.

— Просто ты остался свободным, — заверяла Любочка. — Ты не стал таким, как они. И они это прекрасно знают!

И Лёсик соглашался, потому что так проще. А Любочка подначивала:

— Они отлично всё видят. И знают, что ты среди них — самый талантливый и свободный. И поверь мне, они ещё накажут тебя за это.

Некоторые статьи удавалось опубликовать, и тогда Лёсик радовался, как ребёнок. Но заработки всё равно оставались редкими и случайными. Даже со статьями ему отказывали.

— Ваши статьи, — ворчали в журналах, — непонятны читателю. Ваша мысль неясна, да и бездоказательна. Не поймёшь, о чём вы пишете и что хотите сказать! Грешным делом, можно подумать, что вы и сами не понимаете, о чём пишете. Очень много воды и очень мало конкретики. Читатель ничего не почерпнёт из вашего половодья…

После таких отзывов Лёсик бежал к Павлу Петровичу. Следует сказать, что когда Лёсик только явился в Москву, то едва ли не первым делом отправился искать Павла Петровича Бузия — к тому времени профессора Московского университета. С Бузием Лёсика связывало что-то невыразимо приятное и беззаботное, — по всей видимости, воспоминания о Коктебеле. К тому же он считал Бузия своим другом, причём другом ещё из прошлой жизни, и, сам не зная почему, безраздельно доверял ему. Очевидно, и Павел Петрович испытывал к Лёсику нечто подобное, потому что никогда не отказывался выслушать его, помогал советом и принимал всяческое участие. Лёсик приходил жаловаться на отвергнутые стихи, недоумевая, почему, ну, почему их не печатают? Но Бузий не удивлялся и спокойно объяснял:

— Что же, стихи ваши и в самом деле не всегда понятны. Признаюсь, я и сам не всё понимаю… Вот прочтите-ка ещё раз… вот это… про шубу…

Лёсик начинал читать, и адамово яблоко трепыхалось в узкой его гортани, как птица в силках:

Вспомни тот тихий, крадущийся, ласковый вечер.
Лунная стынь на пороге застыла моём.
Ты златорунную шубу накинь мне на плечи
И уведи меня за снеговой окоём.

Бесятся мглистые, огнеплюющие кони.
Не обольщайся бесстрастным течением рек.
Яблоко дивное мне поднеси на ладони,
Чтобы, испробовав, ночи не видеть вовек.

Ты подари мне звезду, что рассеяла тени,
Смутные абрисы злобных и грозных существ.
Нас зачарует душистою ночью цветение
Белых цветов для венка полуночных торжеств.

— Ну?.. Неудивительно! — подводил черту Бузий, когда Лёсик заканчивал. — Что это за “мой”, “мне”, “меня”?.. Да и кто же это поймёт? Вспомните стихи, что вы читали тогда, в Коктебеле — там была тайна, была поэзия… А здесь — как-то всё от ума. Вы уж не обессудьте. Критики напишут, что вы рифмуете слова и подгоняете по ритму.

— Но ведь это не так! — восклицал Лёсик, чуть не плача.

— Я-то вам верю. Но других вы не убедите.

Тогда Лёсик вспоминал Петербург, Петроград и начинал перечислять имена тех, с кем дружил в те годы, кому читал свои стихи и чьей похвалой дорожил. Но Бузий только качал головой.

— Не стану с ними спорить, — говорил он. — Более того, скажу вам так: очень может статься, что когда-нибудь их мнение перевесит все остальные суждения о вас. Но вот когда это случится, я знать не могу. Но не забывайте: в те годы вы и стихи ваши — всё было другим…

Лёсику хотелось обидеться на Павла Петровича за непонимание им новых стихов, за отношение, не соответствующее значению, которое сам себе определил Лёсик. Но Бузий смотрел так открыто, так искренне уверял в грядущем признании и приятии, да и вообще был так спокоен и добр, что обижаться не получалось. И в следующий раз, когда Лёсик оказывался недооценённым, он снова приходил к Павлу Петровичу. И Павел Петрович внимательно выслушивал его и давал советы. Когда ни один журнал и ни

одна газета не согласились принять статью Алексея Машкина о русской литературе XIX века, он снова явился к Бузию. Тот прочитал статью и только пожал плечами.

— Чему же вы удивляетесь, Алексей Венедиктович? Вы же Чехова с грязью смешали… Да вот же…

— Ну, а если я не люблю Чехова? — заносчиво заявил Лёсик.

Они прогуливались по Тверскому бульвару, и Лёсик напряжённо прислушивался, как похрустывают под ногами высохшие рыжие листья, толстым слоем покрывавшие бульвар.

— Не лю́бите, — спокойно продолжал Бузий, — так и не люби́те. А ругаться-то зачем? О таких вещах стоит писать деликатно или вообще не писать. А иначе… Иначе это выглядит вызывающе и жалко.

На слове "жалко" Лёсик вздрогнул.

— Ведь это не анализ, — объяснял ему Павел Петрович, — а самые обыкновенные нападки, ваши личные предпочтения. А кому в наше время интересны чьи бы то ни было личные предпочтения? И чему же вы удивляетесь? Неужели вы рассчитывали, что хоть кто-нибудь напечатает эту статью?

Бузий замолчал. Лёсик носком ботинка поднял рыжий фонтан.

— Зачем ругаться? — снова заговорил Павел Петрович. — Вот вы пишете: "Чтение Чехова способно только изуродовать…" Для чего это? Собственно, даже и мнение своё вы могли бы изложить сдержанно, интеллигентно, что ли — под стать Чехову. Чтобы виден был смысл. Суть того, о чём вы хотите поведать миру. А сейчас видны только вы сами.

— Но я не могу не сказать о своих чувствах! Иначе это будет холодно, отстранённо…

— Не можете интеллигентно, не пишите вовсе, — улыбнулся Бузий. — Всё равно ведь не напечатают.

— Нет. Я буду писать, — твёрдо и тихо заявил Лёсик. — Буду, несмотря ни на что. Сейчас я не нужен, но буду нужен потом.

— Тогда не жалуйтесь, что не печатают, — заключил Бузий и стал говорить о новом романе писателя Прохладного, вышедшем в последнем номере одного из толстых журналов.

Лёсик слушал и понимал, что ненавидит писателя Прохладного, принадлежавшего к породе людей, что окружали Лёсика в Петрограде. Барственный, добродушный, привыкший жить на широкую ногу и одарённый сверх всякой меры. Всё, за что бы он ни брался, удавалось ему легко и красиво. И глядя на него, можно было не сомневаться: этот человек не просто доволен жизнью, но и вряд ли понимает, почему кто-то может быть ею недоволен.

* * *

Той же осенью Любочка заболела. И врач, присланный к Машкиным Павлом Петровичем, посоветовал отправить её в Крым.

— С лёгкими не шутят, — сказал он. И добавив: "Да-с!" — так посмотрел на Лёсика, словно тот неудачно пошутил насчёт чьих-то лёгких. Лёсик растерялся и беспорядочно забормотал что-то про "конечно", "обязательно" и "в ближайшие дни".

Денег было совсем немного, но, подсчитав, Машкины решили, что если Любочка уедет в Ялту одна, то недели две, снимая комнату в Гурзуфе, она вполне сможет прожить. Лёсик же тем временем займётся ненавистными переводами, выложится и постарается ублаготворить редактора, а заодно вымолить аванс. Заработки пойдут на содержание Любочки в Крыму до декабря или до полного исцеления. Если, конечно, исцеление наступит раньше декабря. План показался осуществимым, отчего оба приободрились и даже размечтались, как Лёсик, получив аванс, приедет к Любочке в Гурзуф дышать морским воздухом и пить вино. Когда речь зашла о вине, Любочка даже развеселилась, потому что Лёсик попросил её не пить в одиночестве. Любочка пообещала и укатила в Ялту. А Лёсик, преодолевая отвращение, направился в "Серп и Молот".

— Я знал, что вы вернётесь, Машкин, — сказал ему редактор по фамилии Кушнарёв, плотный, квадратный человек с коротко остриженными, тронутыми сединой чёрными волосами. Он пожал Лёсику руку, и Лёсик почувствовал, что сжимает в ладони кусок древесной коры.

— У меня для вас не только Гюго, — заговорщицки сказал Кушнарёв. — Есть ещё Мюссе, Вийон и даже Бальзак.

На Бальзаке он понизил голос, как будто речь шла о маркизе де Саде.

— Спасибо, Аркадий Абрамович, — пробормотал Лёсик, пугаясь отчего-то имён великих французов.

Весь день он провёл в "Серпе", выслушивая рассказы о грандиозных планах издательства и отбирая работу на ближайшее время. Выяснилась, кстати, прелюбопытная вещь. К весне должна появиться не только антология поэзии, но и первый том Бальзака.

— Вы слышали о Стаханове? — спросил Кушнарёв.

Конечно, Лёсик слышал о Стаханове, но пока не понимал, какое отношение он мог иметь к переводам.

— Само собой, мы не уголь рубим, — пояснил Аркадий Абрамович. — Но и мы способны показать темпы работы. Вы согласны?

Лёсик, всё ещё плохо понимающий, что от него требуется, на всякий случай согласился.

— Поэтому мы будем не только переводить, — продолжал издатель, — но и обрабатывать. Но пока не забивайте себе этим голову и спокойно переводите Гюго. Со временем всё разъяснится.

В итоге Лёсик получил неплохой аванс, папку со стихами Виктора Гюго и талоны на обеды в столовке "Серпа". И на другой же день, отправив гонорар Любочке, Лёсик засел за работу.

Дней через десять он снова стоял перед Кушнарёвым, а тот читал:

В лесных озёрах, дремлющих в тиши,
На донце человеческой души
Мы видим небеса, где солнца луч играет,
Где тучи хмурые нередко пробегают;
И тину вязкую, где нестерпимый смрад
И змеи чёрные во множестве кишат.

— Недурно, — пожал он плечами. — Очень недурно. Можете же, когда захотите!.. Давайте продолжать, Машкин.

Лёсик отправился домой с новой папкой. А вечером он писал Любочке: *"Душенька моя, любимочка! Как ты себя чувствуешь? Как здоровьице твоё? А я здоров отменно и много работаю. Завтра отправлю тебе ещё денежек, чтобы ты хорошенечко кушала, моя родненькая. Покупай себе мандаринки. И маслице обязательно кушай, родненькая. Будем работать, чтобы любимочка скорее поправилась. А я, как только смогу, постараюсь к тебе приехать. Но если не будет получаться, ты потерпи. И я буду терпеть. Главное — это твоё здоровьице. Мы оба должны всё делать только для того, чтобы его поправить. А потом уже будем делать, что захотим. Целую тебя, родненькая. Твой Л."*

Такие письма он писал каждый день, тоскуя в своей комнате без жены и мечтая, как бы и самому отправиться в Крым. Но приходилось работать, приходилось гнать по-стахановски переводы, чтобы поддерживать хотя бы Любочкино безбедное существование в Гурзуфе. Помимо платы за комнату и врача, Любочке нужно было хорошее питание. Врач советовал пить молоко, на завтрак непременно есть хорошее сливочное масло и белый хлеб. А самой Любочке хотелось ветчинки. И икорки тоже хотелось. И чтобы Любочка ни в чём себе не отказывала, Лёсик, точно вол, впрягся в нагруженную с верхом повозку, перелопачивая французскую поэзию и пытаясь донести до соотечественников острый галльский смысл.

Работа вызывала у него странные чувства. Прежде всего, он убеждённо презирал переводы как таковые. И все разговоры о пользе, приносимой Отечеству, или о просвещении не могли поколебать его в этом убеждении.

Но в то же самое время, начав заниматься переводами ради заработка, он постепенно так увлёкся, что даже выступил с несколькими предложениями по усовершенствованию работы переводчиков. Или, лучше сказать, по усовершенствованию преподавания иностранных языков, дабы *"все, включая крестьян и домохозяек, смогли бы читать иностранную литературу в подлиннике и получать собственное впечатление, не обусловленное переводчиком и не зависящее от знания им языка перевода"*. Статья о переводах и обучении иностранным языкам была напечатана в "Известиях" и вызвала оживлённые споры в других изданиях.

Однако декабрь подходил к концу, а Лёсик так и не побывал в Крыму. Любочка тоже не возвращалась, намереваясь пробыть в Гурзуфе как можно дольше. Во всяком случае, до тех пор, пока Лёсик был в состоянии оплачивать это пребывание.

Когда однажды Лёсик с тёмными от бессонных ночей кругами вокруг глаз явился в "Серп" с очередной порцией переводов, кажется, Корбьера, Аркадий Абрамович, перейдя вдруг на "ты", сказал:

— Вот что, Алексей Венедиктович, берёмся за Бальзака. Готов ты с прозой работать или всё по стихам желаешь?..

Лёсик вспомнил про стахановские темпы и опять чего-то испугался. Но тут же подумал, что гонорары за прозу должны быть выше, чем за стихи, вспомнил Крым и, сглотнув слюну, сказал:

— Отчего же? Я готов, Абрам Арка... э-э-э... Аркадий Абрамович...

И с этого момента началось падение Алексея Машкина, о чём сам он, разумеется, никак не догадывался. Можно даже сказать, что, заключив контракт на "обработку" "Евгении Гранде", Лёсик подписал себе смертный приговор. Впрочем, начиналось всё вполне невинно. Кушнарёв объяснил:

— Новый перевод стихов — это одно. А прозы — совсем другое!

Лёсик был вынужден согласиться.

— Но! — продолжал Кушнарёв, снова отчего-то переходя на "вы". — Понимаете ли вы, что новый перевод — это затратно? Это дорого и долго.

Лёсик кивнул.

— Тогда вы должны признать, что в наших же с вами интересах избежать лишних расходов и по возможности сократить их.

Лёсик снова кивнул.

— Тогда давайте именно так и поступим! — воскликнул обрадованный чем-то Аркадий Абрамович.

— Давайте, — согласился Лёсик, всё ещё не догадываясь, куда клонит издатель.

— Что вы читали из Достоевского? — спросил вдруг Кушнарёв, выстукивая по столу "Куплеты тореадора".

— Э-э-э... — растерялся было Лёсик. — Всё читал, Аркадий Абрамович!

— И "Евгению Гранде"?

— Да... Но, виноват... Ведь это не Достоевский! — пролепетал Лёсик, переставший понимать что бы то ни было.

— Ну да, да, — нетерпеливо закивал Аркадий Абрамович. — Я имею в виду перевод Достоевским Бальзака.

Лёсик решил, что пытаться ухватить мысль издателя — дело бесполезное, а потому лучше набраться терпения и ждать, когда он сам скажет, к чему клонит. Ждать оказалось недолго. Походив вокруг да около, Аркадий Абрамович объяснил, что, начиная с Бальзака, они попробуют использовать старые переводы. И задачей Лёсика будет сделать их более современными, а при необходимости подчистить классово-невыдержанные фантазии заграничного сочинителя. Поскольку старые переводы порой и впрямь далеки от совершенства, то работы у Лёсика будет немало. Нужно будет не просто отредактировать чужой перевод, но и сделать его понятным для советского читателя — раз, сделать его неузнаваемым — два. То есть Лёсик воспользуется текстом Достоевского, но уберёт все "инда" и "давеча", заменив на "так что" и "недавно". В результате должен появиться новый перевод, автором которого будет значиться Лёсик — Алексей Венедиктович Машкин.

Лёсику вдруг стало тоскливо, как будто среди ясного дня померкло солнце. Но он вспомнил Гурзуф, террасу дома Раевских, дачу Чехова и промолчал. И вскоре "Евгения Гранде", изменённая до неузнаваемости, легла на стол Аркадия Абрамовича. А Лёсик занялся "Утраченными иллюзиями". Задание было прежним: из старого перевода сделать новый. С тою лишь разницей, что переводчик по фамилии Астраханский, в отличие от Фёдора Михайловича Достоевского, здравствовал и был даже довольно активен, то и дело появляясь в печати с новыми переводами испанских и французских поэтов и даже со статьями по усовершенствованию художественного перевода как такового. Астраханский был одним из тех, кто ответил Лёсику в "Литературной газете" насчёт обучения домохозяек французскому языку. Теперь же Лёсику предстояло так перелицевать "Утраченные иллюзии", чтобы сам Астраханский ничего не понял. К этому времени Лёсик уже отчётливо понимал, что Аркадий Абрамович почти втянул его в аферу, могущую дурно завершиться.

Обработка готового перевода стоила издательству дешевле, чем перевод с нуля. Выгода Лёсика заключалась в получении сравнительно быстрых и лёгких денег, а равно и славы переводчика. И всё бы прошло хорошо, если бы Астраханский не оказался "въедливым и докучливым типом", как выразился Аркадий Абрамович.

Едва "Литературная газета" сообщила о выходе первого тома собрания сочинений Оноре де Бальзака, как уже через несколько дней Алексей Машкин получил по почте письмо следующего содержания:

"Милостивый государь!

Вы, вероятно, находите забавным приписывать чужим произведениям своё авторство. Вынужден разочаровать Вас: подобные проказы отнюдь не всем кажутся весёлыми, и не все готовы разделять с Вами Вашу радость.

Что же касается до меня, то будучи лицом, пострадавшим от Вашей неуёмной резвости, я намерен искать справедливости в соответствующих и приличествующих случаю организациях.

За сим остаюсь Вашим неприятелем.

Обокраденный Вами,

Семён Астраханский".

Лёсик перепугался не на шутку. А ведь была у него мысль оставить в договоре вместо "перевод и обработка" только "обработка" и просить Кушнарёва не указывать его имени как переводчика. Но это требовало разговора с Аркадием Абрамовичем и рассуждений, требовало усилий, делать которые Лёсику не хотелось. И Лёсик не сделал. Зато теперь от него определённо потребуются усилия иного рода, и отвертеться уже не получится.

Но Любочка далеко, и обсудить это ужасное письмо не с кем. Лёсик решил наведаться к Павлу Петровичу. Захватив письмо Астраханского, он кинулся к Бузию, вдруг сообразив, что довольно давно не видел своего друга и не говорил с ним. Но, явившись в Старосадский переулок, где квартировал Павел Петрович, Лёсик обнаружил, что самого Бузия нет, зато на двери его комнаты висит печать, появляющаяся только в двух случаях, один из которых — смерть жильца. Соседи же, завидев, что к Бузию посетители, отворачиваются, а то и прячутся, словно обнаружив на этих самых посетителях коросту проказы. Это было невероятно.

Лёсик, к прежнему испугу которого прибавился новый, побрёл домой. Только сейчас он вдруг подумал, что никогда прежде не интересовался, чем живёт его друг. Он приходил к Бузию, жаловался на судьбу, искал совета, но ни разу не спросил, а нужен ли совет самому Павлу Петровичу, не хотел бы Павел Петрович и сам пожаловаться или выговориться. Получалось, что Лёсик и не знал как следует своего друга, не имел ни малейшего понятия о том, чем он живёт и занимается. Нет, Лёсик, конечно же, знал, что Бузий холост. А ещё, что он специалист по головоногим. Да и то, о последнем он узнал в Крыму, когда с Бузием они, смеясь, сетовали на отсутствие в Чёрном море кальмаров и осьминогов. Но как головоногие могли подвести Павла Петровича к узилищу, Лёсик не мог понять. Зато он вдруг понял, вспомнив давнишние свои рассуждения о революции, что в исчезновении

Бузия отчасти виноват и он, поэт Алексей Машкин, призывавший революцию и не желавший думать об инерции революционного движения.

* * *

А спустя дня два или три после похода Лёсика к Бузию, в "Известиях", ещё недавно опубликовавших статью Лёсика о переводах, вышла другая статья, называвшаяся "Литературный воришка". Под статьёй значилось: "Семён Астраханский". В самой же статье говорилось: *"Издательство "Серп и Молот" заявило о начале выхода нового собрания сочинений французского писателя Оноре де Бальзака. И вот я, как давнишний поклонник и переводчик Бальзака на русский язык, с радостью раздобыл первый том для ознакомления с новым переводом. Желая найти отличия с работой, выполненной мною почти двадцать лет назад, я вдруг с недоумением узнал тот самый двадцатилетней давности свой перевод, сдобренный нелепыми исправлениями и заменами. Да к тому же ещё за подписью А. Машкина. С ужасом взирал я на картину воровства, припоминая, что это тот самый Машкин, призывавший не так давно доярок и чесателей льна к изучению латыни и прочих чужеземных языков. И вдруг этот радетель просвещения оказывается всего лишь мелким литературным воришкой..."* Астраханский доказывал: Лёсик никогда не видел французского текста. К тому же Астраханский действительно представил целый список исправлений и замен, которые иначе как нелепыми не повернулся бы назвать ни один язык.

Лёсик держал газету в руках и не понимал, жив ли он, сидит ли на бульваре неподалёку от своего жёлтого флигеля или, может быть, примостился у скалы в Гурзуфе, а у ног его шумит море. Потом он очнулся, перечитал ещё раз и представил, что в это же самое время вместе с ним статью прочитали миллионы других людей. И зажмурил глаза. Ему хотелось заплакать, позвать Любочку или побежать к Павлу Петровичу. Но ничего этого он сделать не мог. Зная по опыту, что карандаш успокаивает, он решил записать всё, что думает и что сказал бы в ответ противному Астраханскому.

И уже в следующем номере "Литературной газеты" появился "Ответ Алексея Машкина Семёну Астраханскому".

"При всём моём уважении к почтенному переводчику, — писал Лёсик, *— вынужден я признать, что безмерно удивлён, как мог такой почтенный литератор унизиться до обвинений меня, своего товарища, в воровстве. И на том только основании, что я всего лишь хотел усовершенствовать его работу, сделать так, чтобы каждое слово великого Бальзака звучало одновременно по-русски и в духе оригинала.*

Что из того, что я исправил недочёты? Разве не благодарен должен был быть переводчик за исправления? Но нет! Из-за нелепых обид по мелочным причинам он решился опозорить меня и навеки лишить покоя. О времена, о нравы!.. Далее Лёсик сетовал на человеческое равнодушие и удивлялся, как только пришло переводчику в голову поднимать шум из-за таких пустяков и выставлять его, опытнейшего литератора, знавшего ещё по Петербургу столпов русской поэзии, на всеобщее посмешище, позорить так, словно и впрямь было что-то украдено.

Тем же вечером пришла телеграмма: *"Завтра выезжаю домой тчк Встречай тчк Ничего больше не пиши тчк Л"*. Лёсик так обрадовался, что тут же забыл, как не мог прийти в себя и по прочтении "Литературного воришки", и после похода в Старосадский переулок. Ему пришло в голову, что глупое недоразумение с Астраханским случилось очень кстати, потому что из-за него Любочка возвращается, а значит, ничего плохого больше не будет. И тут же Лёсик заметил, что вокруг шумит весна, причём весна дружная — с ослепительным солнцем, истошным чириканьем и неудержимыми ручьями повсюду. Конечно, Бузия жаль. Но после телеграммы Лёсик не сомневался, что с Бузием случилось недоразумение, что всё разрешится в ближайшее время и забудется как страшный сон.

Но когда вышел ещё один номер "Литературной газеты", который Лёсик читал уже вместе с Любочкой, выяснилось, что забывать никто ничего не намерен. Более того, из прочитанного можно было сделать вывод, что "издательскую ошибку", как склонен был называть Лёсик свою подпись под чужой работой, писательская общественность ещё долго намерена обсуждать. *"Не известно ещё, что лучше,* — писал сосед Лёсика Задворкин, — *прямой плагиат, цельное заимствование или мелкое литературное воровство с расчётом, что пронесёт и никто не заметит. С горечью московские писатели узнали, что их товарищ и коллега, известный поэт А. Машкин зачем-то присвоил чужую работу, незначительно перед тем её перелицевав. Зачем понадобилось Машкину размениваться на такие низкосортные пустяки, мы не знаем. Зато прекрасно видим, что перед нами — мелкий мошенник, сразу упавший в глазах своих товарищей. Теперь, прежде чем прочитать Машкину свои стихи или прозу, поневоле задумаешься и усомнишься…"*

Лёсик был подавлен. Выходило, что на него открыли травлю. Но за что его травят, почему обвиняют и подвергают таким жестоким унижениям, этого Лёсик не мог понять. Произошла ошибка, за которую он мог бы даже извиниться, и на этом стоило бы обо всём забыть.

— Может, он денег хочет? — предположила Любочка, совершенно, кстати, поправившаяся, но уже снова мечтавшая о Крыме.

Такая мысль не приходила Лёсику в голову, и он снова с горечью подумал о Павле Петровиче, с которым даже письмом невозможно было обменяться.

— И что же? — спросил он у Любочки. — Думаешь, предложить ему мой гонорар?

— Откуда мне знать? — раздражённо дёрнула плечом Любочка. — Не узнаем, пока не спросим.

Лёсику мысль о дележе понравилась. И уже в следующем номере "Литературной газеты" Машкины прочитали: *"Конфликт между переводчиками Бальзака набирает обороты. Ещё вчера писательская общественность разделилась надвое: одни выступали с осуждением Алексея Машкина, присвоившего чужой перевод "Утраченных иллюзий", а другие в то же время призывали первых успокоиться и прекратить порочить честное имя товарища Машкина. Но один небольшой эпизод, как представляется редакции, изменит соотношение сил на поле писательской брани. Дело в том, что пострадавший в этой истории Семён Астраханский передал нам письмо, полученное им накануне от Алексея Машкина. В письме Машкин недвусмысленно предлагает Астраханскому деньги. Причём деньги предложены не в качестве гонорара за перевод, использованный Машкиным, а за молчание пострадавшего. Вряд ли после этого поступка защитники Машкина не утратят иллюзий насчёт порядочности своего подзащитного…"*

А номер, вышедшей следом, был едва ли не весь посвящён Лёсику. Обсуждалось и литературное воровство поэта Машкина, и попытка поэта Машкина купить молчание обворованного им переводчика, и нежелание поэта Машкина принести приличествующие случившемуся извинения, и буржуазные замашки, а равно и пережитки мировоззрения поэта Машкина, огрехи его поэзии, и, наконец, вопрос, поэт ли Алексей Машкин или буржуазный версификатор. Прочитав о себе разом столько интересного, Лёсик оторопел. Даже Любочка, казалось, растерялась и ничего не могла предложить. Когда же в следующем номере "Литературной газеты" Лёсик вычитал, что едва ли может считаться советским поэтом, да и поэтом вообще, поскольку есть не что иное, как *"пустой версификатор, рифмующий что ни попадя с чем попало"*, он слёг в постель. И теперь уже Любочке пришлось думать, куда везти мужа, дабы история с "Утраченными иллюзиями" наконец-то начала забываться. К тому же, Любочка была вынуждена признать, что встречаясь в городе с литераторами, она неизменно ловила на себе насмешливые взгляды. А это означало, что Лёсика ждёт ещё более заинтересованный приём в среде коллег. Стало быть, о "выходе в свет" нечего и думать. Любочка признала, что лучше на время уехать и позволить Москве забыть обо всём, что произошло между горе-переводчиком Машкиным и советскими писателями.

Конечно, лучшим исходом стал бы Крым. Но, увы. На Крым денег решительно не было. И ехать пришлось в деревню под Калинин к престарелой и одинокой Любочкиной тётке.

* * *

Дней десять Лёсик проспал. Изредка он поднимался и снова падал в любезно предоставленную тёткой перину. Потом спать как будто бы расхотелось, да и перина опостылела, и потянуло на воздух. Большую часть дня Лёсик стал просиживать на завалинке. Потом и это ему надоело. И они с Любочкой отправлялись гулять. Тётка объясняла поведение Лёсика болезнью и всем говорила, что он "намаялся". Вид у него и впрямь был нездоровый — щёки ввалились, под глазами легли синеватые круги. Так что в деревне бродившего тенью Лёсика жалели и даже подкармливали. А к осени Лёсик вдруг сказал Любочке:

— Поедем в Москву.

И они поехали. Но выяснилось, что в Москве их никто не ждал. Даже комната в жёлтом флигеле оказалась занята другим писателем. Любочка было зашипела, но, взглянув на изможднённого, несчастного мужа, умолкла.

— Пойдём, — сказал Лёсик.

И они медленно поплелись, не зная куда. На бульваре купили по пирожку и выпили воды с клюквенным сиропом. Подкрепившись, Лёсик сказал:

— Пойдём в Секретариат.

И они побрели в Секретариат. Но там Лёсику сказали, что поскольку он не появлялся в своей комнате больше двух месяцев, то, по правилам, комнату передали другому человеку. А теперь, чтобы получить новую комнату, нужно всё оформлять заново. Но быстро комнату не дадут, потому что очередь и желающих много. При этом все, кто появлялся в Секретариате, смотрели на Лёсика с презрением. Лёсик так и остался для московских писателей литературным воришкой.

Они ещё погуляли по бульварам и отправились на Ярославский вокзал. Было ясно: какое-то время, неизвестно в точности — какое, придётся прожить в деревне на тёткином довольствии. О том, чтобы искать работу самому или же Любочке, Лёсик не хотел и слышать. Он был уверен, что не должен отвлекаться от литературы и что зарабатывать может исключительно литературным трудом. Беда заключалась в том, что его литературный труд никому не был нужен. На тёткиной завалинке Лёсик недоумевал: не так давно он и сам алкал перемен. Но когда призываемые перемены явились, удовлетворения они не принесли. Почему так случилось, Лёсик не понимал. Да, новая жизнь была нелёгкой, а поначалу и вовсе голодной. Но ведь и прежде случалось ему скитаться и голодовать, и не всегда располагал он лишним рублём. И прежде власть была строга, если не жестока. В той, прежней жизни увидеть свои стихи напечатанными было сложнее, чем в новой. И всё-таки с новой жизнью не задавалось. А может быть, он просто был тогда молод?..

Теперь приходилось не просто писать стихи в своё удовольствие, а работать, "отдавая талант революции". Это прежде он мог подсунуть редактору толстую рукопись с переписанным одним и тем же стихотворением, чтобы получить гонорар вперёд. А в новой жизни за такие проделки его немедленно ославили бы на всю страну и вытолкали бы из литературы взашей. Если чего не хуже. Выходило, что он хотел перемен, но каких-то совсем других. Он хотел, чтобы жизнь изменилась, но так, чтобы жить стало легче, а вовсе не наоборот. Причём легче именно ему, а не кому-то ещё. Чтобы не ему приходилось отдавать талант революции, а чтобы революция сама отдавала ему добытое кровью. И чтобы произошло это как-нибудь поскорее. Но революция требовала, революция настаивала, революция всех ставила под ружьё. А Лёсик не хотел служить. Он хотел писать стихи и пить белое вино на берегу Чёрного моря.

Словом, с вожделенной некогда революцией Лёсик не уживался. И что теперь делать, решительно не знал. Через несколько дней они опять поехали в Москву, потому что сидеть в деревне стало уже невыносимо. Первым делом прямо с вокзала Лёсик и Любочка отправились в Секретариат требовать комнату. Но выяснилось, что день неприёмный, и свои требования высказать некому. Они побывали в редакции, где Лёсик пытался выяснить, можно ли предложить журналу статью. Но ничего определённого так и не услышали. Редактор не говорил "нет", но и "да" тоже не прозвучало. Тогда они отправились в "Серп". Здесь, наконец, удача не то чтобы улыбнулась Лёсику, но хотя бы обратила на него взгляд: Аркадий Абрамович, скрепя сердце, согласился на контракт по переводу нескольких стихов Самена для Антологии.

— Но вы должны понимать, Алексей Венедиктович, — морщась отчего-то, проговорил Кушнарёв. — Я очень рискую, соглашаясь на ваше участие в издании. Вы сейчас не в фаворе, и неизвестно, с чем я могу столкнуться по вашей милости. Посему заранее предупреждаю: если кандидатура ваша окажется неудобной, вынужден буду вас заменить. Ну, а гонорар… Бог с ним, оставьте себе.

Лёсику хотелось о многом напомнить издателю, но он решил, что сделает это как-нибудь после, и вместе с Саменом и Любочкой, уже открывшей рот, чтобы, как выяснилось позже, разъяснить Кушнарёву, по чьей милости Лёсик выпал из фавора, покинул кабинет Аркадия Абрамовича. Поездка в Москву оказалась не совсем бесполезной. И Лёсик остался благодарен Кушнарёву пусть и за слабый, но всё-таки шанс избежать забвения в литературе.

— Так и будешь молчать и пресмыкаться? — уже на улице недовольно спросила Любочка.

— Сейчас не время, пойми! — Меньше всего Лёсик хотел бы выяснять отношения.

— Если будешь молчать, твоё время никогда не придёт! — победно заявила Любочка и во всю дорогу до дома ничего больше не сказала. А на все вопросы Лёсика то хмыкала, то фыркала.

Переводы вскоре были готовы, и они снова поехали в Москву. Кушнарёв остался доволен и, перелистывая переводы, даже прочитал вслух:

…День занимался. Тревоги неизъяснимой полны,
Ветви дубов шевелились, чая видений кромешных.
На освящённых озёрах венчики лилий безгрешных
Полнили ангелы светом, словно прекрасные сны…

— Чу́дно! Чу́дно, — сказал он. И заключил с Лёсиком контракт на Леконта де Лиля.

В другой раз ему удалось пристроить в "Известия" статью о лесоводстве в Калининской области. А в Секретариате ему сказали, что, возможно, к ноябрьским праздникам получится устроить для него комнату в коммунальной квартире. Но пока не было комнаты, приходилось жить у тётки. И мало-помалу жизнь Лёсика превратилась в курсирование между Калининым и Москвой, а равно и брожение по московским улицам под руку с Любочкой под непрерывное её брюзжание. За это время Лёсик даже постарел и обносился. Когда-то некрасивый, но миловидный и чистенький юноша стал раздражительным и замызганным стариком. С Любочкой они стали ещё больше похожи: щуплые, обозлённые и уверенные, что мир у них в долгу. И если бы кому-то вздумалось переубедить их в отношении последнего, то оба чрезвычайно удивились бы. В придачу ко всему за короткое время оба изнеряшились и одевались куда как скверно. Приезжая в Москву, они отправлялись в центр и бродили по улицам под руку, оба в мятых, нечищеных пальто, в разбитых, грязных башмаках. На Любочке красовалась помятая зелёная шляпка, точно недавно вымокшая, украшенная пером, на которое неловко было смотреть, потому что при первом же взгляде на него казалось, что обладательница шляпки вот сейчас подобрала оброненное больным голубем

оперенье и воткнула в свой головной убор наиболее уцелевший экземпляр. Голову Лёсика также украшала шляпа, пока ещё державшая форму, зато покрытая таким слоем пыли и пуха, что можно было подумать, будто Лёсик нарочно валяет её перед тем, как выйти из дома.

Иногда они заворачивали к немногочисленным знакомым, не отказавшимся общаться с ними. И постепенно сложился маршрут следования по Москве. Сначала они бродили по редакциям, заглядывали в Секретариат справиться насчёт комнаты, заходили в "Серп" к Аркадию Абрамовичу. А потом шли на бульвары. С Тверского они сворачивали на Малую Бронную, с Гоголевского — в Сивцев Вражек, с Рождественского — в Кисельный переулок… Здесь, в этих старых московских улочках жили те самые немногочисленные знакомые, к которым время от времени заходили Машкины. К кому отужинать, а у кого перехватить денег или переночевать. Их пускали. Хозяева молча делились рублём и хлебом, а Машкины рассказывали, как трудно им ныне живётся. Потом Лёсик читал свои новые стихи, точно расплачиваясь ими за обеды и ужины, как бы намекая, что одолженные деньги возвращены не будут. Потому что не столько это и долг, сколько плата за прослушивание новых стихов опального поэта Машкина.

— Послушай, Машкин, — заявил пьяный Витька Ценкевич, случайно встреченный на Тверском бульваре в один из приездов Лёсика с Любочкой в столицу, — какого чёрта ты таскаешься в Москву и занимаешь у людей деньги?

— Милостивый государь! — взвизгнул было Лёсик, но Витька перебил его.

— Да брось ты! Чего разорался? От тебя уже вся Москва устала. Таскаетесь по домам, клянчите деньги. Не понимаете, что ли, что люди у детей своих отнимают, чтобы тебя, борова, кормить? Не делай вид, что не понимаешь. У детей кусок отнимаешь, что непонятного?

— Пойдём, Лёсик, — прошипела Любочка и одарила Ценкевича таким взглядом, что тот поёжился. — Ещё подлеца этого слушать. Да он врёт, как дышит…

Лёсик тоже хотел что-нибудь сказать. Что-нибудь страшное, убийственное, но ничего не придумал и послушно поплёлся за Любочкой.

— Эй, вы! — крикнул им вслед Ценкевич. — Не читали последнюю книгу Прохладного? Сказку. А то ведь он и вас там вывел. Он многих там из нашего брата изобразил. Вот и вы сподобились. Увековечил вас, благодарите!

— Не слушай его, — шептала Любочка, крепче сжимая локоть мужа. — Он всегда завидовал тебе.

Но вслед им неслось:

— Парочка нищих мошенников. Кот и лиса. Вся Москва уже говорит, что это ты, Машкин, со своей благоверной.

Парочка нищих мошенников… Сначала они шли молча. Потом Лёсик сказал:

— Ну, и что делать?

— Надо найти эту сказку, — ответила Любочка.

И по её голосу Лёсик понял, как сильно она ненавидит сейчас Прохладного, Витеньку, всю Москву, а пожалуй, и всю Россию.

Они заглянули в ближайший книжный киоск и спросили последнюю книгу Николая Прохладного.

— Сказку, — пояснила Любочка улыбчивой продавщице приторным голосом.

— Пожалуйста! — улыбнулась девушка в киоске и тотчас протянула небольшую яркую книжку.

На бульваре супруги Машкины уселись на скамейку, где не было других отдыхающих, и Лёсик, открыв вкусно пахнущую, с красивыми картинками книгу, начал читать вслух. Они просидели до сумерек, не обращая внимания ни на множившихся прохожих, ни на шум, нараставший кругом, ни на рассевшуюся на их скамейке стайку молодых людей с какими-то тетрадками. Лёсик тихонько читал, а Любочка, прижавшись к нему, старалась не пропустить

ни слова. И не зря. Сказка оказалась недурна. И среди множественных её персонажей без труда узнавались знакомые литераторы и даже один театральный режиссёр, известный своими эскападами на сцене. Интереснее же всего было то, что Витенька не солгал в главном: в нищенствующих мошенниках, в оборванных коте и лисе узнавались супруги Машкины. Даже шляпка на лисе была точь-в-точь как на Любочке, которая, дослушав сказку до конца, заплакала.

— Нельзя этого так оставлять, — прохлюпала наконец Любочка, перебивая уговоры Лёсика не плакать.

— Что же мы можем? — пробормотал Лёсик, тоже готовый заплакать и чувствовавший себя так, словно его только что прилюдно отхлестали по щекам. Подумать только! Ведь сказка вышла два месяца назад. И всё это время, пока они ходили по Москве, вслед им смотрели знакомые обыватели. Смеялись над ним, над Любочкой, над тем, как они занимают деньги под чтение стихов.

— Не мы, а ты, — прервала Любочка потоки его фантазии голосом, в котором зазвенел металл. — Ты должен пойти и наказать Прохладного.

Лёсик беспомощно посмотрел на свою подругу, ощутив при этом прилив тоски такой силы, что сам испугался.

— Тебе не на чем с ним драться, — тонко заметила Любочка. — Но пощёчину можно дать всегда!

— Хорошо, — вздохнул Лёсик. — Я дам Прохладному пощёчину. А сейчас поедем домой. Я устал.

— Домой? — Любочка даже вскочила со скамьи. — В Калинин? Ну уж нет! Я на голодный желудок никуда не поеду. Мы идём ночевать к Терских. И никакие сказки меня не остановят. А завтра мы пойдём к Прохладному, и ты дашь ему пощёчину. - Она даже притопнула ножкой в разношенном башмаке.

— Хорошо, — чуть слышно ответил Лёсик, — сделаем, как ты хочешь. А я устал.

* * *

Но на другой день пощёчина не состоялась. Поевшая и выспавшаяся Любочка согласилась, что торопиться не надо. Лучше всё как следует обдумать и подготовиться. Поэтому на другой день Машкины утром поехали в деревню. А спустя примерно неделю, подтянутые и принарядившиеся, нарочно заявились в Москву пораньше, чтобы навестить писателя Прохладного, служившего главным редактором хорошо известного Лёсику литературного журнала. Стихи Алексея Машкина несколько раз появлялись в издании, редактируемом Николаем Прохладным.

Редакция занимала всего две комнатки в старом, давно не ремонтировавшемся здании, опутанном сетью коридоров, как содержимое какого-нибудь сундука распустившейся бечёвкой. Но Лёсик прекрасно ориентировался в коридорах и без труда нашёл нужную дверь, за которой слышались негромкие голоса и приглушённый стук печатной машинки. Любочка следовала по пятам за мужем, намереваясь присутствовать и получить сатисфакцию от предполагаемой сцены. По совместно разработанному плану Лёсику предстояло ворваться в кабинет, где работает Прохладный, и, ошеломив внезапностью, нанести удар. В случае же, если с пощёчиной не заладится, план надлежало подправить. Для подобного исхода Лёсик и Любочка сошлись на плевке в лицо. Любочка настаивала, что плевок должен прийтись в глаз — всё равно какой. Но Лёсик упорствовал, доказывая, что не сможет гарантировать такой меткости. Любочка даже немного обиделась на отказ, но потом была вынуждена согласиться, что без подготовки трудно послать плевок в такую маленькую цель, как глаз писателя Прохладного. А тренироваться Лёсик категорически отказывался, объясняя отказ нежеланием чувствовать себя глупо. Да и времени на тренировки не оставалось — Любочке хотелось завершить операцию как можно скорее.

И вот настал момент, когда они стояли перед обшарпанной ореховой дверью, за которой сидел их враг. Человек, ради чьей публичной казни они явились в столицу из калининской деревни. Лёсик коснулся кончиками пальцев орехового полотна и тут же отдёрнул руку. Он повернулся к Любочке, точно надеясь, что она скажет: "Уйдём отсюда". Но Любочка молчала. Зато говорили её глаза. "Трусишь?" — спросили они у Лёсика. Причём сами тут же ответили: "Да видно, что трусишь. И трусишь презренно". Лёсик не смог спорить с этими глазами и толкнул дверь.

В кабинете помещались четыре стола: два слева от двери, один справа и один, за которым сидел сам Прохладный, напротив входа возле окон. Лица всех сотрудников при этом были обращены к центру комнаты. Все могли видеть друг друга и того, кто являлся в редакцию или покидал её стены.

Как только дверь с тихим стоном отворилась, говорившие смолкли и повернулись на этот стон. На пороге стоял Алексей Машкин, из-за его плеча выглядывала Любочка. Лёсик сразу же увидел того, кто был ему нужен, и затрепетал. Так что на остальных сотрудников даже не обратил внимания. Появление поэта Машкина было так неожиданно и странно, что никто не решался нарушить молчание, выжидая, что последует за этим таинственным появлением. Было слышно, как где-то рядом, в соседней комнате стучит "Ундервуд" — Лёсик, бывавший не раз в редакции, хорошо знал, что это именно "Ундервуд".

На миг Лёсик застыл в дверях. Потом в несколько шагов пересёк комнату и, не видя никого, кроме Прохладного, остановился перед его столом. Тот, замерев, следил за Машкиным беспокойным взглядом. Возникший перед столом Лёсик был ненамного выше сидевшего с другой стороны главного редактора. Они всё так же молча смотрели друг на друга. Прохладному вдруг показалось, что в глазах vis-a-vis мелькнула нерешительность, а может быть, даже испуг. И Прохладный невольно ухмыльнулся. Но слабая эта ухмылка словно подтолкнула Лёсика. Он вздрогнул, перегнулся через стол и вытянутой дрожащей рукой не то ударил Прохладного по румяной полной щеке, не то потрепал эту щёку со словами:

— Мерзавец! Получи же за оскорбление моей жены!

Разыграв этот спектакль, он немедленно выскочил из кабинета. Любочка, всё это время находившаяся у него за спиной, выскочила следом. В тишине звонко процокали каблучки её замшевых лодочек, словно бы вторя "Ундервуду" за стенкой.

Через пару минут после исчезновения Машкиных Прохладный провёл рукой по той самой щеке и сказал негромко:

— Кажется, это была пощёчина.

И кто-то так же негромко отозвался в комнате:

— Кажется, да.

* * *

В следующем номере "Литературной газеты", читаемой теперь Машкиными в деревенском клубе, Лёсик первым же делом наткнулся на свою фамилию.

"*Редакции нашей газеты стало известно,* — говорилось в редакционном материале, — *что поэт Алексей Машкин вновь отличился в привычном для себя скандальном амплуа. Совсем недавно писательская общественность разоблачила его как мелкого литературного воришку. Теперь же он раскрылся драчуном и дебоширом. На днях он явился в редакцию всем хорошо известного и уважаемого издания и ни с того ни с сего устроил отвратительную драку, напав на главного редактора. Мы должны посетовать на пострадавшего за то, что он не пожелал поставить в известность широкую общественность относительно случившегося. Так что о нападении поэта Машкина мы узнали от других сотрудников этой редакции.*

Между тем мы не просто хотели бы знать, как ведут себя и что поделывают наши писатели. Мы хотим и готовы бороться за искоренение буржуазных пережитков и воспитание классового сознания у советских литераторов. А замалчиванием проступков наших товарищей мы ничего не добьёмся.

Происшествие усугубляется ещё и тем, что главный редактор издания, подвергшийся нападению поэта Машкина, в настоящее время, как нам стало известно, работает над большим романом о гражданской войне. И уж не с этим ли обстоятельством связан визит Машкина в редакцию и нападение на крупного советского писателя? Надеемся, что со временем нам удастся разобраться и в этом…"

Что произошло дальше, доподлинно не известно. Началась какая-то суета, события замелькали, и однажды Алексей Машкин исчез. Любочка рассказывала потом, что в деревенском домике её тётки люди в форме произвели обыск и увезли Лёсика. Что будто бы вытряхнули даже ту самую перину, на которой спал болящий Алексей Машкин. А ещё говорили, что будто бы перед тем, как явиться в калининскую глушь, те самые люди в форме получили письмо с жалобой на неблагонадёжность Лёсика и на то, как он всем надоел, клянча деньги и заставляя слушать нелепые свои стихи. Но кто написал это письмо, что именно в нём написано и существовало ли оно вообще — об этом никто не мог рассказать.

Первое время от Лёсика приходили весточки. Но настолько невнятные, что понять из них хоть что-нибудь оказалось никому не под силу. Любочка, читая что-то о кофе с корицей, о золотых зубах и полосатых чулках, только злилась и говорила, что ненавидит Россию. А потом письма прекратились, и след Лёсика затерялся. Рассказывали разное, но разве можно было кому-нибудь верить? Могила Лёсика Машкина, чудака, мечтавшего о поэзии, так и осталась ненайденной.

А вот Любочка вернулась в Москву, посвятив остаток дней собиранию всего, что было написано её мужем, и утверждением поэта Машкина национальным гением России. И ведь добилась-таки своего. Прожила она долгую жизнь, оставив после себя несколько книг воспоминаний. Причём каждая новая книга с небольшими дополнениями воспроизводила предыдущую.

В книгах своих старая уже Любочка многое перепутала, многое исказила со злости. Но в основном перепела все старые погудки на новый лад и перелила всё, что только можно, из пустого в порожнее. Все, кого вспоминала Любочка, оказались мразями, идиотами и бездарностями. А в отношении нескольких человек, в частности писателя Николая Прохладного, Любочка заверила читателя, что это не люди. Книги Любови Леонидовны Машкиной были заявлены как воспоминания о гениальном поэте Алексее Венедиктовиче Машкине. Но Лёсика в книгах не оказалось. Вернее, торчал из нескольких щелей его длинный некрасивый нос, а больше ничего. И понять, каков же был этот человек, в чём заключались его слабости, а в чём сила, так никто и не смог.

Но пришло время, когда пустая книга Любови Леонидовны получила спрос и вошла в моду. Люди захотели узнать больше об Алексее Венедиктовиче и потянулись за книгой его жены. Но поскольку ничего Любовь Леонидовна не сказала, да, признаться, и не могла сказать, то и образ Алексея Машкина так и остался куцым и словно обглоданным. Не образ даже — так, длинный нос.

ПОЭТИЧЕСКАЯ МОЗАИКА

ТАТЬЯНА БАТУРИНА

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Любовь меня приблизила к земле,
О солнце мне теперь не уколоться:
Свет из окна, ликующий во мгле,
И ласковее, и слепее солнца.

Пускай того, кто весел и горяч,
Былая боль утешно успокоит!
А мой любимый, мой вселенский плач?
Да он и вздоха тайного не стоит

Собаки доброй, втиснувшей свой нос
В тепло между перчаткой и ладонью!
И входит в душу медленно, вразброс
Такое молодое-молодое...

КАЛИНА

Туманы канули светло,
Прозрачность — зимняя примета.
Листву сквозную размело
По вьюжным вы́тенинкам света.

А посреди лилейной тьмы
Алеет ягода-былина:
Для чьей-то нищенской сумы
Её сготовила калина.

г. Волгоград

ЛЮДМИЛА КУДЛОВА

* * *

Не знаю, как буду любить
Твою очерствевшую душу...
Заботы суровая нить
Забьётся в протяжном удушье.

По комнате бродит зима,
Сбивая в комок половицы.

Одна в зазеркалье. Одна...
С надеждой, что всё это снится.

* * *

Я хочу вернуться в этот город.
Я хочу узнать про эту жизнь.
У крыльца надломленного ворон
Будет без умóлку ворожить.

Пыль смахну с серебряной подковы,
Утончённо буду напевать...
На стене любимые иконы:
Два портрета, где отец и мать.

г. Москва

ВАЛЕНТИНА БЕЛЯЕВА

ГЛАЗА СОЛНЦА

Я всю жизнь и безумно, и тайно хотела
Ощутить под ногами надёжную твердь,
Чтоб суметь, чтоб успеть постоять у предела —
Восходящему солнцу в глаза поглядеть.

Что увижу я в их раскалённом раздумье?
Иль вихрящийся снег над упавшей верстой?
Или марш легионов в полночном безлунье
Под склонившейся к ним изумрудной звездой?..

Может, россыпь зелёных огней бессловесных
Для недремлющих глаз городских фонарей?
Иль гранитные камни погостов безвестных
Под ногами гуляющих диких зверей?..

Может быть, мне увидится отсвет их алый,
Что, не зная о том, моё сердце терзал.
Потому и безумно, и страстно мечтала
Поглядеть восходящему солнцу в глаза...

МОИ ДЕРЕВЬЯ

Перевод с украинского
стихотворения Лины Костенко

Снега метут, невольно нас сближая,
И с каждым мигом всё тесней наш круг.
Мои деревья, вас я приглашаю
На белый танец — вальс поющих вьюг.

Пусть будут снег, и музыка, и свечи,
И пламя в жадном чреве очага!
Сложите ветки мне свои на плечи,
Стряхните с них колючие снега!

Мои деревья, вас я обожаю
За преданность, не мыслимую тут.
Зима идёт, мне душу обнажая...
Метут снега... Снега метут, метут...

г. Воронеж

МАРИНА ЛИСОВЕЦ

МАЯТНИК НЕБЕС

Огромный древний маятник небес
Сегодня я качну неосторожно,
Посыплется, что было непреложно,
И снова окажусь я у подножья
Моей Судьбы непознанных чудес.

Мне надо очутиться на краю
Всего, что вырастало, созидая.
И не сорваться, доживя до края...
Уже в который раз осознавая
Вселенной суть, как целостность свою.

Крутой подъём, хребты и виражи
Мне вновь одной преодолеть придётся.
Вдруг сердце в предвкушении зайдётся...
Наперекор всему в нём остаётся
Желанье неотъемлемое — Жить!

Мне надо научиться принимать
И отдавать — без страха, без оглядки,
Постичь сиюминутности загадки,
Блюсти в себе вселенские порядки —
Мечтать, но ничего не ожидать...

Огромный древний маятник — Кулак,
Над головой моею занесённый?
Герой, нелепо в жертву принесённый,
Благодарить которого спасённо?
...Судьба сама решит! Да будет так!

НЕТ НАЧАЛ И ОКОНЧАНИЙ

...Во всех мирах и временах звучало,
Как чистый серебристый бубенец,
Ad libitum биение сердец,
Наполненных любовью, светом, смыслом.
Пускай реальный мир и ценен мыслью,
Но только чувствами живёт творец!
Есть разве окончание мечты?
И где начало красоты закатов?
Мы все, друг другом побывав когда-то,
Привносим в вечность новые черты.
Рассыпавшись дождём, взойдя травой,
Вернёмся, чтобы снова воплотиться.

В бесхитростных любимых детских лицах
Продолжимся мы искоркой живой,
Чтобы остаться. Музыкой звучать
В который раз. В истории историй.
Космической снежинкой межсезоний
“Окончить — (закольцованность) — начать”.
Жизнь неспроста берёт лихой разбег.
В ней нескончаемость, что столь необратима,
И быстротечность — словно побратимы.
Устройство мироздания — хай-тек!
По ленте бесконечности в веках
Вселенной каравелла проплывает.
А фразы вроде: “Нет, так не бывает!” —
Растают карамелькой на губах.

Начал и окончаний, правда, нет.
И души наши, в дар приняв бессмертье,
Пронизанное вечной круговертью,
Хранят их неразгаданный секрет.

г. Санкт-Петербург

АНДРЕЙ ФРОЛОВ

* * *

Теперь, как и прежде, зима неизбежна,
Хотя не морозно ещё и не снежно,
Но в сумерках рыжих запуталось время;
Как спички, сгорев, почернели деревья;
А небо готово на землю свалиться,
И первыми это почуяли птицы
И, вскинувшись, высь надо мной раскачали.
И сердце застыло в предзимней печали...

* * *

Родина любимей не становится
С добавленьем прожитых годов.
По моей судьбе промчалась конница —
Глубоки отметины подков.
Выбоины тотчас же наполнила
Светлая небесная слеза.
Сердце от рождения запомнило
Родины усталые глаза,
Спрятанную в сумерках околицу
И дымки лохматые над ней...
Родина любимей не становится,
Родина становится нужней.

г. Орёл

НАТАЛЬЯ ЛЕСЦОВА

ПУТЕШЕСТВИЕ К ЧУДЕСНОМУ ПОЛЮ

ПОВЕСТЬ

1

И на черта понадобилось Егоровниной золовке Веруне писать то письмо, до сих пор уму непостижимо. Какому уму? Да хоть какому! Но, наверно, как-то так вот оно и бывает в таких случаях, когда постижимо — непостижимо, а на тебе — хоть стой, хоть падай! И телеграмма! Из самой столицы!

Сидели, сидели как-то две Богом забытые бабки зимой в деревне, вязали, пряли, чесали языками, ну и, понятно, включили телек, все так делают, когда время надо скоротать, а там — Якубович. И особенного-то вроде ничего, тем более что за столько лет и так надоел хуже бодучей да брыкучей коровы, которой просто замены не находится. И надо ж, всё вышло, как в анекдоте, только анекдот получился странный какой-то.

Якубович, как всегда, с масляной своей улыбкой, подмигивая лукавыми глазками, глянул на старух с экрана. И не сказать, чтобы очаровал, заставил поверить, мол, и правда, можно там чего-то выиграть, а заинтриговал вроде.

ЛЕСЦОВА Наталья Анатольевна родилась в 1971 году в Оренбургской области. Врач, кандидат медицинских наук, доцент. В 2016 году окончила Высшие литературные курсы при Литературном институте им. М. Горького (курс прозы Олега Павлова). Член Союза писателей России. Повести и рассказы публиковались в литературных журналах, автор трёх книг прозы: "Седьмая рана", "Музыка для мамы", "Изба-читальня". Лауреат премии VI Международного Славянского литературного форума "Золотой Витязь" (2015), лауреат премии журнала "Наш современник" (2018). Живёт в Москве.

Посеял сомнение: леший его знает, каждую неделю ведь кто-то да выигрывает, а? Бытовой прибор какой или, допустим, деньги. Машины так часто, как раньше, не разыгрывают теперь, но и рыба поменьше, что в качестве призов там "плавает", для таких, как они, сельских жительниц, ну, или наподобие, — мечтаний и чаяний не предел, а беспредел полнейший, мечта до того заоблачная-несбытущая, что коли на трезвую голову подумать, то и смешно до самых печёнок, и глупо до безобразия, но ведь… Ага. Егоровна сроду сомневалась, что это правда: приехал, встал к барабану, крутанул, и на тебе — приз! Угу?! Да ещё какой — холодильник! Двухкамерный! В магазине, поди, тыщ двадцать-тридцать, матушки-утушки… Да разве такое возможно?! Или телевизор, какой ей сроду и не снился. Большущий, не то, что её старенький, который и рябит, и скрипит, и всего два канала ловит — "НТВ" да "Россию-24". Второй ещё ничего, смотреть можно, а вот первый — прям хоть вешайся, как посмотришь, она его и не включала почти, чтоб лишний раз не расстраиваться.

Там вообще-то люди много чего дельного выигрывали. Не всё это, правда, было в хозяйстве нужно, по мнению старух Веруни и Катяни: кофеварка, домашний кинотеатр или фотоаппарат, допустим, не особо в этом смысле казались им стоящими вещами. Зато, когда кому-нибудь особенно везучему выпадали хороший пылесос или иностранная швейная машинка, которой сносу нет, и можно не то что внукам или правнукам, а и праправнукам подарить как семейную реликвию, счастью бабок не было предела, радовались так, будто сами выиграли.

Бывало, что редкому счастливчику выпадал целый кухонный комбайн. На Веруню он впечатления не производил ни малейшего, а вот для Егоровны этот волшебный предмет был чем-то из сокровищ неземных, чуть не сродни летающей тарелке. В этих местах у излучины речки Чваровки не раз и не два видели мужики во время уборочной и ещё раньше — другие, у которых покос был, странное, на них похожее: огоньки, недолго мечущиеся по ночному небу и скрывающиеся за горизонтом, кругляши на небе и странные свечения вокруг них. Так и не поняли, что это было. Звуков никаких не слыхали, только на уши вроде давило немного, но огни точно видели, и главное — чувство было непонятное, будто кто за тобой наблюдает. Ох и не по себе становилось: и контакта нет, и одновременно кто-то чужой рядом, трётся, трётся, а заговорить, поди ты, то ли не решается, то ли стесняется, а может, просто беспокоить не хочет. Посмеялись мужики, мол, чем без толку вокруг скошенного поля шарахаться, лучше б помогли чем, вон хоть сено скосить иль его до деревни доставить. А то ведь на тракторах по просёлочным дорогам тащить гружённые с верхом тележки та ещё "отрада". Пока доползут по кочкам да по тридцатиградусной жаре больше пятнадцати километров, и мужики все вымотаются, и техника, на пределе перегруженная, ушатается. Солярки сколько сожгут опять же — и подумать страшно, а она теперь подорожала так, что сенокос не в радость и не в доход. Техника, с одной стороны, конечно, хорошо, но, с другой — затрат требует, да каких! Комбайн зерноуборочный — махина, как, к примеру, СК 5 Нива, — не кухонный тебе агрегат, который разобрал-помыл-посушил-собрал-убрал в шкафчик, и дело сделано.

Как-то в гостях у двоюродной племянницы Аньки в городе Егоровна внимательно разглядела и даже подержала в руках части кухонной чудо-машины. Узнала, что она режет всё сама, да ещё не как попало, а как надо тебе: колечками, ломтиками, стружкой, соломкой… Хоть фрукты, хоть овощи все подряд от морковки до сельдерея, название которого она с трудом кое-как запомнила.

Испытала она тогда такой неописуемый сердечный восторг, что-то вроде и приятное, но какое-то недоступное, слишком шикарное для привычной жизни, запредельное. До самого дома распирал он её изнутри, поднимался, как вспучившаяся капуста, если неправильно заквасить. Одним словом, хорошо бы, конечно, но нечего губу раскатывать, не про нашу честь та сказка. Не про нас это счастье. Не про нас… Не про нас.

Показалось Егоровне это чудо техники чем-то вроде той самой квашеной безответственной или просто неопытной и неумелой хозяйкой капусты,

над ведром поднимающейся шапкой. Может, и приспособишь её потом в хозяйстве, но толку точно немного будет. Конечно, и из такой капусты щи сваришь на худой конец… Хотя какие?! Но тут другая совсем история. Удобная вещь, понятно, комбайн, только каждый день не станешь его собирать-разбирать, мыть, сушить, укладывать компактно для хранения. Вот, к примеру, летом, когда заготовки на зиму авралом изо дня в день, ну, тут ясно, вещь незаменимая. Сколько времени бы сэкономила, сил, ведь и то, и другое на прочие многочисленные дела пригодится. Одним словом, и хочется, и колется. Вроде неплохо бы иметь в доме такую штуку, но и обойтись можно.

И тем не менее мечта об этой кухонной приспособе засела в мозгу у Егоровны так прочно, как черенок новой лопаты в тулейке, словно кто специально и хитро подогнал эту дурацкую идею под её дурную башку.

Егоровне, надо сказать, частенько всякая подобная ерунда в голову лезла, даже не давала спать. Увидит у кого платок красивый, и вот думает про него, думает… И не нужен особо, своих хватает, да и не любительница она себя украшать, а из головы нейдёт. Или, чего доброго, посудиной какой-нибудь необычной кто из баб похвалится, — ей непременно такую охота. Уж так охота, так, что ни терпежу, ни выдержки, одно лишь беспредельное расстройство. Словно весь её организм, каждая клеточка только этим живёт, и поди ж ты, вынь-выложь и дай, а иначе — смерть!

Так же однажды углядела она за соседским забором распылитель для воды. Поставят, со шлангом соединят, и он брызгает вокруг себя водичку на листочки, такая зелень свежая стоит, такая прохлада в воздухе, будто только что дождичек промелькнул и пыль проклятую прибил, травку омыв, оставив после себя чистоту и запах мокрой земли, от которого всё самой собой расцветает и делается живее и полнокровнее.

Мучилась она тогда, мучилась, не терпелось и себе такую диковинку поставить, чтоб дышалось легче и самой, и огородику. В конце концов, сорвалась, да и помчалась в город на маршрутке. Потратилась на билет, исходила весь рынок, отыскала-таки вожделенную свою мечту, привезла, а спустя пару дней дошло до дурищи старой, что это за "прелесть" такая. Оказалось, этакую "нужность" специально для газонов, для меленькой травки придумали, но никак не для огорода. Она прибила землю так, что потом пришлось бедной Егоровне до ломоты в спине рыхлить, пушить грядки, разбивать корку на поверхности, чтобы помидорам и перцам дышалось свободно. И после того жалко ей стало себя, глупую старуху, позарившуюся на диковинную штуковину, прямо до слёз. Помыла, убрала в кладовку подальше и успокоилась со временем. Деньжат тогда на поездку и покупку она потратила страсть, аж семьсот рублей, считай, месячный её бюджет на чай, сахар, хлеб, конфеты и рис с макаронами — привычный набор продуктов, без которого невозможно обойтись (остальное давало хозяйство и огород). Пришлось экономить, сидела потом месяцок на картошке, капусте и соленьях. Тяжеловато пришлось без конфеток любимых "Буревестник", полюбившихся с молодости, без чая "Принцесса Нури", покорившего её в последние года, без краснодарского длиннозёрного риса, что не раскисает ни в супе, ни в тефтелях, и всегда рассыпчатым получается, если отварить на гарнир.

Или ещё было у неё такое же, как она сама это про себя называла, "помешательство". Привезли как-то в сельпо телогрейки, лёгкие, тёплые, не на ватине, как раньше, а на синтепоне. Аккуратненькие, и вроде не дорого, тыщу двести всего. Те, что на ватине, служили долго, если беречь, стирать время от времени и у печки просушивать на совесть, то и лет на пять, на семь хватало, а тут — кто знает? Померила, погладила на себе мечтательно в магазине, стала думать — купить - не купить, купить - не купить… Пока соображала, все разобрали. Ждала, надеясь, что ещё привезут, с полгода, наверно, но так и не дождалась. После дала золовке Веруне денег, когда та в больницу поехала, заодно на рынок заскочила, привезла.

Надела Егоровна телогрейку своей мечты, к зеркалу подошла — вещь! Сидит на её сухопарой жилистой фигуре ладно, не хуже, чем кожура на банане. Правда, поносила Егоровна ту телогрейку всего годок-другой, она у неё и расползлась вся. Греть-то грела, да только и форму потеряла, и вид,

ладно хоть тут, во дворе никто не видит, доносила кое-как и больше покупать не стала.

И всякая подобная блажь лезла в её несчастную голову частенько, и бороться с этим было Егоровне никак невозможно. Видать, такая её натура, завидущая и бестолковая.

Вот и когда письмецо на "Поле чудес" Веруня задумала написать, чтоб её, Катерину Егоровну, туда вызвали, она, зная за собой такие беды, решительно остудила золовкин пыл. Та сначала похихикала ехидно, понимая непутящую натуру братовой жены, царствие ему небесное, а потом и давай уговаривать. Мол, ты у нас ведь затейница, известная балагурша, столько шуток-прибауток всяких знаешь, и частушку споёшь — не охнешь, и спляшешь — не споткнёшься, уж кому-кому, а тебе туда самая и дорога.

— По-любому ведь оправдается, — уговаривала шельма, Веруня-говоруня, как её все с молодости называли, — даже если и не выиграешь, там всем чего-нибудь дают. А вдруг повезёт?!

— Да куда мне?! — хохотнула Егоровна. — Там угадывать надо, а у меня уже мозги-то усохли, скукожились, ничегошеньки не помню, хоть записывай. Зайду в кладовку или на погребицу, встану и думаю, чего притащилась, метёлка дряхлая?! Пока дойду через сени — забуду. А ты говоришь…

Золовка было согласилась с ней, потому как и сама кое-чего забывать стала, а Егоровна старше. Но потом предложила:

— Чего, Катяня, стесняться-то, туда и не такие попадают, а выигрывают. Ты не растеряешься, ты у нас запальная, сроду сама на какую-нибудь блажь загоришься, да ещё меня уломаешь. Тогда вон сколько ты мне про телогрейку долдонила: лёгкая, тёплая… Ну, купила я и тебе, и себе, и сама двух лет не поносила, и твоя дольше не прослужила. Давай-ка, Катя, дурь эту твою природную куда следует направим. На дорогу денег соберём, и всего-то тут до Москвы тыщу рублей доехать, если автобусом. За ночь доберёшься, я тебя провожу. Обратно так же. Гостиница бесплатно, я слыхала. В больницу когда ездила, женщина одна в очереди в регистратуру, — ох, долго стояли! — рассказывала, что сосед у ней играть ездил, так три дня (!) жил в Москве за счёт телевидения. Ну, ему не повезло, правда, не выиграл ничего. Но ведь и на жильё не потратился. Питаться будешь из своих запасов. На еду там не напасёшься, никаких наших пенсий не хватит. Пирогов тебе спекём, сала возьмёшь, яичек, хлеба, лучше сухариков, я насушу в духовке, а уж чаю скипятишь, у меня маленький кипятильничек есть, ну, знаешь, тот, что Ваня из армии привёз. Так в буфете и лежит, ни разу не пригодился. Надо проверить будет, вдруг не работает.

— Ты чего, Веруня, говоришь?! — уставилась на неё Егоровна. — Мало мне тут молвы "хорошей" по моим заходам, чтоб не то что каждая курица, а каждая штакетина стала надо мной смеяться. Нет уж!

Она выключила телевизор демонстративно и решительно, дав понять, что на этакую аферу подписываться не станет, и принялась сосредоточенно вывязывать пятку носка, набранную на четырёх, квадратом собранных спицах.

Веруня замолкла, штопая зелёными нитками протоптанную подошву розового махрового носка, и засопела, видимо, обидевшись. Так они просидели минут двадцать, молча ковыряясь каждая в своём носке, но, в конце концов, не выдержали и снова включили телевизор. Шла суперигра. У барабана стояла бойкая старуха в вязаной кофте и шали поверх неё и пыталась угадать длиннющее слово, которого, судя по выражению её напряжённой и от этого ещё сильнее сморщенной физиономии, не знала.

Старухи замерли, изо всех сил сочувствуя финалистке, тем более что на кону стоял сверкающий белизной двухкамерный высоченный холодильник. Щёлкали секунды, в студии стояла загробная тишина, а надежда на то, что бабка, таки добравшаяся до финала, уедет домой с призом в свою такую же, как их, тьмутаракань, таяла, как коровье масло на раскалённой сковородке.

— Давай молитву читать, — сглотнув скудную слюну, выдала Веруня. — Поможем, может. Жалко ведь. Глянь на неё, нищета в облезлой кофте… Ой, только что шалькой красивой прикрылась, чтоб бедность скрыть. Поди, на последние копейки добралась, надеялась… Молись, Катя!

Обе зашептали, начали креститься на образ в углу, но тут время для раздумья у той несчастной на экране закончилось, и Якубович с приклеенной улыбкой под ухоженными усами, белоснежными даже на экране телевизора бабки Катяни, предложил назвать слово. Бабка в телеке растерянно опустила глаза, обречённо вздохнула, снова посмотрела на закрытые буквы, и виновато улыбнулась с такой болью во всех истрёпанных жизнью скомканных чертах лица, что обе старухи одновременно тяжело и громко икнули, задохнувшись от досады. Якубович ласково улыбнулся непонятно кому, и, не обращая ни малейшего внимания на надвигающуюся на финалистку неминуемую катастрофу, сказал невозмутимо:

— Вам, Анна Иванна, известны три буквы: я, е, м. Итак…

На самом деле в слове были открыты целых пять букв, потому как "е" встречалась в нём три раза, но все открытые буквы стояли в таком порядке, что догадаться, наверно, никто бы не смог. Ни первой, ни последней… А без них как?

Бабки тяжело дышали, бросив штопку и вязание, но не переставали молиться. Катяня к этому моменту добралась как раз до "яко Спаса родила еси душ наших…", а Веруня-говоруня благодаря своему натренированному языку аж до "…и остави нам долги наша", и сдаваться не собирались. И тут, как, наверно, бывает, если искренне, да ещё не в одиночку молиться и всем сердцем чего-то желать, да ещё не себе, а другому, да к тому же совершенному чужому, неизвестному тебе человеку, оно случилось.

Старуха на экране вдруг вся распрямилась, устремив макушку вверх, и так широко раскрыла глазищи, что стала чуть ли не двадцать лет моложе, всплеснула руками, стукнула себя кулаком по лбу и выдала:

— Зе-мле-тря-се-ние!

Бабки дружно замолчали, не докрестившись, а с экрана на них обрушились такие оглушительные аплодисменты, что обе отшатнулись к спинке старого просиженного дивана. Якубович бросился обнимать победительницу, она залилась слезами внезапного лихого счастья, а Веруня метнулась зачем-то к телеку и остановилась у самого экрана, закрыв его собой полностью. Она широко развела руки и замерла, словно хотела его обнять, потом резко развернулась и уставилась на хозяйку:

— Вот, Катяня, видала?! — радостно утирая слёзы уголком платка, накинутого на плечи, завопила она.

Та глянула на неё исподлобья, хоть и не без радости во взгляде, но всё ж недоверчиво, и, поморщившись, ответила:

— Может быть, может быть… Ведь догадалась же, хотя… Не верю! Артистка, поди. Изображала, что не знает, а потом вот вам — получите! И кофту специально такую на неё надели, чтоб выглядело всё натурально, вроде как она и правда из деревни приехала.

— Ерунду не говори, — обиженно осадила её Веруня. — Вон погляди, какие руки-то у ней?! Разве у артисток такие бывают?! Это ж с наше с тобой надо полопатить, чтоб пальцы так все поискривлякались, а вены чуть не насквозь кожи торчали.

— Да, друзья, — провозгласил ведущий, уже на фоне бегущих по экрану титров, — доярка Анна Иванна Манина выиграла сегодня холодильник "Индезит" и отправляется с этим прекрасным призом домой, в Хабаровский край, село Знаменское. Поздравляем!

Бабки переглянулись.

— Слушай, Катяня, — тыча крючковатым пальцем в телек, спросила Веруня, — а как она туда попрёт его? Поездом, поди, то на то и выйдет, что в Хабаровске новый такой прикупить, что из столицы туда его… Ой, беда… Вот старухе-то расстройство.

— Оханьки, — покачала головой Катяня, — если б до Хабаровска, ещё ладно, она-то от него ого-го, поди, где живёт. В этом… Знаменское или как его там?

— Да уж! — усмехнулась Веруня. — А там-то не то, что у нас тут. Там, Катя, тайга. Ваня ж наш как раз в тех краях, бедный, служил, порассказал

про тамошние дороги. Вот счастье-то привалило… Ухайдакают вещь по ухабам, пока довезут.

— Вот почему у нас сроду так, а, Веруня?! — вздыбилась вдруг бабка Катя. — И выиграет раз в жизни простой человек приз, и опять ему не в радость.

— А ты подумай, как она на дорогу потратилась?! — вздохнула Веруня. — Из тех-то мест до столицы добираться, а?! Ваня, помню, говорил, что поездом больше недели ехал, все деньжата, что были с собой, проел. Уж в последние сутки попутчики подкармливали, добрые люди.

— Да-а-а-а, придумала себе старуха проруху, — выключая телек, задумчиво почесала в затылке Веруня, попутно поправляя платок. — Но ведь выиграла!

— Ну да, — согласилась Катяня, поднимаясь с дивана и направляясь на кухню.

— И молодец, скажу я тебе! Знаешь чего? Один раз живём, да ещё так, что на старости лет нечего и вспомнить. Как у нас с тобой: сарай-дом-огород-печка-картошка-дойка-поросята… Ох, жизнь!

2

Ночью Катерина Егоровна спала беспокойно, как никогда. Даже вставая по три-четыре раза смотреть стельную корову, и то умудрялась спать между шатанием в сарай, а тут прям сбило сон, как ветер сбивает с ног во время урагана.

Ей бы заснуть, а голова кипит от мыслей, мерещится блажь всякая. Разговоры эти Верунины в башку лезут снова и снова. Заснула ненадолго уже под утро часов в пять, так и то не к доброму делу — Якубович приснился. Этот шельмец с какими-то деньгами всё к ней подбирался, вроде как охмурить, бесстыжий, хотел, потом холодильник огромный на неё то ли падал, то ли кружил вокруг, красивый такой, беленький, новенький… Заманчивая идея, которую весь вечер проводила в жизнь Веруня, всё настойчивее и упорнее лезла в голову. И так как бабка Катя была крайне неустойчива к подобным кандибоберам, из-за чего и получила в деревне прозвище Катяня-Мутоворка, то, прекрасно зная такое дело, она принялась шепотом на себя же ругаться самыми последними оскорблениями.

В семь часов утра, вставая с постели с больной тяжёлой головой, припомнив ночные полусонные размышления, она навечно зареклась не слушать больше Веруню вообще, никогда и ни по каким другим поводам и вопросам, чтобы не допускать ни подобных глупостей, ни даже единой мысли о них. Встряхнув головой, она кое-как справилась с шумом в ушах, который для неё после подобных ночей был обычным делом, и принялась одеваться.

Этот ритуал сложился как-то естественно за долгие годы, и она не изменяла ему никогда. Почему именно так, она и не задумывалась, просто так было удобно и единственно, как доказала сама жизнь, правильно, и стало многолетней привычкой. Поверх панталон она натягивала синие мужские трикотажные штаны с начёсом — чистые, потом ещё одни — грязные, наружные, чтоб нижние не пачкались в сарае. Носки махровые в разноцветную полосочку, поверх — шерстяные, собственноручно связанные, и ещё следки капроновые, защищавшие их от скорого протаптывания. И уже потом — коты, низкие валяные сапожки, лёгкие и тёплые, как валенки, что служили ей обувью от конца августа до майских праздников, а в поздние вёсны и до самого лета. Она их и дома не снимала, а в сарай поверх них надевала глубокие калоши, которые оставляла на крыльце.

Лифчиков Катяня не носила ещё с тех самых пор, как вышла на пенсию. На работе неудобно было с грудями, растекающимися в подмышки и по животу чуть не до пупка, а дома кто видит? Ходи, как хочешь, чтоб ничего нигде не давило, вот она их сначала в бане на гвозде все три штуки повесила, и когда в магазин шла, то надевала по очереди, а потом и вовсе в сундук покидала и забыла, потому как все ровесницы без них стали обходиться

уж не стесняясь. К тому же груди постепенно поиссохли, под многослойной одёжей теперь так не выдавались, как раньше.

Носила Катяня простые хлопковые сорочки в мелкий цветочек и фланелевые платья, когда холодно, а летом — ситцевые халаты. Поверх платья зимой всегда, а летом — когда прохладно надевала вязаную коричневую кофту с карманами на пуговицах, в которых лежали "Живые помощи" и маленькие иконки Николая-Чудотворца и Богородицы. Так она оделась и в то тёмное утро, которое разделило её жизнь на до "Поля чудес" и после него.

Для сарая у неё имелась специальная старенькая потрёпанная телогрейка, а для лютых морозов — вытертый, ещё мужнин тулупчик, который она подпоясывала кожаным плетёным пояском. На голову повязывала вязаную козью шалёнку непонятного цвета.

И телогрейка, и платок, несмотря на ветхий свой вид, грели, и чувствовала она их, как свою вторую кожу, сроднившись с ними и с въевшимся в них запахом стойла и свежего навоза, который не сходил с заношенных вещей и после стирки.

— Своей башкой жить надо, — подумала Катяня, одевшись, и решительно шагнула через порог.

Она принялась мести пол в сенцах, чего так рано никогда не делала, да ещё с таким усердием и усилием, что новый веник, роняя короткие сухие веточки, время от времени хрустел печально и беспомощно.

Катяня совершила над собой невиданное доселе усилие. Во всяком случае, ей так показалось. В сарае она продолжила бороться с собой, и ей даже удалось отвлечься за хлопотами от навязчивых мыслей, но уже за утренним чаем с последними тремя пирожками, которые они накануне не доели с золовкой, раздумья снова накатили.

Катяня припомнила, и не без удовольствия, как вчера благодаря, возможно, и их молитвенной помощи, той доярке повезло. Теперь, как ни крути, а у неё в такой же, как у них, деревне, только затерянной где-то среди заснеженной непролазной тайги, будет на кухне стоять тот прекрасный холодильник, с великими трудами доставленный аж из самой Москвы, и все порадуются за неё. И расходы, конечно, но ведь и приз-то сто́ящий.

Начиная варить борщ, она спохватилась, что вчера пообещала Веруне дать свёклы. У той свёкла не уродилась, и они друг дружку выручали. Золовка угощала её яйцами, потому как её куры почему-то неслись хорошо, несмотря на зиму, а Катюнины, словно объявив бойкот, бездействовали, оставив её и без яичницы, и без омлета, да что там, и для теста порой яйца не перепадало. Поставив варить бульон с утиным задком и потрошками, нашинковав капусты и заготовив поджарку, бабка Катя, ругая уже не Веруню, а себя за вчерашнюю пустую и глупую заморочку, надела телогрейку и, накидав в сумку свёклы, отправилась к золовке. Хоть идти было и недалеко, но ночью навалило столько снега, что короткие валеночки увязали в нём выше щиколоток. Но, слава богу, что золовка сама не дремала. В конце улицы уже маячила её увесистая фигура. Веруня, обвязавшись шалью и кое-как запахнув на груди старую Ванькину куртку, не сходившуюся в этом месте, еле-еле пробиралась по снегу к ней. Полы её синего в оранжевых розах халата подметали лёгкий пушистый снег по бокам едва протоптанной дорожки, а коротенькие валеночки, такие же, как у Катяни, которые начинались там, где едва заканчивался халат, утопали в белоснежном пуху, и временами их даже не было видно.

Встретившись как раз на середине улицы, аккурат напротив дома Кольки Кряжева, они немножко посокрушались по поводу своих дырявых голов, посмеялись, обсудили погоду и поздоровались с хозяином, отвесившим им из-за своего забора комплимент "хохотушки-молодушки". Когда они удалились на безопасное для Колькиных ушей расстояние, Веруня, приблизившись своей лоснящейся физиономией к складчатому лицу бабы Кати, тихо сказала:

— Я сегодня полночи не спала…

— Да кто ж тебе не давал?! — не поняла Катяня.

— Так письмо писала. Вот…

— Кому? Ваньке, что ль?

— Да какому Ваньке… На “Поле чудес”! Вот, гляди, — показала она вчетверо свёрнутый листок в клеточку, спрятанный на груди в складках халата.

— О-о-ох, Веруня, Веруня… Забудь, шальная! Вот ведь взбрело в голову, а?!

— Пошли к тебе, прочитаю, — схватила её под руку золовка, не обращая внимания на недовольные вопли и колкий взгляд.

Таща в руке сумку со свёклой, бабка Катя, увязая в снег, двинула обратно.

— Вот какого, спрашивается, я к тебе пёрлась?! — сердилась она, но Веруня и слышать ничего не хотела.

Золовка широко шагала впереди в полных снега валеночках, а за ней, увлекаемая полами халата, по обе стороны дорожки струилась, сверкая в лучах ослепительного утреннего солнца, рассыпчатая жемчужная крошка.

На кухне у Катяни золовка первым делом стащила с себя валеночки. Вычистив из них снег, приставила к печи, потом, сняв носки, растянула их сушиться на приступочке рядом, а сама босиком прошлёпала к старым войлочным тапкам, валявшимся у рукомойника. Обувшись, присела к столу и принялась разворачивать письмо. Она выглядела взволнованной и воодушевлённой, загадочно улыбалась, поглядывая на бабку Катю.

— “Уважаемые “Поле чудес”! Мы с моей свояченицей Катериной Егоровной Крошкиной давно смотрим вашу передачу. И она нам очень нравится. Мы очень просим пригласить нас на неё, особенно моя свояченица Катерина Егоровна. Вчера мы смотрели, как доярка из-под Хабаровска выиграла холодильник. Мы очень порадовались. И мы даже, наверно, ей помогли, но это неважно, главное, что помогли. И теперь и сами мечтаем попасть к вам на игру. Позовите, пожалуйста. С уважением пенсионерка, ветеран труда Вера Гавриловна Агафонова”.

Веруня прочитала не спеша, с остановками, которые, по её мнению, с особенной значимостью должны были подчеркнуть большое искреннее желание поучаствовать в передаче, хотя писала она от имени Катяни и себя в виду не имела.

— Всё?! — после долгой паузы поинтересовалась баба Катя, когда золовка, наконец, замолчала. — Чёт маловато. Так не позовут. И слава богу.

— Ну, так уж и всё! Не всё! Вот ещё… — вытащила Веруня из наружного кармана куртки ещё один беленький листочек, сложенный пополам.

Она бережно положила его на стол, развернула и указала пальцем Катяне, мол, читай. Та подошла и, взяв в руки, уставилась на какие-то квадратики. Долго разглядывала их, пока, наконец, не сообразила, что это не что иное, как кроссворд.

— О-о-о, — кладя его на прежнее место на столе, поправила на голове платок Катяня, — видать, ты правда туда собралась, коль такой ерундой всю ночь прозанималась, горемычная. Вот и езжай сама-то, раз такая грамотная. А я в этих кубиках ничегошеньки не понимаю.

— А тебе и не надо, — усмехнулась Веруня. — Кроссворд я срисовала из нашей районной газеты десятилетней давности, глянь, если не понравится, можно из другой взять. У меня за печкой их целый ворох, для розжига. Без кроссворда-то не примут письмо, так вот я и передрала, но то не большой грех, Катяня… Тем паче, что там никто проверять не станет, где оно взято.

— А вдруг узнают?! — вопросительно уставилась на неё Катяня.

— Откуда?! Наша газета от них за тридевять земель. Главное, чтоб был! — аккуратно вкладывая лист с кроссвордом в письмо, отозвалась Веруня и потребовала: — Ну-ка, конверт хоть достань, а то и так всё я за тебя сделала, отправишь сама.

— Вот делать мне нечего, как переться по этакому снежищу к почтарке, а у меня все кончились ещё по осени, — вытаращилась Катяня. — Знаешь чего… Коли так тебе желается, так и езжай сама. Пускай над тобой вся деревня потешается, а я на своём веку наглупила уж с походом. Хватит! Помирать скоро, пора и остепениться.

Она важно зашагала вдоль печки по направлению к тазу, в котором ставила тесто. Повязывая на ходу фартук, она упрямо мотала головой в знак своего окончательного и бесповоротного несогласия с решением и действиями золовки. Так она ещё раз, уже самый последний, показывала Веруне, что её затея на этот раз безнадёжна.

3

Потом у Катяни отелилась корова, да ещё в кои-то веки принесла двойню, — ладненьких тёлочек с почти одинаковыми пятнышками на грудках. Вся она с головой ушла в заботы по хозяйству. По целым дням не вылезала из стойла, кормила коровку, доила, отпаивала теляток — Соломку и Ласточку. Соломка оказалась под стать кличке, хрупенькая, слабенькая, запоносила сначала, а потом на ножки стала припадать, пришлось на время взять её домой, кормить из бутылочки с соской, подбавляя жидкой манной кашки, обогревать у печки.

И о себе подумать некогда было. Ладно, хоть Веруня ходила, помогала, хлеб приносила, который сама пекла в хлебопечке, что Ванька из города привёз. Ещё из магазина крупы приносила и конфет-печенья к чаю. В баню она тоже к золовке весь месяц ходила, потому как свою истопить некогда было, вся в хлопотах увязла. Лишь когда тёлочки подросли и прижились в стойле возле матери, Катяня вздохнула с небольшим облегчением.

И вот в этот самый момент, словно его именно и ждала всё это напряжённое время, Веруня напомнила ей про "Поле чудес". Ненавязчиво так, словно между делом. Катяня и не поняла, а та так преподнесла, что вроде бы они раньше уж всё решили и даже написали, осталось, мол, только отправить, и даже конверт купила, запечатала и на почту сдала.

И Катяня, понятно, не надеясь, что позовут, и забыла сразу про письмо. Нормальная ведь теперь стала, с чудачествами решила завязать. Понимала, что там таких сумасбродных, ой, матушки-братушки, и без них с Веруней хватает. Как-то уверовала в то, что затеряется письмо среди других, которые кроссворды не списывали, а сами сочинили, и очень на это рассчитывала, потому как боялась, что вдруг откроется факт золовкиного мошенничества, и придётся с районной газетой ещё объясняться.

Факт Веруниной контрафакции не открылся, слава богу, и на передачу, вот ведь заразы, позвали, чем перепугали Катяню чуть не до смерти. А получилось так: пришла спустя полгода, а может, чуть больше, телеграмма, что ждут её там, и быть надо к такому-то числу. Катяня чуть было со страху не померла, когда Ирка с почты прибежала с новостью и сунула ей в руки телеграмму. В голове всё помутилось, как прочитала, пол под ней в кухне зашатался. В ушах при этом так зашипело, зашкворчало, будто кто-то, у кого сроду не было привычки газ экономить и правильной сноровки, чтоб сало по уму поджарить, взялся со всей дури на самом большом огне кулинарить.

"Господи, — подумала еле послушными мозгами, которые и так не больно-то в последние года слушались, — ведь надо ж было им, там, — та-ам! — на Верунину писанину позариться?! Кой-как состряпала письмецо, стибрила кроссворд, а они, это ж бывает так, Царица Небесная, Матушка-Богородица, и позвали! Тебе, Веруня… И когда ты уже успокоишься?! Ой, дура я, дура, старая баламутка! Так мне и надо!"

И головушка разболелась, и давление тогда подскочило с перепугу, и таблетки, которыми она от гипертонии спасалась до того, теперь не действовали — чуть в больницу не угодила. Спасла Веруня. Примчалась со своими "смертными" тринадцатью тыщами в носовом платочке, втиснутом промеж грудей, и, кое-как откопав его там, спокойно положила на кухонный стол. Из кармана она достала квитанцию с почты о том, что отбила ответную телеграмму с согласием на игру.

Потом вытащила из-за пазухи красивый павловопосадский платок, который выпросила у Ирки, отправляя телеграмму. Велела достать и отгладить вишнёвое платье и готовиться к игре. Сама же помчалась домой наглаживать парадно-выходной шерстяной костюм. Он, как оказалось после примерки,

самым непостижимым образом на неё как-то ещё налезал, несмотря на то, что за те десять последних лет, что костюм провисел в шкафу, она здорово раздалась и в талии, и боках, и в бёдрах. Распышнела. Так это женское преображение называл ценитель форм и объёмов Колька Кряжев. Веруня и в молодости, чего греха таить, особой стройностью не отличалась, как, впрочем, и её мать-покойница, и бабка, и все тётки по материнской линии.

На этот раз Катяня, видимо, в силу особенных, столь сильно выходящих из ряда вон обстоятельств, так и не успела слечь с гипертоническим кризом. После Веруниных указаний она вообще как-то вдруг пришла в себя, ещё наглоталась таблеток и необъяснимым образом всё же справилась с давлением, начав быстро и даже неплохо соображать. Вопрос "ехать — не ехать" теперь не стоял, потому как неудобно людей подводить, которые там их ждут и на них рассчитывают. Ведь не в том она уж вроде возрасте, когда с бухты-барахты вопросы решают, да ещё такие. На старости-то лет головой соображать пора, а не шутки шутить, обстоятельства вынуждали соответствовать.

Вся деревня, узнав про них с Веруней, на этот раз, как это опять же было и странно, не то что не посмеялась, а вроде даже зауважала бабок, а некоторые и позавидовали, грешным делом.

Кинулись собираться, да только проблема, про которую они не подумали, отправляя письмо, вдруг встала перед ними в свой полный рост и чуть не поставила под угрозу всё предприятие — подарки… С ними выходило самое неприятное, потому как ерунду всякую — помидоры-огурцы — везти уже давно туда перестали, видать, им в Москве своего такого добра хватало, а больше у деревенских ничего и не водилось.

Можно связать Якубовичу свитер, к примеру, но когда?! Уже через неделю их ждали на съёмку. Деликатеса в виде копчёной свининки ещё не было ни у кого, зима только началась, никто не резал до больших морозов. Мёду тоже в обрез у Катяни припасено, да и то только на случай болезни, дорогой стал больно, не разбежишься. Самогону, разве что, выгнать да наливочку из погреба достать, вот и все подарки.

Помучались раздумьями и так на самогоне и остановились. Веруня занялась сама, но аппарат барахлил, и дело шло медленно, а хотелось ведь, чтоб как слеза. Так ничего и не вышло. Выручил Колька, достав из своих запасов, только велел, чтоб Якубович обязательно попробовал и мнение своё на всю страну высказал с экрана. Пообещали.

Катяня наливочку достала, процедила, налила в красивую бутылку, укупорила, и на том старухи и успокоились.

К этому времени уж деревня гудела, как улей. Соседи вызвались за домами присматривать и за скотиной, но душа всё равно не на месте была и у одной, и у другой, потому как давно они никуда из дому не отлучались. И, что главное, ведь ехать-то предстояло не в райцентр или в ближайший городок, а в самую Москву, где обе сроду не были и знать не знали, чего и как в дороге сложится.

Венька Кочергин, сосед, скотник раньше, а теперь пенсионер и пьяница, посоветовал речь заранее на бумажке записать, чтобы не сболтнуть там чего лишнего или неприличного, и выучить. Приветы передавать Катяне было особенно некому, кроме своих, деревенских. Вся родня — Веруня, двоюродная племянница в городе да сын непутёвый Генка, и тот уж лет пять как на север укатил и с тех пор дома не объявлялся. Слал только открытки к праздникам, кое-как писанные его корявым почерком, по которым она и узнавала, что жив-здоров, слава богу, шалопут и где находится.

Речь они с Веруней написали, но оказалось ещё хуже. Голова дырявая ничего запоминать не желала, всё путалось, и Катяня стала беспокоиться куда больше. Тогда Венька посоветовал взять с собой самогону не только в качестве подарка, а ещё пол-литровочку прихватить, чтоб выпить стопарик для храбрости перед выходом к барабану, заверив, что это самое лучшее, чуть ли не единственно действенное средство при подобных обстоятельствах. Веруня выгнала его прочь за такие поучения, потому как знала, что Катяня и по трезвому-то рассудку хоть и бойко, а всё ж не всегда гладко языком мелет и споткнуться может на самом что ни на есть ровном месте,

а уж подвыпивши, того гляди и чего непотребного отчебучит… А тут ведь на всю страну! Нельзя!

Деньги рассчитали. Поскольку в гостиницу селили на три дня бесплатно, денег должно было хватить на проезд до Москвы и обратно, разъезды там направо-налево, на питание и на мало ли что ещё, чего и предусмотреть невозможно. Зашили кровные в панталоны, оставив по три тыщи на непредвиденные расходы и проезд в Москве до гостиницы, и те спрятали надёжно в такие места, откуда достать без смущения можно было, пожалуй, только в туалете.

Зарубили две курицы, зажарили без чеснока и сметаны на одном только масле с перцем и солью, чтоб подольше не испортились. Яиц и картошки наварили по десятку каждой, испекли хлеба в дорогу, сала взяли кусок шириной в две ладони и мешочек сухариков. Чай в пакетиках припасли, сахару в пустую банку из-под чая "Акбар" насыпали, и решили, что покупать там будут только самое, ну, разве что, крайне необходимое. Лекарства свои проверенные сложили в сумки, ещё по три смены белья, наряды, Ванькин кипятильник, который, как выяснилось, ещё работает, и запас носовых платков, носков и салфеток. С тем и отчалили.

4

В Москве они прибыли на Казанский. Ещё в поезде выспросили у попутчиков, как добраться до гостиницы, которая была в телеграмме указана, — "Останкино". Надо было сначала до метро дойти, и одна сердобольная тётка, которая прямо напротив них в поезде на нижней полке ехала, даже проводила их. Она же посоветовала покупать билеты сразу на десять поездок, так выгоднее. Постояв в очереди, билеты купили, но и тут случилось с ними недоразумение. Билет-то дали каждой, красненький, вроде нормальный, на картонке напечатанный, но один, а денег взяли с них как за десяток с носа. Веруня сразу в наступление пошла, смекнув, что хотят обмануть жулики московские.

В окошке баба не хуже неё, дородная, тоже голосистая оказалась. Сначала объясняла спокойно, мол, не переживайте так, тут на одной карточке по десять поездок значится, приложите и всё, и так десять раз. Но бабки и слушать не хотели. Люди вокруг смеются почему-то, но они твердят: "Дайте десяток, как заплачено!"

Очередь за ними собралась уже нешуточная, с полдеревни будет, не меньше, народ возмущается, а они не сдаются. Наконец, баба в окошке как рявкнет, мол, всё правильно, а вы, если сроду в метро не были, так зря не возмущайтесь, берите карточки и езжайте куда надо, за десяток поездок заплатили, все они здесь, аппарат их распознает, и нечего скандалить. Тут уж Веруня притихла, видит, что и впрямь, видать, они чего-то не поняли. Катяня тоже замолчала. Народ их из очереди вытолкал, а мужик какой-то в телогрейке оранжевой без рукавов подскочил и давай объяснять, что да как. Кое-как разобрались, совсем присмирели, извинились и потащились с сумками, куда мужик указал. Подошли, а чего делать не знают. Завертели головами по сторонам, ещё пуще прежнего взбеленились.

— Что за порядки такие, если человек за свои деньги пройти не может? — завопила Веруня, а Катяня стала ей поддакивать и вместе они перегородили проход к эскалатору. Снова народ стал возмущаться, их обходили, толкали…

Опять мужик тот подошёл, взял у Веруни красную карточку, приложил к светящемуся кружку и воротца стеклянные открылись. Но она так растерялась, что стояла на месте. Мужик подтолкнул её, и не успела она сделать и пары шагов, как воротца снова захлопнулись. Она осталась стоять по одну сторону, а Катяня — по другую.

Испугавшись так, словно между ними разверзлась сама земля, и они навсегда оказались по разные стороны от огромной трещины, бабки сначала отскочили прочь, но тут же кинулись навстречу друг другу. Даже толстое стекло "ворот" еле выдержало. Мужик в оранжевом едва успел выхватить

у Катяни карточку, чтобы приложить её к кружочку, иначе она снесла бы эти воротца, потому что была к ним ближе, чем Веруня. Слава богу, они быстро открылись. Она провалилась в пустоту и чуть не свалилась с ног. Мужик кричал ей вслед, желая вернуть карточку, но она его не слышала. Веруня, уронив сумку, подхватила её, одновременно свободной рукой выхватив карточку из рук мужика. Бабки выдохнули.

Но тут Катяня стремительно стала надвигаться на Веруню. На самом деле она была не виновата, её двигала очередь, скопившаяся позади. Люди выныривали справа и слева от неё, и мчались к эскалатору, сначала огибая, обтекая, окаймляя Катяню, а потом и Верунину могучую фигуру с обеих сторон. Она охала, ахала, причитала, лавируя всем телом в людском потоке, но вытянутыми руками цепко продолжала держаться за Катяню. Та тоже крепко схватила её за воротник пальто.

Сообразив кое-как, что к чему, под напором людей старухи стали задом мелкими шажками отодвигаться, и дотопали так до эскалатора. Тут случилось бы непоправимое, потому что так же задом Веруня полетела бы с него вниз, а следом и Катяня, но на счастье подвернулся какой-то военный. Здоровенный и высоченный, с усами и в фуражке с кокардой, видя такое дело, готовое вот-вот завершиться катастрофой, он сгрёб старух в охапку, и развернул мордами к убегающей вниз лестнице.

Когда Веруня с Катяней глянули вниз, а произошло это почти что одновременно, так же в одну и ту же секунду ноги у обеих едва не подкосились. Перед ними зияла расцвеченная огнями бездна, в которой исчезала, вернее, куда-то бесследно убегала, как весенний мутный ручей, узкая лестница, опускаясь в неведомую глубину и пустоту, словно мостки в топь в половодье, а они — вместе с ней. Обе вцепились в поручень эскалатора, но оказалось, что тот едет быстрее, чем ступеньки, и обе бабки снова чуть не улетели вниз. На этот раз их, рискуя жизнью или, как минимум, здоровьем, едва удержал худенький и щуплый парнишка, стоявший ниже.

Крик старух заставил народ на эскалаторе обернуться. Кое-как они приспособились, встали одна перед другой, уже спокойнее держась за поручень.

— Научились, — обрадовалась Катяня.

Золовка, вытирая пот со лба ладонью, молча кивнула. И всё бы было дальше хорошо, если бы не Веруня. Она зачем-то решила подвинуть сумки, которые вполне благополучно стояли на свободной ступеньке между ней и Катяней. Схватив сразу обе, она рванула их, и получилось, что рванула вниз, потому как Катяня стояла выше сумок, а она — ниже. Одна сумка раскрылась, и на ступеньки полетели сначала тапочки, которые она обувала в поезде, потом расчёска, алюминиевая кружка, чайная ложка, потом столовая… Металл кружки и ложек загрохотал по металлу лестницы, эхом разносясь по потолкам и углам огромного помещения. Все снова обернулись.

Катяня бросилась было подбирать, но сама чуть не кувыркнулась носом вниз. Снова выручил щупленький парнишка. Сначала он, добрый человек, собрал всё, а после ещё и в сумку сумел на ходу сложить.

Когда до самого дна доехали, Веруня с Катяней чуть не свалились вместе при сходе с эскалатора. Если б снова военный не ухватил обеих, не избежать бы точно бабкам беды, косточки переломали бы как пить дать.

— Ох, и дикие мы с тобой, — уже сидя на скамейке и отдышавшись, еле шевеля губами, тихо произнесла Катяня. — Говорила тебе, что опозоримся, как есть опозоримся. Мы ещё туда не доехали, а уже чуть ноги не переломали, и сумки не потеряли. А чего там будет?! Ой, дура я, дура, тебя послушала, хоть вой теперь.

— И нечего выть, — поправляя на голове шаль, резко ответила Веруня. — Знамо дело, что тут уметь надо, а мы не умеем. Ладно, главное, что живы, прости, Господи, остались и, спасибо Ему, до вагонов тут под землёй добрались. Дальше-то уж сядем да поедем куда надо. Чего ты расхрулилась? Тут на камеру не снимают и по телевизору не показывают. Кому мы нужны?! Ну, побеспокоили народ по неосторожности и по незнанию, дальше умнее будем. Оглядывайся по сторонам почаще, примечай, присматривайся… Чем мы хуже этих всех?! Вон, Ирка-почтарка говорила, что тут больше

половины приезжих, и все сначала приспосабливаются, тоже, поди, не сразу по этим лестницам ездить намастрячились. Всё, хватит, давай в вагон грузиться.

— Если ты такая бойкая, так сама бы и ехала, нечего было меня сюда тащить, — попробовала возразить Катяня, но Веруня встала, отряхнулась и сказала, подхватывая сумки:

— Я не пою и не пляшу, зачем я им? Ведь говорили уже, чего опять взялась сомневаться?

Катяня не ответила, только, задрав голову, двинулась следом, с трудом удерживая на согнутой в локте руке сразу обе свои сумки.

В поезде оказалось не больно просторно, особенно для Веруни. Им уступили места, и старухи уселись рядом, на коленях пристроив багаж. Поезд поехал быстро, прям будто полетел. Стали осматриваться тут. Напротив сидела, как им показалось, девушка с наушниками в ушах, а рядом с ней — другая девушка, но крупнее, и тоже с наушниками. Первая выглядела както особенно тощенько, в обтягивающих штанишках, едва прикрывающих щиколотки, и с голыми ногами, торчащими из кроссовок. Носков на ногах у неё они не разглядели.

— Глянь, — шепнула Веруня. — Босиком надела обувку и ходит. Холодина такая, а она простывает. По-женски ведь застудится, и всё — детей не видать.

Когда объявили, что следующая "Владыкино", соскочили, как недобитый по башке карась со сковородки, и рванули к дверям. Девушки теперь оказались рядом с ними. К той, что потощее и плохо одета и которую они пожалели, придвинулась крупненькая. Первая обняла вторую, и они сначала о чём-то стали шептаться, миловаться, а потом поцеловались, да так, что Веруня чуть не ахнула вслух, и лишь то, что успела зажать рот ладонью, спасло её от очередного недоразумения. У Катяни от увиденного помутилось в глазах. Обе уставились на девиц, раскрыв рты и глаза, но тут поезд стал останавливаться, и пора было выходить, а старухи, потрясённые увиденным, стояли, как приклеенные к полу. Девушки встали и, взявшись за руки, повернулись к выходу, и та, что поменьше, спросила грубоватым мужским баском:

— Будете выходить?

Старухи заморгали часто, но почти синхронно, и почему-то сначала подвинулись. Слава богу, Веруня спохватилась и встала на прежнее место, объявив:

— Выходим!

Катяня придвинулась к ней. Лицо девушки с мужским голосом оказалось прямо перед её глазами, и только тут она близоруко разглядела, что это парень, а вовсе не девка. Его щёки покрывал пушок, под носом торчали пеньки сбритых вчера-позавчера усиков, а на подбородке, который до того он прятал в намотанный на шее огромный жёлтый шарф, виднелась реденькая бородка, как у молоденького козлика.

Когда вышли из вагона, Катяня залилась смехом, схватив Веруню за локоть:

— Видела, а?! А мы, дуры, перепугались. Я уж думала, грешным делом, что это эти, как их, голубые что ли… А это парень с девчонкой, только поди их различи.

— Ага! И она в штанах, и он. И, главное, ты видела, она-то бритая, и железки по всем ушам, и в бровях, а у него волосы ниже плеч, и щуплый, как барышня, ей-то до плеча только-только… Вот умора. Приедем, расскажем своим, — тараторила Веруня, глядя вслед этой странной парочке. — Помню, за мини-юбку Верушку ругала, заставила волан пришить. Чуть не до мордобоя дело доходило, а теперь и того хуже, и не разберёшь, кто где?! Поди догадайся.

Гостиницы у метро не было. Очень этому удивились. После расспросов пробегающих мимо по отрывочным сведениям, которые удалось собрать, поняли, что надо ещё куда-то ехать.

— Господи! — вырвалось у Катяни. — Она, эта Москва, когда-нибудь где-нибудь кончается?! Куда ни глянь — дома да дороги, и над землёй, и под ней, только что по небу тут ещё летать не научились, и народу, что вшей на гребешке… Едем-едем, а конца-края не видно.

До гостиницы-таки добрались, пройдя всего ничего от остановки, спрашивая чуть не на каждом шагу у местных дорогу, чтоб лишний раз удостовериться, что идут верно. Здесь народ попадался, к счастью, не такой замороченный, как у метро, и даже вполне словоохотливый.

5

Гостиница встретила старух ярким светом, сверкающим полом и полнейшим равнодушием. Разговаривали с ними не больно приветливо и сразу сказали, что бесплатно поселят только Катяню как участницу игры, а Веруне придётся платить. Деньжищи потребовали вперёд сразу за все три дня, не меньше трёх тысяч за койку в сутки в двухместном номере.

У Веруни чуть не остановилось сердце, когда об этом услышала от администратора. Кое-как успокоила себя, подавив взрыв возмущения в груди и волну беспомощности, накрывшую её и медленно спустившуюся к ногам. Подумав, что раз в жизни и такое можно себе позволить, усилием воли она заставила себя дышать ровнее, но досада от расходов тяжеленным камнем провалилась внутрь, к самому сердцу и придавила его. Катяня тоже расстроилась, предложила поделить расход пополам, но золовка отказалась.

— Сама кашу заварила, сама буду и хлебать, — заявила Веруня, последний раз взглянув на деньги, перекочевавшие из её крючковатых пальцев в беленькие ручки с фиолетовыми глянцевыми ноготками.

Не думали они, и что жить придётся в разных номерах, хоть расположенных и на одном этаже. То и дело ходили друг к другу, шушукались. На них обижались соседки, которым казалось, что они судачат про них. Старухи извинялись, старались вести себя как можно тише, только выходило это плохо.

Спали обе плохо на новом месте, кровати неудобные, подушки как детские, да к тому же непонятно чем набитые, уж не пером — точно. Голова на них запрокинута, отдыха никакого. Мучения похлеще, чем в поезде.

Ещё с вечера решили, что перед игрой надо будет обязательно в церковь наведаться, благословения попросить у местного батюшки. Решили, потому как не привыкли такие ответственные большие дела делать без Божьего благословения. Да и неуверенность Катяни в себе не давала покоя ни ей самой, ни Веруне, хотелось заручиться поддержкой.

Времени было немного, в первый же день “Поле чудес” требовало явиться в Останкино. Переночевав с горем пополам, на завтрак заявились одними из первых, поглотали сосиски с гречкой, выпили чаю с печеньем, сыром и маленькими шоколадками и поспешили в храм. С расспросами к буфетчице долго приставать не стали, чтоб не нервировать и не отвлекать от работы, выведали только, на каком транспорте добираться. Оказалось, что церковь — храм Троицы Живоначальной — как раз недалеко от гостиницы и к тому же недалеко и от телецентра, где будут снимать передачу.

— Вот что значит — храм, — твердила Веруня по дороге на остановку. — Ведь надо ж как бывает — рядом и снимать будут. Ну, хоть тут не метаться.

Туда доехали на троллейбусе всё по той же красной карточке, до церкви дошли скоро, купола увидели ещё из-за деревьев парка. Не позолоченные оказались купола, правда, старух крайне удивило, думали, что в столице храмы все золотом на солнце блещут, а тут… Но храм большой, красивый, бабки ахнули, когда ближе подошли. И сами не ожидали, что всё так быстро и гладко выйдет с дорогой на этот раз, даже успели к середине службы. Обе бухнулись на колени под пение, красиво растекающееся с клироса, а поднялись кое-как только после того, как замолчал священник.

Батюшка московский им понравился, и читал, и пел внятно и торжественно, и вообще оказался молод, серьёзен и светел весь лицом и сердцем.

Пожалели, что не успеют на исповедь, потому как она была назначена на завтра, а у них съёмка, да и поститься надо перед исповедью. Получив благословение, вздохнули, купили свечей, и пошли от одной иконы к другой, к каждой прикладываясь и у каждой ставя свечу. Внушительный алтарь своим великолепием поразил больше Катяню, но и Веруня долго стояла, просто рассматривая его, а потом ещё столько же уже с молитвами. И к Богородице, и к Николаю Чудотворцу обратились, к Иисусу Христу, само собой, и к Пантелеймону подошли. Радовались, словно малые ребятишки празднику и подаркам. На душе прям потеплело у обеих, стало необыкновенно легко.

Из храма вышли только через пару часов, обе сияющие от нахлынувшего воодушевления. Спросили — куда и с лёгким сердцем отправились в телецентр. Хотелось донести до студии, сохранить, не растеряв, благолепный настрой. Веруня, чтобы не допустить этого, остановилась, закрыла глаза и велела сделать то же самое Катяне. Надо было запомнить, спрятать в себе где-то это ощущение и состояние, за которым они сюда так стремились, и сберечь, ну, хоть до игры, а там видно будет.

Катяня, надеясь на то, что в помощи в нужный момент ни Господь, ни ангел-хранитель, ни тем более Богородица, которой она особенно доверяла, не откажут, ещё и их иконки маленькие купила в церкви, и теперь, достав, приложила к сердцу. Веруня быстро прикрыла глаза, одобрив её порыв, и сама мгновенно вытащила из потайного кармана "Живый в помощи" и зажала в руке, тоже приложив к груди.

Постояли, подышали этой благодатью, спрятали в себе глубоко, но одновременно так, чтобы в нужный момент близёхонько взять, да и поспешили к троллейбусу, потому как время уже поджимало.

Добравшись, увидали Останкинскую башню, аж замерли обе, едва спустившись со ступеньки троллейбуса. Хотелось поближе подойти, дотронуться хоть, ведь столько раз видели по телевизору эту диковинную высоченную столичную достопримечательность, а вот так, чтобы прямо перед собой, близко — чудо… Рты поразевали, поглазели, решили, что после игры, если получится, туда обязательно наведаются.

Заспешили по указанному адресу через дорогу. Потом около часа простояли у входа вместе со всем прочим народом, приехавшим играть на "Поле чудес" и сниматься ещё в каких-то передачах. Мёрзли до тех пор, пока не позвали внутрь. Устали так, что, когда довелось туда войти, уже еле держались на ногах, но и там, в огромном вестибюле, их мурыжили ещё полчаса и только после уж велели доставать паспорта, проходить через контроль, получать пропуска, оставлять верхнюю одежду в гардеробе.

Участников "Поля чудес" собралось человек тридцать, не меньше. Оказалось, что снимать будут сразу четыре игры, на месяц вперёд. Это Веруня выяснила у провожатого, парня с бородой и с бумажкой в руке, с которой сначала, ещё там, где проверяли паспорта, он зачитывал фамилии прибывших на игру и галочкой отмечал тех, кто отзывался, а потом ещё раз, уже возле гардероба, проделал то же самое. Потом он велел стоять тут и дожидаться его, а сам начал отправлять игроков на лифте наверх небольшими партиями, сопровождая до студии и возвращаясь за следующими.

Народ тем временем знакомился. Веруня с Катяней тоже выспрашивали у всех, кто откуда будет, и про себя рассказывали. Публика подобралась разная, но всё больше городские. Деревенских оказалось четверо: Катяня с Веруней да ещё мужик из Амурской области, пасечник, с бочонком меду, и тётка то-о-о-лстая, пекарь из-под Вологды. Привезла румяный каравай, украшенный цветочками-листочками, вырезанными из теста, и, как и они, самогону, а чего ж ещё? Правда, если учесть, что Веруня не участница, а поддерживающая Катяню конструкция, то всего трое их, селян, получилось на четыре передачи.

— Да уж! Куда нам с ними, образованными, тягаться?! — забеспокоилась Катяня. — Всё выиграют. Глянь, в очках и бабы, и мужики, умные, видать.

— И чего ты колготисся?! — ширнула её в бок Веруня. — Тут призы дают не за ум, тут другое надо. Если б за ум, то этим, — махнув в сторону

благоухающих запахами, разодетых городских, затараторила золовка, — надо было на "Кто хочет стать миллионером?". Тут как раз ты, моя хорошая, по адресу попала. На этой передаче себя надо показывать, петь-плясать, балагурить, народ веселить, а в этом деле ты у нас не хуже "Уральских пельменей" будешь. Ещё и фору им дашь.

В лифт вошли, как в космический корабль, поехали тихонько, впятером. Наверху их встретили какие-то не очень вежливые люди, проводили в большую комнату, где уже ждали участники, которых проводили раньше. В большом помещении стояли коричневые диванчики, низкие столики, цветы в горшках прямо на полу, а на одной стене до самого потолка — зеркало. Все расселись, снова подождали немного и дождались режиссёра. Он рассказал, как играть, что можно, чего нельзя, про правила сказал, про то, как одеться, что дарить, как и в каком виде.

Городские начали задавать вопросы, деревенские помалкивали. Разговор получился длинный, Катяня с Веруней от него устали, и когда режиссёр ушёл, решили уж было, что всё на сегодня закончилось, но не тут-то было. В комнату пришли ещё люди, мужчины и женщины, стали выкрикивать фамилии и подзывать к себе.

Всех разделили на восемь групп. Свою фамилию Катяня услышала от бледненького мужичонки, который вошёл последним. Плюгавенький такой, весь облезлый какой-то, и джинсы на нём рваненькие, старенькие, ношеные-переношенные, и рубашонка мятая, полинялая какая-то, только жилетик сверху ничего так, приличный вроде. Его вид вызвал у бабок не то чтобы сочувствие, скорее, сострадание.

— Глянь, — шепнула Катяня, — голодный поди, что коняка ранней весной, а оборванный-то… Ой, хоть слёзы над ним лей. Видать, жена-стерва последние копейки выгребает, что ему, бедолаге, ни пообедать, ни одеться.

— Ага, — согласилась Веруня, — убогой какой-то. Может, выпивает?

— Да ты чего? Разве алкаша на такую работу возьмут?!

— Ну, тогда, значит, и правда, жена — стерва, — утвердилась в своих предположениях Катяня и предложила подарить ему одну бутылку самогона в расчёте на то, что, если не выпьет, то продаст, да хоть в столовую сходит, поест досыта. Самогон-то хороший, крепкий, такой продать можно подороже.

Веруня согласно махнула головой. И они уж было собрались мужичонке предложить принять от них подарок, но он начал вопросы разные задавать, кто, мол, они, откуда, чего да как. Старухи, перебивая друг друга и путаясь, начали чего-то бормотать, но больше мешали друг другу, а мужичонку и вовсе запутали. Тогда он отправил Веруню погулять в коридор, а сам велел Катяне показывать, как она может петь, плясать и забавлять прибаутками. Остальные четверо стояли рядом и ждали своей очереди показывать таланты.

Ну, тут уж Катяня-Мутоворка показала им всем настоящую жизнь. Начала с частушек, но когда с матерком пошли, мужичонка её остановил:

— Нет, нет… Нет, так не пойдёт. Здесь многое, конечно, можно, но не всё. Что ещё имеется в вашем репертуаре?

Катяня затянула "Свадебную застольную":

У меня, у молодицы, свадьбушка,
А я, добрая девица, в горюшке.
Ой, в таком я горюшке-е-е…

Мужичишко снова её остановил, сказал, что не подойдёт, давайте-ка лучше что-нибудь весёлое, праздничное. Катяня, заплясав, спела "Покосную плясовую":

Как ходили на покос мы с утра,
Травы всюду, им не видно конца.
Уж и ноженьки, и руки болят,
А вокруг, вокруг всё травы стоят.

Пахнет клевером-ромашкой кругом,
А мы, знай себе, работаем днём,
А и ночью б на покос мы пошли,
Коли б луг нам осветили огни.

Только ноченька темнёшенька-темна,
Ох, устали и заснули до утра...

При этом она подпрыгивала на месте, щёлкала пальцами, подняв руки вверх и размахивая ими из стороны в сторону. Потом закружилась, стала головой вертеть, плечи вверх-вниз... В конце она выставила вперёд правую ногу на пятке, присев на левой, а руки так широко развела в стороны, что чуть не кувыркнулась, ладно успела ухватиться за стул, на котором до того сидела. Платок с её плеч упал на пол, волосы растрепались, выбившись из-под косынки, а сама косынка съехала набок.

Мужичок посмотрел на Катяню долгим пронзительным взглядом и сказал:

— Хорошо. Это хорошо. Вы так перед камерой сможете?

Катяня не знала, что ответить. Кто ж его знает? И пожала плечами.

— В этом-то и загвоздка, — озадаченно произнёс мужичок. — Тут вы все, ну, или почти все, артисты, а там... Попробуйте. Пойдёмте.

В это время вся толпа двинула куда-то, Катяня тоже. Мужичонка шёл впереди. Оказывается, их повели туда, где снимают игру. В студии, так этот огромный амбар назывался, бедная бабка совсем растерялась. Катяня чуть сознание не потеряла, когда увидела в центре тот самый барабан, а ей уже предложили:

— Мы сейчас на вас камеру наведём, и вы всё это повторите, — сказал ей мужичонка.

Катяня вздрогнула всем организмом, захлопала часто глазами, беспомощно уставившись на плюгавого.

— Ну, что же вы? — уже стоя возле камеры рядом с оператором, развёл он руками. — Пожалуйста, это ваш звёздный час!

И неизвестно, что было бы с Катяней, не появись в этот момент неизвестно откуда золовка. Она чуть не заблудилась в коридорах "Останкино" и, решив, что лучше будет вернуться в студию, притащилась обратно как раз к этому во всех отношениях страшному для Катяни моменту.

В следующую секунду она подскочила к ней, дёрнула за рукав кофты и зашипела в ухо:

— Чего выставилась?! Не первый раз, поди, замужем-то. Покажи им, Катяня, а то на черта, спрашивается, мы с тобой сюда пёрлись, кошёлки дырявые?!

При этих золовкиных словах лицо Катяни, тут же припомнившей, сколько было заплачено в гостинице за место Веруни, сколько они уже потратили на проезд и, представив с ужасом, сколько ещё потратят до отъезда, сделалось вдруг цвета свежевыстиранной и на совесть отбелённой простыни.

После промелькнувшей в уме калькуляции её сначала накрыла дрожь, как в холодном предбаннике, если с мороза зайти и сразу раздеться, а босыми ногами встать на ледяной пол, по которому с улицы ветерком тянет, но Катяня в присутствии золовки колотун уняла быстро. Глубоко вздохнув, она расправила плечи, встряхнулась, да так заплясала, как сроду не плясала даже она — лихо, широко, даже буйно, словно рюмашку перед тем опрокинула.

Веруня, и та замерла в растерянности, увидав, как эта старая бабка, изрядно побитая её братом и жизнью, принялась отбивать ногами дробь со скоростью молотилки, а потом и вовсе пошла, разведя поднятые руки в стороны, на мужичонку и на саму камеру. Шла Катяня так бесстрашно, что чуть не влепилась в неё и в оператора, благо вовремя плясунью развернули, велели отойти на безопасное расстояние и уже там давать жару. И она дала.

Катяня била резиновыми каблуками войлочных сапог по затоптанному полу студии, потом выписывала ногами всякие крюки-выкрюки, словно не было у неё ни пяточных шпор, ни артроза, ни шишек у больших пальцев,

выпирающих в стороны. Она бойко и радостно носилась по кругу, приподнимая и опуская плечи, при этом во весь свой голос снова горланя "Покосную", приглашала с собой танцевать плюгавого, потом оператора, следом стоявший кругом народ... Народ стеснялся, отодвигался, хихикал, но когда она перешла на "Кадриль", это очень всем понравилось, потому как Катяня разошлась, да с таким бесшабашным неистовым размахом и свойственным только ей куражом, что не всем, конечно, но многим из участников игры тоже захотелось пуститься в пляс.

Даже Веруня начала приплясывать и подпевать, и лишь когда музыку вдруг остановили, увидела, как запыхалась Катяня. Её усадили, а плюгавый подскочил и завопил, накидывая ей на плечи платок:

— Отлично! Замечательно! Ошеломительно! Вот так и будете... Играть... Ну, в смысле... Ну, вы меня поняли.

Потом Катяне дали попить, а она, отдышавшись, наконец, смогла спросить:

— А как же барабан-то?! Я ж крутить приехала.

— Будет вам и барабан, но сначала спляшете, — ответил ей плюгавенький и убежал куда-то.

Катяня растерялась было, но Веруня подсела рядом и возбуждённо зашептала:

— Ну, ты, бабка-бабонька, будто бражки хлобыстнула. Ох, сроду так не плясала, сколько тебя помню, заразу такую. Всё! Не зря ехали. Ты теперь, когда игра-то будет, вот так же им всё представь, чтоб аж искры полетели! И споёшь тоже как щас, слышь, как щас пела, так же! Раз голосище Бог дал, так покажи им тут! Сроду у нас в деревне такого не было, а теперь уже и не будет.

Катяня, хоть и отдышалась, но слова Верунины слышались ей где-то далеко-далеко. В голове она чувствовала лёгкое кружение, ноги тряслись, а пальцы рук онемели и не слушались. Она и сама не ожидала от себя такого задора и куража, на который сподобилась. Веруня поддержала её вовремя, и теперь, обняв за плечи золовку, Катяня всем обмякшим телом рухнула и оперлась на неё, благо, что мощная комплекция той позволяла.

Отдохнув и осмотревшись, старухи двинулись в самый отдалённый уголок студии, где были сложены стулья. Там, вытащив из кучи три стула (на двух разместилась Веруня), они уселись, наконец, основательно и стали наблюдать, что происходит вокруг.

Парни в спецовках таскали какие-то ящики, тётки, девчата молодые, одна страшнее другой, непонятно, во что одетые, с бумажками бегали туда-сюда, ругались... Мужичонка рваненький орал на одну из них, тряся перед носом помятой бумажкой и тыча пальцем ей в лицо. Народ толпился у барабана, озираясь по сторонам, путаясь ногами в кабелях, растянутых по полу студии. Было видно, что никто не знает, собственно сейчас-то им чего делать?! Без труда читалось на большинстве лиц и другое: ещё хуже участники представляли себе, что они тут будут делать потом, во время самой игры, когда уже их начнут снимать на камеру. По многим растерянным и озадаченным лицам также было ясно, что думают они и мечтают только о том, чтобы всё это непонятное и бессмысленное действо поскорее закончилось.

Муж одной из городских расфуфыренных дамочек, лощёный до блеска, словно вылизанный мамой-коровой новорождённый телёночек, в костюме и галстуке, в очках и красивых модных туфлях, ругался противным гнусавым голосом. Не понятно к кому обращаясь, но очень громко он возмущался, почему в студию не подали чай и вообще не обеспечили подобающие условия. По его мнению, их сюда согнали, как скот, и держат самым возмутительным образом, толком ничего не объясняя.

Его супруга в длинном сиреневом платье, в сапожках на каблучках, прижимая к себе лаковую сумочку с цветочком, недоумённо, но при этом и както зло посматривала на плюгавенького мужичонку из-под пышной причёски. Она крепко сжимала руку мужа и так же крепко, всё крепче и крепче сжимались её губы.

Народ обходил их стороной, только ещё одна семейная пара, пожилая и, судя по всему, куда менее требовательная, спокойно взирала на них, стоя неподалёку. И непонятно, то ли они тоже хотят кофе и чая, потому как, хоть и изредка, но всё же кивают головами в знак согласия, то ли мечтают о том, чтобы кофе и чай подали в студию, и этот недовольный порядками человек, наконец, выпил чего-нибудь, а лучше всего сразу, и заткнулся.

Между тем бабки, уютно устроившись в своём углу, рассмотрев публику, стали думать про себя. Обе сразу дотумкали, что студия большая, поэтому развернуться есть где.

— Это нам как раз на руку. Какая разница теперь, коли мы с тобой уже тут. Ничего, повеселишь народ, пускай смеются, — рассуждала Веруня.

— У-у-у-у, и делов-то, — искоса глянув на неё, спокойно отозвалась Катяня. — От меня не убудет.

— Вот, вот! Ты сроду ничего хорошего не видела, так хоть на старости лет себя покажешь, а за это ещё и дадут чего-нибудь, разве плохо? Нам чего ни дай, всё сгодится, хоть и самый задрипанный приз, мы согласные. Ну, конечно, лучше, если б чего стоящего, за хорошую цену дали, чтоб дорогу оправдать хоть… Ну, глядишь, повезёт, так чем путным разживёшься, в дом привезёшь, попользуешься. Вон, глянь, коробки какие-то всё таскают и таскают, и чего в них, а? Интересно… Эх, Катяня, жги! Как последний раз, как, помнишь, у меня на юбилее. Я тогда думала, что у тебя подошвы от калош отлетят, — твердила Веруня, тряся крепким кулаком.

— Ох, чего вспомнила, — с упрёком глянула на неё Катяня. — Уж лучше б у меня тогда подошвы отвалились. Позору-то было, когда юбка задралась.

Она стыдливо махнула рукой и вытерла внезапно нахлынувший на лоб пот уголком платка. Вот ведь напомнила, зараза. Нашла чего. Специально, что ли?! Веруня и сама уж пожалела об этом. Она ёрзала на стульях, то и дело переваливаясь с одного на другой, зорко глядела по сторонам, крепко держа Катяню за руку. Руки золовкины вспотели, стали липкими, но Катяня своей похолодевшей руки не отнимала. Золовка хоть и выглядела взбудораженно, но всё ж была тут ей единственной помощницей и опорой. Она ещё сильнее сжала потную ладонь золовки, прижалась плечом к её груди, почувствовав шумное возбуждённое дыхание. Та, словно угадав её мысли, прошептала:

— Вот ведь как, и я тебе в помощь. Сколько собралось-то… Ох, тяжело-о-о-о… Но ничё, ничё! Ты не одна, моя хорошая, вместе мы тут, покажем, запомнят! Ты, матушка моя, главное не волнуйся, ты у нас артистка. Похлеще многих! Это ж твоя судьба такая горькая, что жизнь в деревне прошла, что ты не училась, не выступала нигде, кроме нашего клуба да смотров самодеятельности. Ещё вот за братца моего вышла, бедолажечка, всю тебя вымучил.

— Ой, ладно тебе, вспомнила, — перекрестилась Катяня. — Царствие ему Небесное. Сколько кровушки попил моей, так будь здоров!

К ним подскочила ассистентка режиссёра, полуохрипшая и с таким ужасом из волос на голове, который можно было принять либо за свалявшуюся длинную шерсть, либо за изодранную в длинные клочья мочалку из люфы. Веруня прошептала еле слышно:

— Мымра, прости, Господи!

— Ведьма! — так же тихо выговорила Катяня.

Ногти у девицы были чёрного цвета, а поверх глаз сверкали оранжевые пятна.

— Бабушка… Кха, кха… Екатерина Егоровна — это вы? — сквозь хрипящий кашель обратилась она к Катяне. — Зайдите к визажисту. Срочно. Она — прямо по коридору и налево, дверь белая. Кха-кха-кха…

Катяня уставилась на золовку, а та, тоже не моргая, смотрела на ассистентку с таким выражением, словно девица появилась в студии, ну, как минимум, голая. И мало того, что сам вид её, потрёпанный и в соответствии с представлениями обеих совершенно недопустимый и небрежный, не внушал доверия, особенно рваные, словно чем-то химическим изъеденные

концы трикотажного кардигана и огромные ботинки на платформе, девица к тому же говорила почти беззвучно, с трудом выдавливая из себя слова. При этом мышцы на шее у неё натягивались из-за напряжения, а лицо принимало такое страдальческое выражение, что это "чудо в драных перьях" становилось похожим на умирающего в жутких мучениях больного.

Веруня первым делом подумала о том, что если эта полусумасшедшая сейчас уведёт с собой куда-то за белую дверь Катяню, то больше она её никогда не увидит. И неизвестно, что там ещё из неё сделают. Ещё крепче вцепившись в Катянину руку, она зло и недоверчиво посмотрела на ассистентку и твёрдо, с акцентом на последних словах заявила:

— Никуда она не пойдёт! Мы в парикмахерскую сами сходим, платье у неё красивое с собой, и бусы… Чтоб было, как у людей. Нас вся деревня смотреть будет. Нечего тут устраивать всякое безобразие, не позволим пугало делать из нормального человека.

— Что вы придумываете, — хрипя, завопила девица. — Я же к визажисту вас посылаю. При чём тут пугало?

— А ты на себя погляди, — огрызнулась Веруня.

Девица обиделась и ушла, а Катяня забеспокоилась:

— Верунь, идти надо, ведь ждут.

— Не пущу, пускай ждут. Сами соберёмся.

Но тут подошла ещё какая-то женщина постарше и вполне приятной наружности, которая вежливо пригласила обеих в тот самый кабинет. Деваться было некуда, старухи поднялись и пошли следом.

6

За белой дверью пахло, как у Веруни в палисаднике в конце июня. У старух головы закружились от ароматов. Кругом сверкали зеркала, на стенах висели портреты красивых девушек и женщин, накрашенных и причёсанных так, будто им вот-вот под венец идти за богатого жениха.

Катяню усадили в кресло, а Веруня осталась у двери, с трудом усевшись на изящной, но узкой и жёсткой скамеечке.

— Меня зовут Лана, я визажист этого проекта. Вы какой косметикой пользуетесь? — спросила женщина и внимательно посмотрела на лицо Катяни. Та молчала. Потом Лана провела кончиками своих хрупких пальчиков по её щекам, лбу и подбородку, и лицо её вытянулось так, что стало похоже на морду Сандры — собаки Кольки Кряжева. Веруня вся напряглась, готовая в любой момент броситься на защиту. По спине и шее Катяни помчались резвые мурашки, и её сначала даже немного затрясло, но она, не зная, как ответить, смотрела на своё отражение в зеркале и, продолжая сосредоточенно молчать, ждала, что же будет дальше.

Лана, глядя беспомощно на Катянино отражение, тоже молчала. Потом достала из кармана телефон, и позвонила:

— Зайди, Егор, тут по твоей части, — попросила она, и, отключив мобильник, спросила у Катяни ещё раз, какой косметикой она пользуется.

— Навозом мажемся, — ехидно отозвалась Веруня. — Чего спрашивать, не видно разве, что сроду ничего такого, кроме губнушки, не знали?! Да и то на Новый год да на Восьмое марта. Некогда нам. В огород нам эту вашу косметику на себя намазывать или в сарай?!

Лана пожала плечами и с усталой обречённостью во взгляде опустилась на стул у окна. Из коридора послышался грохот, потом грубый мужской голос кого-то громко поприветствовал. Спустя пару минут, в комнату ввалился огромный мужик с наколками на руках и столь замысловатой причёской, что Веруня, увидев его, даже перекрестилась. Сооружение из кос, витых локонов, торчащих ёршиком, словно длинная щетина, волос, скреплённое какими-то ленточками, резинками и заколками, поверх выбритых висков напомнило старухам времена татаро-монгольского ига, про которое они смотрели лет пять назад фильм в клубе, пока тот ещё работал. Веруня отшатнулась от него, едва он вошёл, а Катяня ошалела от страха, да так, что и слова не могла сказать.

— Это наш ведущий визажист, — представила мужика Лана, подходя к Катяне.

— Зачем звала? — грохнул его голос прямо у неё над головой, и старухе показалось, что она разом оглохла. Веруня сидела, боясь шевельнуться.

— Гош, — тихо обратилась к нему Лана. — Сам всё видишь. Я не знаю, что делать.

— А ничего не делай, пусть так и снимается, — снова грохнул голос. — Тут уже ничего не спасёт.

— А режиссёр просил, требовал… — запинаясь, начала было возражать Лана, но он её перебил:

— Я ему кто? Бог?! Или, может, маг, волшебник, фея с волшебной дубинкой?! Ну, подмажь тут морщины и запудри, чтоб не бликовало, лоб особенно, подбородок, сама знаешь… Булку ей накрути из волос. Ну, и всё, радость моя. Мы тут не кино снимаем, в конце концов.

Он цыкнул и поспешно скрылся. Лана ещё несколько минут смотрела на Катяню, потом, высвободив волосы из-под косынки, прикинула, как будет сооружать причёску. Наконец, продолжительно снова помолчав, она сказала:

— Всё… пожалуй. Идите в студию, бабушка. Завтра придёте в эту гримёрку ровно в шестнадцать-пятнадцать. Запомнили?

Катяня махнула головой и, сообразив, что свободна, как будто взрывной волной вынесенная из кресла, подскочила и с небывалой лёгкостью в ногах и во всём теле рванула прочь. Веруня грузно, но тоже довольно резво двинула следом.

В коридоре они схватили друг друга за руки и так, держась крепко-накрепко, словно их кто-то только что пытался разлучить навечно, помчались дальше. Но у самой лестницы их остановила девица с оранжевыми глазами и свалявшимися волосами:

— Куда мы разбежались? — не поняла она. — Визажист закончил? Тогда — в студию. Не создавайте проблем.

Старухи развернулись и пошли в студию. Там кипела работа. Народ по-прежнему шарахался вокруг барабана, примериваясь к нему, и внимательно рассматривая. Режиссёр что-то кричал, мужик с огромной камерой наводил её то на одного, то на другого, а его помощник разгонял тех, кто самовольно пытался попасть в камеру или попадал случайно.

Рабочие всё ещё таскали коробки. Грудастая тётка с противным голосом подгоняла их, потом ещё парней с проводами в руках, девушку с вешалками, на которых висели платья, уборщицу со шваброй… Стоял ор, шум, чьи-то недовольные вопли, команды оператора и его же ругань, возгласы режиссёра, хрипенье его жуткой помощницы в драном кардигане, треск непонятный, но отчётливый, словно где-то что-то ломали деревянное и крепко сколоченное, далёкая музыка доносилась из коридора.

У старух почти одновременно закружились головы, и они, еле добравшись до своего угла, снова плюхнулись на стулья и затихли. Силы у обеих были на исходе, внутри всё тряслось, мозги, словно выключенный из розетки телевизор, потухли. В голове Катяни слышался лишь непонятный гул, похожий на гуденье молотилки, а Веруня, хоть и более устойчивая к подобным вещам, вообще ничего не слышала ни снаружи головы, ни внутри и уже, казалось, была в полнейшем беспамятстве. Лишь посидев некоторое время и чуть снова тут пообвыкнувшись, они понемногу пришли в себя и начали разговаривать.

— Может, пока не хватились, смоемся, — тихо прошептала Катяня, дёрнув Веруню за руку.

— В гостинице найдут, за сумками всё равно туда возвращаться, — прошептала та в ответ и развела руками.

— Ой, видать, влипли мы. Страшно-то как, Веруня.

— Хватит панику наводить, — строго приказала золовка. — Ты, Катяня, главное, сама себя соблюдай, нечего их тут всех слушать. Я так поняла, что из тебя они Василису Прекрасную делать не будут, обошлось. "Шишку" завтра на башке твоей лихой накрутят, лоб попудрят, и пойдёшь играть. Как к барабану встанешь, так пой, пляши, как умеешь, а ты умеешь, я-то знаю.

В первом ряду сидеть буду, на меня гляди. Не бойся никого. Не сожрут. Пой громче, вся страна смотреть будет.

Больше, к счастью, про них в этот день не вспомнили, а спустя полчаса вообще всех отпустили. Ужинать на этот раз отправились в номер Катяни, чтобы не беспокоить Верунину соседку. Та к игре не имела никакого отношения, приехала в столицу по своим делам, и вся эта канитель бабок, их разговоры и волнения её только раздражали. Катянина же соседка по номеру, докторша-стоматолог из Нижнего Новгорода, молодая, красивая, разведённая, с двумя полуторагодовалыми близнецами, тоже приехавшая на "Поле чудес", отправилась посмотреть Москву. Кипятильником согрели воду в банке, доели курицу, картошку и яйца и выпили по три кружки чаю с конфетами. Потом Веруня пошла к себе мыться, а Катяня, тоже сполоснувшись, прилегла.

Поспать ночью не получилось. Сон не шёл. Ворочались-ворочались, скрипели кроватями, и, в конце концов, обе, не зависимо друг от друга, но почти одновременно вышли в коридор и уселись на диванчике, обернувшись в платки, и почти всю ночь так и просидели. Дежурная по этажу ничего не спросила. Она читала и по сторонам не смотрела.

— Давай молиться, — предложила Веруня.

— Давай, — обрадовалась Катяня. — Ой, только у меня "Молитвослов" там… В тумбочку положила.

— Читай "Богородицу", она поможет, и "Ангелу-хранителю", чтоб рядом был, слышал, — надоумила золовку Веруня. — Хоть своими словами проси, главное — проси… Услышат. В церковь-то, слава Богу, успели. Дома надо было к отцу Михаилу съездить в Комаровку, тоже не помешало бы.

— А когда?! — возразила Катяня. — Собирались как оглашенные.

— И то правда, — вздохнула Веруня. — Ладно, Катяня, теперь уж, как Бог даст. Завтра велено к двум часам дня приходить, так что время с утра будет. Ещё посидим, почитаем… Утренние само собой, ещё Ангелу-хранителю канон обязательно, акафисты… Ко мне приходи, моя с утра как уходит, так на весь день. И "Молитвослов" возьми. Не забудь!

Потом больше часа обе просидели почти не двигаясь, но активно шевеля губами. Проходящие мимо редкие полуночники с подозрением смотрели на них и быстро удалялись. Старухи молились, и их обращения, вроде: "Господи, сподобь не опозориться…", "помоги угадать…", "…дай, Всевидящий и Всеслышащий, голове моей дырявой соображения…", "…помоги моей золовушке расчудесной, она такая хорошая…" — и все остальные были многочисленные, слёзные, но, по сути, об одном и том же. Обе даже устали, потом помолчали, поболтали о том о сём, снова долго молились и лишь к пяти часам утра разбрелись-таки по своим номерам.

Утром соскочили рано и почти одновременно, около семи, однако выспались неплохо. Выручила их вечная деревенская привычка вставать не тогда, когда хочется, а когда хозяйство и живность того потребуют, а требования всегда были ранними — задолго до рассвета.

На завтрак пошли вместе с соседками, чтобы не заблудиться. Поев сосисок с макаронами и выпив чаю с сахаром и с молоком, почему-то сразу почувствовали себя увереннее и даже веселее. В номере у Веруни, как и ожидалось, никого уже не было, и Катяня с "Молитвословом" и сумкой еды притащилась к ней. Нарезали сала, с хлебом съели по три ломтика. Ели не потому, что проголодались, ещё не успели, конечно, и не потому, что несытный подавали завтрак, просто хотелось своей еды, привычных вкусов, да ещё хлеба, главное, хлеба своего, потому как московский ели через силу, не нравился. Позавтракали вроде бы хорошо, но то ли от переживаний, то ли от бессонной ночи, аппетит у обеих прям всколыхнулся. И дома так не ели после работы, а тут, ну, точно с цепи сорвались обе, ели, что Колька Кряжев, которого жена прозвала "Жора", — это от "обжора" сокращённо. Катяне, по правде сказать, кусок в горло не больно-то заходил, ела, глядя на золовку. Она переживала, мучилась от ожидания надвигавшейся на неё, как огромная грозовая туча, съёмки.

7

В студию перед съёмкой их не пустили. Всем велели сидеть в большой комнате рядом и ждать. Старухи устроились на диванчиках и стали ждать, когда позовут делать причёску. Потом Лана лихо навертела Катяне шишку, подложив кусочек поролона внутрь. После этого лицо Катяни, к её собственному удивлению, вдруг изменилось, вроде даже подтянулось, откуда-то вылезла шея, в ушах засверкали фианитами серёжки, а бусы Верунины так заиграли, что и платок Иркин, хоть и красивый, на плечи накидывать расхотелось.

Веруня, наблюдавшая за действом, разулыбалась, в зеркало подмигнув Катяне. Лана, поджимая губы, морщила лицо, тыча шпильки в шишку со всех сторон. Потом она чем-то намазала Катяне физиономию и напудрила так, что бедная старуха сначала закашлялась, а потом и вовсе принялась мотать головой в разные стороны.

После визита к гримерше Веруню отправили в студию, а Катяня снова присела на диванчик, гордо подняв голову. К ней тут же подошёл пасечник, и, широко улыбнувшись, неловко отвесил корявый комплимент. Катяня, сроду не слышавшая в свой адрес ничего подобного, даже так неловко сказанного, была тронута и поклонилась мужику с благодарностью. Он тоже. Потом спросила, скоро ли начнут.

— Да шут его знает, — пожал он плечами. — Мне всё равно уж. Я мёд свой вручу Леониду Аркадьичу, крутану разок, и можно домой отчаливать. Сфотографироваться бы с ним, свояку обещал и внучке. Как думаешь, разрешит?

— А чего ему, жалко, что ли? — повела рукой Катяня. — Подойди да спроси. Щёлк и всё, делов-то.

— Э-э-э, не скажи, — засомневался Семён Никитич, стряхивая ребром ладони перхоть с плеч пиджака, туго обтянувшего его живот, размером не меньший, чем бочонок мёда, который он собирался дарить. — Понимаешь, Катерина Егоровна, к таким людям запросто ведь не подойдёшь. Как быть? Скажу, пожалуйста, дорогой Леонид Аркадьевич, я к вам с гостинцем, и вы меня не обидьте. Как? Можно так?

— Поди, можно, а как ещё-то? Не кланяться же. Ты ж у него не взаймы просишь.

— Да… Попробую так, — пытаясь ослабить галстук, отозвался Семён Никитич. — Вот зараза-то, хотел без него, а жена дома говорит: "Не позорься, купи и надень, чтоб культурно смотрелся, соседи чтобы потом не говорили, мол, отправила мужика как попало". Сил моих нет больше, дышать нечем в этом ошейнике. И как начальники в них целыми днями ходят?! Им, получается, тогда за вредность платить надо.

— Как-как? — расхохоталась Катяня. — Тебя вот пчёлы кусают? Кусают! И ничего ведь, терпишь. За вредность не приплачивают. Только за мёд. И они потерпят, ничего не случится с ними. За вредность не им, а нам платить надо. Сколько я их по жизни-то своей горемычной встречала, так эти кровопийцы один вреднее другого.

Никитич тоже рассмеялся.

— Я вот давно уж, годов с сорока пяти примерно, как этим делом занялся, так и про начальников забыл, — хитро подмигнул он Катяне. — Сам себе, знаете, начальник. Чего накачал, то и продал, оно всё моё.

— Это хорошо, когда так, — слегка щёлкнув пальцами, усмехнулась Катяня. — Обидно, когда всю жизнь ишачишь на тяжёлых работах, а тебя начальство не то, что поощрить, а только всё больше требует, всё больше… Раньше хоть грамоты давали, у меня три штуки на стене висят, а потом и этого не стало. Начальники всё для себя только делали, о себе думали, а мы, колхозники простые, так ничего и не заработали. Пенсию хорошую, и ту не заслужили. Если б не хозяйство, как бы щас жили?

Семён Никитич согласно прикрыл глаза, открыл и повторил за ней:

— Как бы щас жили? А хрен его знает!

— Вот-вот, — сквозь скривившиеся губы процедила Катяня. — Хрен нам один и достаётся всю жизнь.

Тут в комнате вдруг все всполошились, раздались вскрики, Катяня повернула голову в сторону непонятного движения, а Семён Никитич почему-то зажал ладонью рот.

— Ой, ой… — раздалось у выхода в студию.

Это вбежал ведущий, Леонид Аркадьевич, точно такой, как на экране, только невысокий, на пару голов ниже Семёна Никитича и не меньше, чем на голову, ниже Катяни, в ладно сидящем на нём костюме, с бабочкой и расчёсанными "волосок к волоску" пышными усами. Напудренный и улыбающийся, он возник перед волнующимися игроками, словно подарок. Его обступили, женщины бросились задавать вопросы и осыпать его восторгами, кое-кто даже отваживался вставать рядом, чтобы сфотографироваться, но он весело перед всеми извинился, мол, простите, я малость опоздал, а всё — и фото, и автографы, и беседы — в студии во время съёмки будет. И так же шустро, как появился, исчез там, откуда появился.

Игроки, растерявшиеся и удивлённые, а некоторые даже крайне восторженные аж до состояния потери речи, остались стоять толпой у входа в студию. Катяня только и успела, что привстать со своего места, а Семён Никитич, не успевший даже вынуть из футляра фотоаппарат, но первым пришедший в себя после всеобщего потрясения, громко матюгнулся сам на себя, что не догадался сделать это заранее.

Потом все разбрелись, расселись кто где и, устав уже ждать начала игры, просто молчали, изредка спрашивая у тех, кому был виден вход в студию, не зовут ли туда кого. Никого не звали.

— Может, про нас уже забыли? — попыталась пошутить одна из самых нарядных женщин, поправляя причёску.

Ей никто не ответил.

8

Съёмка началась через полчаса и шла так, словно с минуты на минуту ожидали падения метеорита именно на эту студию, ну, или, как минимум, приближения тайфуна. Увидав, в каком бешеном темпе всё происходит, как носится персонал, как гоняют в студию и из студии игроков, сторонний наблюдатель скорее поверил бы в то, что команда не "Поле чудес" снимает, а заранее зная, когда наступит проклятый катаклизм, делает всё, чтобы спастись. На самом деле просто спешили освободить помещение, чтобы не переплатить лишнего.

Игроки каждой тройки у барабана находились примерно минут по десять-пятнадцать. Собственно игра, когда крутили барабан и называли буквы, шла меньше всего, аккурат до того момента, пока в тройке не выявлялся "артист". Дальше снимали только его, крупным планом, а остальных отправляли в комнату, где все ждали своей очереди. Если тройка талантами не блистала, то всё происходило совсем быстро, примерно как и в случае, если находился какой-нибудь умник и с ходу угадывал слово. Двое других, а в особенности те, до кого и ход не дошёл, готовые задушить интеллектуала, скоренько, пока не успели этого сделать, выдворялись в "зал ожидания". Их недовольные вопли скрывала плотно закрывающаяся дверь, за которую привычным движением всех отправляла ассистентка с розовыми пятнами глаз.

Самые счастливые успевали сфотографироваться с Якубовичем за минутку-другую, пока менялись тройки. К превеликой радости Семёна Никитича, за секунду до того, как его пригласили в "зал ожидания", он успел-таки в последний момент прилепиться к двум красивым женщинам, фотографировавшимся со знаменитым телеведущим. Они пообещали ему прислать фото в обмен на мёд, и та, что постарше, одарила его своей визиткой.

Всем игрокам, независимо от того, успели ли крутануть барабан, подарили по небольшому компактному пылесосу "LG". Катяня играла в третьей тройке, стояла посередине. Первой оказалась её соседка докторша, а третьим — симпатичный парень из Архангельска, водитель такси. Докторше не повезло, потому как у неё случился переход хода, а до парнишки и очередь не дошла — игра застопорилась на Катяне.

Когда пришёл её черёд играть, вопроса бабка уже не помнила, зато, едва успев крутануть барабан, принялась демонстрировать таланты, от которых даже у видавшего самые невообразимые творческие народные виды Леонида Аркадьевича поначалу наступило онемение.

Для затравки Катяня сплясала, потом громко и заливисто спела куплет и припевку, частушки посыпались, как горох… Она так расстаралась, что очень удивилась, когда он, опомнившись, предложил ей назвать букву. Брякнула наугад "а" и, надо ж, — угадала, и тут же, не дав никому опомниться, снова крутанула, а сама продолжила плясать, запевая частушки и припевки. Раззадорившаяся старуха с присвистом и притопом пошла вокруг Якубовича с поднятыми руками, не обращая внимания ни на режиссёра, пытавшегося до неё докричаться, ни на ассистентку, кружившуюся зачем-то рядом.

Когда, наконец, Катяню сумели изловить и остановить, она, раскрасневшись и шумно дыша, искренне не поняла:

— Чего не так-то, дорогие?!

— Я вас умоляю, — заскрипела розовоглазая, — встаньте, пожалуйста, на своё место. Это же съёмка. Понимаете? Тут нельзя вот так, куда вас ноги понесут. Слушайте меня, я вам скажу, куда двигаться.

— Ага! — не растерялась Катяня и послушно встала на своё место.

— Крутите барабан, Екатерина Егоровна, — улыбнувшись, обратился к ней Леонид Аркадьевич.

И это было всё, что она запомнила со всей записи. Больше ничего! Только его ласковый взгляд, улыбку и бархатный голос.

Она крутанула, что было сил, барабан закружился, и Катяню снова понесло… Теперь перед ней носилась ассистентка, а она вприпрыжку, вприскок и даже вприсядку за ней с песнями и прибаутками, щёлкая пальцами, тряся головой и вскидывая время от времени плечи. Пару раз в порыве своего лицедейства она чуть не сшибла розовоглазую с ног, но та успевала увернуться.

Невзирая ни на кого, даже на самого Якубовича, Катяня продолжала своё лихое представление, выписывая без устали всё новые и новые кренделя и коленца, успевая ещё и петь, и выкрикивать потешки и частушки, и кружиться… Она и не поняла, как и почему оказалась в объятиях рассерженного режиссёра, отчаянно орущего ей что-то неприятное прямо в правое ухо. Однако это сразу остудило её пыл, она уразумела, что, пожалуй, переборщила с концертом, и послушно отправилась на своё место.

Снова, улыбаясь и подмигивая, Якубович сказал ей что-то, но что именно, она не поняла, и только когда он указал микрофоном туда, где было скрыто слово, которое следовало угадывать, она вдруг до смерти перепугалась. Три буквы из четырёх — первая, третья и последняя — были закрыты, а вторая значилась "а", она её уже угадала.

И тут Катяня смутно стала понимать… Якубович просил назвать букву. В такие моменты она просто впадала в ступор, соображать не могла и страшно пугалась. Страх овладел ею и теперь, причём не просто обычный — леденящий, а самый неуправляемый, параличом сковавший только что выплясывавшее послушное тело.

Она поводила глазами по закрытым буквам и уставилась на Якубовича. Он выжидающе смотрел куда-то мимо неё, и от этого Катяне стало и вовсе не по себе. Чуя неминуемую катастрофу, и только потому, что надо было отвечать, ведь он же не отстанет, выдала:

— "Б"!

— Правильно! — даже подпрыгнул на месте ведущий, и выпорхнувшая откуда-то из-за его спины девушка с приклеенной улыбкой открыла первую букву в слове.

Катяня тупо посмотрела на "БА…" и, не зная, что делать дальше, снова уставилась на Якубовича, который скомандовал:

— Крутите барабан, — и, разулыбавшись в камеру, пошёл куда-то прочь от барабана, поправляя микрофон.

Катяня со всей дури снова крутанула, и только тут вспомнила, наконец, про Веруню. Она завертела головой, пытаясь увидеть золовку, но та, как и обещала, сидела почти прямо перед ней.

Золовка таращила глаза, вся сияла и что-то ей показывала на своей толстой шее чуть ниже второго подбородка. До Катяни разом дошло, что Веруня изо всех сил пытается ей подсказать, но в этот момент сбоку подскочила ассистентка, показывая знаками, что надо петь и плясать. Понять-то Катяня это поняла, но ноги на этот раз не слушались, она и с места сдвинуться не могла.

— Ну! Пойте же, — требовала ассистентка, — идёт съёмка. Время, время! — тыкала она пальцем на своё запястье сверху, туда, где обычно носят часы. Её голоса Катяня не слышала, но отчётливо понимала все жесты.

— Ладно-ть, — тихо сказала она, вся выпрямилась, уставилась прямо в камеру и запела "Ой, ты степь широкая..." Голос звучал чисто, звонко, красиво, но какой-то незнакомый, словно чужой. Катяня сроду так не пела, широко и наполненно, на таких высоких нотах, да к тому же выходило душевно и торжественно. В студии стало тихо, режиссёр замер и, не моргая, слушал её пение. Якубович вдруг резко обернулся и уставился на неё, внимая каждому звуку.

А песня и правда казалась всем будто бы другой, не той, что всюду известна. Катяня пела её по-своему, растягивая больше положенного, да ещё с такой невероятной силой пела, с какой она всю свою жизнь работала. Песня лилась из неё мощным потоком народной мудрости, мечты о счастье, о радостной и заслуженно благополучной жизни, так и не воплощённой за долгие годы. В ней словно не было слов, а лишь только одна мелодия, наполненная содержанием всей Катяниной многотрудной судьбы, её бедами и скупыми радостями, вечными бесплодными надеждами и каждодневной нескончаемой суетой. Словно сама так и не воплотившаяся в жизнь её выплеснулась в эту студию вместе с её голосом, старательно выводящим:

Ой, ты, степь широкая,
Степь раздольная,
Широко ты, матушка,
Протянулася.

Ой, да не степной орёл
Подымается,
Ой, да то донской казак
Разгуляется.

Ой, да не летай, орёл,
Низко по земле,
Ой, да не гуляй, казак,
Близко к берегу!

Когда Катяня замолчала, студия утопала в магической тишине. Рассеянно оглядываясь по сторонам, она вопросительным взглядом цеплялась за лица. И если бы не Верунина сияющая от восторга физиономия, наверное, она просто выбежала бы из студии, чем нарушила правила игры и лишилась возможности крутить барабан дальше.

Однако Катяня, прочитав по глазам золовки, что всё сделано в высшей степени правильно и великолепно, опять приосанилась, и с вызовом посмотрела на слово. Две последние буквы, по-прежнему закрытые, белыми пятнами расплылись перед её глазами и слились в одно огромное полотно, на фоне которого тоже не очень чётко, но всё же читаемо торчали "Б" и "А".

Вся студия зааплодировала, зрители встали, а Якубович бросился обнимать и целовать Катяню. От него ей прямо в нос пахнуло чем-то резковатым, но приятным, и она с высоты своего роста тоже поцеловала его в лоб, крепко сжав руками за плечи. Она уж сто лет не целовалась с мужчинами, процедура её несколько смутила, но вроде как даже понравилась. Она раскраснелась и, когда ведущий рванул обратно на своё место, прикрыла лицо руками.

Студия продолжала аплодировать, а она, преодолевая смущение и неловкость, повернулась к людям и принялась раскланиваться, разводя руки то

в стороны, то прижимая к груди. Послышались возгласы "Браво!", от которых у Катяни лицо и шея разом вспыхнули, и жар этот ударил в ладони. Она растерянно улыбалась, кланялась всем в пояс, а сама только и ждала, когда это закончится. В деревне такого не бывало. Там ей, конечно, аплодировали, но недолго и скромно, потому как у них всё просто, не принято так, как в городе, показывать свои восторги, к тому же и она никогда так не пела.

Потом ассистентка всех долго усаживала, успокаивала. Катяня вернулась на своё место. Она задумчиво посмотрела на ведущего, которого только что целовала, он уже беседовал с режиссёром. И тут она заметила, что Веруня пронзительно и неотрывно смотрит на неё. Катяня сначала подумала, что что-то, наверно, не так сделала, или у неё что-то не так, провела на всякий случай руками по волосам и бусам, но всё оказалось в полном порядке. Она снова глянула на Веруню и тут поняла. Она поняла, что та изо всех сил пытается взглядом ей что-то сказать.

"Может, слово, шельма такая, знает?" — подумала Катяня и так же пронзительно посмотрела на золовку.

Та еле качнула головой в знак того, что знает. Она почесала рукой около виска и, прихватив пальцами серёжку, начала теребить её, как это делают многие женщины, когда волнуются, сомневаются или просто не уверены в себе. Конечно, никто в студии, кроме Катяни, не придал этому жесту ни малейшего значения.

Только бабка сразу сообразила, что это та самая серёжка, которую золовка ещё по осени случайно обронила в предбаннике, когда раздевалась. Нашлась она тогда благодаря тому, что Катяня, уже помывшись и обтираясь, на неё наступила.

Катяня хитро подмигнула Веруне, посмотрела на Якубовича, который как раз смотрел на неё, и открыла уж было рот, но он сказал:

— Низкий вам поклон за эту чудную песню, за душевное исполнение, дорогая вы наша Екатерина Егоровна, а теперь называйте, пожалуйста, следующую букву.

— Слово! — громко выдала Катяня.

— Вы назовёте слово?! — обрадовался Якубович.

— Ну, всё, поиграли, — услышала Катяня довольно громкий шёпот со стороны докторши, с досадой и разочарованием протиснувшийся сквозь её ровненькие и беленькие зубки.

— Угу, приехали, — послышалось в ответ со стороны таксиста.

Катяня снова приосанилась, гордо подняла голову и объявила:

— Баня!

Якубович снова подскочил на месте и бросился её обнимать, но уже без поцелуев. Веруня, вздрогнув всем телом так, словно её приподняло и шлёпнуло, завопила на всю студию:

— Мы выиграли! Мы выиграли!

Девушка открыла ещё две буквы, и все действительно увидели слово "БАНЯ". В это время откуда-то сзади вынырнули ещё три девушки, которые положили перед каждым игроком по тонкой книжечке, запечатанной в полиэтиленовый пакет.

Катяня не успела ещё ничего понять, а игроков уже попросили из студии. "Заплаканная", схватив её за локоть и сунув в руку пакетик с книжкой, потащила её в комнату. На ходу так громко, насколько это ей позволяла истерзанная болезнью и работой глотка, она пыталась объяснить растерянной старухе, что теперь следует сидеть тихо и ожидать, пока не позовут снова.

— Чего это? — не поняла Катяня. — Книжку зачем дали?

— Награда за участие — пылесос, — ответила хрипло ассистентка. — Это паспорт на него. Всё, идите, идите, там ждите. Следующая тройка выходит: Трофимчук, Ванина и Белкин. Вперёд, в студию!

Мимо Катяни проследовал Семён Никитич, это его фамилия оказалась Трофимчук. Катяня махнула ему и даже успела перекрестить удаляющуюся широкую спину в пиджаке и шею, перетянутую галстуком. Она уселась на своём диванчике. Подошли женщины, которые играли раньше, и начали поздравлять, а посреди комнаты в это время возмущалась врачиха:

— Здесь что, конкурс художественной самодеятельности или игра? Кошмар какой-то! Я столько денег на дорогу потратила, всю зарплату… Зачем мне этот пылесос?! Я недавно новый купила.

— Да будет вам сокрушаться. Дарёному коню, знаете ли… — попытался её утешить мужик из Ханты-Мансийска.

Но она, бросив злой взгляд в сторону Катяни, что-то коротко ему ответила и ушла к зеркалу, вытирая слёзы. Катяне стало не по себе. Она опустила глаза и старалась сообразить, что же не так сделала. И вроде бы всё правильно было там, в студии, и заслуженно, но получалось, что она этой несчастной женщине вроде как перешла дорогу. Конечно, будь сейчас с ней рядом Веруня, они бы вместе, двумя головами всё пообдумали, справились бы — золовка соображала шустрее, ситуацию просекала мгновенно. Одной ей стало сначала не по себе, а потом и вовсе накатило внезапно какое-то опустошение. Катяня чуть не расплакалась.

9

На диванчике Катяня сидела действительно тихо и неподвижно. Она вся вдруг иссякла, что-то в ней закончилось, то ли выплеснувшись наружу во время игры, то ли ещё по дороге в Останкино. И неизвестно, что и как бы случилось с ней дальше, если бы не Никитич. Пчеловод в буквальном смысле её спас. Довольно быстро вернувшись из студии, он сразу направился к ней.

— Ну, как? Как ты там? — встрепенулась Катяня.

— Ой! — махнул рукой багровый Никитич, расстёгивая пиджак. — Разок-то всего и крутанул барабан, а букву не угадал.

— Ну, вот и всё, Катерина Егоровна, мне уже можно домой отправляться, — отрапортовал он, срывая с шеи галстук, и шумно выдохнув. — Минутное дело, как выяснилось: тот, что после меня крутил, с ходу слово назвал, а до третьего и очередь не дошла. Всё скоренько и свернули, и нас снова сюда. Ну, я, знаете, так и думал… А чего им тут с нами рассусоливать?! Кто мы такие?! Самое главное успел, всем приветы передал, никого вроде не забыл. Мишке, главное, свояку, а то ведь обид будет… Ой, Егоровна, тётке, тоже Егоровне, только Валентине, в Елец привет не сказал. Эх, как же я так… Дубина! Она меня нянчила, когда родился. Мать слабая была, роды тяжёлые, я ж почти пять килограмм сразу был. Вот, пока она поправлялась, тётя Валя за мной смотрела. Щас ей уж под девяносто. Как же я так-то? Эх…

— Так беги скорей обратно, в студию-то, спроси, может, разрешат по горячим следам про неё словечко вставить, а уж потом как-нибудь к твоим приветам прилепят, а? Ну, вставят хоть в конце, может, что им жалко, что ли? Беги, узнай! — предложила сразу вышедшая из оцепенения Катяня.

Хоть смысл того, что говорил ей Никитич, доходил до неё смутно, да и то только самое последнее она успела уловить, но поняла-таки, что расстроился он всерьёз.

Никитич и правда, соскочив с дивана, поспешил обратно, но его в студию не пустили, да ещё велели больше не беспокоить.

— Всё! — рухнул он на диван, бросив галстук на пол. — Сказали, мол, там надо было думать. Теперь поздно.

— А-а-а-а, — слёзно и беспомощно протянула Катяня, не зная, что сказать в утешение.

— Приеду, позвоню, прощения попрошу, — опустив голову, сглотнул слюну Никитич.

— Да не казни себя, ну их, — попросила его Катяня. — Они тут без конца снимают, знают, чего как сказать, как сделать… А мы? Раз в жизни на пять минут попали, а всё надо сделать как лучше. И не упомнишь ведь… Я вот тоже сижу, сижу, а всё сообразить не могу, чего я там творила? Не помню ничего! Вот дурья голова. Эта вон, что со мной играла, докторша в оранжевом костюме, обиделась, вишь… Жалко женщину, плачет. А я ведь тоже не виновата.

— Не бери в голову, Егоровна, тут люди играют. Кому-то везёт, кому-то — нет, и чего обижаться?! Сами пожаловали, олухи, никто налыгач на шею не накидывал и сюда не тащил.

Катяне стало легче после этих его слов. В груди отлегло, а в голове словно луч света пробился сквозь чащу тяжёлого непонимания, сомнений и пустых мучений по поводу того, что она там как-то не так показалась. Она придвинулась к Никитичу и попросила его:

— Ты вот что. Дай мне слово, что к тётке сам съездишь. Приветы эти, ой, милый ты мой, дорогой человек, ерунда это всё. Деньжата у тебя водятся, так ты накупи подарочков, да и прямо отсюда езжай к ней, навестишь, потолкуешь, порадуешь… А то ведь наше дело такое: помрёт, неровен час, Валентина Егоровна твоя, и всё. Поедешь, конечно, хоронить, а тогда ей будет уже всё равно. У тебя ж щас пчёлы спят, чего делать-то тебе, вот и повидайся с ней, с живой. Там и привет будет, и застолье на радостях, и разговор, а то ведь нам всё некогда, всё некогда…

С минуту Никитич сидел неподвижно и таращился на Катяню, а потом как подскочит, словно мячик резиновый. Катяня аж вздрогнула.

— А и правда, — радостно зашептал он ей, почёсывая у правого виска. — Тут крючок небольшой будет, поездом сутки всего. Так я завтра на Казанский в кассу смотаюсь за билетом, потом на вещевой рынок сгоняю, затарюсь там, и ей, и племянникам припасу гостинцев, а вечерком рвану. Ух, Егоровна, ну ты… Вот голова-то! Сто лет их не видел.

Но Егоровна не успела порадоваться вместе с ним.

— Чего вы тут сидите, приросли к диванам, финальную тройку снимать пора, — хрипела розовоглазая ассистентка, у которой потекла и размазалась тушь на правом глазу. — Что за работа у меня?! Чокнешься к чёртовой матери…

Она отругала Катяню, схватила под локоть и потащила в студию. Никитич крикнул ей вслед: “Ни пуха!”

Студия бурлила и суетилась в перерыве между съёмками. Свет ослепил Катяню, споткнувшись обо что-то, она чуть не грохнулась, только и успев вцепиться в визжащую проклятия в её и ещё чей-то адрес ассистентку режиссёра.

— Да что ж это такое?! — пуще прежнего развопилась та, едва удержав старуху за руку. — Ну, дойдите уже вы до этого барабана ещё раз! Это всё, всё, что от вас требуется. Потом можете хоть спотыкаться, хоть падать, хоть умирать, но после съёмки, пожалуйста. Понятно?!

Катяня кивнула. Девица дотащила её до барабана, где уже ждал парень, который ей снова прицепил микрофончик к платью.

— Катя, я тут, — расслышала она голос Веруни, махнула ей.

Режиссёр снова подошёл к ней и велел во время игры ещё петь и плясать. Она ничего не ответила, потому как сил в себе чувствовала только на то, чтобы удержаться на ногах ещё минут пять-десять да крутануть барабан в свою очередь и на том завершить своё участие в этом непонятном для неё действе, шумном, бестолковом и главное — абсолютно не понятном, хоть правила игры и объяснили.

Да, всё тут шло вроде как по правилам, но одновременно Катяня своей природной чуялкой, настроенной на восприятие жизни естественной, простой и честной, просекала — что-то было не то, что видно по телевизору, о чём говорили вчера и как она сама себе это представляла. Она словно двигалась по незнакомой земле без карты и ориентиров, то и дело ожидая с разных сторон опасности и неприятности в виде ругани или недовольства собой и своими действиями, боялась оступиться, сболтнуть не то, рассердить кого-то из местных начальников, а тут их много и неясно, кто главней. Катяня впервые в жизни была словно на минном поле, где и страшно идти, и надо, потому как деться больше некуда, ведь выбираться отсюда живым или мёртвым всё равно придётся.

Задание на финал игры Якубович прочитал с картонки чётко и громко:

— Как называлась тарелка в Древней Руси? Прошу вас подумать, как следует, слово непривычное, хотя вам может показаться иначе.

Веруня уставилась на Катяню, но та и сама уж знала ответ. Беда на этот раз подстерегала её в том, что по очереди она должна крутить барабан самой последней, и если очередь не дойдёт, то и слово сказать не успеет, могли опередить.

Девушка, первой крутившая барабан, потом крутила его ещё два раза, и было ясно, что слово она знает, но та, уже решив, что она в финале, старательно набирала очки. Назвав "а", "п" и "к", она крутанула в четвёртый раз, но тут случился переход хода. Мужичок из Москвы, научный работник какой-то, не стал мучиться и попросился назвать слово. Катяня чуть не потеряла сознание.

— Плошка, — радостно выдал лысенький, когда получил разрешение ведущего, и счастливо улыбнулся.

— Нет! — развёл руками Якубович и доброжелательно посмотрел на Катяню. — А теперь ваш ход, уважаемая, Екатерина Егоровна. Нет, голубушка моя, пожалуй, ваш выход! Прошу вас! — указал он ей на барабан, недвусмысленно намекнув на продолжение "сольного концерта", который вернее было бы назвать бенефисом.

Катяня крутанула, посмотрела на Веруню, а та, соорудив из ладоней своих корявых подобие полураскрытой раковины, прижала руки к груди, слегка двигая пальцами. Удостоверившись, что она знает правильный ответ, Катяня еле дождалась, когда барабан остановится и сказала:

— Слово, Леонид Аркадьич! Слово скажу!

— Подумайте, голубушка, — пристально глядя на неё, попросил ведущий, — я предупреждал…

— Плоска! — раздалось в студии звонкое Катянино слово, и Якубович снова бросился к ней со своими объятиями.

Свет ударил в глаза молнией. Катяня едва не потеряла ориентацию в пространстве. Только камера, которая уставилась ей в самую физиономию, была ещё в поле зрения, остальное всё завертелось-закружилось вокруг, словно вихрь. Но и этот круговорот окружающего пространства был всего несколько секунд. Потом и вовсе всё куда-то пропало, скрылось позади света, растворилось среди просторов студии.

Ноги ослабели, Катяня качнулась, схватила Якубовича за плечо, уронив голову ему на макушку, но он, легко передав её какому-то хлипкому пареньку, неловко подхватившему и с трудом удержавшему старуху, незаметно выскользнул юрким ужом и скрылся.

Как она оказалась на стуле позади камеры, Катяня потом вспомнить так и не смогла. Только сидя видела, как отчаянно пыталась прорваться к ней Веруня, которую едва удерживала на своём месте розовоглазая, обеими руками, то отмахиваясь и отбиваясь от сильных и требовательных Веруниных рук, то переходя в наступление, хватая её за оба запястья или повыше — за локти.

Катяне дали стакан воды, она попросила ещё, потом её попытались поднять и отправить к барабану, уже в сплошном тумане. Она не то, чтобы угадать там чего-то, а и собственное имя не вспомнила бы в эти минуты, если бы спросили, — всё куда-то плыло-утекало-ехало мимо неё: и пол, и огни, и ряды зрителей. Мимо проплыл режиссёр, который говорил с ней или спрашивал о чём-то, чего она, как ни силилась, понять не могла. Стоять она тоже не могла, да и сидела с трудом, потому что её то и дело куда-то уводило в сторону, потом подкидывало вверх, и снова в сторону, но уже в другую, а зацепиться было ровным счётом не за что, опереться не на кого. Только когда режиссёр, наконец, отстал, а на Катяню неожиданно, но оживляюще дунуло прохладой, свежим воздухом, невесть откуда взявшимся в духоте студии, в голове понемногу стало проясняться.

Сначала где-то далеко, словно кричали в самом конце узкого туннеля, она услышала:

— Встаньте, пожалуйста, к барабану. Суперигра! Суперигра! Съёмку невозможно остановить, у нас всё по времени. Держитесь, осталось совсем чуть-чуть. Смотрите перед собой! Строго перед собой, не в камеру!

Катяня затрясла головой и спросила:

— А плясать?

— Да вы хоть встаньте как-нибудь, я вас умоляю! Не до плясок уже, не надо. Поднимитесь, моя хорошая, давайте пройдём к барабану. А там стойте и всё, поняли меня? — пытаясь поставить её на ноги, настойчиво,

но терпеливо и даже вроде как участливо, как показалось Катяне сквозь сумеречное её видение, требовал режиссёр.

Она снова рассеянно глянула в бездну студии и на счастье увидела Веруню. Та уже успокоилась и сидела тихо, подняв перед собой кулак. Несмотря на полуобморочное состояние, Катяня тем не менее поняла, что означал жест золовки. То определённо был не знак устрашения, а, наоборот, способ поддержать её. Веруня так пыталась показать что-то вроде: "Да пребудет с нами сила!" — как она стала говорить к месту и не к месту с тех пор, как они по телевизору посмотрели "Звёздные войны". Сделав над собой усилие, Катяня выпрямилась, расправила плечи и посмотрела перед собой.

— Давайте, бабулечка. Последний рывок, вы — финалистка. Вы хоть понимаете?! — провожая её к барабану, твердил режиссёр.

К Катяне подбежала та самая Лана и принялась её щедро пудрить. Катяня расчихалась, достала носовой платок, начала им обмахиваться. Лана разозлилась, выхватила платок, и, бросив его под ноги, продолжала махать кисточкой по её лбу и щекам, не давая опомниться. Лишь когда она удалилась, ругаясь и тряся от гнева головой, бедная старуха смогла раздышаться и прочихаться как следует.

Потом появился Якубович, он задал суперфинальный вопрос, смысл которого она снова не поняла, но это уже не имело ровным счётом никакого значения. Перед ней расположили закрытые белыми квадратами буквы, много букв, Катяня и не видела, где они заканчиваются. Но это тоже не имело значения.

Очков у финалистки оказалось мало, хватило только на соковыжималку. На просьбу ведущего выбрать себе приз для суперигры, Катяня ответила, крутанув барабан и охнув. Она определила себе приз — газовую плиту. Даже сама удивилась, что, услышав от ведущего: "Ого! Газовая плита!" — не испытала ровным счётом ничего: ни радости, ни беспокойства по поводу того, как везти это чудо потом домой в случае, если повезёт. Просто услышала и всё.

Поскольку вопроса Катяня не запомнила и не поняла, а угадывать не умела, то и буквы, которые Якубович предложил назвать, выдала наобум — А, Б и Л. На удивление Катяни улыбающаяся девушка открыла все буквы в слове, кроме предпоследней и той, что была перед ней. Получалось — "БАЛАЛА..А". Зал зааплодировал, а Веруня даже подняла руки вверх и хлопала так сильно, что чуть не свалила с мест соседей. Катяня тупо смотрела на Якубовича.

— Умница! Екатерина Егоровна, — с явной радостью в голосе, но довольно сдержанно сказал он и спросил: — Я понимаю, что, может быть, это лишнее, но я обязан спросить, нужна ли вам минута на размышления?

— Да, — ответила Катяня.

Якубович призвал всех соблюдать тишину в студии и уставился на режиссёра. Тот развёл руками.

Повисла тишина, Катяня упёрлась стеклянными неподвижными глазами в буквы. Она смотрела, не отрываясь, напрягшись всем телом, а головой ощущая лишь свинцовую тяжесть непреодолимого ступора. И всё бы ничего, но почему-то в студии что-то очень сильно и громко стучало. Она не могла понять, что это было, но стук явно мешал ей сейчас. Катяня нахмурила брови, силясь понять, что это, и вдруг в ужасе схватилась за сердце. Это был стук её сердца, ударявшего в грудь, в спину, куда-то под левые рёбра, в уши и даже в глаза. Правда, благодаря Иркиному платку выглядело это движение так, словно она решила поправить на груди именно платок.

— За-а-р-р-р-аза! — прижимая ладонь к груди, прошептала Катяня, сердце дёрнулось, потом ещё раз, и словно послушная домашняя зверушка, поняв, что чем-то досадила хозяину, а напрасно, сразу же стихло, будто спряталось или затаилось до времени.

Катяня слышала, как щёлкают секунды, понимая, что с каждой она безвозвратно теряет и без того ничтожные шансы на победу. И эти-то щелчки и заставили её собраться, она мгновенно вскинула брови, подняв голову, посмотрела на слово, которое без труда тут же угадала. При этом ей стало

внезапно так радостно-легко, что она снова чуть не пошла в пляс с песнями. Вокруг неё опять всё закружилось, ослепительно засверкало миллионами огней, и старуха, которая ещё совсем недавно уже почти умерла в этой студии, а всего лишь какие-то секунды назад усилием воли едва с перепугу не остановила собственное сердце, заставив его утихомириться, чуть не взлетела над барабаном и Якубовичем, взмахнув руками-крыльями.

Тем временем ведущий, улыбаясь, спросил, словно так, на всякий случай:

— Ну, ненаглядная вы наша, Екатерина Егоровна, называйте слово!

И Катяня, заиграв на воображаемой балалайке, бойко объявила:

— Балалайка, Леонид Аркадьич! Правильно?

Он не успел ответить, потому что в следующую секунду его кто-то свалил с ног, и на Катяню налетело что-то огромное, потное, тяжело дышащее, и заголосило ей прямо в ухо:

— Красавица ты моя ненаглядная! Катяня! Как же я тебя люблю!

Веруня и её чуть не свалила с ног, всю облобызала, а Якубович, хоть и прилично, но всё же в сердцах кое-что сказав, ушёл. Зрители в студии соскочили со своих мест, словно под ними уже давно кипело или, как минимуму, закипало, и принялись разминать отсиженные места. Веруня кружила Катяню, шатала её в своих объятиях из стороны в сторону и радовалась, радовалась, а та молча тыкалась носом ей в ухо и, пытаясь устоять на ногах, цеплялась слабыми руками за шею. Режиссёр отругал Веруню, отправил вон из студии в комнату ожидания, а Катяню сфотографировали и тут же дали что-то подписать. Она подмахнула не глядя, потом подняла с пола упавший во время объятий платок и спросила:

— Люди добрые, а куда ж мне теперь идти?

10

Дома первым делом обе помчались в свои сараи.

Катяня, едва вошла, так сразу и расплакалась, так соскучилась по своим родненьким теляткам и по коровке-красотулечке; кота Митьку, крутившегося тут же, тоже приголубила. Когда она подоила корову и напоила молоком телят, дала им сена и напоила корову, то вдруг поняла после всех приключений, как удивительно-остро теперь чувствовалось всё своё, близкое и домашнее. Даже скотина для неё была словно родная, родня, ну, или хороший-хороший друг, с которым знакома с незапамятных времён.

Ходила туда-сюда по сараюшке, поправляла всё, хоть Колька с женой ухаживали за скотом и птицей хорошо. Глядела, жадно глядела вокруг: на курочек, свинку, Соломку и Ласточку… И такая на душе расцвела вдруг отрада, что защемило внутри, задёргалось сердце, как трепетная голубка при виде своих птенцов, и чуть ноги не подкосились.

Постояла-постояла возле коровкиной карды, потихоньку в себя пришла, подкинула ещё сенца тёлочкам и кое-как ушла в дом. Соскучилась сильно.

Веруня тоже обошла своё подворье. Поблагодарила соседку Валентину, которая уже была тут как тут, за хороший пригляд. Она и печку справно вытапливала всю неделю, и за живностью присмотрела, и даже к приезду Веруни истопила баньку. Так что ближе к обеду, когда обе с хозяйством окончательно управились, ещё и в бане помылись с дороги. Вышли в таком чистом телесном ощущении, какого сроду не испытывали. Как подрубленные, обе рухнули на свои постели — отлёживаться до вечера. Спали в ту ночь крепко и спокойно, словно дети.

Утром Веруня с трудом дохромала до Катяни, потому что, проснувшись и попытавшись встать, обнаружила, что одна нога плохо слушается, того гляди, вообще, отнимется. Расходилась по комнате еле-еле, в сарае дела сделала, как смогла ладно ещё корова стельная в запуске, доить не надо, потом отлежалась часок и — к Катяне.

Та совсем ослабела. После утренних хлопот в сарае дотащилась до сеней и там упала. Подняла её Колькина жена Вера, которая не утерпела и чуть свет примчалась послушать про “Поле чудес”. Она уложила Катяню на диван, поставила чайник, напоила, а тут и Веруня подоспела.

Потом остальной народ со всей улицы собрался: и Раечка, и Валентина, и Варвара Андреевна, бухгалтер из конторы, и Ирка-почтарка, и мужики-пенсионеры — Иван Тимофеич, бывший завхоз школы, Николай Николаич, последний, единственный во всей округе на три деревни зоотехник, Колька Кряжев пришёл следом за супружницей, которая задержалась у Катяни, Сашка Афанасьев, тракторист в бытность свою рабочую, Венька Кочергин и даже дед древний самый Григорий Тарасыч притащился чуть не на последнем вздохе.

Старухи как-то сразу взбодрились, Катяня поднялась, и они с Верой и Валентиной начали собирать на стол, поставили чайник. Веруня уселась на диван и с воодушевлением принялась рассказывать во всех подробностях про поездку. Катяня тоже.

И как туда ехали, и как по Москве нашатались аж до тошноты, и про ужасное метро, и с какими тяжкими приключениями тащили плиту… Слушали-слушали, диву давались, охали, переспрашивали, и только когда уж за стол сели, попритихли все. Но и после Веруня ещё долго говорила, говорила, вспоминала всякие мелочи, про студию особенно и про то, как программу снимают.

А Колька тем временем, окружённый мужиками, решил затащить из сеней в дом коробку с призом да посмотреть, всё ли в порядке, ведь, мало ли, не проверили бабки на складе, что там на самом деле лежит, а вдруг чего другое подсунули.

Распечатали, осмотрели товар, оказалось, что всё в целости, и то самое, что выиграла Катяня, — плита. Красивая, зараза, не то, что её старенькая, затёртая вся, с двумя неисправными горелками, ремонту давно не поддающаяся.

Колька имел интерес к призу не только праздный, но и профессиональный, прежде всего. Он же раньше был тут инженером и мастером по обслуживанию газового оборудования и теперь, когда деревня развалилась, на общественных началах по доброте душевной продолжал всем помогать. У него аж внутри всё чесалось, а не то, что снаружи под лопатками, когда он плиту выгружал у Катяниного двора.

Вот только беда, что, раскрыв коробку и разглядев агрегат, обнаружили досадное недоразумение — плита оказалась электрической. Красивые такие блинчики вместо газовых конфорок, всё как положено, всё современное, сверкающее, исправное, и написано не по-нашему, импортная, значит. Как в сказке — гляди только на неё, красавицу да умницу, бытовую помощницу, и восхищайся. И радоваться бы бедной натерпевшейся Катяне этому великому своему успеху, шальному выигрышу, за который ещё и отданы последние деньги грузчикам и водителю автобуса, да вот только закавыка в том, что пользоваться этим “счастьем” не придётся.

Её пенсии и так хватало в обрез даже с газовой плитой, ещё и в печке кое-чего подваривала, чтобы сэкономить, а уж с этакой техникой и подавно в трубу вылетишь. Куда уж, она и гладить почти перестала, только занавески, когда постирает, потому что платить за свет дорого, и телевизор смотреть они с Веруней старались вместе, по очереди ходили друг к дружке, существенная экономия выходила.

— Эх, бабки! — грустно улыбнулся Колька. — Чего ж вы теперь с этим выигранным добром делать-то станете?! Вы б ещё пианино выиграли, вот смеху было б… Может, как стает, да дорога просохнет, продать свезти на станцию. Хоть деньжат сколько-нибудь вернёте.

11

“Поле чудес” все в деревне смотрели с большим интересом — еле дождались начала марта, когда показали наконец-то Катяню у того заветного барабана и Веруню среди зрителей. Сошлись на мнении, что выступила она здорово, и показалась, чего уж там сомневаться, лучше всех на своей игре.

Обе старухи уверяли, что Катяня куда больше и спела, и сплясала, и прибаутки там всякие, и частушки, и присказки — всё, что накопила за

жизнь, всё, мол, выдала с азартом и на хорошем голосе… Никто не поверил, так как песню всего одну показали, ту самую, когда в студии потом тишина её оглушила, а пляски так сильно урезали, что никто вообще ничего в них не понял. Выходило, будто она только коленца показала и каблуками отбила по кругу разок и всего-то.

Ирка радовалась, что её платок там был. И не признала сначала, как-то он по-другому смотрелся с экрана, как-то хуже, что ли?

Особенно всех удивило, как Катяня угадывала буквы и слова называла.

— Ну, ты прям энциклопедия! — восхищался народ, не подозревая о Катяниных попытках угадывать, что называется, "пальцем в небо" и об их с Веруней тайных сигналах. И только когда золовка рассказала про серёжку, про то, как ладони чуть не изломала, пытаясь сложить в виде буквы "с", стали ещё больше удивляться, как они, старые бестии, всех там на телевидении провели и объегорили.

Катяня с Веруней смотрели, вопреки ожиданиям, хоть и с интересом, ну, это понятно, но как-то без удовлетворения. Неприятный осадок всколыхнулся в груди с первых же кадров передачи, противно стало.

12

Это вообще был последний выпуск "Поля чудес", который они посмотрели. Потом, если и начиналась передача, сразу же переключали. Всегда. Катяня, если из двух зол ей приходилось выбирать меньшее в этом случае, всегда предпочитала смотреть хоть ненавистный "НТВ", хоть что угодно, но другое, лишь бы не "Поле чудес". И Веруня тоже. Каждая в глубине души надеялась, что это временно, что эти противоречивые чувства пройдут со временем. Были даже уверены, что, когда это случится, снова продолжат смотреть программу, в которой, как ни крути, приняли участие.

13

До весны техника простояла у Катяни в горнице. Хоть и мешалась, а вытащить в сени не решилась, вдруг попортится от холода, сенцы-то промёрзлые. А в середине мая Колька, когда на станцию ездил по делам, то загрузил в багажник коробку с плитой, а пылесос на переднее сиденье положил. Катяня сзади поехала.

Покупатели нашлись быстро. Барыги какие-то взяли всё разом за двенадцать тысяч. Хорошо ещё, Колька сторговаться сумел за эти деньги, сама бы она не сумела так выгодно. Колька с неё ни копейки не взял за то, что возил да торговал, спасибо ему. Катяня благодарила его сердечно всю обратную дорогу и пообещала, что по осени угостит его сальцем, когда свинку зарежет, а Веруня самогона выгонит самого лучшего, и они ему на день рождения поставят.

Дома Катяня спрятала деньги за иконкой в уголке.

Вечером следующего дня она пошла к Веруне, чтобы скоротать время, да и в целях экономии бюджета, тем более что после "Поля чудес", поиздержавшись, приходилось постоянно думать про то, как уберечься от лишних трат. Заначки на чёрный день, той, что была раньше, хоть и крохотной, в полторы тыщи, теперь не осталось, смертные деньги — по восемь тысяч отложили и она, и Веруня — тоже истратили в столице, да в пути туда-обратно, так что поясок затянуть пришлось, и туговато. Принялась с пенсии по чуть-чуть откладывать, то три сотенные, то четыре, к маю тыщу с копейками насобирала. И Веруня так же.

Прежде чем выйти из дому, Катяня, взяв корзиночку с вязаньем, нырнула за иконку. Достала свёрточек, увязанный в носовой клетчатый платочек, развернула, отсчитала половину, сунула в карман халата, а остальное снова закрутила, завязала на два узелка и обратно положила. Перекрестилась, поклонилась и пошла к золовке.

Терзала её мысль, что Веруня-то ведь больше, чем она, потратила, ей за гостиницу пришлось заплатить. Получалось, что надо было ей большую часть

денег, вырученных от продажи пылесоса и плиты, отдать, ну, где-то тыщ восемь примерно, а себе четыре оставить.

Она остановилась у ворот в раздумьях, потом вернулась и взяла с собой платочек со своей долей деньжат. С тем и пошла.

Веруня как раз только из печки курник вынула. Румяный и сытный, он лежал на столе, и из самой середины, где она дырочку прорезала, чтобы пар выходил, тонкая ароматная струйка дразнила запахами курятины, картошечки с луком, лаврового листика и укропчика.

Сели пить чай. Веруня, не дожидаясь, когда остынет, отрезала по хорошему куску себе и Катяне. Солидные треугольники сочились на тарелках мясным жирком, исходили распаренным картофельным духом, и золовка уже не без осторожности, потому что ещё жгло, уплетала хрустящую корочку, запивая чайком, а вилку держала наготове в другой руке, чтобы черпануть начинку. Катяня же глядела на кусок хоть и с аппетитом, но отстранённо. Веруня не поняла, чего это она медлит, и начала угощать, мол, ешь, пока рот свеж, чего задумалась?

Катяня подняла на неё виноватые глаза:

— Я, Вера, вот чего решила. Деньги, что мы с Колькой выручили на станции, ну, ты знаешь, мы с тобой поделим. Давай тебе восемь, а мне остальные четыре. Вот так.

Она вынула из кармана платочек со свёрточком внутри, начала было его развязывать, но золовка решительно остановила её:

— Вот ты чего удумала, а я-то в толк не возьму, чего эт ты не ешь, — отодвигая тарелку, тихо, как никогда, почти прошептала Веруня и тут же чуть громче прибавила: — Не надо, Катя… Ты выиграла, а я чего и сделала, так только то, что тебя на эту аферу подбила, и потому все расходы сама буду нести. Оставь себе всё.

Катяня достала из кармана вторую половину денег и положила рядом:

— Нет, Вера, если не хочешь, как я сказала, то давай хоть поделим пополам. Так верно будет.

Веруня сопротивлялась долго. Уже и курник наполовину съеден, и чай второй раз в чайнике закипал, а она всё твердила своё, что не надо и пополам делить, а правильно будет Катяне всё себе оставить. Но та не соглашалась. Препирались долго, но всё почём зря.

Когда спорить надоело, включили телевизор. Показывали “Поле чудес”. Начиналось самое интересное — суперигра. Веруня поднялась и телек выключила.

В конце концов, Катяня чуть не слезами уговорила Веруню взять-таки половину денег и, оставив на столе шесть тыщ, ушла домой.

Веруня долго молча смотрела на пятитысячную красненькую и две фиолетовые пятисотки. Ей и в руки не хотелось брать эти деньги, но и вернуть их Катяне не было никакой возможности. Она свернула их в трубочку, перевязала резиночкой, завернула в марлечку, потом в выцветшую ситцевую салфеточку и припрятала в укромном уголке своего шифоньера, там же, где хранила и свою заначку — девятьсот тридцать рублей, что удалось за весну собрать по крохам с пенсии. Катяня знала от неё про это тайное место, так, на всякий случай, так же, впрочем, как и Веруня про уголок за иконкой.

Потом, правда, всю ночь Веруня не спала после этого, и утром первое, что сделала, отнесла обратно Катяне деньги. Тоже со слезами, еле-еле, но всё же уговорила забрать себе.

Всё лето после этого Веруня прибаливала. То одно, то другое, а ближе к осени и вовсе её хватил удар. То ли покопала картошку в наклон, то ли с уборкой ботвы на огороде переусердствовала, но в голове сосуд, как сказали потом врачи Катяне, не выдержал и лопнул. Померла легко, хлоп — и всё! На крыльце, когда веником сор сметала, и бросанулась, бедная. И позвать никого не смогла, только, видать, пыталась сама приподняться, но так и не сумела. Тут, на чистеньких ступеньках её Катяня и обнаружила. Она терзалась всё с того случая из-за денег, и аккурат в тот вечер решила снова с Веруней поговорить, чтоб разделить всё-таки поровну двенадцать тысяч, что за иконкой хранила. И вот — на тебе!

Дочка Верунина приехала на похороны и стала жалиться, что хоронить мать не на что из-за ипотеки проклятой, которая высосала из неё всё и затянула в такую кабалу, из которой она, наверно, и до самой своей смерти не вырвется.

Местные собрали — кто сколько мог — три с половиной тыщи. Катяня достала из шифоньера узелочек, в котором лежало ещё полторы, а из кармана халата она вынула ещё восемь, сказав, что задолжала золовке и собиралась отдать, да не успела. На это Веруню и схоронили. Как раз на гроб простенький, покрывало, отпевание в церкви, полотенчики для помина, конфеты-печенье для этого же, водку для поминок хватило и чтобы за место на кладбище заплатить — оно обошлось в двести пятьдесят шесть рублей сорок три копейки по местным расценкам. Узелок с новым платьем вишнёвого цвета, ситцевой сорочкой, платком, чулками и зелёными парусиновыми тапками на липучках лежал в шифоньере на видном месте.

Поминки справили собственными припасами покойницы и Катяниными, благо, что лето урожайное выдалось, и картошка хорошо уродилась, и другие овощи, кроме огурцов, которые рано пожелтели и засохли, а свинка выросла, набрав нужный вес.

Напрасно они думали с покойницей-золовкой, что “Поле чудес” будут когда-нибудь смотреть снова. Катяня эту передачу больше не смотрела никогда.

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

“К ПРЕДАТЕЛЬСТВУ ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ...”

* * *

10 января 1992 года в Доме Ростовых на учредительной писательской Конференции содружества независимых государств Евгений Евтушенко так высказался о гибели СССР:

“Мы живём в особое время. Произошёл колоссальный политический катаклизм. Если образование Союза независимых государств и не укладывалось в какие-то крючкотворства, прокрустова ложа, то всё-таки мы счастливы, не только мы, но и всё человечество счастливо, что на месте бывшего Союза СССР образовалось новое содружество государств... Мы уверены, что вместе с вами соединимся в общем содружестве, которое не будет построено по пресловутому, осуждённому нами принципу “старшего брата”. Вспомним хотя бы то, что многие русские писатели защищали писателей других республик, в том числе из Прибалтики, когда партийно-бюрократическая система их угнетала; бросала за решётку борцов за незалежность Украины, – мы боролись тоже вместе за их свободу. Я вынужден вам напомнить о том, что когда-то Иван Драч приезжал в Москву ко мне для того, чтобы я написал письмо в защиту замечательного критика Ивана Дзюбы, которого преследовали за его прекрасную книгу о насильственной русификации” (из стенограммы).

Да, своей “прекрасной” книгой “Интернационализм или русификация?” Дзюба воспитывал будущих “тягнибоков” и прочих героев кровавого майдана. А о том, какими были “борцы за незалежность Украины” Иван Драч и Дмитро Павлычко, мне написал в письме из Киева украинский прозаик и фронтовик Александр Сизоненко: **“Они ведь с цепи сорвались во времена перестройки, особенно в 90-91 годах. А я всё время был с “Нашим современником”, за что и изгнали меня мои “друзья” Драч и Павлычко, перекрасившиеся в “руховцев” из Правления. И из Президиума Союза писателей Украины. Ну, а они были основателями “Руха”. А “Рух” создавался на платформе ненависти к России, к Советскому Союзу, к Славянскому братству... Теперь все ждут, что я вытру сапоги о знамёна, под которыми жил, воевал, был убит в Берлине 28 апреля 1945 года в ближнем бою на Фридрихштрассе, но почему-то выжил, пришёл в себя 9 мая под шатром медсанбата. Не дождутся недруги ни моего отречения от СССР, ни от России! Обнимаю Вас!**

Ал. Сизоненко”. 31.12.2006.

Продолжение. Начало см. в №11, 12 за 2019 г., в №1–5, 7–10 за 2020 г., в №2 за 2021 г.

Вот так разошлись в разные стороны пути двух советских писателей с украинскими фамилиями – Евтушенко и Сизоненко.

* * *

А что касается так называемого "советского интернационализма", который якобы всю жизнь исповедовал Евтушенко, то ярче всего этот "интернационализм" проявился у него во время грузино-абхазской войны 1992 года, когда отряды грузинских уголовников, освобождённых из тюрем и надевших военную форму, под предводительством двух уголовных авторитетов Отара Иоселиани и Тенгиза Кетавани, произведённых в генералы, ворвались в Абхазию, посмевшую провозгласить свою независимость от Грузии. Население Грузии в это время составляло четыре миллиона человек, население Абхазии – всего лишь сто тысяч, и она была обречена на полное поражение в кровавой резне. О том, почему абхазы выстояли в этой неравной борьбе, написана поэма выдающегося абхазского поэта Мушни Ласуриа, который в мирное советское время совершил творческий подвиг во имя дружбы народов – перевёл на абхазский язык поэму Руставели "Витязь в тигровой шкуре", роман в стихах Александра Пушкина "Евгений Онегин" и драгоценные для каждого православного человека страницы Нового завета... В те кровопролитные дни 1992 года Мушни Ласуриа как верный сын своего народа искал поддержки, сочувствия и помощи в сопротивлении грузинским оккупантам не у Шеварднадзе и не у Тенгиза Абуладзе, а у русских писателей – у Леонида Леонова, у Сергея Михалкова, у Вадима Кожинова – и нашёл у них эту поддержку. Он также надеялся, что его поймёт и поможет ему всемирно знаменитый поэт Евгений Евтушенко, которому в связи с его пятидесятилетием в восьмидесятых годах прошлого века народ и власти Абхазии построили и подарили прекрасную дачу в Гульрипше, на берегу моря. Однако Евтушенко ни слова не сказал об этой войне, на которой погибали лучшие сыны Абхазии. Почему? На этот вопрос Мушни ответил с горечью и душевной болью в поэме "Отчизна":

Но, прославлен, всюду знаменит,
Евтушенко медлит и молчит,
И молчат писатели Пен-клуба...
Что-то им мешает. И сугубо
Тайное посланье — в их молчанье,
В нём — Тбилиси весть и обещанье
Шеварднадзе сторону принять:
Мы, мол, вместе с Грузией опять!
Мы, мол, с Вашингтоном в этот час,
И Европа пусть одобрит нас!

Вся финальная глава поэмы – это печальное повествование о том, как Евгений Евтушенко, клявшийся всю жизни в любви к Абхазии, предал и её, и всех своих абхазских друзей, и самого себя, о чём повествует его бывший абхазский друг Мушни Ласуриа, ясно видевший, что Грузия Шеварднадзе отдаляется от Советского Союза, забирая с собой свою колонию – Абхазию, Апсны, страну души.

...Помню я Гульрипш. На берегу —
Позабыть вовеки не смогу —
Дачный дом построен, как дворец!
Лаврами увенчанный певец,
Евтушенко, важный юбиляр,
От абхазов принял этот дар!

В ход пошёл технический прогресс —
Братскую как будто строим ГЭС!
Как иначе, ведь приехал друг —
Трудимся, не покладая рук!

А и то: поэту ведь полтинник!
И с друзьями гордый именинник
Празднует сегодня юбилей...
Нет ему Абхазии милей!

В Цебельде, на склоне гордых гор,
Где отыщет любопытный взор
Вдалеке Кодорское ущелье,
У поэта нынче новоселье!

И шатёр предстал в помпезном стиле
(Целую неделю возводили!).
Вид прекрасен, зодчие смелы́ —
Под ногами плавают орлы!

Думаю, писателя иного,
Мирового корифея слова,
Не найдётся, чтобы даты те
На такой отметить высоте!

Что ни пожелай, дадут легко,
Будь то дичь иль птичье молоко.
Свадьба гор и моря, говорят,
На былинный первозданный лад!
Реки вин, отличная еда...
Юбиляр в ударе, как всегда.
О его заслугах, встав, как встарь,
Повествует первый секретарь.
За поэта поднимает рог:
“Он не гость, он дома, видит Бог!..”

Все, кто был — в горах, на берегу —
Подтвердят, что я сейчас не лгу.
Юбиляр, видавший много стран,
Не привык за словом лезть в карман.
И, торжествен, но в общенье прост,
Возглашает он ответный тост,
Молвив: “С достопамятного дня,
Как привёз Ласуриа меня,
Я горжусь Абхазией родной,
Как второю Родиной земной!
От неё, клянусь, я без ума.
Мне Сухум — как станция Зима!
Знайте ж, люди, — я не промолчу...”
.....
Но с тех пор, как вся Апсны в беде,
Что-то с ним сродни параличу —
Он ни слова не сказал нигде!

Он оглох, похоже, и ослеп...
Дружеских не стало больше скреп.
Никогда уж больше, никогда,
Вновь его не встретит Цебельда!
Не плеснут здесь волны о былом,
Говоря с распластанным орлом!

Поэма Ласуриа была написана при жизни Евгения Александровича, но, думаю, он её не читал, поскольку не до абхазских воспоминаний было нашему борцу с “партийно-бюрократической системой”, защитнику украинских “руховцев” и другу грузинских уголовников. Он всю жизнь считал, что многие

поэты – его современники и вообще писатели – обязательно должны завидовать его таланту, его литературной судьбе, его славе. И меня он зачислял в ранг завистников.

Наивный человек. Как будто у людей нет других, более серьёзных причин для отторжения, нежели зависть! Ну, вспомнить бы ему, как много лет тому назад, когда мы были с ним на родине Яшина, между нами вдруг вспыхнуло пламя взаимной неприязни.

Мы сидели большой и шумной компанией московских и вологодских литераторов в гостинице городка Никольска – только что вернулись с родины Яшина из деревни Блудново и продолжили своё праздничное общение в двухэтажном деревянном доме, в большой комнате со скрипучими полами.

Стояло раннее лето, и в распахнутые окна ветерок, дующий с реки Юг, вносил в комнату сладкие запахи отцветающей черемухи. Настроение у всех было превосходное.

Но всё испортил мой тёзка – критик Станислав Лесневский. Он встал со стаканом в руке и предложил здравицу в честь "знаменитого, великого русского национального поэта Евгения Евтушенко". Слова Лесневского покоробили всех – всё-таки Вологодчина – родина Николая Клюева, Александра Яшина, Николая Рубцова. Бестактно...

Взглянув на улыбающегося Евтушенко, принявшего как должное грубую экзальтированную лесть, я решил вернуть своего тёзку на грешную землю:

– Да, я готов выпить за знаменитого, может быть, даже за великого, но за русского национального – никогда. Ты уж извини меня, Женя.

– А кто же он такой, по-твоему, – сорвался на провокаторский визг Станислав Стефанович Лесневский. – Если не русский, то еврейский, что ли?

– Может быть, никакой, а может быть, и еврейский. Вам лучше знать, – ответил я.

В состоянии истерики Лесневский выскочил из комнаты. Вслед за ним ушёл и великий поэт.

– Станислав! – с мягким упрёком обратился ко мне вологодский писатель Александр Грязев, – неудобно как-то. Может быть, позвать Лесневского обратно?

– Обойдётся! – отрезал я. – Ещё сам извиняться придёт...

Лесневского мы нашли лишь к вечеру, спящего тяжёлым похмельным сном в зарослях черёмухи на берегу реки. А по возвращении в Москву я вскоре получил от него письмо:

"Дорогой тёзка! Высоко ценя тебя как поэта, литератора и деятеля, я чувствую себя крайне виноватым перед тобой за свою невыдержанность в приснопамятный день. Прими, пожалуйста, мои искренние извинения. От души желаю тебе блага, здоровья и удачи во всем задуманном.

Твой Ст. Лесневский".

* * *

Однако своеобразная человечность в Евгении Александровиче всегда жила. Вспоминаю рассказ Межирова, как они с Евтушенко мчались к Новодевичьему кладбищу откуда-то из-за города, чтобы успеть на похороны Хрущёва. Они опаздывали, за рулём был Е. Е., который так гнал машину, так боялся, что может не успеть к этому историческому событию, что ему стало плохо – он вдруг свернул на обочину и выскочил из машины. У него началась от перенапряжения рвота... Я думаю, что в основе всех превращений, случавшихся с ним, всё-таки лежат подлинные чувства, что осуждать его за "метаморфозы" – это всё равно, что осуждать хамелеона за то, что его тело меняет цвет, чтобы слиться с окружающей средой. Это даже не расчёт, а инстинкт.

Ну, что делать, если Е. Е. жаждал нравиться всем – и русским, и еврейским, и советским. И простонародью ("граждане, послушайте меня"). И интеллигенции ("интеллигенция поёт блатные песни"). И патриотам ("хотят ли русские войны"). И русофобам (стихи о русских коалах). Правда, будучи игроком по природе, он иногда повышал ставки до предела, шёл ва-банк, как это случилось в 1963 году, когда Е. Е. издал за границей "Автобиографию рано созревшего человека". Банк Евтушенко не сорвал, осрамился, и пришлось

ему в Союзе писателей покаяться: *“Я совершил непоправимую ошибку... Я ещё раз убедился, к чему приводит меня позорное легкомыслие... Тяжёлую вину я ощущаю на своих плечах... Я хочу заверить писательский коллектив, что полностью понимаю и осознаю свою ошибку... Это для меня урок на всю жизнь”.* Каялся искренне.

А было ему тогда уже 30 годков, и помню, как я был поражён этим самобичеванием, как до меня дошло, что такие натуры никогда не пропадут, ни при каких обстоятельствах. Я ведь тоже рисковал, выступая на дискуссии “Классика и мы” и распространяя своё письмо о “Метрополе”, у меня ведь тоже были крупные и опасные игры с “большой идеологией”, и в ЦК меня прорабатывали, и в Союзе писателей. Но никогда и нигде я не раскаивался, потому что знал, что говорю и пишу правду. Ну, как можно каяться, если ты прав?

Но не случайно и то, что предисловие к “Автобиографии рано созревшего человека” написал не кто-нибудь, но Аллен Далес, который, видимо, сразу понял, что на таких “шестидесятников”, как Евтушенко, можно делать ставку.

Но об этой детективной истории надобно вспомнить особо.

В феврале 1963 года Евгений Евтушенко приехал с бывшей женой своего друга Галей в Европу, где опубликовал в западногерманском журнале “Штерн” и в парижском еженедельнике “Экспресс” свою тайно вывезенную из СССР “Автобиографию рано созревшего человека”, что спровоцировало буквально через месяц, в марте 1963 года, на кремлёвской встрече Н. С. Хрущёва “с деятелями литературы и искусства” извержение потоков гнева на головы “ведущих шестидесятников” – Евтушенко, Вознесенского, Аксёнова, Эрнста Неизвестного... Неумный и вспыльчивый Хрущёв, оболгавший на XX съезде КПСС сталинскую эпоху, через 7 лет понял, что поторопился с разоблачением тоталитаризма и культа личности, что надо снова закручивать идеологические гайки, и устроил на этой встрече “шестидесятникам” настоящую порку.

Чтобы восстановить в памяти подробности этого скандала, я решил перечитать евтушенковскую “Автобиографию...”. Однако найти её в крупнейших библиотеках Москвы – в “Ленинке”, в “Историчке”, в “Иностранке”, в университетской “Горьковке” не удалось. Этих изданий в них просто не было ни в свободном доступе, ни в спецхранах. Тогда я по совету знающих людей отправился в Библиотеку Русского Зарубежья имени Солженицына, где мне с большим трудом отыскали не французское и не германское издания “Автобиографии...”, но лондонское, изданное во “Flegon Press” в 1964 году, попавшее в солженицынскую библиотеку из Брюсселя, из частной библиотеки некоего Леонида Левина. Потрёпанная книжечка в мягком переплёте, кем-то зачитанная, вся почёрканная, со словами на шмуцтитуле: “Дурь со свистом”, – с коротким невыразительным предисловием, подписанным инициалами “Д. Б.”, и с перепечаткой из советской прессы осуждающих Евтушенко отзывов поэта Василия Фёдорова, кратким словом Юрия Гагарина “Позор!” и статейкой секретаря ЦК ВЛКСМ тех лет Сергея Павлова, озаглавленной “Языкоблудствующий Хлестаков”.

Я быстро пробежал глазами 124 страницы хвастливого и многословного текста и сделал несколько выписок, характеризующих автора. *“Когда я вижу человека с помещичьей психологией, то мне всегда хочется тоже подпустить ему красного петуха”.* Эти слова Евтушенко написал о своём родственнике по материнской линии, который сжёг в Белоруссии помещичью усадьбу во время крестьянского бунта. Как это ни смешно, но когда началась грузино-абхазская война 1992 года, у Евтушенко сожгли в абхазском Гульрипше дачу, которую ему при советской власти построили и подарили абхазы. Как говорится, напророчил на свою голову...

“Революция была религией моей семьи, – пишет Евтушенко в “Автобиографии...” – *Мой дед Ермолай Евтушенко, полуграмотный солдат, учился в военной академии, стал комбригом, занимал крупный пост заместителя начальника артиллерии РСФСР. Последний раз я видел его в 1938 году: “Я хочу с тобой выпить!” – “За что?” – спросил я. “За революцию”, – ответил дед сурово и просто. А потом запел тягучую песню кандальников, песни забастовок, песни гражданской войны”.*

Трудно поверить, что дед вёл такой разговор с шестилетним внуком, предлагая ему выпить за революцию. Но что написано пером, того не вырубишь топором...

Постоянно хвастаясь своим интернационализмом, поскольку в его жилах, как он сам выяснил, течёт "немецкая", "шведская", "польская", "латышская" и "украинская" кровь, Евтушенко, тем не менее, неоднократно заявлял, что он отвергает **"родство по крови", ведущее к национализму: "Я презираю национализм. Для меня мир разделён на две нации: нация хороших людей и нация плохих людей".**

Но этого ему показалось мало, и он тут же поклялся в верности коммунизму, понимая, что генсек Хрущёв оценит это признание: **"В связи с тем, что коммунизм, как я уже сказал, стал самой сутью русского народа, то циники и догматики не просто предатели революции – они предатели своего народа",** – написал он в письме Хрущёву по поводу своей "Автобиографии...". Однако и это утверждение ему показалось недостаточным, и Евгений Александрович, понимая, что кашу маслом не испортишь, добавил: **"Для меня как для русского, как для человека, для которого заветы Ленина – самое дорогое на свете, антисемитизм всегда был вдвойне отвратителен"...**

Ну, за эти слова Хрущёв должен был не кричать на Евтушенко, а приколоть ему орден на лацкан пиджака.

А Евгений Александрович, сообразив, что тема интернационализма для него, у которого *"еврейской крови нет в крови"* – всё равно, что золотая жила для золотоискателя, уже не останавливался на достигнутом, и вот какую сцену то ли вспомнил, то ли сочинил для доверчивого читателя в своём лондонском издании:

"Вдруг открылась дверь, и появился старичок-наборщик в рабочем халате.

– Ты Евтушенко будешь? Дай руку, сынок. Я набирал твой "Бабий Яр"... Правильная вещь! Все рабочие у нас в типографии читали и одобряют... – Рука старичка нырнула в халат, и оттуда появилась четвертинка водки и солёный огурец.

– Это тебе наши рабочие прислали, чтоб ты повеселел. Не волнуйся, давай и я с тобой выпью за компанию... Ну, так-то оно лучше... Я, брат, в молодости в рабочей дружине участвовал. Евреев мы от погромщиков защищали. Хороший человек антисемитом быть не может... Старичок что-то ещё говорил, и мне как-то спокойней становилось на душе".

Ну, прямо-таки не наборщик, а какой-то сказочный дед Мороз с дарами, с чекушкой и солёным огурцом. А "Бабий Яр", оказывается, стал духовной пищей для русского простонародья и приговором для антисемитов: *"Я,* – продолжает Евтушенко, – *получил на "Бабий Яр" около 20 тысяч писем, и лишь тридцать-сорок из них были написаны в агрессивном тоне. Но все они были написаны левой рукой".* Я прочитал эти слова и расхохотался: Е. Е., словно опытный профессиональный следователь, распознал, какой рукой (левой или правой!) были написаны эти ненавистные ему "тридцать-сорок" писем!

Но если говорить о сути "шестидесятничества", то сама евтушенковская "Автобиография..." не заслуживает серьёзного внимания. Серьёзного внимания заслуживают комментарии и предисловия европейских и американских идеологов и пропагандистов холодной войны с СССР, которыми они сопровождали евтушенковскую исповедь. В некоторых публикациях последних лет при жизни Евтушенко не раз сообщалось, что, кроме трёх европейских изданий "Автобиографии...", было ещё одно – четвёртое, американское, предисловие к которому якобы написал бывший глава ЦРУ Аллен Даллес,

"В прозе у нас теперь гуру Солженицын. Как сказал в беседе со мной полковник ГРУ Валерий Берчун: "Какие бы улицы и центры ни называли его именем, для меня Солженицын остался человеком, который воевал против моей страны". В поэзии "наше всё" – Евтушенко, предисловие к автобиографии которого написал бывший глава ЦРУ Даллес. Заслужить надо такую честь! Теперь нас Евтушенко из Оклахомы учит родину любить. А за Даллеса заступается. Вот как Евтушенко отвечает на вопрос журналиста Андрея Морозова:

– Очень много писали о том, что так называемая "Доктрина Даллеса" – фальшивка. Но если это так, то почему всё, о чём там написано, сбылось?

– Я считаю, что для американской разведки слишком много чести думать, что это они развалили Советский Союз. Мы это сделали сами".

О как! Ну, естественно, “мы сами”. С Вашей помощью, Евгений Александрович, как же-с. “Вы и убили-с” (из интернет-журнала Л. Сычёвой, март 2016).

“Бежал в Америку, как Казимир Самуэлевич Паниковский с краденым гусем подмышкой бежал за “Антилопой-Гну”: “Возьмите меня! Я хороший! – Возьмём гада”, – сказал Остап. А кто тут был в роли Остапа? Ведь, кажется, директор ЦРУ Аллен Даллес, который так любил русскую поэзию, что в своё время написал предисловие к вашей “Автобиографии рано созревшего человека” (из статьи В. Бушина “Ворон к ворону летит...”. Штрихи к портрету господина Евтушенко. “Завтра” 14 ноября, 2013).

Из статьи Соломона Беллоу “Босоногий мальчик. Преждевременная автобиография Евгения Евтушенко”:

“Евтушенко – звезда. Фанаты вожделеют его автограф. Мировая пресса следит за его деятельностью. Его автобиография публикуется в Saturday Evening Post с предисловием отставного главы ЦРУ мистера Аллена Даллеса. Он плох для Них, хорош для Нас. Премьер Хрущёв негодует. Товарищ Ильичёв, главный пропагандист при Сталине, в ярости <...> то, что удовлетворяет Евтушенко, необходимо в глазах публики для образа русского поэта, в России и за рубежом, поэта, который говорит прямо, по совести, он поэт, в котором так сильно нуждается как Запад, так и Восток, символ свободного духа. Он, должно быть, чувствовал необходимым протолкнуться так далеко, как посмеет, чтобы защитить плоды русской “оттепели”.

Из книги Григория Климова “Протоколы советских мудрецов”: **“Будучи в Нью-Йорке, Евтушенко моментально присоединился к демонстрации молодёжи в Гринвич-виллидже, где протестовал против приказа начальника полиции Нью-Йорка, который запретил их сборища на Вашингтон-сквере. Но Евтушенко умалчивает, что это были сборища педерастов и лесбиянок. Всё это из “Автобиографии...”, написанной самим Евтушенко” <...> “Во всём он обвиняет антисемитов и скулит о Бабьем Яре... Вот потому-то предисловие к этой “Автобиографии...” написал Аллен Даллес, бывший начальник ЦРУ. Они сразу увидели в Евтушенко “полезного идиота”, которого можно употребить для целей психологической войны”.**

Прочитав эти комментарии, я понял, что мне надо разыскать предисловие Даллеса, опубликованное в американском еженедельном издании Saturday Evening Post от 10 августа 1963 года. Сведущие айтишники сообщили мне, что это еженедельное издание можно получить из американского архива, но за деньги. Я согласился, но вскоре выяснилось, что дело не только в деньгах, что получить нужный мне текст из этого засекреченного архива можно было лишь человеку, имеющему американское гражданство. И тут я вспомнил, что в одном из провинциальных штатов Америки работает в местном университете наш советский филолог, уехавший туда в начале перестройки, мой давний знакомый и, к счастью, русский человек.

Найти его телефон не стоило большого труда, и я попросил его о помощи. Спустя месяц от него пришла бандероль, в которой был запечатан еженедельник, внешне похожий на наш “Огонёк”, и я вздохнул с облегчением: наконец-то я пойму, почему знаменитый разведчик и провокатор международного масштаба благословил издание “Автобиографии...” советского поэта своим ЦРУшным авторитетом.

На разноцветной обложке этого таинственного еженедельника грубо и аляповато был нарисован Колонный зал Дома Союзов с громадным портретом Сталина на фасаде. К фасаду Дома Союзов сбоку от Сталина почему-то была пристроена Спасская башня Кремля с пятиконечной звездой. Вся Пушкинская улица и часть Охотного ряда, переходящего по плавному изгибу в Пушкинскую, были буквально переполнены человеческими фигурами, головами и лицами с искажёнными гримасами, с кричащими ртами... Видимо, американский художник так представлял себе прощанье советского народа со Сталиным, которое произошло 9 марта 1953 года и где побывали и я, и Евтушенко. Но мы прошли по той траурной Пушкинской в молчаливой очереди, плывущей ко входу в Колонный зал. И самое главное: на фоне безобразно орущей толпы с искажёнными от горя и злобы ртами был нарисован лик поэта, в котором с трудом можно было узнать Е. Е. с клочьями волос, прилипших ко

лбу, с губами, сжатыми в чёрную нитку, с сумасшедшим взглядом и надписью на верхнем краю обложки: **“Блистательная история жизни и борьбы за свободу советского поэта при Сталине и Хрущёве”**. Далее следовало короткое безымянное вступление от редакции Saturday Evening Post, объясняющее американским читателям, кто такой Евтушенко и почему его “Автобиография...” удостоена такой чести, что о ней пишет сам Аллен Даллес:

“Автобиография Евгения Евтушенко.

Для того чтобы высказаться против беспринципной диктатуры, нужно мужество. Тридцатилетний русский поэт Евгений Евтушенко обладает мужеством произнести беспощадный приговор советскому коммунизму, которого не произносил ни один писатель. Кремль запретил эту книгу, но впервые американские читатели могут узнать почему”. А далее следовало само предисловие Даллеса:

“Хрущёв получил бунт и не знает, как с ним поступить. Восстание интеллектуалов, поддержанное многотысячными толпами народа, собравшимися в Москве, чтобы послушать, как Евгений Евтушенко читает свои стихи. И это наиболее опасное для советского режима восстание. Три десятилетия тому назад против коллективизации восставали крестьяне: “Это было ужасно, – признавался Сталин Черчиллю в критические минуты 1942 года, – в восстании участвовали 10 миллионов крестьян”. По словам Сталина, потребовалось четыре года, чтобы подавить это восстание. Через 7 лет Хрущёв показал, что он может быть более безжалостным, чем Сталин, когда послал вооружённые до зубов дивизии в Будапешт, чтобы потопить в крови венгерское восстание 1956 года.

Сейчас другое дело. Вооружённые войска и массовое кровопролитие – бесполезные инструменты против поэтов и артистов. И Хрущёв сам распахнул двери для возмущённых интеллектуалов. Он мог тихонько похоронить сталинизм, но вместо этого в секретной речи 1956 года стал плясать на могиле Сталина и проклинать его. Эта речь была предназначена лишь для узких партийных кругов, но Центральное разведывательное управление США завладело текстом речи и опубликовало его по всему миру. Как пишет Евтушенко в “Автобиографии рано созревшего человека”, “хрущёвское разоблачение сталинских чудовищных преступлений оказалось искрой, от которой и разгорелось восстание интеллектуалов”. И как теперь быть? Либо нужно возвращаться к сталинизму, либо разрешить свободы, которые сокрушают всю советскую систему. Вот проблема, с которой столкнулись Хрущёв и советские руководители. На последнем съезде ЦК Компартии (XXI съезд ЦК КПСС 1962 г. – **Ст. К.**) **Хрущёв отказался от мирного сосуществования между коммунистической и буржуазной идеологиями: “Этому не бывать!” – сказал он и добавил, что партия продолжит руководить интеллигенцией.**

На мой взгляд, это предвестие нового периода тяжёлого идеологического давления, а возможно, и жестоких репрессий. Евтушенко и его друзья-интеллигенты, скорее всего, станут первыми мишенями. При помощи идеологического давления можно достичь первоначальных хрущёвских целей даже без применения чрезвычайных мер.

Богемная жизнь Евтушенко и других молодых интеллигентов, возможно, не приведёт к репрессиям и мученичеству. Вопреки призывам его друзей-либералов стойко стоять, Евтушенко уже пошёл на компромисс и согласился на некоторые поправки в своей знаменитой поэме “Бабий Яр”. Журнал “Новый мир”, который первым опубликовал пронзительную историю о сибирском концлагере “Один день Ивана Денисовича” (февраль 1963 года), тоже частично склонился перед официальной линией. Мало того, вожди восстания интеллигенции, в числе которых значится и Евтушенко, по убеждениям коммунисты, что делает их послушными требованиям партии.

Всё-таки хрущёвская проблема ещё не решена, поскольку Евтушенко и его друзья идеализируют коммунистическую теорию. А на практике коммунистическая система не признаёт за ними права свободно выражаться в собственной стране и таким образом неизбежно электризует их таланты. На некоторое время молодые интеллигенты могут быть возвращены в струю общей идеологии, но несоответствие между коммунистической теорией и практикой рано или поздно станет для них очевид-

ным. Вот почему бескровное восстание интеллигенции в перспективе станет более опасным для коммунистической власти, нежели восстание крестьян в коллективизацию или борцов за свободу Венгрии".

Много воды утекло с той поры, как были написаны эти страницы. Но перечитываю их сегодня и думаю: автор стихов о Сталине, эпопеи о Ленине, поэм о стройках коммунизма, множества стихотворений о мировых революциях, происходивших на земном шаре в XX веке, поэт, для которого кумирами были Фидель Кастро и Сальвадор Альенде, – зачем, с какого перепугу он добился или согласился с тем, чтобы его "Автобиография..." была освящена предисловием человека, который был врагом всего революционного и "русско-советского", чему служила евтушенковская Муза? Зачем было ему, писавшему хрестоматийные стихи: **"А любил я Россию всею кровью, хребтом, // её реки в разливе и когда подо льдом"**, верившему – **"если будет Россия, // значит, буду и я",** – похвала ЦРУшника, который только и мечтал, чтобы Россия исчезла с лица Земли и как общество, и как государство?

Вот уже более полувека в Советском Союзе и в России историкам известны тезисы некоего плана по разрушению нашей страны. Евтушенко не мог этого не знать, если вспомнить, что он, когда было нужно, выходил со своего городского телефона на прямую связь с Юрием Андроповым. Но скорее всего, этот пресловутый "план" был изложением речи тогдашнего (1944) сотрудника Управления стратегических служб США и его резидента в Европе (а позже – 1953–1961 – директора ЦРУ) Аллена Даллеса на одном из закрытых заседаний этого ведомства. Впервые полный текст "плана" был обнародован в России в одном из выступлений Иоанна, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского – "Советская Россия", 20 февраля 1993 г. О подлинности этого документа свидетельствовали В. С. Широнин – "Под колпаком контрразведки", М., 1996 г., Ю. И. Дроздов – "Записки начальника нелегальной разведки", М., 1999 (М., 1981). Под заголовком "План Даллеса" были опубликованы основные выдержки из этого текста в книге историка Н. Яковлева "ЦРУ против СССР" (М., Правда, 1983). Многие абзацы из меморандума Совета национальной безопасности США, имеющие заголовок "Задачи в отношении России" (август 1948) также совпадали текстуально с абзацами из книги Н. Яковлева. Но какие главные соображения о будущем Советской страны приписывались в 60-е этому персонажу из фильма "Семнадцать мгновений весны"? Перечислим их. Вот она, эта страница, суть которой не менее страшна, нежели планы, изложенные в книге "Майн кампф" германском предшественнике Даллеса.

"Окончится война, всё утрясётся и устроится. И мы бросим всё, что имеем, – всё золото, всю материальную мощь – на оболванивание и одурачивание людей".

"Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдём своих единомышленников, своих союзников в самой России".

"Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного и необратимого угасания его самосознания. Из искусства и литературы мы постепенно вытравим его социальную сущность; отучим художников и писателей – отобьём у них охоту заниматься изображением и исследованием тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театры, кино – всё будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства".

"Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства, – словом, всякой БЕЗНРАВСТВЕННОСТИ. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху".

"Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, процветанию взяточников и беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов, – прежде всего,

вражду и ненависть к русскому народу, – всё это мы будем ловко и незаметно культивировать, всё это расцветёт махровым цветом".

"Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением. Будем браться за людей с детских, юношеских лет, и главную ставку всегда будем делать НА МОЛОДЁЖЬ – станем разлагать, развращать и растлевать её. Мы сделаем из неё циников, пошляков и космополитов".

Незачем ломать голову – фальшивка или нет пресловутый "План Даллеса"? Увы! Все наши отношения с Америкой за последние семьдесят с лишним лет есть осуществление этого плана. Именно поэтому первый том трёхтомника моих воспоминаний "Поэзия. Судьба. Россия" начинается словами: **"Я имею честь принадлежать к той породе русских людей, о которых Аллен Даллес, изложивший в конце Второй мировой войны программу планомерного уничтожения России и русского народа, с высокомерием писал: "И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдём способы оболгать и объявить отбросами общества".**

Да, многое нынче у нас на родине вершится согласно этому плану. Но всё-таки я не верю, что адский замысел – **"грандиозная по своим масштабам трагедия самого непокорного на земле народа"** – успешно осуществляется. Не может быть того, что предсказал Даллес. Не только потому, что нас много, но ещё и потому, что "всё позволено", как говорил Достоевский, лишь при одном условии: "если Бога нет"...

Так что в 2005 году я был убеждён в том, что "план Даллеса" написан англосаксонской рукой. А знакомство с его предисловием к "Автобиографии..." Евтушенко ещё больше укрепило меня в этой догадке.

Если даже Аллен Даллес не является подлинным автором легендарного документа, то всё равно его предисловие к американскому изданию "Автобиографии..." Евтушенко выглядит, как деловое пособие для вражды "детей оттепели" с "кремлёвской властью". И вполне возможно, что Даллес, сочиняя предисловие к евтушенковской брошюрке, пользовался своим ранее написанным "планом". Слишком много в даллесовском плане и в его предисловии к "Автобиографии..." совпадений, мыслей и формулировок, сочинённых "одним умом" и написанных "одной рукой" проницательного и коварного врага не только Советского Союза, но и всей исторической России. И тут само собой возникает вопрос, на который необходимо ответить: почему "сомнительный план" получил такую известность и почему автор "Автобиографии..." согласился на то, чтобы предисловие к ней писал враг его родины.

Конечно, люди с Лубянки знали об американском издании "Автобиографии...", но Хрущёв, взъярившийся на Евтушенко, не знал об этом. Иначе Евгений Александрович был бы не просто изгнан из Союза писателей, но, может быть, вообще был лишён советского гражданства и выслан из страны. В том, что этого не произошло, я вижу заслугу сотрудников Лубянского ведомства. Лубянке был нужен Евтушенко не "изгнанный" из страны, а имеющий возможность ездить по всему миру (что он и делал, побывав в "94-х странах") и, встречаясь с политиками, идеологами, государственными деятелями Западного и вообще капиталистического мира, вольно или невольно следовать советам, а то и прямым распоряжениям своих опекунов "в штатском", отвечающих за безопасность нашего государства. Об этом после 1993 года, открыто называя имя нашего поэта, написал легендарный советский чекист П. Судоплатов в своих мемуарах. О такого рода связях Евтушенко с идеологами Лубянки писал Войнович, этой "слабости" Евтушенко не прощал поэту Бродский. Да и сам Евтушенко позже так трактовал эти щекотливые моменты своей судьбы: **"Моя автобиография, напечатанная в западногерманском "Штерне" и во французском "Экспрессе", вызвала всплеск новой надежды левых сил в Европе после депрессии, вдавленной в души гусеницами наших танков в Будапеште 1956 года".** Ни об американском издании "Автобиографии...", ни о предисловии Даллеса он, всегда хвастливо гордившийся своими знакомствами со знаменитыми людьми (Никсон, Роберт Кеннеди, Сикейрос, Клинтон, Пикассо и т. д.), не промолвил ни слова. Забыл? Едва ли. Скорее всего, он поступил согласно русской пословице: "Почуяла кошка, чьё мясо съела"...

И таких восторженных ценителей поэтического слова, как Даллес, в сложной жизни Евгения Александровича больше не было. Бывший директор ЦРУ

не пожалел для него ни пафоса, ни лести: **“Русский поэт Евгений Евтушенко обладает мужеством произнести беспощадный приговор советскому коммунизму”.** Похвалы и комплименты Даллеса, сформулированные им в 1963 году, столь глубоко и красноречиво продуманы, что диву даёшься:

“Восстание интеллектуалов, поддержанное многотысячными толпами народа, собравшимися, чтобы послушать, как Евтушенко читает свои стихи, <...> – наиболее опасное для советского режима восстание”... “Вооружённые войска и массовое кровопролитие – бесполезные инструменты против поэтов и артистов”... “Бескровное восстание интеллектуалов в перспективе станет более опасным для коммунистической власти, нежели восстание крестьян в коллективизацию или борцов за свободу Венгрии”... Как в воду глядел!

Ну, как тут не отдать должное бывшему директору ЦРУ, его пророчествам, его хищному англосаксонскому уму! В 1963 году он предвидел не просто истинную судьбу деятелей, подобных Евтушенко, но и разгул на карте мира всех “цветных революций” конца XX – начала XXI века, начиная от нашей “перестройки” и заканчивая событиями на сегодняшней Украине, в лукашенковской Белоруссии и даже в патриархально-племенной Киргизии. Поистине он, вместе со Збигневым Бжезинским и Фукуямой, могут считаться злыми гениями, играющими азартные партии на шахматной доске мировой истории. Вот как понимал приход к власти Хрущёва выдающийся русофоб и антисоветчик Збигнев Бжезинский в книге “Большой провал”:

“Последствия того, что в Кремле оказался генеральный секретарь-ревизионист, были огромными. Это должно было привести не только к вспышке более резкой и страстной полемики почти всех аспектов советской жизни. Это так же не могло не оживлять и не усиливать куда более решительный в своих устремлениях восточно-европейский ревизионизм, в то же время лишая Кремль идеологического амвона, с которого можно было бы предать анафеме еретиков”.

* * *

Евгений Евтушенко на всех крутых поворотах своей авантюрной судьбы с назойливым пафосом и актёрской наивностью сообщал всему миру о том, что он побывал в 94-х странах, что стихи его перевели на 72 языка, что после поэмы “Бабий Яр” он стал любимцем мирового еврейства, которое выдвигает его на Нобелевскую премию, что он стал академиком многих десятков академий земного шара, что был четырежды женат и т. д, и т. п.... Нечто похожее было в нашей поэзии после Октябрьской революции, но гораздо в меньших масштабах.

Помнится, как в 1920-е годы Есенин с Маяковским каждый написали стихотворение, обращённое к А. С. Пушкину, стоящему на Тверской площади. В эту же эпоху Блок произнёс знаменитую речь о Пушкине и написал стихотворное завещание “Имя Пушкинского Дома”. А Марина Цветаева в эссе “Мой Пушкин” и Анна Ахматова в стихах объяснились поэту в любви. Одним словом, все знаменитые поэты Серебряного века искали в трудное послереволюционное время поддержки и понимания у “солнца русской поэзии”. Но обращаться только к одному Пушкину? Для Евтушенко этого показалось мало. И он с неподражаемой фамильярностью провозгласил своё кредо: **“Дай, Пушкин, мне свою певучесть, свою раскованную речь! Дай, Лермонтов, свой желчный взгляд! Дай, Некрасов, уняв мою резвость, боль иссечённой музы твоей! О, дай мне, Блок, туманность вещую! Дай, Пастернак, “смещенье дней, смещенье веток!” Есенин, дай на счастье нежность мне к берёзкам и лугам, к зверью и людям! Дай, Маяковский, мне глыбастость, буйство, бас!..”** Слава Богу, перечислил всех...

Ну, что было делать с такого рода амикошонской откровенностью? Разве что руками развести и вспомнить, что его грандиозные эпопеи “Казанский университет” и “Братская ГЭС” по объёму чуть ли не превосходят пушкинский роман в стихах и некрасовскую поэму “Кому на Руси жить хорошо”. Однако, обуреваемый всяческими грандиозными замыслами, наш рекордсмен умел вершить и благие дела. Однажды, прочитав в юности антологию русской поэзии Ежова и Шамурина, он возмечтал создать шедевр подобного рода, после

чего у нас появилась его антология "Строфы века" объёмом в тысячу страниц, затмившая ежовошамуринскую и по толщине, и по количеству поэтических имён. В этой гигантской книге были опубликованы стихотворные подборки тысячи с лишним поэтов, каждая подборка была снабжена и осмыслена предисловием составителя. Вес этого фолианта достигал нескольких килограммов, что свидетельствовало: русская поэзия XX века является самой увесистой поэзией мира. Словом, мировой рекорд был установлен во всех смыслах, труды составителя по изданию этого шедевра были неимоверными: *"Я начал работать над этой антологией,* – сообщил нам тяжелоатлет, – *ещё во времена холодной войны".* И его великодушию при отборе стихов не было равных: *"Составитель,* – писал он о себе, – *включил в эту антологию стихи некоторых поэтов, глубоко чуждых ему самому по гражданской нравственности (?), и даже своих ярых "литературных врагов".* Его историческая объективность была по тем временам небывалой: *"Я всегда хотел, чтобы эта антология была похожа на дом Волошина в Крыму, где во время гражданской войны находили братский приют "и красный вождь, и белый офицер".* Его уверенность в том, что он, издавая "Строфы века", вершит великое миротворческое дело, была по-своему даже трогательной, а рассказ о том, как Марина Влади перевозила через границу "чемодан поэзии" ради того, чтобы первое издание "Антологии" появилось на свет в американском издательстве "Дабльдэй", ставит эту конспиративную "операцию" рядом с историей издания на Западе "Доктора Живаго", появившегося на белый свет благодаря стараниям ЦРУ.

"Почему мой чемодан с рукописью антологии я дал именно Марине Влади? После процесса над писателями Синявским и Даниэлем, когда за романы, стихи, статьи и речи диссидентов начали бросать в лагеря и психушки, таможенники беспощадно конфисковывали все рукописи в багаже, идущем за границу. Но Марина Влади была близка к французским коммунистам, впоследствии даже стала членом их ЦК, и её чемоданов обычно не открывали. Поэтому я и попросил именно её нелегально перебросить сразу примерно 250 русских поэтов в Париж. В чемодане было 15 килограммов поэзии.

Под облупленной крышкой моего чемодана, переданного Марине, в первый раз оказались вместе символисты, акмеисты, футуристы, ничевоки, пролеткультовцы; белогвардейцы, красные комиссары; аристократы и их бывшие крепостные; революционные и контрреволюционные террористы; элегантные строители башни из слоновой кости, пахнущие духами "Коти", и пахнущие луком и водкой разрушители этой башни при помощи двух основных инструментов – серпа и молота; эмигранты четырёх волн, оказавшиеся за границей поневоле, и те, кто никогда даже краешком глаза не видел ни одну другую страну; западники и славянофилы; знаменитости и те, кто не напечатал в жизни ни строчки; жертвы лагерей и жертвы страха оказаться в этих лагерях; лауреаты Сталинских, Ленинских и Нобелевских; некоторые – увы! – талантливые реакционеры с шовинистским душком и некоторые – увы! – гораздо менее талантливые прогрессисты; революционные романтики и отчаявшиеся диссиденты; представители так называемой эстрадной поэзии и представители так называемой тихой поэзии; затянутые в чопорные сюртуки формы классицисты и сардонические неоавангардисты в грязных продранных джинсах; смертельные литературные враги в прошлом и смертельные литературные враги в настоящем. Вот каким разным было шумное, спорящее, воюющее друг с другом иногда даже после смерти население чемодана с рукописью антологии русской поэзии. А помог Марине Влади дотащить этот чемодан до таможни аэропорта "Шереметьево" не кто иной, как актёр Театра на Таганке, поэт-мятежник с гитарой, муж Влади и один из будущих авторов этой антологии – Владимир Высоцкий".

Сказано вроде бы страстно и убедительно, и "всё же, всё же, всё же", впадая во вдохновенное краснобайство, Евтушенко умалчивает о том, что многих, враждебных ему по мировоззрению поэтов, он не включил в свою "великодушную антологию", а над некоторыми стихами поработал, как настоящий и беспощадный цензор, а в своих предисловиях к стихотворным подборкам не раз наклеивал унизительные и несправедливые ярлыки на имена поэтов, неугодных или враждебных ему. Своя рука, как говорит пословица, владыка.

Одним из самых значительных литераторов начала XX века, вышедших, подобно Есенину, из крестьянства, был Пимен Карпов. Его первую поэтическую книгу "Говор зорь" одобрил Лев Толстой, Александр Блок, прочитав роман Карпова "Пламень", отозвался выше некуда: *"Из "Пламени" нам придётся — рады мы или не рады — кое-что запомнить о России <...> Плохая аллегория и "святая правда"*. Сергей Есенин высоко ценил его как поэта.

Но когда в 1921 году руководством к действию для ЧК стало письмо Ленина о борьбе с религией, когда в Европу был отправлен "философский пароход", когда в 1922 году для борьбы с русским свободомыслием был создан цензурный комитет, когда в 1923 году состоялся общественный суд под четырьмя поэтами-выходцами из крестьянства — Сергеем Есениным, Алексеем Ганиным, Сергеем Клычковым и Петром Орешиным, — суд спровоцированный, как и многие судебные дела той эпохи, "на почве антисемитизма", вот тогда Пимен Карпов, увидевший, куда завела революция русское простонародье, излил свои чувства, написав в письме своему другу К. А. Рудневу:

"За что меня истязают и пьют вёдрами мою кровь, и не дают печататься, подлецы, костоглоты? Ведь эдак можно с ума сойти! Ведь это наиважнейшая из казней — не давать писателю печататься! Я понимаю, журналистику иногда можно щемить, потому что вообще журналистика ничто, гнойник на теле русской культуры (Карпов сам много лет был корреспондентом различных газет. — **С. К.**)*, но — художественное слово! Ведь без него же все превратятся в орангутангов, обрастут мхом, поделаются людоедами!"*

Но в своём предисловии к стихам П. Карпова, напечатанным в "Строфах века", Евтушенко так поглумился над судьбой несчастного поэта:

"Не так давно в ЦГАЛИ было найдено и опубликовано С. Куняевым стихотворение Карпова "История дурака", помеченное 1925 годом, в котором много общего с клюевским восприятием, точней, неприятием революции. Карпова больше не печатали, хотя в письмах на высокие имена он бунтовал, что вот-де писателей-фашистов печатают (он их перечислил, в том числе назвал фашистом и... Джеймса Джойса), а его, Карпова, не печатают. Не помогло — печатать всё равно не стали. Никто не знает, как он дальше существовал. Каким-то чудом выжил и однажды появился, как призрак прошлого, в издательстве "Советский писатель" с авоськой, полной превратившихся в лохмотья рукописей. Так и умер он, не вспомненный современниками".

А "с авоськой, полной превратившихся в лохмотья рукописей", Карпов появился в издательстве "Советский писатель" в 1962 году, когда Евтушенко был в зените своей славы. Карповские "лохмотья", естественно, в издательстве никто не стал читать, и через год близкий Есенину друг и поэт умер, и о нём было забыто надолго.

Лишь в 1985 году мы с сыном, составляя книгу поэтов есенинского круга "О Русь, взмахни крылами!", включили туда 15 замечательных стихотворений Карпова, но самое значительное из них — "Историю дурака" — редакторы и цензоры издательства "Современник" печатать с негодованием отказались. И вот почему... С началом перестройки и фактической отменой цензуры это стихотворение, предложенное нами в *"День поэзии 1989", главными редакторами которого был Пётр Вегин, Алексей Марков и Дмитрий Сухарев, было отвергнуто Сухаревым и составителями Татьяной Бек и Тамарой Жирмунской со следующими резолюциями:* ***"Таня, я против. Т. Ж.", "Я против... Т. Б.", "Я против, т. к. в этой вещи общая трагедия народов страны изображена как исключительно русская трагедия, что несправедливо. Д. С."*** В общем, снова Пимен Иванович оказался неудобным как большевикам, так и либералам. Оставалось надеяться только на благородство Евтушенко, заявившего на весь мир, что он враг всяческой цензуры и что он как составитель готов включить в свою антологию *"стихи некоторых поэтов, глубоко чуждых ему самому"*. Он действительно включил в "Строфы века" "Историю дурака" Пимена Карпова, но "исключил" из этой маленькой поэмы (77 строчек) три четверти текста, которые я выделяю жирным шрифтом, чтобы читатель наглядно увидел сам, как наш борец с цензурой, в сущности, надругался над стихами и памятью незаурядного русского поэта, выброшенного из литературной жизни в 1925 году, а умершего в нищете и в забвении в 1963-м, и чьё самое заветное стихотворенье было искалечено нашим "есенинцем" в 1995-м.

ИСТОРИЯ ДУРАКА

I

Когда с непроходимых улиц,
С полей глаза Руси взметнулись, –
Была тобой, дурак, она
На поруганье предана.
В заклятой той стране-остроге
Умерщвлены тобою боги;
Ища бессмертья, гадий мир
Лакает чёртов эликсир!..
Да! Кровью человечьей сыто,
В свиное устремясь корыто,
Наследие твоё, урод,
Теперь вовеки не умрёт:
Сопьются все, померкнут славы,
Но будут дьяволы-удавы
И ты – дурак из дураков –
Жить до скончания веков!

II

Ты страшен. В пику всем Европам...
Став людоедом, эфиопом, –
На царство впёр ты сгоряча
Над палачами палача.
Глупцы с тобой "ура" орали,
Чекисты с русских скальпы драли,
Из скальпов завели "экспорт" –
Того не разберёт сам чёрт!
В кровавом раже идиотском
Ты куролесил с Лейбой Троцким,
А сколько этот шкур дерёт –
Сам чёрт того не разберёт!
Но всё же толковал ты с жаром:
"При Лейбе буду... лейб-гусаром!"
Увы! – Остался ни при чём:
"Ильич" разбит параличом,
А Лейба вылетел "в отставку"!
С чекистами устроив давку
И сто очков вперёд им дав,
Кавказский вынырнул удав –
Нарком-убийца Джугашвили!
При нём волками все завыли:
Танцуют смертное "танго" –
Не разберёт сам чёрт того!
Хотя удав и с кличкой "Сталин" –
Всё проплясали, просвистали!..
Дурак, не затевай затей:
Пляши, и никаких чертей!

III

Смеялись звёзды и планеты
Над дьявольскою пляской этой;
Голодные кружили псы
У опустелой полосы:
Из щелей выползали гады,
Любви и солнца тризне рады,
И, попирая жизни новь,
Невинную лакали кровь...

Вот эти 20 с лишним строчек – это всё, что оставил Е. Е. от потрясающего стихотворенья Пимена Карпова:

Рабы, своими мы руками
С убийцами и дураками
Россию вколотили в гроб.
Ты жив, — так торжествуй, холоп!
Быть может, ты, дурак, издохнешь,
Протянешь ноги и не охнешь:
Потомству ж — дикому дерьму —
Конца не будет твоему:
Исчезнет всё, померкнут славы,
Но будут дьяволы-удавы
И ты, дурак из дураков,
Жить до скончания веков.
Убийством будешь ты гордиться,
Твой род удавий расплодится, —
Вселенную перехлестнёт;
И будет тьма, и будет гнёт!
Кого винить в провале этом!
Как бездну препоясать светом,
Освободиться от оков?
Тьма — это души дураков!..

IV

...И мы взываем с новой силой —
Господь, от глупости помилуй!
Не то на растерзанье псам
Напорешься, Господь, Ты Сам!
.....

1925

Однако не Пимен Карпов был самым близким Есенину поэтом в роковые двадцатые годы, таким был Алексей Ганин. Он вырос в крестьянской семье из деревни Коншино Вологодской области, окончил вологодское медицинское училище и в 20-летнем возрасте уже стал на Вологодчине известным поэтом. В начале войны 1914 года его призвали в армию, где он встретился в Царском Селе с санитаром Сергеем Есениным и вошёл в круг его друзей – Петра Орешина, Сергея Клычкова, Николая Клюева и Пимена Карпова. Через год вместе с Сергеем Есениным и Зинаидой Райх Ганин побывал на Соловках, а по возвращении в Вологду он присутствовал как поручитель невесты на венчании Сергея и Зинаиды в вологодской Кирико-улитовской церкви... После революции Ганин добровольно вступил в Красную армию, служил фельдшером в армейских госпиталях, издал в Вологде несколько литографированных стихотворных сборников. Один из них – "Красный час" – был посвящён Есенину. В 1922 году Ганин перебрался в Москву, где вместе с Есениным, Клюевым, Клычковым и Карповым участвовал в литературных вечерах крестьянских поэтов и где издал свою последнюю при жизни поэтическую книгу "Былинное поле". Следующая книга Алексея Ганина вышла в Архангельске лишь через 70 лет. Её собрали мы с сыном после тщательного изучения "следственного дела" Алексея Ганина и его расстрела на Лубянке 30 марта 1925 года. Он был осенью 1924 года арестован и прошёл через пытки и допросы, которыми руководил обер-палач ЧК Яков Самуилович Агранов. А ордер на арест Ганина был подписал 1 ноября 1924 года самим Генрихом Ягодой. О том, кем был при жизни Алексей Ганин для Есенина и всех его друзей, написал тот же Пимен Карпов в леденящем душу стихотворении, которое стало отчаянным вызовом не только комиссарам госбезопасности Ягоде и Агранову, но по существу всей властной номенклатуре 1920-х годов.

В ЗАСТЕНКЕ

Памяти А. Г.

Ты был прикован к приполярной глыбе,
Как Прометей, растоптанный в снегах,
Рванулся ты за грань и встретил гибель,
И рвал твоё живое сердце ад.

За то, что в сердце поднял ты, как знамя,
Божественный огонь — родной язык,
За то, что и в застенке это пламя
Пылало под придушенный твой крик!..

От света замурованный дневного,
В когтях железных погибая сам,
Ты сознавал, что племени родного
Нельзя отдать на растерзанье псам,

И ты к себе на помощь звал светила,
Чтоб звёздами душителя убить,
Чтобы в России дьявольская сила
Мужицкую не доконала выть...

Всё кончено! Мучитель, мозг твой выпив,
Пораздробив твои суставы все,
Тебя в зубчатом скрежете и скрипе
Живого разорвал на колесе!

И он, подъяв раздвоенное жало,
Как знамя над душою бытия,
Посеял смерть: ему рукоплескала
Продажных душ продажная семья.

Но за пределом бытия, к Мессии —
К Душе Души — взывал ты ночь и день, —
И стала по растерзанной России
Бродить твоя растерзанная тень.

Нет, не напрасно ты огонь свой плавил,
Поэт-великомученик! Твою
В застенке замурованную славу
Потомки воскресят в родном краю.

И пусть светильник твой погас под спудом,
Пусть вытравлена память о тебе —
Исчезнет тьма, и в восхищенье будут
Века завидовать твоей судьбе...

А мы, на ком лежат проклятья латы,
Себя сподобим твоему огню,
И этим неземным огнём крылаты,
Навстречу устремимся Звездодню!

1926

Справедливости ради следует вспомнить, что двое главных “мучителей” Алексея Ганина – Агранов и Ягода – бесславно закончили свою чекистскую карьеру в роковом “тридцать седьмом”, столь ненавистном Евгению Александровичу. Но что делать, коли в земной истории властвует закон, гласящий, что “революция пожирает своих детей”!

* * *

...В конце 80-х годов прошлого века чуть ли не каждую осень я повадился охотиться и рыбачить на Беломорском Севере, на холодных и чистых реках Мезени, Пинеге, Мегре и однажды по счастливой случайности узнал, что в Архангельске живут две сестры Алексея Ганина. Конечно же, я разыскал их и провёл в долгих разговорах с ними многие вечера... Память у них обеих была прекрасная, и они многое рассказали мне о трагической жизни их семьи в двадцатые годы на вологодской земле в деревне Коншино.

Из рассказа младшей сестры А. Ганина Марии Алексеевны Кондаковой, записанного мною в 1987 году в Архангельске:

"Отец наш – Ганин Алексей Степанович. Мать – Ганина Евлампия Семёновна. Был ещё брат, работал в "Гагринской правде" и в "Правде Севера". Журналист. В 1937 году арестован, а в 1941 году "умер в местах заключения". Об Алексее была точно такая же формулировка официального письма. "Умер 30 марта в местах заключения". Как погиб брат? Я была в 1925 году у прокурора Кудрявцева Пимена Васильевича в Вологде. Он сказал, что Алексей написал поэму, якобы порочащую Троцкого, и напечатал в "Московском альманахе" в 1924 году. Их забрали нескольких человек. Его судил военный трибунал. Но до этого они сидели уже раз по "делу антисемитизма". Писали Демьяну Бедному, чтобы помог, а тот ответил: "Как сели, так и выбирайтесь".

"Было у нас земли три четверти надела. Лошади не было. Своего хлеба хватало лишь до Михайлова дня – до двадцать первого ноября. Остальное отец зарабатывал – печки клал на Беляевском заводе. Художественно работал. Художником хотел быть.

Деревня наша Коншино – 18 домов, 96 душ было. Помню, как Алёша, когда пошёл в армию, вырезал на доске: "Деревня Коншино", – и прибил на столб при въезде в деревню.

Папа был малограмотный, но толковый мужик. В Архангельском селе недалеко от нас была церковь и памятник напротив церкви Александру-Освободителю. Сшибли голову. Отец ходил с красным флагом. Помню, его одна старуха упрекала в восемнадцатом году: "Вот бегал с красным флагом, а теперь голодаем, хлеба нету..." Он был коренастый, светлый, со светлыми бровями...

Дом у нас был с мезонином. В мезонине было много полок с книгами. Брат спал на полу. И Есенин, когда к нему приезжал, спал на полу. В июле 1917 года я уехала в Вологду готовиться к экзаменам. Жила я на Богословской улице в доме с каменным низом и деревянным верхом. Вдруг приходит брат и говорит:

– Пойдём в ресторан! Обедать!

Пришёл не один... Если бы знать, что с ним Есенин... Он тогда ещё не был знаменит. Оба были в одинаковых костюмах. Алёша меня за руку взял – мне тогда уже одиннадцатый год шёл. Ресторан "Пассаж" на Каменном мосту. А теперь поликлиника. Вход был с угла. Лестница красивая, зал большой... Сидела я, оглядывалась – салфетки меня удивляли, люстры, а я думала: "Какие паникадила!" Потом принесли красивые тарелки – розовые цветочки запомнила – и красный суп (борщ!). При входе в ресторан стоял медведь, а в руках у него было блюдо. До собора меня проводили... "Мы очень спешим". Была у нас фотография: оба они в серых костюмах с надписью: "Другу Алёше. Сергей".

Кажется, в 1923 году брат поехал в Москву, хотел издать книгу. Бедствовал, работал где попало. Потом издал книгу "Былинное поле". Слышала я, что ему Дункан помогла. А после <19>25 года вызвали меня в ГПУ. Директор говорит: "Тебя вызывают". Брат Федя работал в "Красном Севере". Я ему сказала: буду ходить вокруг да около. Но мы ещё ничего про Алексея не знали. Пришла. Мрачное помещение. Молодой парень. Я, говорит, познакомиться хочу. Я ему в ответ: у нас вечера бывают, приходите... "А где ваш брат?" – Я говорю: "Уехал в Москву, рукопись сдавать..." Он выслушал. Ничего не сказал".

Я разглядываю фотографии: Алексей Ганин в кругу родных и земляков. Они в деревенской одежде. Отец в войлочной бесформенной шляпе. Ганин – молодой, красивый, одет по-городскому...

* * *

Из воспоминаний старшей сестры А. Ганина Елены Алексеевны:

"Жена Алёши была эстонка. В Пинеге он её нашёл, их выселили из Эстонии во время гражданской войны. Когда он уехал из деревни в Москву, она ждала, ждала его, да и решила, что бросил... Возвратилась в Эстонию вместе с дочерью Валей. Писала нам из эстонского города Выру: "Сообщите что-нибудь об Алёше". А мы и сами ничего не знали о нём. Уехал – и пропал. Узнал всё года через три брат Фёдор. Поехал в Москву. Вернулся. Молчит. Только закроет лицо и скрипит зубами, а то и плачет... Потом не выдержал, сказал: "Алёшку-то расстреляли". А Гильда – Галей мы её звали – умерла в 1937 году в Тарту. Но всё это мы через много лет узнали. Решили Галю и племянницу свою Валю разыскать после войны. Сначала писать боялись, а потом написали в Таллин... Вскоре пришло письмо от Гильдиной соседки – через почтальона нашли. Узнали, что и дочка Алёши Валечка умерла в 1941 году под оккупацией. Вот какая была красавица, с косами! – Елена Алексеевна показывает мне фотографию. – А я, помню, сон видела: новая квартира и две печки холодные. Зачем они, думаю, раз не топятся? Прихожу домой из хлебного магазина – навстречу сестра: письмо, мол, получила, и Гали, и Вали давно в живых нету... Многие говорят, что эстонцы плохие. Нет, очень приветливые! Мы навестили родственницу Гильды, от которой письмо получили, где-то в 60-х годах ещё... Потом долго переписывались, она нам шерсть посылала.

А брат Фёдор работал в "Красном Севере" в Вологде, потом перевели в Нальчик, из Нальчика в "Гагринскую правду", где и арестовали. Сидел он в Каргопольском лагере, писал нам письма. В марте сорок первого получили от него весточку: не пишите мне, нас отправляют в новое место, напишу сам... И до сих пор пишет. Ответ получили: умер от паралича сердца в Магадане, судила тройка, дали десять лет... До сих пор не реабилитирован...

Всего-то нас было пять сестёр и два брата. Остались я да Маруся... Родительский дом у нас был обшитый, родители добротой славились. Попрошайки, бывало, придут, кто в деревне ночевать пустит? Ганины! Отец всех нищих за стол сажал. "Ешьте, пейте..."

Работящий был. Ставил печки, сеял коноплю, вил верёвки, кожу выделывал, сапоги шил, корыта из осины долбил. Земли-то было мало... А мать была хорошая плетея, кружева плела на семьдесят пар на продажу. Нитки ей давали заборщики, а потом забирали. Косынки плела из чёрных шёлковых ниток. И меня научила...

Соседнее село Архангельское было с церковью, с торговыми купцами, с каменными лавками. Приходское село... Купец был в селе – Ярков, умный мужик, когда туго стало – всё продал, уехал в Иркутск, вступил в партию... Справедливый был, хоть и купец. Бывало, отец придёт в лавку к его жене: "Пелагея Фёдоровна, праздники, детишкам чего-то купить надо". Та зовёт приказчика, а отцу: "Выбирай, да не бери дешёвое, ты что, богач?" Долг запишет, а нам в подарок изюму да пряников...

Я была в последний раз в Коншино в 1938 году... Всё запустелое... Церковь, где апостолы были, как живые, захабалили, всё переломали, зерном засыпали. Не зря пели песенку пионеры в те годы:

Мы всё взорвём,
мы всё разрушим,
мы всё с лица Земли сотрём,
и солнце старое потушим,
и солнце новое зажгём...

Я сама наизусть пела... А в церковь до сих пор хожу в нашу архангельскую, икона у меня из родного дома...

В тридцать первом году меня насильно от отца-матери отправили на лесозаготовки. Отец больной, мать больная. Надо было на лесоучасток лошадей гнать. Я и погнала. Отец не мог оставить мать больную. А у меня скоро рука от пилы заболела... Вернулась домой. В лес возвращаться не хочу. А сестра моя старшая Анна была в Балахне. Думаю – надо в Балахну бежать, а то в лесу подохнешь. Прибавили мне в сельсовете год, паспортов тогда не

было, – и поехала я из деревни. Как щас помню: мать больная осталась, стоит на пригорке одна, слезами заливается... Будь оно проклято, то время... Из Балахны я писем не писала, боялась, найдут да возвернут в лес... А про Алёшу что ещё сказать? Стихи он писать начал рано, когда я ещё была маленькая... Стихи про деда Степана помню... Дом-то у нас был с мезонином – перед окнами росли яблони, черёмуха...

У Алексея была в мезонине библиотека... Такие книги были! Спасли только Евангелие, ему подарил священник с надписью, когда он в Усть-Кубенском училище закончил... А вот ещё Псалтырь отца. Я память родителей чту, и ночь перед Пасхой не сплю... Помню, как Есенин и Райх с братом приезжали к нам.

Она в Вологде работала у Клыпина, был такой краевед с частным издательством. Райх секретарём у него была... Приехали, когда рожь клонилась, стучатся в наш дом: "Хозяюшка, нельзя ль переночевать?" А мать в ответ: "Сейчас скажу отцу, он пустит!" Брат рассмеялся – мать его и признала. Вошли... Утром, я помню, жду не дождусь, когда проснутся. Как раз они на праздник попали после Петрова дня – на престольный праздник нашей деревни... Помню Райх – в белой блестящей кофте, в чёрной широкой шуршащей юбке. Весёлая... А Есенин хорошо играл на хромке – подарил её Фёдору, хромка с зелёными мехами. Долго лежала. Потом пропала.

Фёдор на ней играл и частушки сочинял:

Эх, вы, сени мои, сени,
Не сплясать ли трепака?
Может быть, Сергей Есенин
Даст нам кружку молока...

(Я из этого заключаю, что Фёдор знал стихи Есенина или слышал их в Коншино – стихи о матери со строками: "И на песни мои прольётся // молоко твоих рыжих коров". – **Ст. К.**)

Ну, сразу смех: озорные девчата окружили Есенина, потребовали по кружке молока, и поэт движением руки отправил насмешниц к хозяйке дома, к нашей матери. А ещё Фёдор исполнял и такую частушку:

Ах вы, сени, мои сени,
Были сени — теперь нет,
Был Сергей Есенин стельным —
Отелился или нет.

(Опять же мне понятно, что младший брат Алексея Ганина в частушке иронизировал над "богохульными строками" Сергея Есенина: "Господи, отелись!" – **Ст. К.**).

...После Соловков брат опять заехал к нам в новой домотканой рубахе – сшил в Вологде. Бывало, с Федей придут на посиделки – и берут играть с собой самую какую-нибудь худую и бедную девушку. А потом о ней в деревне говорят: из города, мол, приехали с ней играть, один писатель, в шляпе!..

Фёдор-то в Алексее души не чаял. Приехал из Вологды, когда узнал о расстреле Алексея, никому ничего не сказал, боялся за мать – думал, с ума сойдёт... Она каждый день фотографии перебирала. В мезонин поднималась – сидит и плачет. И я с нею. А я до сих пор по брату плачу. Пока живу, буду плакать..."

* * *

Алексей Ганин с товарищами был арестован в Москве после того, как чекисты, возглавляемые Аграновым, обнаружили у поэта при обыске осенью 1924 года его политический манифест, носивший название "Мир и свободный труд народам". В этом поразительном документе поэт осуждал власть, которая, по его словам, *"вместо свободы несёт неслыханный деспотизм и рабство: вместо законности – дикий произвол ЧК и Ревтрибуналов, вместо хозяйственно-культурного строительства – разгром культуры и всей хозяйственной жизни страны; вместо справедливости – неслыханное взяточничество,*

подкупы, клевета, канцелярские издевательства и казнокрадство. Вместо охраны труда – труд государственных бесправных рабов, напоминающий времена дохристианских деспотических государств библейского Египта и Вавилона. Всё многочисленное население коренной России и Украины, равно и инородческое, за исключением евреев, брошено на произвол судьбы. Оно существует только для вышибания налогов. Три пятых школ, существовавших в деревенской России, закрыты. Врачебной помощи почти нет, потому что все народные больницы и врачебные пункты за отсутствием средств и медикаментов влачат жалкое существование. Всё сельское население, служащие и рабочие массы лишены своей религиозной совести и общественно-семейных устоев. <...> Свобода мыслей и совести окончательно задавлены... Всюду дикое издевательство над жизнью и трудом народа, над его духовно-историческими святынями".

Конечно, после такого дерзкого вызова действующей власти судьба Алексея Ганина, названного арестовавшими его чекистами "руководителем "Ордена русских фашистов", была предрешена. 30 марта 1925 года он и шестеро его товарищей – поэтов, художников, журналистов – были расстреляны.

К делу Алексея Ганина были приложены два документа.

Первый из них – из так называемого "Дела четырёх поэтов", возбуждённого в ноябре 1923 года.

"СПРАВКА *архивного уполномоченного.*

По делу проходят: Есенин Сергей Александрович, 1895 года рождения. Уроженец села Константиново Рязанской области. Поэт;

Клычков Сергей Антонович, 1889 года рождения. Уроженец деревни Дубровки Московской области. Поэт;

Орешин Пётр Васильевич, 1887 года рождения. Уроженец села Галахова Саратовской области. Поэт;

Ганин Алексей Алексеевич, 1893 года рождения. Уроженец деревни Коншино Вологодской области. Поэт.

Дело возбуждено 21 ноября 1923 года на основании заявления гражданина Роткина М. В. о том, что четверо неизвестных лиц в пивной на улице Мясницкого ругали евреев, называли их паршивыми жидами. При этом упоминая фамилии Троцкого и Каменева.

Допрошенные Есенин, Клычков, Орешин и Ганин показали, что они беседовали на литературные темы, Троцкого и Каменева не оскорбляли. Одновременно Есенин и Орешин признали себя виновными в том, что называли Роткина паршивым жидом.

В имеющейся переписке говорится, что делу будет дан судебный ход. Однако 11 марта 1927 года дело прекращено за давностью. Были ли осуждены Есенин, Клычков, Орешин, Ганин, из настоящего дела не видно".

Насколько серьёзным оказалось это обвинительное дело, свидетельствует черновик письма, написанного Сергеем Есениным Льву Троцкому, в котором поэт сделал всё возможное, чтобы защитить себя и своих друзей от произвола ЧК и от опасности "внесудебной расправы", столь обычной в те страшные годы, о которых Есенин писал в стихах *"Ещё закон не отвердел, // страна шумит, как непогода, // хлестнула дерзко за предел // нас отравившая свобода".* А всесильный Троцкий – второе лицо в государстве, и Есенин сочиняет ему письмо, которое, однако, осталось неотправленным. Сосновский, о котором идёт речь в письме, был в то время одним из самых яростных журналистов-русофобов.

"Дорогой Лев Давидович!

Мне очень больно за всю историю, которую подняли из мелкого литературного (зачёркнуто и не разборчиво) карьеризма т. Сосновский и Демьян Бедный.

Никаких оправданий у меня нет у самого. Лично я знаю, что этим только хотят подвести (Попутчи "ков") других "попутчиков".

О подсиживании знают давно, и потому никто не застрахован от какого-нибудь мушиного промаха. Чтоб из него потом сделали слона.

Существо моё возмущено до глубины той клеветой, которую воздвигли на моих товарищей и на меня (с Демьяном мы так не разговаривали).

Форма Сосновского... (без)... (кружит голову), и приёмы их борьбы отвратительны. Из всей этой истории нам больно только то, что ударили

по той струне, чтоб перервать её, (и) которая служила Вашим вниманием к нам.

Никаких антисемитских речей я и мои товарищи не вели.

Всё было иначе. Во время ссоры Орешина с Ганиным я заметил нахально подсевшего к нам типа, выставившего своё ухо, и бросил (громко) фразу: "Дай ему в ухо пивом (в ухо). Тип обиделся и назвал меня мужицким хамом, а я обозвал его жидовской мордой.

Не знаю, кому нужно было и зачем делать из этого скандал общественного характера.

Мир для меня делится исключительно только на глупых и умных, подлых и честных. В быту – перебранки и прозвища существуют, (но) также как (и) у школьников, и многие знают, что так ругается сам Демьян.

Простите за то, (неразборчиво) (дост(авил) если обеспокоил всей этой историей Ваши нервы, которые дороги нам как защита и благосостояние.

Любящий Вас С. Есенин".

Естественным образом дело четырёх поэтов было пристёгнуто к делу об "Ордене русских фашистов", и ОГПУшники, занимающиеся "Орденом", вспомнили о нём. А их внесудебное заключение о деле Ганина заканчивалось так:

"После нашумевшего процесса четырёх поэтов – Ганина, Есенина, Орешина, Клычкова, – обвинявшихся в антисемитской агитации, Ганин как один из проходивших по этому делу, в кругах националистически настроенной интеллигенции приобретает авторитет русофила".

"Второй обвиняемый – Пётр Чекрыгин – при допросе от 6 ноября указал, что к деятельности организации он имел косвенное отношение, что лишь однажды кто-то ему дал прочесть программу Ордена русских фашистов, в которой было тринадцать пунктов. На последней странице листа, – заявляет Чекрыгин, – собственноручно добавил два пункта – переселение евреев на свою родину в Палестину и эмансипация индивидуальности в порабощённом русском человеке".

"Заслуживает также внимания следующий случай, имевший место в день ликвидации организации 1 ноября прошлого года. Ответственные сотрудники ОГПУ товарищи Беленький, Агранов, Славатинский, Якубенко и другие, законно явившись на квартиру Чекрыгиных, застали там пьяную компанию поэтов, литераторов, проституток. Был предъявлен ордер на право ареста Чекрыгиных, и у присутствующих спросили документы. В ответ на предложение сотрудников некоторые из пьяной компании бросились в драку, нанеся трём сотрудникам побои. Этот характерный случай лишний раз наглядно вскрыл картину вышеописанного и доказал способность этих лиц на любое преступление".

"Считая следствие по настоящему делу законченным и находя, что в силу некоторых обстоятельств передать дело для гласного разбирательства в суд невозможно (подчёркнуто мной. – **Ст. К.**), **полагали бы войти с ходатайством в Президиум ВЦИК СССР о вынесении по делу Ганина, Чекрыгина, Чекрыгина, Дворяшина, Галанова, Никитина, Кудрявцева, Александровича-Потеряхина, Кроткова, Головина, Глубоковского, Колобова, Сахно и Заугольникова внесудебного приговора**".

Уполномоченный 7 отдела СО ОГПУ
Врачев

согласный Нач. 7 отдела СО ОГПУ
Славатинский".

Положение всех русских поэтов есенинского круга осложнялось тем, что, помимо преследований со стороны чекистов, их судьбами занимались и высшие власти того времени, прежде всего, надо вспомнить, что практика "внесудебных приговоров" опиралась на ленинско-свердловскую формулу из "Декрета совета народных комиссаров" от 27 июля 1918 года, гласящую: **"Совнарком предписывает всем Совдепам принять решительные меры к пресечению в корне антисемитского движения. Погромщиков и ведущих погромную агитацию предписывается ставить вне закона"**. Так что Есенин

знал, чем может закончиться бытовая ссора, возникшая в пивном зале и раздутая Демьяном Бедным и журналистом Сосновским... Но поэт и предположить не мог, что его имя и после смерти будет оболгано на высшем уровне, что "есенинщина" будет объявлена антисоветским явлением не каким-то журналистом, а одним из высших руководителей партийной жизни тех лет Николаем Бухариным.

Судьба поэтов русского крестьянства была предопределена как неизбежная трагедия уже в раннее послереволюционное время. Продразвёрстка, гражданская война, расказачивание, первое раскулачивание, белый и красный террор подрубили многие корни крестьянской жизни. Но мира для неё не наступило и после окончания гражданской войны.

Эксплуатируя, да ещё догматически, некоторые общие положения марксизма о приоритетной ценности пролетариата по сравнению с крестьянством, наши идеологи 1920-х годов отнеслись к нему как к реакционному классу, тормозящему строительство социализма. Их не смущало то обстоятельство, что "реакционным" приходилось объявлять чуть ли не восемьдесят процентов населения России, их не пугало, что они начинают длительную войну против подавляющего большинства народа. Ещё бы, в их руках была партийная власть, карательные органы, армия! Они были уверены в конечном успехе своего чудовищного эксперимента. Трагедия усугублялась тем, что их не сдерживали никакие нравственные, традиционно-исторические, национальные нормы. Никакого сочувствия к крестьянам, никакого понимания крестьянской души у них не было, да и быть не могло: ведь, как это ни парадоксально, основные идеологи того времени – Троцкий, Сталин, Свердлов, Каменев, Бухарин, Зиновьев, Ярославский, Луначарский, Дзержинский, Радек и другие – происходили из каких угодно слоёв населения, но только не из крестьянского. Ни один из них.

Большую часть жизни к тому же все они прожили в эмиграции. Откуда им было знать и любить русского крестьянина, если их судьба профессиональных революционеров была бесконечно далека от нужд и забот рязанского или тамбовского мужика? Если они были чужды ему не только по социальному, а часто и по национальному складу? А тут ещё в результате рокового столкновения этих двух исторических сил по стране прокатились крестьянские восстания начала двадцатых годов (Тамбовское, Ишимское, Северо-Кавказское, Кронштадтское), и как закономерный ответ на них возникла целая система репрессий и всяческих мер, объединённых сформировавшейся к середине двадцатых годов идеей "раскрестьянивания" России. Кстати, автором этого зловещего термина стал не кто-нибудь, а Н. И. Бухарин. В 1924 году на одном из совещаний главных идеологов эпохи он заявил: *"Мы должны вести такую политику, с какой мы ведём крестьянство, учитывая весь его вес и его особенности, вести его по линии раскрестьянивания точно так же и в области художественной литературы, как и во всех идеологических областях"*

Не случайно, что именно Бухарину М. Горький в 1925 году шлёт с Капри письмо-совет или даже письмо-инструкцию со следующим предложением:

"Надо бы, дорогой товарищ, Вам или Троцкому указать писателям-рабочим на тот факт, что рядом с их работой уже возникает работа писателей-крестьян и что здесь возможен, даже неизбежен конфликт двух "направлений". Всякая "цензура" тут была бы лишь вредна, заострила бы мужикопоклонников и деревнелюбов, но критика – и нещадная – этой идеологии должна быть теперь же. Талантливый трогательный плач Есенина о деревенском рае – не та лирика, которой требует время и его задачи, огромность которых невообразима".

Через год Н. И. Бухарин в "Злых заметках", которые, в сущности, явились партийным манифестом, направленным против русского крестьянского присутствия в литературе, с вдохновением выполнил пожелания Горького. Эта статья и её главные положения о реакционности поэзии Есенина, русского национального характера и деревенской жизни на долгие десятилетия определили враждебное отношение партийной элиты к "крестьянскому пути" литературы и искусства. Идеи Бухарина из "Злых заметок" молниеносно подхватила целая армия идеологов, газетчиков, партийных пропагандистов, усилиями которых в кратчайшее время была организована настоящая травля крестьянских писателей, продолжавшаяся более десяти лет, до той поры, пока почти все они не были репрессированы и расстреляны.

Видимо, поэтому – в результате многолетнего искоренения – крестьянская литература следующего за есенинским поколения выглядит куда скуднее, беднее, малочисленнее, нежели литература того же корня, сложившаяся до революции. Уже с начала двадцатых годов стало непрестижным, скорее – опасным, быть крестьянским писателем. Недаром в это время у Петра Орешина вырываются горькие строки о том, что **“сельские баяны, // певцы крестьянской стороны, // как будто родине багряной // мы стали больше не нужны!”** А когда началась коллективизация, крестьянские писатели есенинского поколения были почти все фактически выброшены из литературы, ибо в основном они не приняли переустройства деревни, ссылки крестьян, разорения деревни, голода.

* * *

В 1987 году Евгений Евтушенко обратился к Генеральному секретарю Советской компартии М. С. Горбачёву с чрезвычайно важной просьбой:

Уважаемый Михаил Сергеевич!

Переправляю Вам письмо с просьбой о реабилитации несправедливо обвинённых в своё время и казнённых деятелей партии и среди них, в первую очередь, Николая Ивановича Бухарина, которого Ленин называл “законным любимцем партии”. Это письмо подписано представителями передовой части нашего рабочего класса с КамАЗа. Под этим письмом могли бы подписаться все лучшие представители нашей интеллигенции. Все те, кто не только поддерживают на словах перестройку и гласность, а проводят их в жизнь, безусловно разделяют мнение авторов этого письма. Реабилитация Бухарина давно назрела, и год семидесятилетия нашего государства – самое лучшее для этого время. Мы как наследники революции не имеем права не вспомнить добрыми словами всех, кто её делал.

С искренним уважением Евг. Евтушенко.

Как один из главнейших идеологов “шестидесятничества” он должен был знать, что ему приходится восстанавливать репутацию не просто невинной жертвы сталинского режима, но и жестокого теоретика мировой революции, утверждавшего: **“Пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как ни парадоксально это звучит, методом выработки человечества из человеческого материала капиталистической эпохи”** (Бухарин Н. Э. “Экономика переходного периода”. М., 1920).

Евтушенко, называвший себя “есенинцем”, то ли не знал, то ли закрыл глаза на то, что писал в своей статье “Злые заметки” через год после гибели Есенина “законный любимец партии”. В своих “Злых заметках”, которые, в сущности, были идеологическим постановлением, опубликованным 12 января 1927 года в газете “Правда”, Бухарин направил остриё удара против главного “крестьянского” поэта – Сергея Есенина, надолго определив практику репрессий по отношению к крестьянской литературе. Но “Злые заметки” были направлены не только против “есенинщины”. В них Бухарин издевался над поэзией Тютчева, над расстрелянными дочерями последнего царя (**“которые в своё время были немного перестреляны, отжили за ненадобностью свой век”**). С недостойным для мужчины и писателя остроумием иронизируя над несчастными жертвами революционного фанатизма, Бухарин накликал и свою судьбу: его тоже, когда он стал не нужен Сталину, говоря бухаринскими же словами, **“немного перестреляли за ненадобностью”**. Как говорится, *поднявший меч...*

В этих же “Злых заметках” академик Бухарин с иронизирует над “академиком” Буниным, а о Есенине пишет как об идейном враге с особенной злобой: *“Идейно Есенин представляет самые отрицательные черты русской деревни и так называемого “национального характера”; “Всё это наше рабское историческое прошлое, ещё живущее в нас, воспевается, возвеличивается, ставится на пьедестал лихой и в то же время пьяно рыдающей поэзией Есенина”; “Причудливая смесь из “кобелей”, “икон”, “сисястых баб”, “жарких*

свечей", берёзок, луны, сук, господа бога, некрофилии... и т. д. – всё это под колпаком юродствующего квазинародного национализма – вот что такое есенинщина". Остальные борцы с крестьянской литературой словно бы только и ждали этих формулировок одного из главных идеологов теории "пролетарского принуждения".

"Что такое есенинщина? Это олицетворение хулиганства, уныния, пессимизма и наркомании. Все эти качества были и у Есенина. Даровитый юноша, он прямо из деревни попадает в Петербург и здесь втягивается в кабацкую жизнь, начинает пьянствовать и развратничать... Поэт стал хулиганом. В таком состоянии встретил Есенин приход советской власти. С этого момента начинается трагедия пьяницы, который, обладая большим самолюбием, в то же время чувствует, что уже выдохся и ничего не может дать новой жизни. Новая жизнь, отбрасывающая всё гнилое, отбросила и выдохшегося поэта" (А. В. Луначарский).

"В стихах типа Клычкова и Клюева мы видим воспевание косности и рутины при охаивании всего городского, "большевистского", словом, апологию "идиотизма деревенской жизни" (А. Безыменский).

"Любовь к природе в творчестве этих писателей – только антитеза ненависти к городу, фабрике, машине, пролетариату, а синтез – это власть кулачья" (О. Бескин).

"Поэмы "Деревня" и "Плач по Сергею Есенину" – совершенно откровенные антисоветские декларации озверелого кулака" (Л. Тимофеев).

"Социальная родина Есенина – зажиточная патриархально-старообрядческая группа крестьянства. Он не представитель крепкого кулацкого ядра, активного, бодрого, "практического", а "блудный сын" этой группы, сын, кровно с нею связанный, физически, психологически и культурно ею вскормленный..." (Б. Розенфельд).

"Он перешагивает шаг за шагом, год за годом со своей лихой, не сдающейся кулацкой совестью по головам молодых поэтов" (Д. Петровский о Павле Васильеве).

"Все эти греко-рязанские гекзаметры насквозь насыщены кулацкой радостью накопительства" (О. Бескин о П. Радимове).

И такого рода доносами и приговорами в адрес крестьянских писателей переполнена пресса тех лет. А в 1934 году Бухарин, сделавший себе после "Злых заметок" репутацию главного идеолога партии, добился права сделать на I съезде советских писателей доклад "о современной поэзии", естественно ещё раз прошёлся "по есенинщине", отозвался о Есенине как о "поборнике кнутобойства" и объявил всему многонациональному съезду писателей, что *"русские до 1917 года были нацией обломовых".*

Однако то, что Евтушенко обратился с письмом к Горбачёву о необходимости "в первую очередь" реабилитировать "любимца партии" Бухарина, неудивительно. Основная мысль этого письма у него, чья родня была в рядах революционной элиты, заключена в словах: "...мы как наследники революции...". Но эту революцию делали не только его два деда, её делали Троцкий и Тухачевский, Свердлов и Радек, Бела Кун и Розалия Землячка... Так что можно понять, почему Евгений Александрович написал стихи, воспевающие Иону Якира, и призвал власть и общество поставить ему памятник. В те же годы (1989) были опубликованы документы о том, что Якир, входивший в комиссию по решению судьбы Бухарина и Рыкова, проголосовал за расстрел Бухарина. Более того, Сталин предложил доследовать дело Бухарина, а потом решить вопрос о его судьбе, но Якир ещё раз проголосовал за незамедлительный суд и расстрел, не понимая, что следующим на месте "любимца партии" окажется он. Вспоминаю, как в Архангельске сестра Алексея Ганина Мария трясущейся старушечьей рукой протянула мне пожелтевшую от времени газетную вырезку, которую она хранила как зеницу ока:

"Военный трибунал МВО 12 октября 1966 года.

Дело по обвинению Ганина А. А. 1893 года рождения, арестованного 2 ноября 1924 года, пересмотрено военным трибуналом Московского военного округа 6 октября 1966 года. Постановление от 27 марта 1925 года в отношении Ганина А. А. отменено и дело о нём прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления. Ганин А. А. реабилитирован посмертно.

Зам. председателя военного трибунала МВО, полковник юстиции И. Баурин".

Перечитываю текст и сокрушаюсь: почему советская власть реабилитировала поэта, а Евгений Евтушенко отказал ему в реабилитации и как продолжатель идей Бухарина не воскресил имя Ганина в своей "Антологии"?.. А ведь с какой страстью он рассказывал о восстановлении исторической справедливости:

"...и возникла мысль составить эту антологию, собрать воедино все кусочки русского национального духа, чьё лучшее воплощение – наша поэзия. Собрать её по обломкам, по крупицам, по крошкам, зашвырнутым ветрами истории в сибирские лагеря, в дома престарелых во Франции, в семейные архивы, в следственные дела КГБ.

У нашего народа на семьдесят лет отобрали историю его собственной поэзии, лишив его возможности читать тех поэтов, которые эмигрировали или были перемолоты гигантскими челюстями ГУЛага".

Как можно было излагать такие высокие мысли и чувства и одновременно пройтись рукой цензора по стихам Пимена Карпова, а говоря о судьбе Ганина, сделать вид, что такого поэта не было и нет в русской поэзии, и обвинить замечательного поэта Николая Тряпкина в "шовинизме" и "национализме"! Поистине, он не зря требовал реабилитации Бухарина, главного борца с "есенинщиной"!..

Но зато с каким знанием дела он писал в своих предисловиях о поэтах другого происхождения и другой судьбы. *"Во время гражданской войны добровольцем ушёл в Красную армию, затем в ЧК. Из тихой еврейской семьи..."*

Это сказано о Михаиле Светлове, настоящая фамилия которого, как пишет сам Е. Е., Шейхман. И даже добавляет такую подробность: *"Писал стихи для подпольных троцкистских листовок"*, – видимо, считая это важным фактом биографии.

О Михаиле Голодном Е. Е. в предисловии пишет кратко и выразительно: *"Как Светлов, в юности работал в ЧК"*. Настоящую фамилию автора Е. Е. также сообщает без комментариев: "Эпштейн".

Об Эдуарде Багрицком Евгений Евтушенко сообщает следующие сведения: *"Псевдоним Эдуарда Георгиевича Дзюбина <...> Родился в еврейской торговой семье <...> принял революцию, сражался в особых отрядах"*.

"Особые отряды" – это отряды "частей особого назначения" (ЧОН), прославившиеся во время гражданской войны **особой жестокостью** при подавлении крестьянских восстаний. Видимо, зная это, Евгений Александрович в предисловии к стихам Багрицкого признаётся: *"Его стихи о нашем веке в стихотворении "ТВС" морально для нас неприемлемы после стольких человеческих трагедий: "но если он* (век. – **Ст. К.**) *скажет: "Солги" – солги. // Но если он скажет: "Убей" – убей". Но нельзя выдавать эти строки, написанные в <19>29 году, видимо, во время депрессии (или очередного припадка астмы, от которой поэт и умер), за философское кредо его поэзии, как пытались это делать некоторые недобросовестные интерпретаторы". Это, видимо, обо мне...*

* * *

Всё наше "шестидесятничество", все его идеологи и апологеты потратили немало сил и бумаги, чтобы объявить творчество Евтушенко прямым продолжением и поэтических и мировоззренческих традиций двух веков – пушкинского "золотого" и "блоковского" Серебряного. **"В поэтической родословной Евгения Евтушенко,** – писал известный критик Станислав Лесневский, – **сплелись блоковская тревожность, маяковская трибунность, есенинская нежность и некрасовское рыдание".** Евгению Александровичу было мало подобных комплиментов, и он добавил от себя:

"Я – Есенин и Маяковский, // Я – с кровиночкой смеляковской", "По характеру я пушкинианец, по сентиментальности – есенинец, по социальности – некрасовец, и, как ни странно – пастернаковец" (из интервью Е. Евтушенко "Новой газете").

В поэме "Казанский университет", написанной к 100-летию со дня рождения Ленина, "пушкинианец" много раз вспоминал имя Пушкина: *"Мы под сенью Пушкина росли", "Наследники Пушкина, Герцена, мы – завязь. Мы вырастим плод, понятие "интеллигенция" сольётся с понятьем народ"* и т. п.

Но никогда диссидентская "пятая колонна", в 70-е годы уже сформировавшаяся и начавшая хлопоты об эмиграции, о выезде из "Рашки", о двойном гражданстве, сочинявшая коллективные письма в защиту Синявского, написавшего глумливые страницы об Александре Сергеевиче в книге "Прогулки с Пушкиным", выходящая на Красную площадь с протестами против **"вторжения наших войск в Чехословакию"**, – никогда такая "интеллигенция" не могла слиться с народом и простонародьем хотя бы потому, что со времён революции и гражданской войны, со времён Великой Отечественной в памяти коренного "государствообразующего народа" было прочно заложено понимание того, что всякое посягательство на государство, всяческая тотальная борьба с ним рано или поздно оборачивается всенародной бедой и унижением перед чужеземной волей.

Никогда эта интеллигенция не понимала Пушкина, не желавшего *"сменить отечество или иметь другую историю кроме той, которую нам дал Бог"*. Е. Е., называя себя историческим символом нашего государства, глумится над пушкинским Медным Всадником:

Не раз этот конь окровавил копыта,
Но так же несыто он скачет во тьму,
Его под уздцы не сдержать! Динамита
В проклятое медное брюхо ему!

Стихи, достойные пера Бродского или какой-нибудь Горбановской... Е. Е. за всю жизнь так и не понял, что Пушкин, написавший "Историю Петра", знал, что Пётр, насаждая европейские семена в русскую землю, наряжая свою элиту в парики и голландские камзолы, возвышая в своём окружении немцев, не жалея чёрную мужицкую кость при строительстве Петербурга, осознавал, что без этого жестоковолия невозможно построить великое государство:

Толпой любимцев окружённый,
Выходит Пётр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен,
Движенья быстры, он прекрасен,
Он весь, как божия гроза.
Идёт. Ему коня подводят.
Ретив и смирен верный конь,
Почуя роковой огонь,
Дрожит. Глазами косо водит
И мчится в прахе боевом,
Гордясь могучим седоком...

Всадник и конь – это, по Пушкину, единое целое, как у Фальконета, и это "целое" называется в роковые времена "единством власти и народа", государства и всех его сословий:

Какая дума на челе!
Какая сила в нём сокрыта!
А в сём коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь
И где опустишь ты копыта?

О, мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте уздой железной
Россию поднял на дыбы...

А что же при такой власти происходит с тёзкой Евтушенко, чиновником Евгением из "Медного всадника"? Чем закончился его бунт?

Кругом подножия кумира
Безумец бедный обошёл

И взоры дикие навёл
На лик державца полумира.
.....
— Добро, строитель чудотворный! —
Шепнул он, злобно задрожав. —
Ужо тебе!.. — И вдруг стремглав
Бежать пустился...

Похожим образом повёл себя и наш Евгений, проклинающий Медного Всадника за то, что у его коня **“окровавлены копыта”**, за то, что его **“под уздцы не сдержать”**... И он бросает в лицо бронзовому кентавру: **“Динамита в проклятое медное брюхо ему”**... Но из этого бунта у нашего Евгения тоже ничего не получается, он тоже **“бежать пустился”** и добежал аж до Америки. И если пушкинского Евгения похоронили на пустынном острове: **“нашли безумца моего // и тут же хладный труп его // похоронили ради Бога”**, – то прах его тёзки, нашего “пушкинианца”, который возненавидел Медного Всадника, упокоился тоже на своеобразном острове – в патриархальном сталинском Переделкино. Он так и не успел сказать Путину: **“Добро, строитель чудотворный!”** А красавцу-коню, на котором гарцевали и Вещий Олег, и монах Пересвет, и **“властелин судьбы** Пётр”, и командир Первой Конной Семён Будённый, и маршал Георгий Жуков на параде Победы, **“бедный безумец”** Евгений возмечтал **“разорвать брюхо динамитом”**! Но ведь из этой же породы были “кони НКВД”, изображённые мной в стихотворении “Очень давнее воспоминание”, которое Евгений Александрович решился-таки напечатать в своей антологии “Строфы века”, с язвительным комментарием: *“Есть мнение, что в нём не столько осуждение антинародного террора, сколько упоение силой власти”.*

Да и “смеляковскую кровиночку”, которую Евгений Александрович якобы ощущал в себе, нельзя принимать всерьёз, потому что в одном из самых блистательных и трагических своих стихотворений “Пётр и Алексей” Ярослав Смеляков, трижды получавший лагерные сроки от Сталинского государства, оправдал деяния Петра Первого:

День — в чертогах, а год — в дорогах,
по-мужицкому широка,
в поцелуях, в слезах, в ожогах
императорская рука.

Та, что миловала и карала,
управляла державой всей,
плечи женские обнимала
и осаживала коней...

Есть ещё одно обстоятельство, которое никогда не позволяло Евгению Александровичу считать себя “пушкинианцем”. Возможно, он невнимательно читал Пушкина, потому что Пушкин с его свободомыслием так высказывался по национальному вопросу, что Евгений Александрович никогда бы не согласился с ним. Вот что писал Александр Сергеевич в письме к издателю Бестужеву: *“Если согласие моё не шутя тебе нужно для печатания “Разбойников”, то я никак его не дам, если не допустят слова “жид” и “харчевня”.* Одним словом, Пушкин не терпел цензуры.

А поскольку Евгений Александрович в одном из своих выступлений 90-х годов призвал за употребление подобных нецензурных слов (“жид”, “хачик”, “хохол” и т. д.) к уголовной ответственности, то его нельзя считать в полной мере стопроцентным “пушкинианцем”.

Есть какая-то мистика в том, что, поглумившись над пушкинским “Медным всадником”, Евтушенко в эпоху горбачёвской криминальной революции во время идеологической распри между “патриотами” и “демократами” вольно или невольно услышал в грохоте танковых гусениц *“тяжелозвонкое скаканье по потрясённой мостовой”* и обнаружил родство “Медного всадника” с конями НКВД:

“Где были Бондарев, Распутин, Белов? <...> Придя в окружённый танками российский парламент в полдень 19 августа, я увидел не РСФСРовских литературных вождей, а пришедших на защиту российской демократии, отлучённых бондаревским СП РСФСР от русского патриотизма Ю. Черниченко, Ю. Корякина, а затем выдающегося учёного-лингвиста В. В. Иванова, на которого Секретариат СП РСФСР подал в суд. За что? В. Иванов на сессии Верховного Совета якобы оскорбительно и бездоказательно объявил СП РСФСР “фашистской организацией” <...> Одним из первых признаков фашизма является расовая нетерпимость, включая антисемитизм. Разве не в органах печати СП РСФСР велась постоянная антисемитская кампания? Так за что же вы собираетесь судить В. Иванова, господа охотнорядцы? Разве ваш антисемитизм не общеизвестен, да ещё и всемирно? Второй признак фашизма – это милитаризм... Разве антинародный путч не есть воплощение милитаризма? Как же тогда квалифицировать телевизионные и печатные приветствия путчистам двух идеологических боевиков СП РСФСР – Проханова и Куняева... Как не совестно глядеть в глаза людям Проханову и Куняеву, которые приветствовали антинародный государственный переворот? Когда-то Куняев написал стихотворение “Скачут кони НКВД...”. Как же он позволил себе радоваться бронированным коням крючковского НКВД? Почему же фронтовик Бондарев, автор такого человеческого романа “Тишина”, не поднял своего голоса, когда его соавтор по “Слову” генерал Варенников пытался двинуть танки против собственного народа?” Но настоящий “антигосударственный переворот” произошёл у нас не в дни ГКЧП, а через два года с лишним, и кровь, пролитую в октябре 1993-го года, Евгений Евтушенко благословил...

Но Евгению Александровичу было мало ощущать себя, как он говорил, “пушкинианцем”, и потому он не раз обращался в своих чувствах к образу самого знаменитого поэта Серебряного века. *“Когда я думаю о Блоке, когда тоскую по нему...”* – писал он в стихотворении 1959 года. *“Взойдите те, кто юн, // на блоковский валун”* (1972). *“Когда я напишу “Двенадцать”, // не подавайте мне руки”,* – заявлял он в 1970-м каким-то своим недругам. *“Он учил меня Блоку”* (из воспоминаний об А. Межирове”, 2009). “*Может, пристыжает нас Блок Александр Александрович?*” (из поэмы “13”, середина 90-х годов). *“Перебирая чулан, я случайно наткнулся на дореволюционную книжку Блока. Такое испытал наслаждение”* (середина 90-х). *“Дневник Блока, по сути, – документальный роман об Александре Блоке и его времени”* (2014). Мало того. В своей антологии “Десять веков русской поэзии” Е. Е. свидетельствует о том, что не просто читал, но тщательно изучал исторические взгляды Блока, прежде чем написать обширное предисловие к его стихам. Однако перечитывая блоковские дневники, я удивился тому, что Е. Е., положивший столько сил на борьбу с “охотнорядцами и “черносотенцами”, то ли читал блоковские дневники “по диагонали”, то ли забыл прочитанное, то ли вдруг закрыл глаза и заткнул уши, чтобы ничего не знать и не слышать о размышлениях Блока, которые поэт позволял себе в роковые дни весны 1917 года, когда сразу же после Февральской революции Временным правительством была отменена черта осёдлости и политическая жизнь России изменилась коренным образом.

Александр Блок в это время входил в Чрезвычайную следственную комиссию, изучавшую работу Временного правительства, и обучился новому, возникшему на его глазах революционному жаргону, на котором велись заседания этой ЧК:

“Господи, Господи, когда, наконец, отпустит меня государство, и я отвыкну от жидовского языка и обрету вновь свой русский язык, язык художника???”

Вот какие мысли и чувства владели в дни революционного рокового 1917 года душой поэта, спустившегося с башни “из слоновой кости” на грешную землю, из окружения “прекрасных дам” в петербургскую политическую толчею... И такого рода записями изобилуют многие страницы его “Дневников” и “Записных книжек”, которыми якобы зачитывался “блоковед” Евгений Евтушенко.

Впервые эти “нецензурные” записи Блока увидели свет в статье известного литературоведа, сотрудника Института мировой литературы Сергея Небольсина, опубликованной в журнале “Наш современник” (№ 8, 1991) под

названием “Искажённый и запрещённый Александр Блок”. Евтушенко, начавший работу над своей антологией “Строфы века” в конце 80-х и начале 90-х годов, не мог не знать этой публикации Небольсина, приковавшей в те годы внимание всей советской читающей публики. Напомню, что тираж “Нашего современника” тогда достиг полумиллиона экземпляров, и Евгений Александрович, зная это, в предисловии к антологии не удержался от соблазна продолжить мировоззренческую борьбу с нами:

“Критик Кожинов пытался стереть с лица земли “поэтов-эстрадников”, в число которых он включал меня, свистя над нашими головами, как двумя японскими мечами, именами Рубцова и Соколова. Поэт Передреев написал геростратовскую статью о Пастернаке. Поэт Куняев перегеростратил его, ухитрившись оскорбить в своих статьях романтика Багрицкого и безвременно ушедшего Высоцкого. Но чемпионом геростратизма стал талантливый поэт Юрий Кузнецов, выступивший против поэтов Мартынова и Винокурова, которые дали ему рекомендации в Союз писателей, а заодно и против всех женщин, пишущих стихи”. Вот как въедливо и пристрастно разглядывал и комментировал Е. Е. наши тексты и притом “не заметил” обнародованных Небольсиным “изъятий”, написанных рукой А. Блока летом 1917 года:

“16 июня 1917 г. ...на эстраде – Чхеидзе, Зиновьев (отвратительный), Каменев, Луначарский. На том месте, где всегда торчал царский портрет, – очень красивые красные ленты (...) и надписи через поле – Съезд Советов Рабочих и Солдатских Депутатов. Мелькание, масса женщин, масса еврейских лиц”... [“И жидовских тоже”] И такого рода “нецензурщины” в “дневниках Блока немало.

В 1920–1930-е годы архивом Александра Блока заведовала его вдова Любовь Дмитриевна Менделеева. Но видимо, для того, чтобы из архива не вырвались на волю всяческие опасные размышления из блоковских “Дневников” и “Записных книжек”, к архиву был прикреплён надсмотрщик-литературовед и по совместительству цензор Владимир Николаевич Орлов, который “присматривал” за Менделеевой. Поэтому она не могла не знать, что его настоящая фамилия Шапиро...

Ах, Александр Александрович! Если бы он предвидел, что его поклонником будет Евтушенко, он бы, конечно, сам своею собственной рукой уничтожил эти пресловутые записи, чтобы не ставить знаменитого русско-советского поэта в двусмысленное положение...

В одном из своих интервью Е. Е. заявил, что он – единственный, кто написал “художественное произведение” о событиях 1993 года. Неправда. О событиях этих кровавых дней написана замечательная повесть Сергея Есина “Стоящая при дверях”, эти события отражены в пьесе Василия Белова “Семейные праздники”, в романах Александра Проханова и Сергея Шаргунова, об этих событиях написаны стихи Юрия Кузнецова и Глеба Горбовского, Николая Тряпкина и Станислава Куняева, Ивана Переверзина и Михаила Анищенко. Всех не перечислишь.

Е. Е. назвал свою поэму о трагедии 1993 года “Тринадцать”, как бы примеряя на себя роль Александра Блока, создавшего великий эпос о Великой Октябрьской революции. Поэма же Евтушенко повествует о Великой Криминальной революции или, скорее, о Великой Контрреволюции, не сумевшей победить в гражданской войне 1918–1922 годов и взявшей реванш лишь в 1993-м...

Александр Блок написал свою поэму в метельные дни 1918 года, услышав “музыку” истории, и воспринял идущих “державным шагом” красногвардейцев, как апостолов. Меньшевиков, эсеров, масонов, большевиков-жидомасонов в поэме нет. Есть двенадцать кровных сыновей русского простонародья, вчерашних солдат Первой мировой... Мистический, социальный, исторический и религиозный пафос блоковской поэмы “Двенадцать” до сих пытаются разгадать историки, философы, богословы.

“Двенадцать – большие, – писала в своих размышлениях о Блоке Татьяна Глушкова. – ***И они только вырастают в пути, несоизмеримые ни с “голодным псом”, который “ковыляет позади”, ни с буржуем, “безмолвным, как вопрос”, ни с “витией”. Это – принципиальный взгляд “летописца” первого, разрушительного этапа Революции, духовное величие которой раскроется лишь в длительном будущем” <...> “Куда идут они? Когда стихнет, развеется вьюга, белая тьма? Когда уляжется ярая, враждебная***

“двенадцати” стихия взбунтовавшейся тьмы, в которой не видно ни зги “за четыре за шага”? Пусть скажет об этом позднейший свидетель, позднейший поэт. А Блок только звал “грядущие века”, слыша “безбожный”, “каторжный”, мучительно-героический, “мерный”, наконец, и “державный шаг”... двенадцати, Сочувствуя им в небывалом, “загадочном” их дерзновении, в тяжких тяготах их пути “к синей бездне будущего”.

Закончив поэму, Александр Блок сделал запись в дневнике: “Сегодня я гений”. И он был прав и как поэт, и как патриот, и как пророк, и как великий мистик.

В поэме же Евтушенко “13”, вступившего в нелепое соревнование с Блоком, его тринадцать персонажей суть какие-то отбросы не человечества, а, по словам Александра Зиновьева, какого-то “человейника”.

“Идут тринадцать работяг, один мордатый, другой худой, один поддатый, хотя седой. Мордатый-злющий нудит, сопя, на всех плюющий и на себя”.

В числе “тринадцати” *“бывший цековский санузлист”*, а *“поддатый, как рубль помятый, по слухам бывший аристократ, по кличке просто Денатурат”*. А рядом с ними *“сквернослов – любитель выпить на шермачка”*, тут же какой-то *“мормышечник”*. А следом за ним ***“поганец враль”***, который то *“больше витийствует”*, то *“фашиствует”*. Рядом с ним – *“красный”* не от ***“убеждений”***, а ***“от приятных времяпровождений”*** спившийся здоровяк в татуировках. Тут же ***“утробный антидемократ”*** с наколотым ***“Сталиным на мускулке”***. За ним идёт философ, ***“презирающий любую власть”***; кто-то из них мечтает ***“с тоской зверёныша <...> нам бы Адольфа Виссарионовича”***. Пародируя Блока, Е. Е. сопровождает поход “в будущее своих тринадцати рефреном ***“марш-марш назад, наш русский зоосад”***. Неудивительно слышать слова о “русском зоосаде” от автора стихотворения “Русские коалы”, но, по мстительной иронии судьбы, Евтушенко, сочинив этот слоган, повторил мою мысль о том, что во многих песнях Высоцкого жизнь русского простонародья изображена, как смесь *“зоопарка с вытрезвителем”*. Евтушенко в своём письме в “Литературку” гневно осудил меня за такое истолкование стихов Высоцкого. Но в “Тринадцати” он, в сущности, позаимствовал тот же образ, поскольку и *“алкаш с бакалеи”*, и персонажи из *“милицейского протокола”*, и семейный дурдом *“Вани и Зины”* в исполнении Высоцкого есть тот же *“русский зоосад”* из его обитателей, имя которым “коалы”.

Но *нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся*: глумление над “Тринадцатью” обернулось у Евтушенко глумлением над всем *“советским зоосадом”*, над его же героями “Братской ГЭС” – Изей Крамером и Нюшкою, над геологами из книги “Разведчики грядущего” и романа “Ягодные места”, над работягами из “Поэмы КамАЗ”, над проектировщиками БАМа. Неужели нефтяные поля Тюмени и алмазные шахты Якутии, поля Казахстанской целины и подземные города в каменных толщах, окружающих Красноярск, сооружённые на случай атомной войны, восставший из развалин Ташкент и энергетическое кольцо атомных и гидростанций – неужели вся эта мощь, наряду с Байконуром и Плесецком, сооружена совковым сбродом, который, покачиваясь с похмелья, маршировал по мрачным улицам Москвы октябрьской ночью 1993 года? В одном из своих стихотворений Евтушенко вспоминает о том, как Зинаида Гиппиус отказалась пожать руку Александру Блоку после того, как прочитала поэму “Двенадцать”. Ухватившись за это “нерукопожатие”, Евтушенко с пафосом заявил: ***“Когда я напишу “Двенадцать”, не подавайте мне руки”***. Но он написал “Тринадцать”, и я думаю, что любой из его почитателей и строителей Братской ГЭС, некогда слушавших в течение четырёх часов в исполнении автора поэму во Дворце культуры города Братска, после прочтения “Тринадцати” получили бы полное право не подавать руки своему бывшему кумиру.

* * *

...Блоковская поэма “Двенадцать” написана за два морозных и голодных дня 1918 года. Блок написал её в состоянии высшего вдохновения, когда он услышал в поступи двенадцати простонародных *апостолов* ход истории. Евгений Евтушенко вымучивал свою поэму “Тринадцать” в тёплой и сытой Америке целых три года – с 1993-го по 1996 год. Сущность “Двенадцати” Блока

в том, что эти *новые апостолы* сами не подозревают о своей роли в истории человечества. Они ещё не знают о том, что победят в гражданской войне и внутренних врагов, и внешних хищников всемирной Антанты, что выдержат и коллективизацию, и индустриализацию, что очистят свои ряды от всех "врагов народа", мешающих строительству нового мира, что сумеют встретить натиск всеевропейского *коричневого зла* и победить его. Символами этого поколения станут солдат Василий Тёркин и генерал Карбышев, Юрий Бондарев и Александр Покрышкин, Зоя Космодемьянская и 28 панфиловцев. Таких людей демократы боялись. Не зря же незадолго до августа 1991 года Михаил Горбачёв собрал пленум ЦК КПСС, на котором все ветераны войны были выведены из Центрального Комитета Коммунистической партии. Этот партийный переворот был первым шагом к тому, чтобы провернуть фарсовую авантюру с путчем, после чего уже можно было и расстреливать парламент.

"Лучшие из поколения, назначьте меня трубачом", – взывал Евгений Евтушенко к поколению Юрия Гагарина. "Назначили" его трубачом, не подозревая, что в недалёком будущем он напишет поэму "Тринадцать", главная мысль которой заключается в том, что никакие они не строители социализма, никакие не победители фашизма, а всего лишь навсего спившиеся и опустившиеся "совки", отребье общества, достойные того, чтобы исчезнуть из истории России, чтобы тёмной ночью их безымянные тела были погружены на баржу и отправлены в неизвестность. У жертв ГУЛага есть хотя бы Бутовский полигон. У этих же тринадцати ни креста, ни надгробного камня, ни холмика травяного, словом, ни дна, ни покрышки. А что касается пролитой крови, то, как писала Валерия Новодворская: *"свежая кровь отстирывается хорошо. Они погибли от нашей руки. Оказалось, что я могу убить и потом спокойно спать и есть"*. Одновременно она же перечислила 12 подвигов "Геракла социализма" Евгения Евтушенко, принявшего из её окровавленных рук венок своей славы. За какие же подвиги вручила Новодворская венок поэту? Подвиг первый – телеграмма из Коктебеля на имя Брежнева по поводу вторжения наших войск в Чехословакию. Второй подвиг – протест против высылки из СССР Солженицына. Третий подвиг – создание "Бабьего Яра". Четвёртый подвиг – поэма "Братская ГЭС", глава про Изю Крамера. Пятый подвиг – стихотворение "Танки идут по Праге". Шестой и седьмой подвиги – поэма "Казанский университет" и "монолог голубого песца на Аляскинской звероферме". Восьмой подвиг – отказ от ордена "Дружба народов". Девятый подвиг – фильм "Смерть Сталина". Десятый подвиг – "непризнание ГДР". Одиннадцатый подвиг – выступление в августе 1991 года у Белого дома.

Новодворская насчитала одиннадцать подвигов. Но двенадцатым, конечно, следует считать его русофобскую в полном смысле слова поэму "13" с её брезгливой ненавистью к русскому простонародью.

Этот, по словам Евтушенко, "зоосад" ("марш-марш назад, // советский зоосад") по существу выглядит как грубая насмешка над знаменитой строкой Александра Блока – "марш, марш вперёд, // рабочий народ"... Вроде всю жизнь Е. Е. преклонялся перед автором поэмы "Двенадцать", прозревавшим в образах и поступи русских красногвардейцев зарю жизни человечества:

Что за пламенные дали
Открывала нам река,
Но не эти дни мы звали,
А грядущие века.

Поневоле вспомнишь Гегеля, сказавшего, что история, осуществлявшаяся как трагедия, второй раз повторяется в виде фарса.

СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ

СТОНЫ СТРАНЫ

ДЕПУТАТСКИЙ ДНЕВНИК

“Лишние люди – это мы”

“Получается, лишние люди – это мы”, – говорит учительница литературы из школы этого села.

Лишние не только в социальном, а в прямом, физическом смысле.

Село Харагун Забайкальского края. Его с 2021 годом поздравили закрытием круглосуточного больничного стационара.

Там оказывалась медицинская помощь и харагунцам, и жителям шести окрестных сёл.

Всего пострадали от решения чиновников четыре с половиной тысячи человек. Такое решение принято ещё и в разгар эпидемии. На Дальнем Востоке, откуда и так совершается непрерывный исход...

“Мы задавали вопрос, почему в период пандемии, именно сейчас решили закрыть, когда идёт рост заболеваемости? – рассказывают люди, – Все эти месяцы, и особенно в декабре наша больница была просто переполнена, койко-места заняты. Но в январе всё было закрыто, и пациентов отправили по домам...”

Особое негодование жителей вызвало заявление местной чиновницы, посетившей народный сход. Заявила она нечто абсурдное и вызывающее: “Наверное, вам нужна больница для того, чтобы переночевать и поесть!” Все закричали: “Нет! Нам нужно для лечения!” Люди кричали, что сами могут приносить и еду, и даже постельное бельё, как это делали в 90-е, лишь бы их лечили.

Ирина Григорьева, учительница истории сельской школы, говорит: “Мы боимся, что каждый вечер не дай Бог какой-то приступ у кого-то. Тогда отправляют уже за 64 километра в центральную районную больницу по нашим дорогам”. “У нас уже случилось так, что ребёнок заболел, и его были вынуждены увезти в ЦРБ, а у мамы нет средств, и теперь проведывать его ну просто нереально, – добавляет Ольга Шангина, учительница младших классов. – У нас нет никаких маршруток, никаких маршрутных такси, только железная дорога, по которой ходит электропоезд рано утром и поздно вечером. Мы считаем, что две смерти пенсионеров уже произошли из-за этого закрытия. И это в первый месяц! Вот буквально три дня назад случился сердечный приступ у человека, его повезли в далёкую больницу, но он умер”.

Сделал все необходимые запросы, удалось вывести жительниц села в эфир программы “Двенадцать”.

После звонков, запросов и эфира в село приехала зам. краевого правительства, а “инициативную группу” негодующих пригласили на завтра на сессию Законодательного собрания Забайкальского края.

Пристально слежу за ситуацией. Поборемся за больницу и людские права, включая главное и простейшее – на жизнь.

Щепки летят

Вот очередная история про бесправие “маленького человека” и беспредел чиновников.

Нижегородская область, Гагинский район, село Зверево. Против местного жителя Геннадия Толчонкова возбуждена “уголовка”. Ему светит до семи лет лишения свободы по ч. 3 ст. 260 УК РФ (“Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере”).

Обвиняют в том, что привёз из леса тринадцать сухих стволов деревьев. Геннадий воспользовался правом на сбор валежника – деревья упали из-за сильного ветра и валялись на земле, уже неживые, со сгнившими корнями. Он охотно показывает бурелом, доказывая свою невиновность. И полицейским экскурсию провёл по лесу, где “не проехать, не пройти”, но тех, похоже, не проймёшь.

А ведь Геннадий, кстати, действовал в соответствии с законом, требующим своевременного вывоза сухостоя.

Мужика хотят посадить, и у него даже без решения суда конфискованы пила и трактор. “Нашли козла отпущения”, – попросту формулирует его жена Мария.

Расправиться с безответным мужичком и сварганить очередное липовое дело, конечно, проще, чем всерьёз бороться с чёрными лесорубами – незаконной рубкой и бесконтрольным экспортом древесины.

Созваниваюсь с Геннадием, подготовил запросы и буду отстаивать этого человека.

Для рубильщиков по живому его судьба – лишь мимолётная щепка.

Радость воскрешения

Хочется поделиться и чем-то ободряющим и радующим.

Я много пишу о том, как гибнут повсюду старинные храмы и усадьбы.

Счастлив оказаться причастным к спасению этой уникальной часовни Казанской Божией Матери в деревне Лугинино Тверской области.

Замечательный памятник русского церковного зодчества середины XIX столетия.

Архитектурный шедевр поражает путешествующих по трассе Вышний Волочёк–Бежецк необычным силуэтом, изяществом и тонкостью пропорций, благородством, ясностью и чистотой линий.

К сожалению, начальствующие разного толка считали, что это аварийное сооружение, подлежащее сносу: “рухлядь и гнильё старое”. Ведь часовню, которой столько времени не уделяли внимания, держало лишь мастерство плотников (как объясняют специалисты, “рубили в замок с потайным шипом”), поэтому даже в исключительно плохих условиях прогнившая конструкция не обрушилась.

После встреч, писем, звонков, убеждения тех, кто был готов уничтожить красоту, и подключения людей с возможностями помощи всё изменилось.

Сейчас внимательно слежу за всеми этапами реставрации. По-настоящему незаурядная работа.

Часовня спасена. Восстановлен сруб, отреставрированы окна, карнизы, кровля, барабан, пол и потолок с внутренними карнизами. Всё с сохранением старого материала на 90 процентов. Изготовлен новый кованый крест над главой. Осталось сделать рамы первого яруса, киот на восточном фасаде, крыльцо и ограду.

Эта радость светится в море печали – безмолвный набат плывёт над страной.

В русской провинции гибнут тысячи драгоценных строений.

Как хотелось бы, чтобы 2021 год стал прорывным в их сохранении и воскрешении.

Поскольку количество памятников архитектуры, требующих спасения, очень велико, то единственным технологически доступным и экономически обоснованным способом их спасти является консервация, то есть выполнение первоочередных противоаварийных работ "до лучших времён", до будущей полной реставрации.

Такой вид работ включает в себя создание или ремонт кровли, укрепление стен, грунта, сводов, расчистку территории и прочее.

За деньги, сопоставимые с бюджетом на благоустройство нескольких улиц в Москве, можно спасти от разрушения все гибнущие храмы России.

Под тяжёлыми ударами

Получаю постоянные обращения об отсутствии лекарств и кислорода и от тех, к кому не приехала или не доехала "скорая".

Нормально ли это?

Лично я убеждён: нельзя оправдывать ситуацию, при которой пациентам не оказывается помощь.

Под тяжёлыми ударами и врачи.

Обратился в прокуратуру: от коронавируса в Барнауле погиб именитый анестезиолог с 27-летним стажем Юрий Николаевич Кочетов.

В октябре врач-реаниматолог, исполнявший обязанности заведующего отделением интенсивной терапии горбольницы № 10, стал недомогать, ощутив все симптомы коронавирусной инфекции. Сдал тест на COVD-19. При этом состояние день ото дня ухудшалось.

Несколько раз больной врач обращался к "главному" с просьбой отпустить его на больничный, интересовался результатами теста. Получал отказы, мотивированные тем, что "и так некому работать". А положительный тест на коронавирус, как сообщается, от него просто скрыли.

В последние дни октября Кочетов из дома позвонил коллегам, сообщив, что уже не имеет сил прийти на работу. И вот – скончался.

Требую честного и серьёзного расследования.

Там и тут пациентов, у которых другие недуги, оставляют без помощи. Там и тут врачи-специалисты оказываются на грани выживания. Так, в Новоалтайске, по сообщению врачей, их пригласили в отдел кадров и показали приказ, что отныне они переводятся на две третьих ставки. Знаете, сколько они будут получать? Три тысячи рублей! В месяц.

Документы о переводе на такую зарплату были вынуждены подписать все 30 сотрудников реабилитационного центра. Одна из них, Ирина Новикова, говорит, что переживает не столько за себя и свою семью – у неё двое детей, – сколько за пациентов, которые оказались без реабилитации.

И так по всей стране.

Коронавирус у нас не первый месяц. Начальствующим очень удобно ссылаться на особые обстоятельства, не соблюдая законы и ни за что не отвечая, прежде всего – за жизни людей.

На самом деле, сплошь и рядом проблема в беспределе и безнаказанности.

А там, где есть неравнодушие, там и жизни спасаются.

Отдельное спасибо хочу сказать замглавы Минздрава Олегу Салагаю, который не в течение месяца, а в течение часа откликается на мои запросы, письма и звонки. Скольким уже удалось помочь при его участии!..

Вот простая, примитивная даже мысль: побольше бы отзывчивых людей на всех уровнях и поменьше тех, кому наплевать на других.

ТАМАРА КУПРИНА

ДАРИТЕЛЬ

Книголюб-экслибрист Николай Петрович Трунин после инсульта, перенесённого в Мурманске, где он жил более полувека, сказал себе и близким, что он проживёт ещё года два – не больше. После этого заторопился с переездом в родную Елатьму, где завещал похоронить себя рядом с родителями. Перед отъездом, как всегда, щедро раздарил своё книжное богатство. Прожил в Елатьме до кончины два с половиной года. Когда за месяц до ухода в мир иной почувствовал себя плохо, высказал пожелание: “Хорошо бы умереть в дни кончины Пушкина...”. И покинул грешную землю нашу в дни, когда Россия отмечала печальную дату: 170-летие со дня гибели своего великого поэта, того, кто “памятник себе воздвиг нерукотворный”.

В минувшем 2020 году Николаю Трунину исполнилось бы 100 лет.

Одни называли его чудаком, другие наверняка считали, что ему деньги девать некуда. Третьи... Такие, как, например, профессор Киселёв из Мурманска, называют его бессребреником и нынешним мурманским святым, героем нашего смутного времени, выделяя особо качество Трунина – “дар божий – редчайшее свойство души: для него подарить не менее важно, чем приобрести”. Это мнение поддерживает и мурманский поэт Вл. Сорокажердьев: “Есть две категории книголюбов – собиратели и дарители. Первых мы прекрасно знаем, их миллионы. Кто нынче не собирает книги для своих домашних библиотек! А вот дарителей – единицы”.

Журналист Валерий Яковлев из Рязани писал Трунину в одном из писем: “Ты, наверное, ещё не чувствуешь, что сам становишься музейной редкостью. Ведь таких, как ты, найти труднее, чем иголку в стоге сена...”.

Газетные и журнальные публикации о Трунине, выходившие в разных городах и весях нашей страны (в Москве и Мурманске, в Крыму и Семипалатинске, на Рязанщине и т. д.), привлекают необычностью и выразительностью своих названий: “Последний романтик века”, “Время чтить чудаков”, “Не каждый может позволить себе сделать подарок Эрмитажу”, “Всё остаётся людям”...

Недаром ещё при жизни он стал легендой.

Сын за отца отвечает

Родительский дом Трунина и поныне стоит на одной из старых тихих елатомских улиц перед прудом, называемым в народе Киселюхой. Сюда, в свою “яблочную” (по Паустовскому) Елатьму, Николай Петрович приезжал каждое лето.

Помнится, как-то осенью, когда яблок в Елатьме уродилось видимо-невидимо и все стонали “девать некуда”, и золотистая антоновка, как ненужный балласт, валялась под ногами, он всё охал и ахал, сокрушённо качал головой,

болезненно морщился и без конца повторял, что мы “ходим по золоту”... И, конечно, доказывал, каким именно образом “ходим” мы “по золоту”: в Мурманске в это время килограмм яблок стоил раз в двадцать дороже, чем в Елатьме...

— Елатьма зовёт, а Мурманск не отпускает, — любил шутить он.

Как он попал в Мурманск? Дорога туда, пожалуй, длиннее, чем сама жизнь. И, наверное, началась она, эта его нелёгкая стезя, с самого рождения Николая. Крестил его родной батюшка — священник одного из тогдашних четырнадцати православных храмов Елатьмы. Однако вскоре, в результате гонений на церковь, отец остался без прихода, а маленький Коля вынужден был перебраться в деревню к тётке, сестре матери. Иначе бы его, поповского сына, в школу не приняли.

Только после четвёртого класса вернулся он домой к родителям. Но по окончании седьмого директор елатомской школы вызвал его к себе и строго предупредил: в восьмом классе ему не учиться. И выдал справку, где значилось: “Отчислен из школы как сын служителя священного культа”. Шёл 1935 год.

Помог родственник — дядя. Жил он в Воронежской области. Большим начальником был. И Коля поехал учиться в Борисоглебск. В 1937 году услышал Коля глас “отца народов”: “Сын за отца не отвечает!” И вновь вернулся в родную Елатьму.

После окончания десятилетки он поступает в Казанский государственный университет. В Казани жила ещё одна мамина сестра, приютившая Николая. Поэтому всех своих тётушек и дядю вспоминал он всегда с непреходящей теплотой. Выбрал Коля физико-математический факультет: хотел быть похожим на своего любимого школьного учителя математики Ивана Ивановича Лихолетова. Вопреки желанию родителей видеть своего старшего сына врачом.

В один из последних дней перед экзаменом по электротехнике бросил третьекурсник Трунин надоевший учебник и пошёл в библиотеку читать “Двенадцать стульев”. Вдруг в “читалку” входит его однокурсник и говорит: “Ребята, война началась”. И запомнилась Трунину на всю жизнь эта картина: читальный зал, взволнованные лица студентов и его растерянный однокурсник.

Экзамены за третий курс в 1941 году были скомканы: торопились на рытьё окопов.

В первые же дни войны студентов отправили на сельхозработы в Башкирию. В университет вернулись только в сентябре и вскоре вновь уехали в один из колхозов под Казанью. Обратно возвращались пешком, не было транспорта.

Уже в университете узнали, что немцы — на подступах к Орлу. Учёба, конечно, прервалась: весь декабрь рыли окопы.

Стояли сорокаградусные морозы. В сутки давали по 600 граммов хлеба на брата. Страдая от голода, Николай Трунин пошёл сдавать кровь для раненых солдат. Донорам полагалась дополнительная хлебная карточка...

В январе сорок второго занятия в университете возобновились. Но суточной нормы хлеба катастрофически не хватало. Многие студенты устроились на работу и учились урывками. Устроился на Казанскую кондитерскую фабрику имени Микояна и Николай Трунин. Стал работать на разгрузке канадского сахарного песка. Песок нередко сыпался из огромных мешков, и Трунин собирал его в рукавички, а потом продавал на базаре. На денежки, которые стали у него водиться, накупил целое море книг. Они стоили там копейки, а стакан сахарного песку стоил триста рублей (месячная зарплата Трунина). Книги были его давнишней страстью.

Однажды Николай Петрович пооткровенничал о своем библиофильстве: “У меня было в жизни три книжных “склада”. Во-первых, дед по отцу служил управляющим у потомственных дворян Воейковых. Революция выгнала хозяев из дома, и во время пожара в барской усадьбе дед — заядлый книголюб — спас бóльшую часть хозяйской библиотеки, да так книги у него и остались... Можно сказать, присвоил. А можно сказать — и спас. Как хотите... Сюда же и отцовские книги попали: он постоянно выписывал “Ниву” с приложениями.

Когда в 1928 году начались гонения, книги прятали по соседям...”

Отец, умирая, завещал старшему сыну Николаю позаботиться о книгах, передать их в надёжные добрые руки, тем, кому они нужнее всего.

Второй “склад” создал Николай сам у тёти в Казани, а третий — уже в Мурманске...

19 января 1943 года (на Крещенье) стал студент Трунин курсантом Московского пулемётного училища, эвакуированного в Можгу. И уже из Можги

командиром стрелкового взвода в составе тридцать девятого отдельного полка в сентябре 1944 года попал на фронт – в Румынию.

– Что ты, свой первый бой забыть невозможно, – невесело улыбался он. – Старшина дал стакан водки, сказал: "До линии фронта – два километра. С Богом!" Помню, перебегали мы из окопа в окоп... И вдруг – вжик! – что-то свистнуло над ухом. Присел я от неожиданности. "Да ты, парень, ещё не обстрелянный, – раздался голос. – Пуля – она, как муха, – вжикнула, и нет её. Так что бояться её не надо".

"Потом шли семь или восемь суток в трансильванском направлении... Редкие привалы на еду и сон были не больше часа. Вот тут-то я понял, что самое страшное – не голод и холод, а мучительное желание выспаться. Потом был приказ форсировать реку Тиссу и занять противоположный берег. А переправившись через Тиссу, тут же попали в окружение. Стрельба... Крики... Взрывы... Танки давили людей. Меня контузило взрывной волной, и я потерял сознание... Очнулся, когда немецкий офицер снимал с меня ремень. В голове пронеслось: "Всё. Конец".

Военные законы были суровыми – для советского воина сдача в плен приравнивалась к измене Родине. Тогда бытовала поговорка: советский солдат живым не сдаётся... Я после долго размышлял: мог ли я тогда выстрелить сам в себя?! Не знаю. Но так или иначе, я оказался в немецком плену. В колонне пленных прошёл по осеннему, ещё не разбитому войной Будапешту и до последних дней помнил удивление, охватившее меня при виде того невероятной красоты города".

Пленных разделили на группы и погнали в сторону Австрии – в так называемый "Царский камень" – громадный лагерь, построенный ещё в годы Первой мировой войны.

Каждому пленному в лагере выдали металлический, разделённый на две половинки жетон с выбитым на обеих номером. Его полагалось носить на груди, на верёвочке. Если пленный умирал, то, как заверяли немцы, одна половина жетона оставалась на нём, другую они якобы отсылали семье.

В лагере под названием Кайзерштайн 17Б на реке Инн на австрийско-немецкой границе, напротив города Браунау (который, как позднее узнал Трунин, был родиной Гитлера) он провёл полгода, до апреля 45-го.

Пленные офицеры лишь изредка привлекались к работам. В основном же были предоставлены самим себе. Николай раздобыл две немецкие книги, словарь, стал постигать вражеский язык... В лагере распространяли книги и газеты. Именно там Трунин впервые познакомился с творчеством белоказачьего атамана П. Краснова – в руки попал его роман "С нами Бог".

Питание, конечно, было скверным – кормили баландой, в день полагалось 100 г хлеба. Николай Петрович с улыбкой вспоминал, что один из пленных, врач, успокаивал товарищей, уверяя, что воздержанность, умеренность в пище не только не вредит здоровью, но, наоборот, даже улучшает самочувствие... И ещё Трунину удалось вести дневник в плену (который он позднее, спустя много лет, передал в музей) и даже собрать небольшую коллекцию монет.

"Помню, генерал Власов приезжал к нам, агитировал, – продолжал свои нелёгкие воспоминания Николай Петрович. – А потом под начальством австрийского офицера пошли дальше на запад. 1 мая в порыве откровения офицер этот признался нам, что у него есть приказ покончить с пленными в случае нападения. Сказал он нам это днём, а вечером нас окружили американцы...

Нас одели во всё новое, предупредили: "У нас много еды, но потерпите. Много есть нельзя, организм должен привыкнуть". Мой приятель армянин не выдержал, наелся досыта – и умер от заворота кишок.

Американцы относились к нам прекрасно. Охраны никакой не было, гуляли свободно, в казармах только спали".

Затем с советской стороны явилась комиссия, стала пленных готовить к отправке. Американцы тоже агитировали: можете, мол, и в Америку переехать. Многие согласились. А Трунин рвался на родину, в Россию, к своим родным и близким. Его и других бывших пленных посадили на "студебеккеры" и отправили на железнодорожную станцию. На неделю ещё задержали в Венгрии.

19 января 1946 года (новое крещение Трунина!) пересекли границу России. Прошли дезинфекцию и оказались в Одессе, в лагере для репатриантов.

– Вот где был ад! – невольно вырвалось у Николая Петровича. – Там с нас содрали новое бельё, выдали какие-то лохмотья. В Одессе на нас смотрели

хуже, чем на врагов. Мы чувствовали себя изгоями. Это было очень тяжёлое чувство. Потом начались и ночные допросы. Вызывают и спрашивают: "Знаешь, что товарищ Сталин сказал? А почему в плен сдался? Почему не застрелился?.." Многие не выдержали таких пыток, покончили с собой... Вот так я, поповский сын, и изгоем был, и на фронте воевал, и потом с ярлыком изменника Родины много лет прожил, – заключил Трунин. – И поныне думаю: как я всё это выдержал?

2 апреля 1946 года Николай Трунин наконец-то получил билет до Елатьмы. Можно сказать – "волчий билет"... Из Елатьмы – никуда.

– У меня об этом городке, – веселеет он, – самые лучшие воспоминания. – Паустовский, будучи в Париже, в своей одноимённой повести назвал Елатьму "трогательный гусиный городок". В ней было 14 церквей, собор и... много-много гусей.

В Елатьме встретился с родителями. Удалось восстановиться и в университете. В 1948 году окончил его и был направлен на Подольский оптический завод. Но тут – мандатная комиссия. Трунину сказали: "Забудь о военном заводе, ты в плену был". Выдали диплом и дали понять: мол, иди, куда хочешь, и ищи, что хочешь.

"Долгое время жил с мыслью, что я изменник Родины, – грустно произнёс он. – Я ведь про плен много лет никому не рассказывал – старался забыть..."

Поехал в Москву, помыкался по чиновникам. Помогла ему одна пожилая грузинка в Министерстве просвещения: посоветовала Трунину идти в школу учителем и дала направление в Мурманск.

"Так я и очутился здесь 30 августа 1948 года. В школе № 1. Сразу дали 30 часов нагрузки вместо 18. И пошло дело. Работу эту я полюбил. И дети относились ко мне трогательно", – заключил свою "одиссею" заслуженный учитель школы РСФСР Николай Петрович Трунин.

Пушкиниана Николая Трунина

За год до 200-летнего юбилея А. С. Пушкина договорились мы с Труниным, что он выступит перед своими земляками. Думала, за это время забудет Николай Петрович о своём обещании. Так нет же! Следующим летом привёз он с собой в Елатьму целый чемодан книг, иллюстраций, фотографий, проспектов... Объявил о своей готовности к выступлениям в любом месте, перед любой аудиторией. А выступать ему приходилось в Мурманске и Ташкенте, Семипалатинске и Рязани, на островах Диксон и Шпицберген, в школах и библиотеках, в музеях и на предприятиях, перед рыбаками в открытом море и моряками... Более полутысячи выступлений.

На этот раз он провёл две встречи в Касимове: с учителями района во время августовских педагогических чтений и с читателями городской библиотеки имени А. А. Малюгина. Затем были выступления в Елатомском народном музее и Ахматовской средней школе. А рассказывал он не только о Пушкине и книгах: в его "арсенале" были рассказы об истории развития науки и техники, о замечательных личностях минувших эпох – Шекспире, Айвазовском, Шевченко, Эйнштейне, Леонардо да Винчи... Круг его лекций был так же широк, как и круг интересов самого Трунина. Его по праву можно назвать просветителем двадцатого века.

Сколько бы мы ни читали – каждый раз удивляешься новому, ещё тобой не открытому в творчестве Пушкина. И Николай Петрович поразил своих слушателей-земляков новыми сведениями и фактами из жизни поэта и своей причастностью к пушкинской теме.

Пушкиниана Н. П. Трунина представлена, во-первых, письмами из пушкинских музеев. Вот одно из них:

"Глубокоуважаемый Николай Петрович! Государственный музей А. С. Пушкина приносит Вам благодарность за переданные в дар книги:

Юбилейный альбом 1799–1899 гг.;

А. С. Пушкин. Анджело. СПб, 1973;

А. С. Пушкин. Моцарт и Сальери. СПб, 1913;

А. С. Пушкин. Руслан и Людмила. СПб, 1912;

А. С. Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. М., 1903;

Газеты за 1937 г. – 7 номеров.

Желаем Вам всего доброго. Всегда рады видеть Вас в нашем музее.
Директор А. Крейн.
Зав. отделом книжных фондов М. Кострова".

А всего Николай Петрович Трунин передал в музей А. С. Пушкина около 150 книг.

Пушкинская тема – особая в его просветительской деятельности. Об этом можно написать целую повесть. Сам Николай Петрович так и говорил о своём отношении к Пушкину: "...Пушкин – это совершенно особая история в моей жизни. Пушкин свёл меня с удивительнейшими людьми. Пушкиным вообще занимаются прекраснейшие люди. Я знаком со многими. Вот эту книгу читала – "Набережная Мойки, 12" Гессена? Какой человек! Послушай. В 1956 году в Пушкинский музей на Мойке пришёл человек, которому было 78 дет. Оказывается, он сидел на одной парте с Блоком, слушал лекции Менделеева и всю жизнь занимался Пушкиным. А в музей этот пришёл впервые. И так он его поразил, что старик решил написать книгу, хотя никогда раньше книг не писал. Через пять лет книга вышла. Вот ты держишь её в руках – "Набережная Мойки, 12". Уникальный случай: первая книга вышла, когда автору было 83 года! Книгу заметили. Автору это дело понравилось. И появляется его новая книга – "Во глубине сибирских руд...". И тогда этот человек поставил себе цель: дожить до 100 лет и написать 10 книг о Пушкине... И что же? Дожил до 98 лет и написал 6 книг. Седьмую – под названием "Минувшее проходит предо мною..." – закончить не успел. План немного не выполнил, но цель достигнута. Правда, удивительно? А кто же этот человек? – Гессен Арнольд Ильич. Вот, смотри, – надпись на книге: "Вы, учитель-мурманчанин, особо близкий мне человек, давний друг – вы ведь ещё и книголюб... Всегда Ваш..."

– Вы с ним были дружны?

– Да, знакомы лет двадцать, много раз встречались, переписывались.

Берёт вторую книгу. Показывает – "Жизнь поэта". Гессен. Москва, 1972 год. На титульном листе – опять дарственная надпись:

"Дорогой Николай Петрович! Книга эта – самая большая радость моей жизни. Она создана мною в дни, когда я встречал уже мою 95-ю весну... Что ещё более радостного могла подарить писателю жизнь?.."

– Какой человек! – продолжал восхищаться Николай Петрович, показывая другие автографы писателя. – Почти сто лет, а находил силы писать... Ты только представь! Гессен 22 года жил в прошлом веке. Пушкин для него был не просто любимейшим поэтом. Вот слушай, как он рассуждал. Пушкин жил давно, верно? Но сам Гессен знавал сына поэта – Александра. А уж Александр-то наверняка сидел на коленях у своего знаменитого папы, великого русского поэта. "Значит, между мной и Пушкиным, – говорил Арнольд Ильич, – всего один человек"... Слушай дальше. А я близко знал Гессена. Значит? Между мной и Пушкиным – всего два человека. Ты понимаешь? Давай пожму твою руку. Вот. Теперь между тобой и Пушкиным – всего три человека. Всего. Видишь, как близко Пушкин...

На вопрос об остальных книгах Гессена о Пушкине Николай Петрович отвечает, что отправил их в музей, предварительно прочитав, изучив и сделав нужные выписки. И показывает папку с адресами: село Берново Калининской области, Молдавия, Торжок, Пушкинский дом в Ленинграде, Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственный музей А. С. Пушкина в Москве, музей-заповедник в Михайловском...

– Вот в Торжок я как-то отправлял скульптуру Пушкина работы Неймарка. Даже вес помню – 10 с половиной килограммов.

И книги отправлял самые разные. Если удавалось достать несколько экземпляров, рассылал их в разные музеи. Мне-то их хранить зачем? А в музеях их сколько людей увидят, и обратятся эти люди к Пушкину! Знаешь, я ведь, можно сказать, стоял у истоков рождения Государственного музея А. С. Пушкина... А однажды был приятно удивлён: получаю от директора этого музея Александра Зиновьевича Крейна две книги: "Рождение музея" и "Жизнь музея". Сначала растерялся, а потом понял: в этих книгах речь идёт и обо мне, о том, что я передал музею более 140 книг. Музей был поначалу бедный, а сейчас он самый богатый. Потому что нашлись сотни людей, которые ему помогли.

– А что это был за юбилейный альбом 1799–1899 годов, который вы передали в дар музею и получили за него благодарность?

— О, это был чудесный альбом. Редкий. Выпущенный к 100-летию со дня рождения Пушкина. Музей его долго искал.

— А вам, простите, не жалко было расставаться с ним? Неужели он вам в самом деле не был дорог?

— Я обычно не думаю, какая книга дороже... А сейчас вспомнил — была такая. Даже отдавать жалел. Матери моей — ещё, конечно, до моего рождения — за участие в церковном хоре, когда она была гимназисткой, подарили собрание сочинений Пушкина с дарственной надписью. Такое шикарное издание известной в России типографии Сытина, датированное 1912 годом, фолиант такой. Ах, какие книги! С иллюстрациями. И с ними у меня связано первое воспоминание о Пушкине: сижу на коленях у отца, и он мне читает "Сказку о рыбаке и рыбке". Какое издание! Оно прожило у нас в доме 50 лет. А в 1963 году я подарил его Государственному музею Пушкина в Москве. У них такого не было. Библиографическая редкость. А для меня — память о матери, о детстве. Жалко, очень жалко было... Но я титульный лист переснял. Фотографию храню. И правильно сделал, что подарил, да, — как бы убеждая себя, повторил он дважды. И повёл рассказ о пушкинских местах, о своей первой поездке в Болдино.

— Николай Петрович, а в Михайловском вы бывали, Гейченко знали?

— Да, в Михайловское я много раз ездил. И с Гейченко Семёном Степановичем хорошо был знаком. Какой человек! Какой удивительнейший человек! Всю жизнь — Пушкину! Святой человек! Посмотри-ка вот эту папку.

— Визитная карточка Пушкина?

— Да. А это кусочек пушкинской "ели-шатра" в Тригорском, погибшей от тяжёлых ранений во время боёв с гитлеровскими захватчиками. Её лечили 11 лет. А в 1955 году она всё-таки начала умирать. И тогда из неё сделали несколько тысяч вот таких сувениров. А вот — письма от Гейченко. Хочешь почитать? Это копии. Сами письма я отдал в музей, вместе с его книгами.

"Дорогой Николай Петрович! Радостен мне был день 5 ноября. Получил от Вас подарок и сердечный привет... Получил Ваш двухтомник Пушкина... Только что закончились у нас юбилейные Пушкинские чтения, посвящённые 150-летию со дня приезда Александра Сергеевича в михайловскую ссылку. Три дня кряду читали доклады и научные сообщения. Три дня музицировали и пели во славу Пушкина!..

Низко Вам кланяюсь, Ваш С. Гейченко".

— Ну, Николай Петрович, удивили... Такие тёплые, живые письма... И от кого? От самого Гейченко из Михайловского...

— Потому я и сказал, что Пушкин свёл меня с удивительнейшими людьми... Я, когда выступаю, беру с собой несколько книг и рассказываю о людях. О тех, кто эти книги написал, или о тех, про кого они написаны. Вот сейчас я обязательно беру с собой книгу Русакова "Рассказы о потомках Пушкина". Книга редкая... Такая замечательная!

А как всё началось? Прочитал я в газете, что некий Русаков собирает сведения о потомках Пушкина, и послал ему журнал "Нива", несколько номеров — там было о детях поэта. Завязалась переписка. А летом в "Комсомолке" прочитал, что есть человек по фамилии Черкашин, который занимается предками Пушкина. И с ним завязалась дружба... Очень много интересного я от них узнал. Оказывается, Пушкин состоял в родстве с самим Александром Невским. Если 21 раз произнести слово "пра" и добавить "дедушка"... Вы понимаете?.. А грамоту о восшествии на престол первого царя из династии Романовых подписали семь бояр Пушкиных. И двое из них были неграмотными, так что им пришлось просто "руку приложить".

По книгам Русакова и Черкашина Николай Петрович составил схему родословной Пушкина и вывел генеалогическое древо пушкинского рода.

— Видите, какая большая схема, — развернул он огромный лист. — И главное — всё понятно. У Русакова в книге — просто списки по поколениям. Я считаю это не очень удобным. И послал ему свою схему. Он решил включить её в новое издание.

— А долго вы составляли эту схему? — поинтересовалась я у Трунина.

— Да, наверное, около года... Надо было сначала хорошо изучить книгу... Хорошо, что я на пенсии — время есть. Смотрите, какая интереснейшая штука получается, — продолжал он. — У сына А. С. Пушкина Александра было 13 детей. Его дочь Мария, внучка поэта, вышла замуж за племянника

Гоголя. И пошли общие потомки двух великих гениев. Сейчас их 64 человека, живут на Полтавщине. Милые, добрые люди... А теперь ещё интереснее. Смотрите сюда, – одну за другой Трунин показывает увеличенные фотографии предков и потомков Пушкина. – Младшая дочь поэта Наталья, которую Русаков в своей книге назвал "прекрасной дочерью прекрасной матери", вышла замуж за сына жандармского полковника Дубельта, того самого, который в своё время надзирал за Пушкиным. Но потом она с ним развелась, потому что он оказался нехорошим человеком, и во втором браке уехала в Германию, выйдя замуж за принца Николая Вильгельма Нассауского. Он был прекраснейшим мужем, и прожили они долгую семейную жизнь. У них было трое детей... А теперь я хочу вас ещё поразить, – многозначительно улыбнулся Трунин. – Их дочь Софья, внучка Пушкина, знаете, что она выкинула? – Помолчав, выдал: – Вышла замуж за Михаила Михайловича Романова! Смотрите на фотографию – какая прекрасная пара! Выходит, Пушкин в третьем поколении породнился со... своим гонителем. Вы понимаете? Как всё переплелось! Как всё сложно в жизни! Теперь эти потомки принадлежат к королевскому дому Великобритании и даже по-русски не говорят...- И тут же сообщил тревожный факт:

– А по мужской линии, то есть как носитель фамилии, у Пушкина остался один-единственный потомок – прапраправнук поэта Сергей. И не женат, представляете? То есть род может прерваться. Об этом узнали наши женщины из Кировска и отправили ему письмо: мол, если не можешь найти жену по вкусу, приезжай к нам. Не дадим угаснуть роду. Смешно, конечно, ну, а если серьёзно посмотреть, то сохранение рода Пушкиных – дело нешуточное, – заключил, улыбаясь, Николай Петрович.

– Всё своё богатство вы раздарили: и книги Пушкина, и книги о Пушкине... Сами-то что читать будете? – спросила Трунина.

– Как что? А собрание сочинений в десяти томах? У меня всего-то осталось пять собраний сочинений, и первый среди авторов Пушкин. Так что Александр Сергеевич всегда со мной.

И процитировал:

"...Дай Бог, чтоб милостию неба
Рассудок на Руси воскрес;
Он что-то, кажется, исчез.
Дай Бог, чтобы во всей вселенной
Воскресли мир и тишина,
Чтоб в Академии почтенной
Воскресли члены ото сна:
Чтоб в наши грешны времена
Воскресла предков добродетель..."

Адреса подаренных книг

Помня завет отца, который говорил, что книга – это общенациональная ценность и она должна быть там, где она нужнее, Трунин щедро и бескорыстно дарил всевозможные издания, говоря при этом: "Надо, чтобы книга работала. Вот я и пустил её в работу". Лишь тот настоящий любитель книги, – считал он, – кто заботится о дальнейшей судьбе её.

Им подарено различным общественным учреждениям страны более пяти с половиной тысяч книг, в том числе 52 собрания сочинений, из них – половина дореволюционных, около 20 библиографических редкостей. Кроме книг, двадцати шести музеям страны подарено более 700 экспонатов, среди них – 35 ценных. Прописались некоторые из этих экспонатов и на родине Трунина, в том числе в есенинском Константинове, Спас-Клепиках и в Елатьме. А в музей г. Касимова перевозил предметы старины из дома Труниных целый автофургон, в котором находились три кресла и диван из гарнитура красного дерева, ковёр, шкаф, этажерка, медная ступа...

Вот некоторые из адресатов Н. П. Трунина:

* В Государственный музей А. С. Пушкина в Москве Н. П. Трунин передал около 150 книг.

* В Государственный музей Л. Н. Толстого подарено более 50 книг. Среди экспонатов этого музея принадлежавшая Трунину книга "Яшка". Автор её – сын Л. Н. Толстого, скульптор и литератор Лев Львович Толстой. В этом же музее хранятся подаренные мурманским книголюбом комплект журнала "Нива" за 1899 год с первой публикацией романа "Воскресение", полное собрание сочинений писателя 1913 года издания, прижизненные собрания сочинений.

* Музей В. Маяковского в Москве долго искал книгу "Птичница Агафья" Клавдии Лукашевич, дореволюционной детской писательницы. Это была первая книга, которую прочитал в своей жизни будущий поэт. Это о ней он написал в автобиографии: "Первая книга – какая-то "Птичница Агафья". Если бы мне в то время попалось несколько таких книг, бросил бы читать совсем. К счастью, вторая – "Дон Кихот" – вот это книга. Сделал деревянные меч и латы и разил окружающих..." Книга стала библиографической редкостью. И тем не менее она нашлась у Трунина и была принесена в музей, о чём рассказал еженедельник "Книжное обозрение" (03.10.1969) в статье "Всё-таки нашли!"

* "Хижина дяди Тома" Бичер-Стоу. Казалось бы, совсем не редкая книга. Но какое издание! Санкт-Петербург, 1895 год, шоколадная фабрика! И эта ценность была передана главной библиотеке страны – Российской Государственной.

* Санкт-Петербургский музей религии и атеизма (Казанский собор) благодарит Н. П. Трунина за переданные в дар книги и экземпляр Библии (Лондон, 1922), представляющий для музея особый интерес.

* Библиотека Чечено-Ингушского университета в г. Грозном объявила о важности восполнить недостающие тома сочинений В. Г. Белинского. У Трунина имелось весьма редкое издание. Первый том его вышел в 1900 году, его получил дед Николая Петровича. А последний – четырнадцатый том – уже получал внук в 1948 году. Книги выходили регулярно, но в течение почти полувека (!). Часть томов до революции выпустил Венгеров, а остальные – уже в советское время – изданы под редакцией Спиридонова. Последний том вышел в год 100-летия со дня смерти В. Г. Белинского. И вот такое необычное собрание сочинений подарил книголюб из Мурманска Чечено-Ингушскому университету, да ещё два тома 1888 года под редакцией А. И. Мамонтова. После получения этих книг библиотека обратилась в редакцию газеты "Советская культура" с просьбой выразить благодарность Трунину Николаю Петровичу за переданное в дар собрание сочинений В. Г. Белинского, которое является библиографической редкостью.

Книги, подаренные Труниным, прописались и во многих других государственных музеях – М. Ю. Лермонтова, И. С. Тургенева, А. Н. Островского, А. И. Куприна, А. М. Горького, С. А. Есенина...

Живут они и в Государственном Историческом музее, в Русском музее и в Государственном музее изобразительных искусств, в Зоологическом музее и библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге, в Военно-историческом музее А. В. Суворова и в музее-усадьбе "Абрамцево", в Научной библиотеке Государственной Третьяковской галереи и в Эрмитаже. В музей имени Андрея Рублева передал Николай Петрович редкую книгу Б. Бродского "Связь времён". Многотомное издание "Тысяча и одна ночь" (СПб, 1902-1903) дарит Трунин Государственному музею искусств народов Востока. Книга Н. Любомудрова "Исследование о происхождении и значении имени Рязань" (М, 1874) находит свое место в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике. Этот список можно продолжать...

В ответ на дары – бесчисленное количество благодарностей. А за ними – адресаты нашей культуры, литературы, живописи, архитектуры, одним словом – нашей многообразной жизни. География их обширна: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Семипалатинск, Тобольск, Феодосия, Михайловское и Болдино, Карабиха и Тарханы, Пенза, Мурманск, Орёл, Ясная Поляна, Киев, Рязанщина... В архиве Н. П. Трунина около 500 благодарственных писем.

"Научная библиотека Государственной Третьяковской галереи благодарит Вас за книгу "Русская икона. Ростово-Суздальская школа", присланную Вами в дар библиотеке. В наших фондах данной книги не было, поэтому мы особенно Вам признательны..."

“Многоуважаемый Николай Петрович! Сектор научной информации ГИМ приносит Вам большую и искреннюю благодарность за передачу его Библиотеке в дар ряда книг, имеющих для Государственного Исторического Музея большую ценность. Это – сочинения Екатерины II в нескольких томах. Редкое теперь издание – журнал “Нива” за годы первой мировой войны 1914 и 1915 г<одов>, Мельников-Печерский П. И. – Полное собрание сочинений в 4 тт. (Приложение к журналу “Нива” за 1909 год. Это издание очень ценно многочисленными подстрочными примечаниями этнографического характера). За последние месяцы мы получили от Вас несколько книг, только что вышедших из печати, по истории Вашего края. Для нас это очень важно, потому что приобрести в Москве местные издания чрезвычайно трудно. В скором времени выйдет из печати 2-е улучшенное издание буклетов, отражающих сокровища нашего музея. Мы их Вам незамедлительно вышлем. С большим товарищеским приветом, уважающие Вас зав. сектором научной информации (неразборчиво) и старший библиотекарь Н. Зверева”.

Пишет молдавский виноградарь: “Книгу Вашу получил, за что большое спасибо. Я не мог даже подумать, что наше племя книголюбов такое чуткое и отзывчивое...”.

Пишет военный моряк: “Большая благодарность Вам за книгу, за Вашу отзывчивость... В своё время я упустил возможность приобрести это издание – был в море. А книга эта для меня драгоценна: её автор – мой учитель... Он обещал мне выслать её сам, но умер, не дождавшись выхода книги в свет...”.

Пишет учитель: “Большая благодарность Вам за ценный подарок. Книга для работы с детьми всегда необходима. Я давно её разыскивал”.

Пишет инженер из Киева: “Спасибо за подарок. Для меня встреча с Вами явилась приятной неожиданностью. Такие люди, как Вы, будоражат нашу совесть и взывают к лучшим сторонам человеческой души...”.

Пишут знаменитости:

“Очень ценю Вашу дружескую помощь. Нашёл в Иркутске неизвестное стихотворение Есенина. Илья Шнейдер”.

“Добрейшему Николаю Петровичу Трунину с самыми лучшими пожеланиями – совершенно дружески...” Ираклий Андроников, автограф на книге “Рассказы литературоведа”.

“Уважаемому Николаю Петровичу Трунину – самому бескорыстному книголюбу земли Кольской – с благодарностью за бесчисленные подарки музею”. Д. Дранишников, на книге “Мой Мурманск”.

“Ну что Вы за чудодей, дорогой Николай Петрович! Вот взяли и ни с того ни с сего осчастливили человека! Книга Фрэзера у меня с детства одна из любимейших... В. И. Порудоминский”.

“Дорогой Николай Петрович! С глубокой душевной радостью узнал о Вашей просветительской деятельности, о щедрости души Вашей и укрепился в себе тем, что такие люди, как Вы, ещё живут в России. В. Чивилихин”.

Разные по стилю, но одинаковые по духу письма-благодарности, по словам Николая Петровича, – это “подтверждение того, что жизнь книги продолжается”. И суть не в том, какие книги подарены, главное – они действуют, живут, работают, учат; с ними к людям идёт свет знаний.

И летят из Мурманска посылки во все уголки страны, и ни один человек не уходит от Трунина без книги. Книги с его экслибрисом, легко узнаваемым среди других, есть во многих домашних библиотеках. Есть они и у меня.

“По тающим следам Есенина...”

Среди всех дарений Трунина мне – только что вышедшее тогда из печати дополненное издание серии “Бессмертные имена” авторов Станислава и Сергея Куняевых “Жизнь Есенина. Снова выплыли годы из мрака...” (Москва, Центрполиграф, 2001), отправленное из Мурманска 5 октября 2001 года. В ответ на дарение я вместе с благодарностью послала Николаю Петровичу красочный буклет со своими стихами под названием “Поклон Есенину”. Кстати, моё знакомство с Николаем Петровичем тоже начиналось с книги, но подаренной не мне, а моему отцу. Это был сборник (опять же!) стихотворений Есенина... Подарок датирован 1967 годом.

Вскоре пришло от него письмо: “...Только что получил Вашу бандероль с пятью книжечками стихотворений. Спасибо! Их подарить есть кому, начиная

с музея Есенина. Кстати, уже несколько месяцев веду работу о присвоении организатору и создателю этого музея звания "Заслуженный"... Встретились такие бюрократические препятствия... хотя всем ясно, что человек заслуживает этого звания дважды... Вы спрашиваете, есть ли у меня другие книги о нашем знаменитом земляке Есенине? – Они тоже подарены. И попали в хорошие руки. Нет, Вам непременно нужно познакомиться с этим человеком..."

И Трунин прислал фотографию уже немолодой женщины в группе молодых моряков, запечатлевшихся на фоне экспозиции под названием "Венок Есенину". Назвав женщину Валентиной Евгеньевной Кузнецовой, Трунин повёл рассказ о ней. Вот что он рассказал:

"Не часто можно встретить ветерана, в трудовой книжке которого только одна запись. А за плечами Валентины Евгеньевны почти полвека педагогического стажа, с августа 1954 года. В одной школе! Сначала была учительницей начальных классов, а после окончания Петрозаводского университета перешла в старшие.

Я расскажу о той стороне деятельности учительницы, которая сделала обыкновенную, периферийного типа школу № 3 в посёлке Росляково Мурманской области известной не только в области, но и за её пределами. Без преувеличения – знаменитой. Недавно школа принимала гостей из Москвы, Башкирии, Украины... А чем знаменита? – Знаменита музеем. Есенинским. Уже отметившим своё 25-летие. Известность эта не пришла сама собой. Она впитала огромный труд учительницы русского языка и литературы Валентины Евгеньевны Кузнецовой и её учеников. Человек глубокой эрудиции, Кузнецова – любитель и тонкий знаток поэзии. Надо признать, дети, как и иные взрослые, чаще всего предпочитают в художественной литературе книги на приключенческую, детективную, фантастическую и другие лёгкие темы. Куда реже можно встретить истинного любителя поэзии. (То же самое можно сказать о классической музыке.)

Перед учительницей встал вопрос, как приобщить своих питомцев к этому тонкому разделу литературы. Обычное начало: внеклассная и кружковая работа. Но... выбранный для этой цели В. Маяковский в работу не пошёл, и приобщения к поэзии как бы не получилось. Эта неудача вовсе не обескуражила учительницу. Она учла причины неудачи и взяла другую тему: Сергей Есенин. Этот поэт был и ей ближе. Дело пошло. Постепенно росло число кружковцев, работа приобретала различные формы. И, конечно, стали собирать материал о жизни и творчестве рязанского поэта. И, наконец, в одну из знаменательных дат школа обогатилась большой есенинской выставкой. Этот день – 3 октября 1971 года – стал считаться днём рождения музея в посёлке Росляково.

Увлечение кружковцев стало не просто данью моде. Оно носит исследовательский характер. Учительница и ученики стали переписываться с родственниками поэта и людьми, знавшими его, с музеями, библиотеками. В квартире Кузнецовой появилось множество фотографий, книг, рисунков, и ничто не лежит под спудом, все материалы доступны людям, а её ученикам – тем более. Метод преподавания Кузнецовой достоин высокой похвалы. Он позволяет шире раздвинуть рамки школьной программы по литературе, помогает ребятам глубже понять законы литературного творчества великих писателей.

Работу В. Е. Кузнецовой поддержал известный знаток Есенина, собравший домашний музей, Иван Андреевич Синеокий из Ялты. Он же вызвался быть добровольным шефом и помощником. С его участием в марте следующего года была организована поездка школьных активистов музея в Ленинград, которую сын поэта Константин Сергеевич назвал "По тающим следам Есенина". Ребята тогда встретились с современниками Есенина, знавшими его: со Всеволодом Рождественским, Виктором Мануйловым, Августой Миклашевской, Рюриком Ивневым, сёстрами поэта Екатериной и Александрой, сыновьями Александром и Константином.

Рождественский, глядя на фотографию Есенина, рассказывал: "...в шапке, на шее длинный шарф. Таким его увидел впервые. Он подсел ко мне, кивнул на тетрадь в кармане: "Почитай стихи". Я оторопел: как он догадался, что я пишу стихи?"

Таких поездок было необыкновенно много. Вроде статистика и не к месту, но приведу несколько цифр: 25 раз (двадцать пять!) "есенята" школы были на родине Есенина в Константинове. Естественно, не одно поколение, их

было десять. Здесь ребята учились музейному делу. Были и в тех городах, где находились есенинские музеи: Вязьма, Липецк, Тула, Баку, Ташкент, Орёл... Провели выездные экскурсии во всех районных центрах Мурманской области.

Есенин дал школе в Росляково друзей во всём мире: в Англии, Болгарии, Польше... Случай свёл Валентину Евгеньевну с англичанином Гордоном Маквеем. Он преподаёт в университете русский язык. Исследователь творчества Есенина. Англия переиздаёт поэта. Гордон прислал росляковским "есенятам" три книги. А переводчица Есенина Джэсси Дэвис (встречалась я с ней в Рязани, на юбилейных есенинских торжествах. – **Прим. Т. К.**) работает над последним, восьмым томом – о Есенине. Валентина Евгеньевна много раз встречалась с ней, делилась малоизвестными, а то и вновь открытыми материалами.

А болгарская певица Роза Балканска! У неё есть концертная программа – есенинская. И с ней делилась материалами Валентина Евгеньевна.

В картотеке музея 250 адресатов – писателей, знатоков творчества поэта. Больше того, росляковский музей шефствует над школьными музеями Н. Клюева и Б. Пастернака в области. Помогает литературному музею в Тихвине, поэтическому кружку при ПТУ в Самаре. "Есенята" собирали материал для экспозиции в Соколе (Вологодская обл.), помогли музею-заповеднику села Константиново в сборе материала о пребывании Есенина на Севере. Литературный музей Москвы от наших "есенят" получил помощь по иконографии.

Сама В. Е. Кузнецова входит в состав научной группы Института мировой литературы по подготовке академического семитомного собрания сочинений Есенина и готовит для седьмого тома иконографию поэта, предоставив 160 фотографий (объём книги позволяет не более ста). Валентина Евгеньевна, кроме того, учёный секретарь международного общества "Радуница", которое становится как бы центром народного есениноведения.

Всякий раз, бывая в музее, общаясь с Валентиной Евгеньевной, задаю себе вопрос: где черпает силы эта женщина? Поразительное явление. Известные собиратели домашних, школьных музеев, даже более масштабных, такого материала не имеют. А она обычно объясняет: "есенята" мне помогают. И тогда, когда становятся взрослыми.

За годы работы музея фонды выросли настолько, что возник вопрос: как всё сохранить? Мало гарантий, что школа сможет уберечь эти сокровища. При содействии председателя областного комитета по культуре Г. Н. Алексеева Мурманская областная детская библиотека выделила прекрасное помещение. И всё, что любовно собиралось четверть века, Валентина Евгеньевна решила передать в дар областному центру. Торжественная церемония акта передачи состоялась. Валентина Евгеньевна считает, что экспозиция станет первым кирпичиком будущего литературного музея областного масштаба. А сегодня почитатели поэзии уже могут узнать здесь много интересного, ранее не известного.

А как же музей в Росляково после передачи собранного областному центру?

Живёт прежними заботами, "окна его светятся, как и прежде". Для всех, кто любит Есенина и его поэзию.

Автографы на книгах

Любовь к книге, отзывчивость на любую просьбу, в свою очередь, подарили Трунину личное и эпистолярное знакомство со многими знаменитыми писателями и поэтами, литературоведами, политиками, учёными... В его архиве – письма от Михаила Шолохова, Константина Симонова, Валентина Пикуля, Порудоминского и Чаковского, Л. Любимова и Сартакова, Евтушенко и Солоухина... Каждый автограф – это целая история. А всего таких книг с автографами ста двадцати известных писателей у Трунина около 200 (двухсот!).

В последние годы в его личной библиотеке, насчитывавшей некогда несколько тысяч экземпляров, оставалось чуть более 200 книг. Николай Петрович ссылается на Блока, который говорил, что каждому грамотному человеку достаточно иметь около 100 книг, но отбирать их следует всю жизнь. Именно отбирать, а не собирать. И отобранные Труниным книги разместились в двух шкафах. В первом – так любимые Николаем Петровичем произведения Пуш-

кина, Толстого, Чехова, Есенина, Шота Руставели, Мопассана и некоторых других авторов, монографии и собрания сочинений по отечественной истории. Во втором шкафу – дорогие его сердцу книги с автографами многих знаменитостей.

Но это не простые автографы, не те, что обычно выпрашивают, чтобы похвастаться ими. Нет, за каждым автографом в библиотеке Н. П. Трунина – целая история... История встреч, знакомств, дружбы, совместных поездок, уважения, любви и благодарности – история целой серии человеческих взаимоотношений. Эти автографы – "знак уважения писателя, его благодарности... за помощь в работе, за добрый совет, за поддержку словом или поступком..."

А началась история с автографами с коллективного письма класса, в котором преподавал Трунин, Ираклию Андроникову. В то время Николай Петрович познакомил ребят с его "Загадкой Н. Ф. И." И вот, к их общему великому изумлению и радости, Андроников ответил, да ещё прислал свою новую тогда книгу "Рассказы литературоведа"... Книги с дарственными надписями прислали Трунину Михаил Шолохов и Константин Симонов. Автор "Тихого Дона" и "Поднятой целины" прочитал заметку в газете о Трунине и не смог остаться безучастным к его деятельности. Константин Симонов узнал о мурманском подвижнике-библиофиле из книги даров музея А. С. Пушкина. А вот – в роскошной обложке "Письмена". Автор этой книги известен миллионам. Автограф гласит: "Моему северному другу – Николаю Петровичу Трунину – с горячей южной любовью Расул Гамзатов". Сестра известного татарского поэта Мусы Джалиля Хадича Джалилова подарила ему книгу "О моём брате" (Казань, 1969) с автографом: "Моему заполярному земляку Николаю Петровичу Трунину с уважением и наилучшими пожеланиями..." Гордится Николай Петрович и миниатюрной книжицей – форматом меньше спичечной коробки – лейпцигского издания "Фауста" Иоганна Вольфганга Гёте, подарок журналиста Василия Пескова. И тут же его книга "Шаги по росе". В 1979 году в "Комсомольской правде" была опубликована статья В. Пескова "Мещёра". Прочитал Николай Петрович статью очень внимательно.

– Гляжу: здесь Песков дал маху. Он пишет, в одной деревне старик с невесткой плетут диковинные старинные лапти... Так ведь не старик с невесткой, а старуха со своим стариком. Потому что в этой семье – я её знаю – главной по производству лаптей была старуха. Как начнёт работать пальцами: пять минут – лапоть, еще пять минут – другой... Вот я и написал об этом Василию Михайловичу. И он мне прислал письмо с благодарностью и свою последнюю книжку. А в ней: "Хорошему, доброму человеку Николаю Петровичу Трунину с радостью. 18 июня 1983 года..."

О каждом автографе и людях, написавших их, Трунин мог рассказывать часами... Вот, например, книга "Письма к русским эмигрантам" с автографом автора Василия Витальевича Шульгина. Да, да, того самого, который принимал отречение от престола у последнего русского царя Николая II. И Трунин рассказал уникальную историю этого человека, который вошёл в историю тем, что лично принимал отречение от престола у последнего русского царя Николая II, он же провозгласил императором царского брата Михаила. После революции он участвовал в белогвардейских контрреволюционных выступлениях и готовил очередной заговор уже из Франции. После Второй мировой войны его осудили, но через семь лет он был освобождён...

– Я думал, – рассказывал Трунин, – его уже давным-давно нет на белом свете. Но вот однажды читаю "Известия" и что же вижу: оказывается, Шульгин ещё жив и проживает во Владимире. Я побывал у него – и не раз. Умер он в возрасте 98 лет... Он подарил мне свою книгу "Письма к русским эмигрантам". Но это только начало истории. А что же было дальше? В 1972 году журнал "Звезда" напечатал публицистическую повесть Марка Константиновича Касвинова "Двадцать три ступени вниз". Она тогда вызвала большой ажиотаж. Когда я прочитал повесть, то очень удивился, что в событиях, описываемых автором, совсем не упоминается о Шульгине... Я разыскал автора повести (искал его в Ленинграде, он оказался москвичом) и высказал ему своё недоумение. Он удивился так же, как и я раньше: "Как?! Разве Шульгин ещё жив?" И тогда я устроил Касвинову встречу с Шульгиным. Касвинов тогда перерабатывал журнальный вариант для книги, и материал ему очень пригодился. И в последнюю его книгу уже вошла история В. В. Шульгина...

Кроме того, Касвинов был благодарен Трунину за фотографии всех крупных деятелей царской эпохи, переснятых из трунинского журнала "Нива", – автор хотел их использовать в качестве иллюстраций. Но, к сожалению, Касвинов внезапно скончался, и книга вышла уже после его смерти и без иллюстраций. Вдова М. К. Касвинова прислала Трунину книгу со своей подписью: "Николаю Петровичу Трунину на добрую память о Марке Константиновиче, о встречах с ним и благодарностью за помощь, которую Вы ему оказали в работе над книгой..."

Теперь уже покойный Лев Любимов, почти всю жизнь проживший за границей, написал книгу "На чужбине". Прочитав её в журнале, Николай Петрович тут же написал в редакцию пожелание, что такую вещь надо обязательно издать книгой. Редакция переправила письмо Трунина в издательство, а оттуда пришёл ответ: "Иностранных авторов мы не печатаем". Владимир Солоухин, чьё творчество Николай Петрович ценил высоко и с которым его также связывали дружеские отношения, "подкрепил" просьбу Трунина своей статьёй в "Литературной газете".

Две из последних подаренных книг – это "Жизнь – сапожок не парный" Тамары Петкевич и "Родина и чужбина" Ивана Твардовского – родного брата А. Т. Твардовского. С обоими авторами Николай Петрович переписывался. Побывал в Ленинграде у Петкевич и в Смоленской области на хуторе Твардовских.

– Кстати, – похвалился однажды Николай Петрович, – дожил я и до тех дней, когда свои книги стали дарить мне мои ученики. Помню, однажды позвонили мне из милиции: "Приходите скорее, у нас ваш семиклассник Боря Блинов". Я перепугался, бегу... А выясняется, что Боря нашёл на улице чей-то портфель с деньгами – 875 рублей! (В то время – это большие деньги.) И принёс его в милицию. Я тогда ещё заметку в нашу областную газету написал: "Так поступают советские пионеры". И вот, представьте себе, этот самый Боря Блинов стал писателем и подарил мне свою первую книгу рассказов "На встречных курсах" с надписью: "Дорогому Николаю Петровичу, моему школьному учителю, истинному ценителю книги, с огромнейшей симпатией и любовью". И далее поведал Николай Петрович о писательской семье мурманчан Блиновых.

Глава семейства Николай Николаевич Блинов – известный в Мурманске автор. Его сыновья – Борис и Николай, бывшие ученики Трунина, – тоже писатели. И, наконец, к перу приобщилась их мама, она тоже издала книгу.

– Четыре писателя в одной семье! – восторженно произносит Николай Петрович и сообщает, что братья Блиновы в своих книгах упоминают и его, учителя-книголюба. И тут же с большим откровением и юмором рассказал о себе и своих учениках:

– Однажды конфуз со мной вышел: урок проспал. За всю свою учительскую жизнь ни разу не опоздал и ни одного урока не пропустил. До этого всех болеющих замещал. Сам в руках не держал ни одного больничного листа. ...А тут – урок проспал! Ученик мой Розаев (он потом врачом стал) дал мне пилюлю от бессонницы и велел принять половину... А я всю проглотил, вот и проспал. Смеху, конечно, было... Сам себе и наказание придумал: оплатил все счета физического кабинета – почти месячную зарплату истратил. Школа всегда была бедной... И после этого – никаких пилюль. Со страхом ли уходил на пенсию? – Нет. Меня из школы сразу же в институт усовершенствования учителей переманили. В школе было интересней...

Во время своих выступлений перед касимовцами-земляками в последний свой приезд поведал Н. П. Трунин историю десяти автографов на уникальных изданиях, показал их слушателям, заворожил своими рассказами. Одной из поразительнейших историй он считает историю писателя Владимира Карпова, автора книги "Полководец". А о своём отношении к автографам сказал, что для него это, прежде всего, "память о людях, интересных встречах, запомнившихся событиях".

Однажды после поездки в море к военным морякам, где Трунин выступал вместе с петрозаводским поэтом Валерием Аушевым, последний, увидев его автографированную библиотеку, пришёл в восторг и подарил Николаю Петровичу свой сборник стихотворений с таким посвящением:

В двух шкафах, как видно, неспроста
Сто автографов у вас редчайших есть.

Стать сто первым, скромным, к Вашим ста
Я приму за искреннюю честь...

Так количество книг с автографами в библиотеке Трунина перевалило за сотню.

Эта личная библиотека, состоявшая из двух шкафов, заняла первое место в областном смотре-конкурсе домашних библиотек и второе – во Всероссийском.

И вот, перешагнув свой 75-летний рубеж, Николай Петрович беспечально расстался с одним из двух шкафов, сказав при этом: "Вот и все. Это мой последний дар". Печалился он по другому поводу – по поводу того, что "дарить больше нечего". А "последним его даром" стал шкаф с библиотекой автографированных книг: 181 экземпляр с автографами, как уже говорилось выше, ста двадцати авторов, которую он передал областному краеведческому музею города Мурманска. И весь свой домашний архив (письма, грамоты, документы, благодарности и т. д.) Н. П. Трунин передал в Государственный архив Мурманской области (ГАМО), что составило фонд 1042, включивший в себя 28 единиц хранения. Небольшую часть архива отдал в Елатомский народный музей на своей малой родине.

* * *

Человек большого таланта в общении и обращении с книгой, он как-то даже не вписывается в теперешние рамки человеческих отношений, в период, когда бессребреники практически вывелись... Даже определение ему подберёшь не вдруг. Модные нынче словечки "спонсор" или "меценат" никак не подходят к скромному пенсионеру, бывшему учителю. Ведь меценатами становятся от больших доходов, не иначе, куда уж тут Николаю Петровичу... Хотя при нынешних ценах его прежняя библиотека могла бы превратиться в кругленькое состояние.

Есть люди, чьи библиотеки насчитывают тысячи книг, но тем не менее они не только не собираются с ними расставаться, но даже и не допускают к ним никого – почитать! Домочадцы таких "книголюбов" чуть не плачут: трёх комнат для книг не хватило, и теперь поэзия заняла верхние полки на кухне... Что тут сказать?

Ценности эти, как правило, пропадают. Лучшая библиотека пушкинской поры – друга великого поэта Соболевского – вся пропала, потому что не успел он ею распорядиться.

Когда Трунина спрашивали, не жалко ли ему расставаться с книгами, он традиционно отвечал на этот вопрос строками любимого Шота Руставели: "Что ты спрятал, то пропало; что отдал ты – то твоё". В древности говорили, что книги имеют свою судьбу. И мне кажется, человек должен помогать книгам найти эту самую судьбу. Лучшая участь книги – служить многим и, прежде всего, тем людям, которым она нужнее. Уместно вспомнить и слова профессора Саркизова-Серазини: "Считаю себя не вправе держать эти драгоценные реликвии у себя дома. Книги – мои друзья, и расстаёмся мы, как друзья. Они уходят от меня к людям. Кроме того, мы с ними постоянно встречаемся: в библиотеках, в музеях..." И, лукаво улыбаясь, добавлял: "Подарить книгу – праздник, прежде всего, для того, кто дарит. И если кому-нибудь из вас жалко, попробуйте всё-таки подарить. Сначала будет жалко, потом не очень, а дальше – больше: увлечётесь так, что не остановитесь. Будете дарить и дарить..."

НИНА КРЕЙДИЧ

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ И НЫНЕШНЕМ ЕГО БЫТОВАНИИ

...Время, когда, опустевшие души калеча,
сленг иноземный срастается с феней блатной,
чтоб мародёрствовать в русской болеющей речи...

Юрий Беличенко

Употреблять иностранное слово, когда есть русское слово, равносильное ему, — значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус.

В. Г. Белинский

Поколение, окончившее школу в 1950–1960 годах, знало наизусть слова И. С. Тургенева: “Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах нашей родины, ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде того, что совершается дома. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!”

Тургеневу было с чем сравнить: он много лет жил во Франции и владел французским языком не хуже русского. Знал он, конечно, и немецкий язык, как любой выпускник гимназии.

А вот М. В. Ломоносов знал 11 языков и понимал ещё несколько. Ему тоже было с чем сравнить, чтобы охарактеризовать русский язык, что он и сделал: “Карл 5-ый, римский император, говаривал, что гиспанским языком – с Богом, французским – с друзьями, немецким – с неприятелем, итальянским – с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно, ибо нашёл бы в нём великолепие гишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка” (из “Российской грамматики”).

А. С. Пушкин считал, что “язык славяно-русский имеет НЕОСПОРИМОЕ превосходство перед всеми европейскими”.

Современник Пушкина А. С. Шишков, который был одно время министром народного просвещения, а с 1813 года возглавлял Академию наук, писал: “Каждое вводимое в употребление чужеязычное слово не только отнимает у разума свободу и способность распространять и усиливать язык свой, но и приводит его в бессилие и оскудение. Уступая всё больше и больше сей мнимой необходимости, щеголяя чужими словами, мы, наконец, перезабудем

свои, смешаем остальные с чужеземными и, растеряв в собственных словах свои корни и знания, сделаем из словенно-российского языка, из сего поднимающего главу свою из глубокой древности сторукого великана, такое сухощавое греко-латино-немецко-французское дитя, у которого не останется ни ума, ни силы" (в наше время Шишкову пришлось бы ещё добавить и английский язык).

Не менее высоко ценили русский язык и писатели XX века. Вот что писал А. И. Куприн: "Русский язык в умелых руках и в опытных устах – красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен".

Кстати, и Куприн в эмиграции пользовался французским языком, значит, и ему было с чем сравнивать.

Оставил свой отзыв о русском языке и К. Г. Паустовский: "Нам дан во владение самый богатый, меткий, могучий и поистине волшебный язык".

В. И. Вернадский считал язык душой народа, закодированным знанием о его прошлом и даже будущем. Как это созвучно с высказыванием английского журналиста, знавшего русский язык не хуже английского, участника I-й мировой войны в составе русской армии Роберта Вильтона: "Язык является культурным сокровищем и святыней народа, т. е. предметным воплощением высших духовных ценностей, нерушимым духовным достоянием, без которого человек (и народ) теряет своё лицо, при поругании которого народ испытывает ущерб своего достоинства и духовной самостоятельности, становится нравственно уязвимым и духовно бессильным".

Вильтон был переводчиком книги Н. А. Соколова "Последние дни Романовых". В предисловии к своему переводу он написал: "Мы стремились быть точными и писать русским, а не современным газетным языком, ибо заполнять речь ненужными иностранными словами – значит прилагать руку к УБИЙСТВУ родного языка – этого последнего нашего богатства".

От того, как мы говорим, зависит судьба народа. В. Ю. Троицкий, доктор филологических наук, профессор, прослеживает этапы этой зависимости: "Состояние речи – это состояние мысли; состояние мысли – это предпосылки поступков; поступки – это сущность поведения людей; сущность поведения людей – это судьба народа".

О том, как тесно связан язык с судьбой народа, знали ещё древние римляне. Завоевав Галлию (теперешнюю Францию), они сменили названия населённых пунктов и стремились вытеснить друидизм.

Авторы 1917 года в России явно хорошо знали историю Древнего Рима. Например, в старинном русском городе Вятке не осталось ни одной улицы со старым названием. Они стали называться именами К. Маркса, Энгельса, Воровского, Володарского, Ленина и т. п. И сам город потерял своё имя. Вопреки многолетним усилиям вернуть его, пока это не удаётся. При том, что отнюдь не все жители России знают город Киров, а вот Вятку помнят многие.

Но вернёмся к Древнему Риму и вспомним Юлия Цезаря. В своей речи он стремился к монументальности и призывал всех избегать "умных оригинальностей". Он писал: "Как моряк избегает подводных скал, так вы должны избегать не всем понятных слов". Неизвестно, читал ли Пушкин эти слова великого государственного деятеля, но как они созвучны с тем, что он завещал всем нам: "Избегайте учёных терминов и старайтесь их перефразировать: это сделает вашу речь понятной малообразованным людям и полезно нашему младенствующему языку" (вспомним, что ЛИТЕРАТУРНЫЙ русский язык именно тогда и складывался).

Среди русских писателей, поэтов, мыслителей трудно найти человека, который не отразил бы в своих статьях, письмах и в художественных произведениях отношение к родному языку. Например, Ф. И. Тютчев в письме к князю Вяземскому назвал родную речь "залогом всего, что свято для души".

Вдохновляет и единомыслие всех представителей русской культуры в вопросах языка. Если с высказываниями о языке Ломоносова, Пушкина, Тургенева мы знакомы давно, то И. А. Ильин стал доступен сравнительно недавно, поскольку при большевистской власти был под запретом. И вот что он писал: "Дивное орудие создал себе русский народ – орудие мысли, орудие душевного и духовного выражения, орудие устного и письменного общения, литературы, поэзии и театра, права и государственности – наш чудесный, могучий и глубокомысленный русский язык". По мнению Ильина, язык вмещает в себя таинственным образом всю душу, всё прошлое, весь духовный уклад

и все творческие замыслы народа. Ильин считал, что по-русски можно выразить всё, что сказано на других языках. Его диапазон настолько широк, что может выразить и самую простую вещь, и сложнейшие философские понятия; безысходное уныние и беззаветное веселье, едкий юмор и нежную лирическую мечту. Русский язык – это голос самой России. Он создавался народом веками; он "родился из всенародного стона и вздоха". Само слово Россия выражает, по мнению Ильина, "что-то самое главное в нашей жизни: не территорию, не природу, не быт, не государство, но русский дух". Слова из других языков, внедряемые в русский язык, или вновь придуманные слова, состряпанные чаще всего на греческой основе, Ильин называл "духовными ублюдками". К ним он относил модернизм во всех его проявлениях и приводил конкретные примеры: символизм, футуризм, акмеизм и т. д.

Ильин считал необходимым изучение церковно-славянского языка – языка Православия, древних летописей, государственных актов и законов. А недопустимым, по его мнению, было изучение иностранных языков до того, как ребёнок заговорил связно и бегло на родном языке. Ильин придавал большое значение не только чистоте словарного запаса, но и звучанию слов, и интонационной мелодии речи (она сейчас искажается ничуть не меньше других её характеристик!). Он считал, что Г. Р. Державин (1743–1816), а вслед за ним А. С. Пушкин добились слияния русско-церковнославянского и русского языков. На этой основе сформировался русский литературный язык и вся русская культура.

Наверное, итогом высказываний Ильина о языке можно считать такую фразу: "Не любить язык, не блюсти его – значит не любить и не блюсти нашу Родину".

Не менее сильно выразился и Д. С. Мережковский: "Язык – воплощение народного духа; вот почему падение русского языка и литературы есть в то же время падение русского духа. Это воистину самое тяжёлое бедствие, какое может поразить великую страну. Я употребляю слово БЕДСТВИЕ вовсе не для метафоры, а вполне искренне и точно... Для всех нас ПАДЕНИЕ РУСКОГО СОЗНАНИЯ, РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, может быть, и менее заметное, но нисколько НЕ МЕНЕЕ ДЕЙСТВЕННОЕ СТРАШНОЕ БЕДСТВИЕ, ЧЕМ ВОЙНА, БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВОЙНА, БОЛЬШЕ, ЧЕМ ГОЛОД".

Не обошла своим вниманием вопросы, связанные с языком, и Марина Цветаева. Она высказалась в предисловии к книге князя Сергея Волконского "Мои воспоминания". Несколько слов о его судьбе: вернувшись в Россию из эмиграции после Второй мировой войны, Волконский разделил судьбу многих эмигрантов: он был сослан в деревню Глушковы Котельнического района Вятской области. Там он преподавал в средней школе несколько предметов. Спустя более полувека о нём вспоминал один из его учеников, доросший до ректора вуза. Уважение и даже восхищение своим учителем он пронёс сквозь всю жизнь и считал учёбу у Волконского самой большой удачей своей жизни...

Но вернёмся к Марине Цветаевой. Вот её слова: "Думаю, в преподавательской деятельности князя Волконского в Советской России одна из главных его заслуг – чистота русской речи, беспощадное смывание чужеземной накипи". Это писалось в 30-х годах XX века! Можно себе представить, какова была бы реакция Цветаевой, если бы она послушала, как говорят в России сегодня! Мыслимо ли сейчас смыть ту "чужеземную накипь", которая усиленно внедряется в русский язык?! Внедряется именно потому, что искажение языка ведёт к гибели народа.

Как тут не вспомнить ещё раз слова Д. С. Мережковскго: *падение русского языка – самое тяжкое бедствие, которое может поразить страну.*

В связи с этим вспоминается стихотворение А. А. Ахматовой, которое появилось в страшное для России время – в феврале 1942 года. Оно было опубликовано в газете "Правда":

МУЖЕСТВО

Мы знаем, что нынче лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова...

И сразу же вслед за этими строками Ахматова говорит о языке:

И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесём
И внукам дадим, и от плена спасём
Навеки!..

Что сказать сегодня о клятве Ахматовой? На этот вопрос можно ответить, идя по улице и прислушиваясь к речи прохожих, особенно молодёжи. Часто бывает просто непонятно, на каком языке они говорят.

А ведь Тургенев обращался к нам, говоря: "Берегите наш язык, наш прекрасный язык, наш прекрасный русский язык – это клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками! Обращайтесь умело с этим могущественным орудием: в умелых руках оно в состоянии совершить чудеса".

Самое удивительное, что завещание Тургенева и клятва Ахматовой не выполняются даже искренними русскими патриотами. Слова-"ублюдки" (по выражению Ильина) так глубоко въелись в речь, что люди не задумываются о том, какое преступление они совершают против своей нации, употребляя все эти "фейки", "лаки", "офисы", "саммиты", "бренды" и пр., и пр., и пр. Особенно нестерпимо их слышать в устах уважаемых людей! К сожалению, это встречается очень часто.

К счастью, есть у русского языка и защитники.

Вот как выразила своё отношения к уродованию русской речи Лариса Сперанская:

Когда любовь сменилась словом "секс"
И "бизнесом" — любимая работа,
Когда в карман дешёвый "шопинг" влез,
Нам за покупками ходить уж неохота.
Когда "ресепшеном" вдруг стали называть
Стол у дверей вахтёрши тёти Мани,
Когда зарплату перестали получать,
А только лишь — "бабло" и "мани",
*Когда понятия — **ДОСТОИНСТВО** и **ЧЕСТЬ***
На толстый кошелёк и "джип" сменились,
*А **МУЖЕСТВЕННОСТЬ** вдруг и там, и здесь*
Тихонько в "голубятню" превратилась...

Богатство творчества на тощий "креатив"
Вдруг почему-то сразу поменялось.
И тяжкого "хендмейда" кол забив,
Искусства рукоделья не осталось.
День выходной на "уикенд" сменив,
Мы не сидим за книгами любимыми,
И свой родной дар Коляды забыв,
Живём меж "хэллоуинов" с "валентинами".
Мы терпим "толерантно" подлецов,
Меняем музыку на ритмы "клубных" танцев,
*Теряем **РЕЧЬ, КУЛЬТУРУ**... и **ЛИЦО**,*
Сгребая грязь и хлам у иностранцев.
Мы не заметили, как всё произошло...
На что мы самоцветы променяли?!
***РОДНЫХ ТРАДИЦИЙ ЧИСТОЕ ЛИЦО** —*
Испачкали, забыли... и предали...

Усилия исказить, а в будущем и уничтожить русский язык применялись уже давно, судя по тому, что писал Андрей Белый (1880–1934). В своей статье в журнале "Весы", посвящённой засилью нерусских деятелей в литературе, он пишет: "Чистые струи родного языка засоряются своего рода безличным эсперанто из международных словечек..."

Один из лучших русских писателей XX века Виктор Астафьев выразил свою озабоченность состоянием русского языка такими словами: “Жаль, что вопросы языка воспринимаются у нас как что-то, стоящее в стороне от главных вопросом жизни. Ох, заблуждение-то какое тяжкое и давнее!”

Более жёстко высказался на эту тему уже упоминавшийся русский учёный В. Ю. Троицкий. Он ставит такой диагноз: “Происходящее массовое повреждение русской речи в средствах массового тиражирования означает направленное деформирование основ национального самосознания”. Не только речи, а национального самосознания! Вдумайтесь в это!

Свой приговор происходящему искажению русской речи произнёс наш современник – писатель М. А. Чванов в произведении “Если не будете как дети...” Он пишет о современной научной литературе, которая, по его мнению, “всё больше и больше пишется по принципу: чем более не по-русски, чем более непонятно, тем, мол, “учёнее” и “научнее”. Это даже не эсперанто, это калька с какой-то космополитической абракадабры. К тому же подобным образом легко прикрыть отсутствие истинной научной мысли”.

Говоря об отношении к русскому языку в России, нельзя обойти молчанием ещё одно издевательство над ним. Пройдитесь по старинному русскому городу Вятке (да и по любому другому из русских городов). Вятка находится далеко от западных границ России, ещё дальше от Англии и ещё дальше от США. В течении многих десятилетий город был закрыт для иностранцев, а сейчас если они и забредают сюда, то очень редко. Для кого, почему, зачем, по чьему приказу названы по-английски магазины, ателье, мастерские и т. п.?! Кому нужны английские названия?

А вот пример одного переименования: в середине XX века во вновь построенном доме был открыт магазин. Там продавался хлеб, и, соответственно, он был назван “Булочная”. Позднее там стали продавать и другие продукты, однако он оставался “Булочной” и по инерции, и в силу главного его назначения: снабжать хлебом жителей округи. И вот в начале 2020 года вывеска была заменена словом “Авокадо”. Правда, написано кириллицей. Такое бессмысленное переименование, такое издевательство над городскими традициями так возмутило некоторых жителей, что они стали бойкотировать этот магазин. К сожалению, их немного. Как – увы! – немного и тех, для кого чувство национальной принадлежности, желание сохранить русские традиции не являются отвлечёнными понятиями, для кого это жизненная необходимость потребность, продиктованная любовью к своим предкам, сохранившим для них Родину вопреки катастрофическим событиям XX века.

Так что же с нами происходит? Права, видимо, Лариса Сперанская: “Теряем речь, культуру и лицо”. Мы предаём не только традиции, вставляя в свою речь английские слова, – мы предаём Россию.

Поражает то, что этим вирусом, искажающим лицо России, заражены не только представители “пятой колонны”, но и искренние, убеждённые патриоты. Примеры в доказательство этому можно встретить буквально в любом тексте СМИ, в любом выступлении в Сети. Один из самых досадных, грустных примеров – Н. С. Михалков. Убеждённый русский патриот, защитник интересов русского народа, борющийся с бесами, овладевшими страной, пользующийся уважением и любовью большинства жителей России, он постоянно использует в своей речи слова-”ублюдки”, по выражению Ильина.

Проблема сбережения родной речи существует не только в России. Например, есть она и во Франции. В отличие от России, французское правительство помогает патриотам своей страны бороться за чистоту французского языка. Там существует законодательство, которым установлен штраф за использование в речи иноязычных слов. А самое большое достижение французов в вопросах языка – это нахождение французских слов для любых технических терминов, которые появляются в английском языке в связи с развитием науки. Французы нашли соответствующие слова для компьютера, интернета, планшета, сайта и многих других.

Хочется завершить эту попытку достучаться до своих соотечественников в деле сохранения русского языка и своей Родины словами поэта, имя которого, к сожалению, не знаю: “Как родниковую течь, // нужно любить и беречь // русскую чистую речь!”

ТАТЬЯНА ПЛОСКОВА

О ТОМ, О СЁМ...

Когда-то, в бытность мою корреспондентом городской газеты провела я опрос прохожих на тему “О чём вы мечтаете?” Ответы не впечатлили: “о большой зарплате”, “квартиру хочу купить”, “а я женщину себе ищу”. Ни озорства в ответах, ни парадокса. Озабоченно и буднично. Никто не размечтался о сочинском пляже, а уж тем более не грезил съесть плод с дерева бессмертия. Результатами опроса и своими мыслями о нём я поделилась со знакомым и услышала в ответ отрезвляющее: “А чего мечтать о несбыточном?”

Это так, но если бы Циолковский не мечтал о межпланетных путешествиях, человечество так бы и не взглянуло на Землю глазами Бога. Содержание желаемого определяет масштаб личности.

И ещё о мечтах, детских. За семейными разговорами мой отец часто вспоминал послевоенное детство. Как-то обмолвился, что мальчишкой увидел в конторе печатную машинку, и она произвела на него впечатление. Потом сказал, что был заворожён игрой в бильярд в сельском клубе. Много позже в нашем доме появились и настольный бильярд, и печатная машинка – дорогие, не ширпотребные по советским меркам вещи. На машинке отец не стучал, шары гонял изредка, но эти приобретения стали реализацией его детских “хотелок”.

Все мечты – и самые невероятные, и скучно банальные – должны осуществиться, иначе человек не испытает полноту бытия.

* * *

Владимир Путин и Иосиф Сталин никогда не станут соперниками в борьбе за высший государственный пост, но если предположить их схватку, то каков, интересно, будет исход? Респонденты социологических агентств, добрым словом поминающие отца народов, конечно, слышали и о репрессиях, и о всесоюзном круглосуточном контроле граждан на предмет лояльности к государству, но парадокс в том, что эти тяжёлые аргументы никак не умаляют популярности Сталина. Его уважают и за Победу, и за наведённую твёрдой рукой дисциплину, и за единственный на все случаи жизни китель, и, думаю, за то, что каждый “сверчок” страны знал свой шесток. Это сейчас ничего не представляющим позволено изображать всемогущих. При Сталине такой спектакль мгновенно снимали с постановки, и лицедеи понимали: их актёрство дёшево стоит.

Каждый знает себе цену и чувствует, кто перед ним, – принц или каретник – с первого взгляда, но не каждый крикнет: “А король-то голый!” – из равнодушия или в силу хорошего воспитания.

Кстати, о единственном кителе Сталина. Иметь обширный гардероб – мечта кокеток, а мужчина желает всемогущества. Зачем ему фрак с цилиндром, если в кармане его кителя лежит абсолютная власть?..

* * *

Однажды соседская собака увязалась за мной на прогулку по парку. Шли – она впереди, я – поодаль и повстречали спортсменов-бегунов. Дворняга вдруг проявила агрессию, подскочила к ним, вздыбив шерсть, лая. "Уберите свою собаку", – попросили бегуны. Я ответила: "Собака не моя", – что было чистой правдой. "Но она же идёт с вами", – парировал один из спортсменов, заподозрив меня в дерзости и лжи. В голосе его звучала угроза, он решительно пошёл на меня, но резко остановился и повернул.

В результате этой встречи моё лицо могло бы стать синюшным, а нос кривым, но парня остановил закон. Равновесие общества держится не на всеобщем уважении, а на законе.

* * *

Те, кто могут обогатиться, засунув руку в государственный карман, зачастую так и поступают. Те, кто не могут, но озолотиться непременно желают, – покупают лотерейные билеты.

* * *

Человек, испытавший все радости жизни, хочет одного – чуда. Желая чудес, люди из тиража в тираж покупают лотерейки, горячо обсуждают газетные утки про инопланетян, молятся. Желание несбыточного делает человечество вечными детьми.

* * *

Для того чтобы перестать беспокоиться и начать жить, зачастую надо вычесть из своей жизни всё лишнее, а не носиться за прибавлением необходимого.

* * *

Коллега завела нового кота и дала ему кличку предыдущего. Нет, не потому что она ей очень нравится: коллега не смирилась со смертью любимого животного, в ней жила память о нём, и она хотела, чтобы его имя не потерялось, не унеслось течением времени.

По той же причине блаженная Ксения Петербургская облачилась в мужнины камзол, картуз, сапоги и назвалась Андреем Фёдоровичем.

* * *

Антидепрессантом в унылую декабрьскую монохромность стал бы букет из сорных полевых цветов – впитавших солнце лютиков, купальниц, разбавленных колосками мятлика и лисохвоста. Но зимой цветут лишь цветы благородные.

* * *

Как в советское время людей хоронили. К обеду подъезжала грузовая машина, шофёр откидывал борта. На пол кузова по периметру раскладывали ветки дерева мёртвых – пихты. К кабине ставили памятник и венки, в центр

кузова — гроб, рядом — табуретки для неутешной вдовы и детей. Грузовик, не торопясь, трогался, в унисон с ним плёлся оркестр, игравший печального Шопена, далее плелись родственники, соседи и прочие провожающие. И так до кладбища. Услышав скребущие душу звуки, горожане выходили узнать, кого хоронят, бывало, присоединялись к скорбящим.

А нынче смерть, как позор: тихонько засунут покойника в автобус, зато повезут на четвёртой передаче. Eins, zwei, drei — закопано.

Живём суетно, торопливо, умираем незаметно.

* * *

Говорят, в СССР национализма не было, все жили единой братской семьёй народов. Как же!

Мне 9 лет, третьеклассница. На перемене вышла в кулуар, а там на стене наглядное пособие с республиками страны Советов и национальными флагами.

Диалог однокашников Лёшки и Сергея. Лёшка: "Я русский, мой флаг вот", — показывает пальцем на флаг РСФСР. "И мой этот", — вторит Сергей. "А этот, — Лёшка показывает на флаг Белорусской ССР, — у коми". "Мой — вот", — подношу палец к флагу "коми". Лёшкино лицо выражает снисхождение: "Ну, ничё, ничё, ничё"...

Великороссы высмеивали языки невеликих народов и их культуру, рассказывали анекдоты про чукчей. Были коми, из стыда назвавшиеся русскими при получении паспортов. Сейчас общество оздоровилось, коми людей никто не называет презрительно комяками, хотя неуважение по национальному признаку, конечно, сохранилось и всплывает.

* * *

Наш дом сдали на заселение в 1970 году. Новоселья в большинстве справляли семьи рабочих-строителей, но квартиры получали и советские дворяне. В числе прочих в четырёхкомнатную квартиру в первом подъезде въехала семья военного Г. Жена — продавец, что в годы нормы отпуска продуктов в одни руки считалось не работой, а счастьем, и их двое сыновей. Семейство было обеспеченное и даже держало в гараже близ дома "шестёрку" цвета безоблачного неба.

Старший сын Г. Серёга смотрел на нас, детей пролетариев, свысока, якшаться не желал, ходил гоголем, а когда потомство штукатуров и электриков носилось по гаражным крышам, выражал неудовольствие.

На старте восьмидесятых Серёга обзавёлся цветомузыкой. Мы возвращались вечером с катка и во все глаза глядели на окно его комнаты, разноцветно сияющее, и была открыта форточка, и из неё громыхал рождённый бюргерами "Чингисхан". Как же я хотела иметь свой магнитофон и особенно цветомузыку! Как же я хотела!

Первый магнитофон был куплен с первых зарплат спустя шесть лет, цветомузыка — позже. Помню, как радовалась ей, как лежала на полу комнаты, с восторгом глядя на пляшущие по потолку цветовые пятна.

Цветомузыка стала обыденностью задолго до моего прощания с молодостью и уж четверть века собирает в кладовке пыль. Родители Серёги оставили ему квартиру, перебравшись в тёплые края. В последние годы он работал слесарем жилищно-коммунального хозяйства, ходил неопрятный, в спецовке, но даже в ней оставался чванлив.

* * *

Сейчас все, кому не лень, занимаются творчеством — пляшут, пишут, поют, рисуют, поголовно фотографируют. Интернет заполонён продуктами народного творчества: все хотят славы, все жаждут бессмертия. Нет желающих заботиться о нуждах низкой жизни: мыть за кем-то пол и стирать бельё. Золотой век! И вот он, момент истины: а кому всё это нужно?! Что из этого множества преодолеет своё время и останется вне всех времён?

Я встречала многих. Талантливых – никогда. Способных – достаточно, но они не интересны, они не раздвигают границ, в них нет парадокса, в который упираешься, как в запертые ворота, желая непременно войти, чтобы узнать: а что же за ними?

Хочется общения с гениями, потому что ближе всего к Богу стоят не священнослужители, а эти исключения из правил. Их мысли и творения ввергают в ступор неизъяснимой нездешностью. Гении подводят к двери, за которой тайна мироздания, но даже у них нет от неё ключа.

* * *

Старость подкрадывается медленным остыванием чувств, потерей интереса: казалось бы, давеча дни напролёт слушала музыку, и вот – в доме, как в зимнем лесу, тишина. Или вдруг раздражаешься невинным щебетанием шагающих мимо студенток. Недавние увлечения больше не бередят душу, к лицу насмерть прилипло выражение недовольства. Вот так, подобравшись в мягких домашних чунях, старость однажды выйдет из-за угла и, взяв под ручку, скажет: "Доброго дня. Дальше тебе идти со мной". Она держит в руке пачку счетов, требуя погашения долгов, грозя расплатой: не заботилась о здоровье – распишись в получении диабета и гипертонии, была неласкова с собственными детьми – вот тебе их нелюбовь, а за недоброжелательность получи в собеседники телевизор.

* * *

Эксперимент по теории вероятности: равновеликие шарики падают из воронки в вертикально расположенные под ней трубки. Шарики вольны занять любую трубку, но непостижимым образом большинство их стремится в трубки средние и лишь некоторые – в крайние. И так во всём. В каждом классе несколько отличников и двоечников, но много хорошистов и троечников. В обществе шизофреники и просто странные люди – подшипники с кубиками вместо шариков – встречаются, познакомиться же с краснокнижным умом шансы невелики, зато масса людей-штамповок, ничем не замечательных, интересующихся ценой колбасы и поглощённых собственным нездоровьем. Мир создан для широких масс, но без крайностей он был бы безвкусен, как сваренный без специй суп.

* * *

Сергей И. читает Фроста на языке автора, слушает Бернстайна и Венский филармонический оркестр, бьётся со смартфоном за шахматную корону, не произносит бранных слов, остроумно и к месту шутит, проявляет сострадание к ближнему и имеет тонкий вкус.

А жена Сергея И. – словно вывезенная из деревни баба, из которой никогда не вывезут деревню. Лишённая природой кокетства, изящества, каприза и шарма, она ничего не слышала о Фросте, с удовольствием перебирает сплетни, носит траурные мешковатые одежды, толста и предплечья её покрыты чёрной шёрсткой. Она всегда возьмёт своё криком и напористостью и опасается, что мужа уведёт какая-нибудь стерва. Со стороны кажется, будто это она сделала Сергею И. предложение, но нет – брак заключён в рамках вековых традиций. Сергей И. горячо любит жену и всякие там Монро (привет тонкому вкусу!) ему ни к чему.

Эта сумма двух неравенств, союз Сеньки с шапкой, которая совсем не по нему, вернее, Сергеева любовь, долгое время оставался для меня неразрешимой загадкой, но теперь я, кажется, подобралась к её разгадке. Ответы на вопросы, связанные с психологией человека, находятся внутри этого человека, а не вне него: Сергей И., имея потребность любить, любит так, как способен, как дано только ему, не замечая недостатков любимой, и окажись на месте его жены другая счастливица – аппетитная красавица или невкусная дурнушка, – он любил бы её точно так же.

* * *

Исторический центр Петербурга – элегантный сановный аристократ, его сиятельство. Знающий себе цену и имеющий достоинство, этот город, где каждый кирпич весит тонну истории, глядится в зеркала своих рек и каналов, не вопрошая, как неуверенная девица: "Я ль на свете всех милее?" Чего вопрошать очевидное?

Он дитя кружевного барокко, принял все архитектурные стили, кроме убогих современных конструктивизма и функционализма. Ему вообще чужда современность, потому что она ему не к лицу. Одетый в парчовый камзол и треуголку с плюмажем, обутый в туфли с пряжками, он равнодушно холоден к крестьянским лаптям, купеческим сапогам, матросским бескозыркам и солдатским шинелям. Nur Rasse! Nur Glanz! Он откроет вам душу и все свои тайны, если вы волшебным ластиком сотрёте с его першпектив-биссектрис не нужные ему кроссоверы, разметку и светофоры, а также людей в широченных пуховиках и высоких вязаных шапочках-колпаках.

Он открылся мне, несмотря на ту самую вязаную шапочку, потому что я раздобыла такой ластик и вымарала всё лишнее, оставив от современности лишь себя. Я пролезла в кротовую нору, найдя в неё вход в декабре 2014-го в маленьком северном городке, и через полтора дня, в 1962-м, вышла в Песках, оттуда по Кирочной к Свято-Преображенскому храму в квартиру № 28 дома Мурузи. Подъём на второй этаж по широкой парадной лестнице. Звоню – не открывают. Хозяин, видимо, вышел за "Шипкой", и парадная ещё хранит его запах, и лестница помнит его шаги. Не дождавшись, выхожу на Пестеля, поднимаю голову на маленький балкончик. Так вот же он! На балконе, руки в брюки, стоит рыжий парень, так похожий на мужчину, который фотографирует его на фоне собора. Я молчу, я не мешаю.

А вечером он сядет за письменный стол в этих коммунальных полутора комнатах и, взяв перьевую ручку, напишет "Я обнял эти плечи и взглянул..."

В другой раз кротовая нора вывела меня к Синему мосту через Мойку. Обогнув трёхэтажный дом за номером 72, я нырнула в сквозной проём и оказалась во дворе-колодце, на котором стояли дровяные сараи и 1825-й год. В углу двора, из щели недозадвинутых портьер сочился янтарный свет свечей. Взглянув туда, я увидела собравшихся в комнате людей в эполетах и темноволосого молодого человека с глазами лани в атласном халате и с повязанным вокруг шеи кушаком. Он надсадно кашлял и что-то с чувством говорил, наперёд зная, что скоро Его Величество, милосердствуя, повяжет ему на шею совсем другой кушак.

А через несколько дней произошло следующее. Прогуливаясь по Сенатской площади вокруг Петра, я неожиданно услышала восторженное: "Это было здесь! Батюшки! Это было здесь!!!" Оглянулась. Мужчина средних лет. Он так удивил и обрадовал меня, что я без сожаления отдала ему свой ластик.

* * *

Для понимания российского народа не надо отправляться в длительное путешествие по отечественной глубинке. Пусть гора идёт к Магомеду. Поезжайте в Москву, куда в поисках хорошего заработка, как осы на варенье, роем слетаются провинциалы. Вы, подобно им, соглашайтесь на какую-нибудь не требующую глубоких извилин работёнку в предложившей её компании "Рога и копыта", которая за четверть будущего жалования обеспечит вас проездным в подземку, кровом в съёмной двушке на 15 персон и через 5 дней экспресс-учёбы выпустит на должность кассира в супер-супер-супермаркете или повара в скворешне-харчевне, снабдив фанерной санитарной книжкой и не требуя трудовой.

Вот там-то, в этой скворешне, торгующей блинами, вы и прочувствуете всю простоту души русского народа. Заполонившие лучший город земли, где всё создано для великанов и, кажется, не имеет конца, жители бедной Калуги, как прежде голодного Поволжья и даже замкадного Подмосковья, встретят вас с равнодушной враждебностью. Понаехавшие в столицу отягощенными кредитами и прожорливым потомством, бесправные, одинокие в круглосуточно шевелящемся людском муравейнике, загнанные, смертельно уставшие,

хронически недосыпающие и притесняемые таким же начальством из грязи, народные массы всея Руси ведут себя, как собранные в бочку крысы: с нескрываемой агрессией жрут поедом ближнего, даже если ближний исполнен благородных манер.

И через 12 часов вербального non stop фехтования с парочкой простаков из Нижних Брошенок вам захочется навеки поселиться в глухой тайге. Набравшись в гуще жизни обширного опыта и глубоких знаний, пройдя отрезвляющую *школу злословия*, вы, наконец, поймёте, что народ прост только в одном — ему не нужна сложность.

* * *

То, что Славик Е. станет авиатором, было ясно сразу. С младых ногтей Славик носил не ушанку, а кожаный шлемофон, на школьный дневник он приклеил вырезанный из журнала силуэт "Тушки", дополнив его надписью "Аэрофлот — надёжный флот", и на переменках рассказывал, как в выходные поднимался в небо на вертолёте. Славик Е. был сыном вертолётчика и братом вертолётчика. Учился он на "хорошо" и "отлично", но проявлял амбициозность, бывало, со спесью и злостью задирал товарищей, но, поднимаясь по школьным ступеням из класса в класс, переменился в серьёзного надёжного парня, такого же, как Андрей Т., его первый друг, учившийся бок о бок. Естественно, что по окончании десятилетки Славик поступил в авиационное училище.

А спустя несколько лет встреченный на улице одноклассник рассказал мне о Славкиной гнильце. Мол, в переломные девяностые Андрей и Славик, летавший на Ми-8, решили заняться бизнесом, а именно возить в вертолётном брюхе минские холодильники, купив за рубль, продать за три. Скинулись и ещё заняли денег у знакомого, вернее, одолжил казначейские билеты Славик, сказавший другу, дескать, отдавать придётся с процентами. А потом Андрей встретил этого кредитора, и тот открыл, что в долг дал, но без маржи.

Потом Славик женился. Ну, нашёл своё счастье и что? Но ребята поговаривали, мол, не по-божески как-то: со дня смерти Славкиного отца сорока дней не минуло, а он праздник устроил. Пошептались, дальше зажили, и тут в Сыктывкаре некрасиво погиб Славкин брат, тот самый вертолётчик. И полетели по городу, как пичуги с ветки на ветку, разговорчики: ить неспроста это, проклятие на семье. И опять всё стихло, да через два года, в 1997-м, Славик полетел за американской валютой в Центральную Африку. Борт выполнял задание в условиях плохой видимости, ударившись об гору, рухнул, сгорел. Славика хоронили в небольшой квадратной коробке. Я была на его могиле. Лежит в ряд экипаж, отец и два сына, все на одно лицо, все в лётных мундирах.

И рядом сестра этих братьев — старшая, их пережившая. Она тоже умерла не своей смертью: где-то в начале нулевых автомобиль, в котором она находилась, потерпел аварию.

* * *

Куколка превращается в бабочку, девочка — в бабушку. Или в старую ведьму. Когда какая-нибудь едкая злобная старуха насмерть держит оборону проходной в студенческом общежитии или себе на радость подкладывает соседям свинью, я задумываюсь: что же с ней сделало время? Молодой, поди, была весела и хохотала — рот до ушей, и влюблялась по уши. Что же теперь брызжет ядом ненависти...

А не любится ей больше. Сначала климакс поставил крест на телесных радостях, потом муж надел деревянный бушлат, живут своей жизнью дети, с ними внуки. Да если бы и были рядом, детей любишь не так, как мужчину. Она одна, нелюбимая и не любящая. Ну, не доживать же ей свой век с дырой в душе, и место девичьей страсти, горячей, безрассудной, занимает ненависть, столь же сильная, как ушедшая любовь.

* * *

Иван М. переехал с семьёй из Галиции в железнодорожный посёлок во времена советского освоения Севера, как многие из его земляков, в ту пору оставившие родные хутора и бросившиеся за северными доплатами на окраины России. Поселившись у чёрта на куличках, сварщик Иван М. стал бригадиром в дочерней железной дороге структуре, а его жена Дарья – продавцом продовольственной лавки. Имелись у четы две дочери. Бригадир в медвежьем углу, где нет ни поселкового главы, ни милиционера, – сам себе Бог и царь. Иван М. жил, как у Христа за пазухой: работа – не бей лежачего, охота, рыбалка, грибы, а оперный театр и так не нужен.

Мужиком он был хозяйственным, всё у него тикало, как часы, всё хранилось под замком. И не пил, чего не скажешь о прочих поселенцах. Сборная солянка из лишних, ненужных людей (государство вспоминало о посёлке только в день выборов) от тоски, безнадёги и одиночества спивалась, вступала в беспорядочные половые связи, за что поселение справедливо имело прозвище Санта-Барбара, но, если быть до конца справедливой, таких Санта-Барбар – на каждом шагу, и не бросаются они в глаза лишь из-за низкой плотности населения. Иван М. в прелюбодеяниях не участвовал, Иван М. спаивал поселковых. Имея, как истинный представитель своего народа, житейскую хватку, змеиную хитрость и любовь к деньгам, он стал возить из города полные сумки зелья, произведённого в гаражном ЛВЗ.

Пойло продавали из квартиры, бизнес процветал, участковый не беспокоил. Выручку конвертировали в доллары, складывали на счёт в городском банке, копили на вершину мечтаний простого человека – квартиру плюс машину. В связи с этим жили экономно: Дарья всё лето носила единственный сарафан, Иван – одну сорочку в клетку. На городском рынке продавали грибы-ягоды, словом, старались, грезили скорым исполнением желаний, и вот...

Приехал в Санта-Барбару сын Ивана М. – добрый молодец лицом в отца, в тельняшке, в голубом берете. Дембель, стало быть. Пронёсся слух, мол, сын у Ивана М. – произведение от сочетания с первой женой, – прибыл погостить. Гостит, значит, этот десантник, на отцовом мотоцикле по округе катается, и вдруг, как гром среди безоблачного неба: любовь у него с Ивановой старшенькой, и не братская. Новость обсуждали на всех кухнях: надо же, инцест, инцест! Скучные постановки местной труппы и... на тебе – Большой театр. А следом шушукались, дескать, старшая дочь не Иванова, прижила её Дарья ещё до него, поэтому никакого кровосмешения, всё согласно нормам морали.

А Иван М., морально парализованный, лежал в лёжку, не ел, не пил и, когда встал, собрал вещи сына и отправил его к родной матери.

И стало всё, как было, однако осенью старшенькая Ивана М. поехала в город учиться на повара, а вскоре поселковые принесли весть – видели её там, но не одну, вместе с опальным изгнанником. Вот так за один год потерял Иван и сына, и дочь.

* * *

Говорят, приведи варвара в картинную галерею, он безошибочно укажет перстом на шедевр. А почему? Для опознания шедевра не нужен диплом искусствоведа, шедевр обладает колоссальной, неизъяснимой энергией, и в ней его божественность, в ней непостижимость. Ну что, скажите, особенного в лексике Шекспира, не на одном ли с ним языке говорили все подданные Её Величества? “Слова, слова, слова” те же, а сумма их зарядов рождает мощь, равную распаду атомного ядра.

Самая энергетически мощная живопись – петроглифы, самая трогательная – наивный детский рисунок.

ГРИГОРИЙ КАЛЮЖНЫЙ

“ЛЮБЯЩИЙ ВАС МИХАИЛ ЛЕМЕШЕВ...”

6 января 2021 года, потрясённый вестью о смерти Михаила Яковлевича Лемешева, я вспомнил его слова, сказанные им накануне своего 80-летия о том, что Небесное Воинство не имеет потерь и что в него можно попасть только по призыву Самого Господа Бога. Под впечатлением услышанного я тогда впервые подумал о Небесной ипостаси моего собеседника.

Вот рассказ о том, как он стал народным заступником. Ему, сорокалетнему доктору экономических наук, удалось в одночасье пробить государственную пенсию колхозникам, которую они не получали вплоть до 1967 года.

До него это не удалось ни маршалу Победы Георгию Жукову, ни Генералиссимусу Иосифу Сталину, прекрасно знавшим, что Красная армия, разгромившая фашизм, на 90% состояла из крестьян. Не удалось потому, что об этом знали и теневые ненавистники русского народа, которые, прикрываясь партийной демагогией, стремились создать для сельских жителей невыносимые условия вплоть до лишения их паспортов, что было равносильно отнятию гражданства. Кроме этого, беспаспортные смерды не получали за свой труд ни копейки и, по сути, работали за палочки или трудодни, обеспеченные лишь сельхозпродуктами. Естественно, что многие из них, прежде всего молодые, мечтали вырваться в город, хотя бы и в статусе лимитчиков. А там из-за нехватки жилья рождаемость не превышала смертность. Такой механизм подспудной самоликвидации народа был главной целью русофобов того времени. И вдруг супротив этого чуть ли не идеального замысла встаёт невесть откуда взявшийся молодой экономист с навязчивой идеей дать государственную пенсию безликим, безгласным колхозникам?!

Обвинив Лемешева в невежестве, элементарной безграмотности (он-де не только не знает законов, но даже не может отличить государственную собственность от негосударственной), лакействующие экономисты-начётники выступили против его предложения. Они мотивировали свою позицию тем, что в колхозах не государственная, а кооперативная собственность, и посему выплата пенсии колхозникам, согласно советскому законодательству, если и возможна, то только за счёт колхозных средств, которые из года в год неизменно изымались государством.

Зная об этом, противники Лемешева не сомневались в провале предпринятого им дела. Они были уверены: бюрократическая машина перемелет сердобольного поборника справедливости в песок. А он и не собирался с ней связываться, он её обошёл, добившись аудиенции у самого Председателя Правительства А. Н. Косыгина, которому и передал лично в руки специальную

записку с ясным и лаконичным доказательством того, что львиную долю национального дохода, создаваемого в сельском хозяйстве, дают именно колхозы. А потому правомерно их социальное страхование за счёт государственного бюджета. А. Н. Косыгин своей властью поддержал Лемешева, и колхозники впервые стали получать государственную пенсию, правда, всего лишь 12 рублей с копейками. Но зато они почувствовали, что государство о них вспомнило и признало в них своих граждан. Это была блистательная на государственном уровне победа учёного, по сути, замедлившая обезлюдение якобы не перспективных сёл и деревень, а значит, и отодвинувшая в будущем демографическую катастрофу в России. Кто в нашей стране сделал что-то подобное?! За этот небывалый и неслыханный дотоле подвиг Лемешеву, как минимум, был положен орден "За сбережение и умножение русского народа". Но такой награды тогда не было. Да и теперь нет и в помине.

Но самое огорчительное, что такой человек, как Лемешев, не занял руководящий пост в государстве ни в ту пору, ни впоследствии. То ли из-за банальной зависти, то ли из лютой ненависти имя народного ходатая в данном случае замолчали. К тому же, прирождённая скромность Михаила Яковлевича фатальным образом помогала его недругам. Во всяком случае, ни сельские жители, ни даже родная мать не ведали, кому, прежде всего, они обязаны неожиданным вниманием государства к себе. Сам он в своей книге "Свеча" уделил этой теме всего полторы страницы, утверждая, что государственная пенсия колхозникам была дана исключительно "по благодати Божией, по Его безмерной любви к добрым делам христиан" (М., Палея,1999, 535 с.).

Стремительное восхождение Лемешева на вершину научного Олимпа было громом среди ясного неба для его академических противников. Никто не ожидал столь скорого покровительства ему на самом верху, и поэтому, поджав хвосты, они смотрели на него с благоговейным ужасом, ожидая самых крайних перемен в государстве, а для себя – чуть ли не конца света. Наверно, он напоминал им предводителя Небесного Воинства Архангела Михаила. Высокий, стройный, пылкий, голубоглазый, окрылённый жаждой справедливости. Это вызывало в них чувство необъяснимой тревоги и внушало безотрадную мысль о неотвратимом возмездии. Если их что и успокаивало в нём, так это отсутствие правой длани с огненным мечом. Она была разбита осколком немецкой бомбы, и партизанский ветеринар отпилил её ножовкой по суставу в полевых условиях...

Однако обратимся к истокам доблестного героя военной и духовной брани. Он родился 1 января 1927 года в селе Тименичи Брянской области. Его отец Яков Кириллович Лемешев, до революции вахмистр в кавалерии, был обладателем двух Георгиевских крестов. При Советах заведовал конефермой, которая растила коней для Красной армии. Естественно, его сын сызмальства приобщился к лошадям. О себе, пятилетнем, Михаил Яковлевич вспоминал в третьем лице: "Скребницей чистил он коня". По его словам, он любил слушать, как звенит овёс, когда насыпаешь его из ведра в ясли для лошадей. Этот звон сопровождал его впоследствии всю жизнь. Отцу и матери Василисе Давыдовне Михаил обязан исконно русским мировоззрением, включающим в себя, прежде всего, любовь к земле, труду, природе, людям. Мальчик рос в песенной атмосфере села, где без песни никакая работа не ладилась. Читать научился с пяти лет, хотя в школу поступил с семи. С отрочества полюбил поэзию, особенно Пушкина и Есенина, стихи которого едва ли не все знал наизусть.

Благо книги поэта имелись в библиотеке уцелевшей от разгрома господской усадьбы, во флигеле, где проживала еле ходившая от старости барская повариха. Каждое утро маленький Миша относил ей кувшин парного молока, а она за это давала ему читать книжки.

Судя по всему, эта женщина была весьма образованной, поскольку с течением времени приобщила его не только к чтению известных экономистов начиная с Адама Смита, но и к изучению русских мыслителей вплоть до Константина Победоносцева.

Вместе с этим Михаил Яковлевич высоко ценил свою мать и говорил: "Всё, о чём я думаю и о чём болеет моя душа, в меня вложила Василиса Давыдовна, в девичестве Косина, из деревни Коростовка тогда ещё Брянского уезда. Он запомнил на всю жизнь её слова: "Миша, ты теперь с головой ушёл в науку, имей в виду, что шибко учёный, как топор неточёный – рубит и колет, а тесать не может потому, что народной жизни не знает".

31 мая 1941 года Михаил с отличием закончил семилетнюю школу, а уже в октябре немцы оккупировали Брянщину.

И вот новый поворот судьбы. Он стал партизаном и вошёл в пятёрку, состоявшую из однокашников. Главным объектом их внимания была железнодорожная станция в Брянске, где работал диспетчером внедрённый партизанами человек. Он-то и передавал через вчерашних школьников сведения о продвижении поездов дяде Семёну, а тот, в свою очередь, доставлял их в лес к партизанам. И хотя ребятам категорически запрещалось отвлекаться на иные акции, они, тем не менее, умудрялись воровать идущие на фронт ящики с оружием и продуктами, в чём крайне нуждались партизаны.

Однажды Михаил совершил геройский поступок. Диспетчер передал юноше записку со словами: "Весьма срочно!" Что делать? В нарушение всех инструкций он доставил срочное донесение напрямую по назначению в лес к партизанам. В результате наши бомбардировщики разбомбили вместе с мостом через Десну воинский эшелон. Правда, после этого сразу же начались многодневные ковровые бомбардировки партизанских мест. Одна из бомб тяжело ранила Михаила. И всё же повезло. Жизнь ему спас подоспевший ветеринар. Тогда же немецкий лётчик сбитого партизанами самолёта на допросе показал, что уничтоженный эшелон вёз под Курск около пятидесяти "тигров". Весть о его гибели привела в ярость самого Гитлера.

После освобождения Брянска в сентябре 1943 года Михаил вернулся в сожжённое дотла село Тименичи. Работал в колхозе учётчиком. Жили в погребе, голодали. Весной поступил в Кокинский сельскохозяйственный техникум, где давали карточки. Окончил его в 1947 году с отличием, что в то время давало право на поступление в любой вуз страны без вступительных экзаменов. Однако стремясь материально помочь овдовевшей матери, молодой зоотехник попросил направить его на работу.

Так он оказался в Калмыкии, где впервые вступил в конфликт с преступной расчётной системой, обрекавшей работников скотоводческого совхоза на голодное существование в зимний период. Писал письма в главк труда и зарплаты отрасли, но ему даже не отвечали. Тогда он понял – нужно продолжать учёбу.

Здесь обратим внимание на то, что молодой Лемешев не только не сдался, а наоборот, нацелился на своё призвание народного заступника. При этом, по его собственному признанию, у него было такое чувство, что он попал с одной войны на другую, ещё более истребительную, где главным оружием являются основательные знания.

С такими мыслями он решил поступить в Московский институт коневодства, куда его приняли, несмотря на отсутствие кисти правой руки, по распоряжению самого маршала Советского Союза Семёна Михайловича Будённого.

Дело в том, что до революции Будённый одно время служил под началом вахмистра Якова Кирилловича Лемешева, которого очень любил за дивный и сильный голос, поскольку сам хорошо пел и играл на гармошке.

После гражданской войны, когда Яков Кириллович вернулся из семилетнего германского плена, Будённый не раз заезжал к нему в Тименичи, чтобы душу отвести в песнях и не только.

Впоследствии, когда Михаил Яковлевич осознал себя православным и крестился, он рассказал об этом своей матери. Она всплеснула руками со словами: "Сынок, а ты у нас крещёный!" И тогда только он узнал, что его крёстным является Семён Михайлович Будённый. Но это была семейная тайна, о которой не ведал даже сам крестник. Отсюда становится понятным, почему маршал проявлял внимание к своему протеже и лично вручил ему диплом об окончании Института коневодства. Воистину Михаил Яковлевич имел двух покровителей: Архангела Михаила на небе и на земле Семёна Михайловича Будённого. Он, кстати говоря, и устроил ему аудиенцию с Алексеем Николаевичем Косыгиным. Так что основатель красной кавалерии умел не только шашкой размахивать, как принято было считать в Советское время, но и обладал аналитическим мышлением. Его крестник был убеждён, что пресловутое расказачивание захлебнулось на разгонном этапе не без тайной воли Будённого. Однако эхо этого геноцида аукнулось во время Великой Отечественной войны не единожды.

Нужно особо отметить, что в Институте коневодства Михаил занялся сверхпрограммным изучением всего массива философско-экономической

мысли. Очень скоро ему открылось различие между марксизмом с ленинизмом и теми классиками в области политэкономии и философии, продолжателями которых Маркс и Ленин себя объявили. В отличие, например, от Адама Смита, от Давида Рикардо и особенно в отличие от немецкого экономиста Робертуса-Ягецова (1805–1875), выступавшего за переход к государственному социализму без классовой борьбы путём эволюции капитализма к трудовой собственности, Маркс и Ленин пропагандировали в своих работах классовую вражду, истребление Церкви, социальные войны. И вот с этой идеологией, основанной на технологии подлогов и подмен, Лемешеву предстояло вступить в единоборство вслед за Есениным, ибо Сергей Александрович всего лишь в двух стихотворениях "Метель" и "Весна" чуть ли не походя в пух и прах разнёс концлагерную бухгалтерию "Капитала" Маркса.

Научно-созидательная инициатива Лемешева проявилась уже на 3-м курсе института в 1951 году, когда он написал курсовую работу под названием "Ничто в полюшке не колышется". В ней он показал не только удручающую разруху в колхозе, где проходил практику, но и предложил принять для её преодоления следующие государственные меры: 1) Отменить натуральные налоги с крестьян; 2) Перейти в колхозах с натуральной на денежную оплату труда; 3) Отменить планирование размеров посевных площадей по всем культурам и по численности поголовья скота в колхозах, а планы по обязательным поставкам продукции государству заменить заключением соответствующих договоров на добровольной основе с указанием закупочных цен. Если бы его предложения тогда были внедрены в жизнь, то сельское население умножилось бы к концу XX века в несколько раз, производительная мощь колхозов вышла бы на полные обороты. Но у русофобской закулисы была обратная задача по максимальному распылению созидательных сил народа под видом грандиозных проектов типа поднятия целины и т. д. Как бы там ни было, свою курсовую работу Лемешев по совету своего руководителя, доброго и мудрого профессора Льва Михайловича Зальцмана, сжёг и таким образом избежал якобы неминуемого ареста.

В 1956 году М. Я. Лемешев окончил аспирантуру экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова и был зачислен в тогда же созданный Научно-исследовательский экономический институт Госплана СССР. Это позволило ему анализировать ход всех великих строек коммунизма. В большинстве случаев он столкнулся с безотрадным нерациональным и даже губительным для природы их размещением. Лемешев заявил об этом и попал в опалу, после чего вынужден был практически самостоятельно заниматься научной деятельностью. В 1959 году журнал "Плановое хозяйство" (№ 11) опубликовал его статью "Планирование капитальных вложений в сельское хозяйство", где было изложено принципиальное положение о том, что объём инвестиций в отрасль, далеко не достаточный в реальности, должен быть пропорционален объёму создаваемого в ней национального дохода. Разразился скандал, который, однако же, вознёс Лемешева на должность главы Сельского хозяйства НИЭИ Госплана СССР. С этой высоты он мог окончательно убедиться в том, что головокружительные проекты века, чрезвычайно опасные для окружающей среды, в большинстве своём выдвигаются на авось. Чтобы поставить этому заслон, Лемешев в 1972 году создал в Центральном экономическо-математическом институте АН СССР отдел экономических проблем природопользования, то есть открыл и разработал совершенно новое направление, именуемое теорией управления экономикой и экологией как единой метасистемой.

В этом же институте он открыл постоянно действующий семинар "Социально-экономические проблемы природопользования", через который за 14 лет его работы прошли тысячи участников: экономистов, математиков, космонавтов, инженеров, гидротехников и т. д. Михаил Яковлевич лично подготовил 68 кандидатов и 12 докторов наук по специальности экономист-эколог, то есть, по существу, создал целую армию высокопрофессиональных защитников природы, которой не было альтернативы.

Как безусловный создатель и глава экологии в СССР, в 1974 году он принял участие в работе симпозиума экспертов ООН по окружающей среде в Мексике, на котором была выработана "Кокоевская декларация", по существу своему, Всемирная хартия защиты природы. В следующем 1975 году дирекция ЮНЕП, проходившая в Кении, избрала его экспертом ООН по охране

окружающей среды. В этом статусе в начале 1980-х годов он фактически возглавил борьбу против чудовищного по своему безумию проекта переброски части стока северных и сибирских рек на юг, выношенного в недрах "Гидропроекта" и "Гипроводхоза".

По его инициативе при Президиуме АН СССР была создана специальная комплексная комиссия под председательством вице-президента Академии А. Л. Яншина. В ней работали десятки крупнейших учёных нашей страны. М. Я. Лемешев, будучи заместителем председателя, возглавлял в ней эколого- экономическую секцию. Активность его поражала. Он рассылал во все центральные газеты свои статьи с разоблачением преступного проекта. Но только "Советская Россия" опубликовала одну из них под названием "Против течения" пятимиллионным тиражом (20.12.1985).

И тут самое время вспомнить о небесной ипостаси её автора. Почему? Да потому, что, в пику сатанинскому повороту северных и сибирских рек, он в одночасье повернул умы своих соотечественников в русло текущей действительности и одновременно разоблачил внутренний заговор, явно поддерживаемый извне.

Не случайно 7 июня 1982 года президент США Рональд Рейган, обращаясь к евангелистам, объявил крестовый подход против империи зла в лице СССР. В январе 1983 года он повторил то же самое. За ним в таком же духе высказалась и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Для подобных заявлений нужны были свежие общепонятные доказательства типа того, что русские своими безумными проектами создают угрозу самому существованию человечества. Они, мол, самоуправно на основании одних только гидрологических теорий и расчётов с потолка осуществляют доселе невиданный по своему безумию, чуть ли не тотальный поворот северных рек на юг. Это неизбежно приведёт к расстройству жизненных условий нашей общей планеты. Даже голословные доказательства такого рода способны не только вызвать возмущение мирового сообщества, но и при умелом вбросе научно-технического компромата, если можно так выразиться, привести в ярость общественное мнение.

Дело в том, что наша Земля представляет собой гироскоп, вращающийся вокруг своей оси. При воздействии на него достаточной силы извне эта ось имеет тенденцию процессировать, т. е. менять свой наклон, что может привести к непредсказуемым последствиям в сфере земного бытия. Так вот, системный поворот столь могучих и многоводных рек, большинство из которых впадает в Северный Ледовитый океан, пусть даже в донорском объёме, адекватен силе Кориолиса, вызываемой вращением самой Земли, известной нам из школьной программы по географии. Её суть зримо проявляется в том, что в Северном полушарии правые берега рек более крутые и высокие, нежели левые. А в Южном – наоборот, левые более высокие и крутые, чем правые, потому что их под неизбывным действием силы Кориолиса подмывает вода и т. д.

Конечно, найдутся те, кто вышеизложенное назовёт фантазией. Но вспомним, спустя всего лишь пять лет после публикации статей Лемешева, в скоростном режиме и по той же технологии "поворота рек", в октябре 1990 года будет запущена инфернальная программа перехода всего и вся к рынку, едва не отправившая Россию вместе с её народом в небытие. Советские люди в одночасье оказались в мире фантастических похищений без средств на существование, без родины, без будущего.

Обычно насущные публикации Лемешева или замалчивались, или оканчивались санкциями со снятием редактора, их опубликовавшего, с работы. Сам же автор, благодаря заступничеству Алексея Николаевича Косыгина, отделывался разного рода выговорами. Но на этот раз "Советская Россия" опубликовала 3 января 1986 года в его поддержку статью "Вызывает тревогу", которую подписали ведущие писатели страны: С. П. Залыгин, В. П. Астафьев, В. И. Белов, Ю. В. Бондарев, В. Н. Крупин, Л. М. Леонов, П. Л. Проскурин, В. Г. Распутин. Общеизвестно, что любая публикация без живой обратной связи с читателем – всего лишь мыльный пузырь. Однако случилось непредвиденное чудо. Впервые за время Советской власти не раскрученный ни сверху, ни со стороны учёный не только объединил разъединённых своими дарованиями писателей, но и воочию разбудил сознание всего государствообразующего народа, который потребовал не повышения оплаты труда или

сокращения рабочего дня, а немедленной защиты своего Отечества от всякого рода враждебных ему проектов и посягательств на безнаказанное опустошение государственного бюджета. Причём это требование оказалось столь категоричным и массовым, что уже 16 августа этого же года вышло решение Политбюро ЦК КПСС, где говорилось, что признано целесообразным прекратить по указанному проекту работы в связи с необходимостью дополнительного его рассмотрения.

В действительности никакого повторного рассмотрения не требовалось. В своей статье "Поворот", изданной в поэтическом сборнике "Уроки правды", Сергей Залыгин писал: "Как это ни грустно признать, но ведь выигрыша-то по существу, не оказалось ни у кого, все в проигрыше: и ведомство, и государство, и общество. Плакали народные денежки, вложенные в проект. А все те силы, которые мы называем общественным мнением и которые затратили столько энергии ради того, чтобы доказать, что дважды два четыре, они-то что выиграли? Дело ведь с самого начала было настолько очевидным, что диву даёшься, каким образом Минводхоз, а вкупе с ним Институт водных проблем АН СССР путём одних только бюрократических процедур и проволочек могли столько времени удерживать свой проект на плаву?!" Задавшись этим вопросом, Сергей Залыгин прикрывал верховную власть, словно не ведал, что без её волевого указания сверху Минводхоз ничего удерживать на плаву не мог. Именно поэтому он и пошёл ко дну вместе с проектом "Поворота". В 1989 году его ликвидировали. Это тот случай, когда нехватка смелости самым роковым образом обернулась против отнюдь не бездарного писателя, забывшего, что талант без мужества подобен самолёту без мотора. К тому же Залыгин умудрился в своей итоговой статье даже не упомянуть М. Я Лемешева, в то время как отмена пресловутого проекта была, прежде всего, его личной победой. Именно он обнаружил преступную ущербность якобы всесторонней экспертизы проекта. После чего именно по его неукротимой инициативе при президиуме АН СССР была создана, как об этом уже говорилось, специальная комплексная комиссия. Кроме того, именно он пробил в "Советской России" публикацию статьи о безумном повороте рек, заработав на этом пути репутацию человека, от которого редакторы других изданий шарахались, как от прокажённого.

Зная, что Лемешева поддержали все ведущие писатели России, я по своей наивности полагал, что его все любят и чтят как национального героя. Когда в 1989 году он выставил свою кандидатуру в Совет народных депутатов СССР по Черемушкинскому избирательному округу Москвы, я не сомневался в его победе. Тем более что в этом округе преобладала интеллигенция. Однако победителем оказался некто Сергей Станкевич, стоящий на фотографии позади Ельцина. После этого ближайший друг Михаила Яковлевича Павел Васильевич Флоренский презрительно заметил, что "черемушкинские мозги нации" не в состоянии отличить алмаз от мыльного пузыря.

К великому сожалению, мы, писатели России, вовремя не поддержали его. Будучи православным, глубоко образованным и непревзойдённым оратором, Лемешев вполне мог пройти в Совет народных депутатов СССР, где для него открылась бы дорога даже в президенты. Такой человек не допустил бы распада СССР, не довёл бы страну до разграбления её научно-промышленного потенциала, не пустил бы по миру миллионы своих соотечественников, не обрёк бы их на безработицу, бездетность и вымирание, не развёл бы в культурно-просветительской деятельности произвол якобы благотворительных программ. Он был полностью согласен с необходимостью незамедлительного возвращения от всеядного гуманизма гуманоидов к человеколюбию оклеветанного Ивана Грозного, который секирой пресекал ересь разного рода паразитов, посягавших на Православную веру. Он правил по исконному правилу наших предков: Русь для тех, кто, не щадя живота своего, служит ей верой и правдой. Для таковых, независимо от национальности, она мать родная. И действительно, ни одно племя, ни один народ, вставший под её крыло, не исчезли с лица Земли. "Это потому, – говорил Михаил Яковлевич, – что на знамёнах Православия мы несли миру человеколюбие. Зная это, США, где всем заправляет доллар, системно стремятся извести Россию руками спасённых ею племён и народов".

Моя личная встреча с Лемешевым произошла в 1988 году, когда он первым поддержал нашу борьбу против внезапного строительства Северной ТЭЦ

с устаревшим оборудованием. По слухам, она должна была быть построена без ведома москвичей, как АЭС в районе Дмитрова. Но 26 апреля 1986 года рванула Чернобыльская атомная электростанция. Тогда-то запаниковавшие "минёры" двух столиц якобы спешно перебросили её строительство под Мытищи теперь уже в качестве Северной ТЭЦ. Причём перебросили впритык к истоку родниковой речки Сукромки, впадающей в Яузу, которая, в свою очередь, является притоком Москвы-реки. Поэтому наша борьба свелась к тому, чтобы электростанция была оснащена надёжными фильтрами для очистки отходов от продуктов сгорания мазута. Тогда Лемешев проявил себя истовым воителем. Мы же воспринимали его как полномочного носителя Правосудия. Высокий, златоглавый, голубоглазый, светоносный. Словом, его можно было принять за лик, посланный в нашу среду свыше.

В 1993 году М. Я. Лемешев всё-таки был избран депутатом Государственной Думы РФ и председателем думского Комитета по экологии. Он тут же создал при Думе Высший экологический совет, куда вошли лучшие умы от науки. Благодаря их усилиям в подготовке законопроектов, Лемешеву удалось добиться принятия Думой важнейших федеральных законов: "Об экологической безопасности населения", "Об особо охраняемых территориях", "Об охране животного мира" и чрезвычайно важный федеральный закон "О ветеранах". Дело в том, что до принятия этого закона 16 декабря 1994 года ветераны всех категорий, а именно: ветераны Великой Отечественной войны, военной службы, прокуратуры, юстиции, судов, органов внутренних дел и ветераны труда – оказались во время грабительской перестройки за гранью человеческого бытия.

Дело дошло до того, что умерших ветеранов, не востребованных из-за безденежья родственниками, стали хоронить скопом в чёрных целлофановых мешках. Морги страны были забиты покойниками этой категории. Однако настоящий бум скопления усопших начался с осени 1990 года, когда была запущена чубайсовская программа всероссийского перехода к рынку за 500 дней "шоковой терапии".

Это были дни безнаказанного расстрела ветеранов всеми средствами массовой информации, которые называли их чуть ли не главным тормозом развития страны и демократии. Так вот закон "О ветеранах" положил этому античеловеческому делу конец. Ветераны обрели социальную защиту вплоть до похорон за счёт государства. О том, что за его принятие в Государственной Думе развернулось целая битва, во время которой Лемешева обвиняли в том, что он хлопочет о правах мёртвых и не думает о живых, сегодня вряд ли кто помнит. И не вспомнит, если только зам. председателя Комитета по экологии Государственной Думы, доктор технических наук В. В. Тетельмин не напишет в воспоминаниях об этом подвиге своей экологической группы во главе с М. Я. Лемешевым.

Важно понимать, что экономика – это, по сути, строительство жизни, а экология – её защита. Без этой взаимосвязи современная жизнь не могла бы существовать. М. Я. Лемешев понимал это, как никто другой. Поэтому он и стал отцом экономико-экологического направления в нашей стране, хотя и до него были весьма яркие светила от экологии, например, В. И. Вернадский. Но дело в том, что именно Лемешев создал и выстроил научную инфраструктуру, а точнее – систему животворящих обратных связей в этой сфере. Он также разработал экологическую стратегию и лично подготовил кадры для неё. По сути, он создал Всероссийскую службу экологического противостояния тотальному "минированию" России фактически во всех сферах, включая и мозги заведённых в тупик граждан. Ближайшим примером таковых являются атеисты, то есть те, кто без Бога в душе и без царя в голове сломя голову стремятся по своему подобию превратить соотечественников в бездушных роботов.

Конечно, апостасия, или безбожие, является с древних времён непревзойдённым средством ослабления и ослепления противника, особенно в случае его целенаправленного истребления. Именно поэтому в 1917 году большевики первым делом приступили к искоренению веры в российских людях. Для более полного понимания сокрытой технологии якобы "самоистребления" русского народа Михаил Яковлевич советовал обратиться к изданной в 1906 году книге Дмитрия Ивановича Менделеева "К познанию России". В ней, на основании переписи населения 1897 года, россиян в конце XX века,

по прогнозу автора, при сохранении рождаемости на среднюю семью 6–8 детей, должно быть 550–650 млн человек. Нужно сказать, что только за 23 года царствования Николая II население России увеличилось на 55 млн. Именно стремительные темпы развития враждебной Западу страны привели противников России к ускоренному решению – остановить её путём втягивания в бойню Первой мировой войны с последующим разжиганием в ней революции и т. д., вплоть до максимально раздутой урбанизации, которая поглотит сельский мир, где только и могла существовать превышающая смертность рождаемость. Поэтому М. Я. Лемешев в 2016 году и предложил в своих последних статьях в противовес жизненно опасной урбанизации для начала построить не менее 50 тысяч экологически чистых деревень.

Альтернативы этому плану просто нет, поэтому вокруг него и образовалось молчание, весьма похожее на оцепенение.

В заключение хочу исполнить обещание, данное мной Михаилу Яковлевичу, опубликовать в случае его смерти обращение к своим соотечественникам. По сути, это одновременно и завещание.

Рассуждение о руководящем интересе в жизни человека

Объектом заинтересованности человека может быть любой предмет или явление окружающего мира, в котором он живёт. Для меня постоянным интересом выступает познание феномена любви. Любовь – это интимное глубокое чувство, устремлённость к другой личности, человеческой общности, окружающей природе и социально-экономической жизни общества. В древней мифологии любовь – это космическая сила, подобная силе тяготения. В учении Платона любовь – это побудительная сила "духовного восхождения".

Я глубоко убеждён, что любовь человека к Богу, к Родине, к Природе, к людям, созданным по подобию Божиему, к своей профессии, к своему делу, к историческому опыту жизни страны, к достижениям науки является ничем не заменимым созидательным ресурсом. Именно этим мировоззрением наполнена моя сознательная жизнь, в том числе и научная деятельность. Каждый человек должен осознать, что без любви не могут быть успешно реализованы никакие его желания, задачи и замыслы. Любовь должна быть постоянным спутником и основной созидательной человеческой жизни.

Любящий Вас М. Я. Лемешев.

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

ВАДИМ КОЖИНОВ

Глава 15

Борьба продолжается

(продолжение)

1968 год считается в нашей истории “концом оттепели”. Это выражение стало своего рода клише. Мнение сравнительно небольшого круга людей стало определяющим для исследователей более поздних времён.

Атмосфера того года не имеет ничего общего с примитивной схемой, вдолбленной в умы моих соотечественников: “оттепель”, сменившаяся “заморозками”... Время на самом деле круто менялось. Но качество этого изменения было совершенно иным. Эти три года – 1967–1969 – были крайне насыщены событиями, позднейшие интерпретации которых антагонистически противоречили (да и поныне противоречат) друг другу.

Впрочем, обо всём по порядку...

* * *

...В бывших кельях Высокопетровского монастыря, где обосновался Литературный музей, стали регулярно проводиться собрания людей как относительно и совсем молодых, так и старших поколений. Это были заседания “Комиссии по комплексному изучению русской культуры” при Московском отделении ВООПИК, в просторечии именуемой “Русским клубом”. Об этой организации уже существует целая “научная”, точнее сказать, псевдонаучная литература. Поэтому лучше обратиться здесь к воспоминаниям непосредственного (и бескорыстного) участника событий. Вот как вспоминал о тех собраниях и самом составе активистов клуба писатель Дмитрий Анатольевич Жуков:

“...В 1966 году было создано Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. В его структуру входила секция пропаганды, которую возглавлял химик, академик Игорь Васильевич Петрянов-Соколов. При нём – бюро из двух десятков замечательных личностей... Это пожилые писатели Олег Волков (дворянин благородной внешности, настрадавшийся в лагерях) и Валентин Иванов (автор замечательных исторических романов “Русь изначальная” и “Русь великая”)... (К слову – над “Русью изначальной” Иванов ещё работал в то время, а за спиной у него уже было изъятие в конце 1950-х

Продолжение. Начало в №1-7, 9 за 2019 год, 1-5, 7-12 за 2020 год, 1-2 за 2021 год.

из продажи романа "Жёлтый металл" – власть не потерпела изображения грузин и евреев как спекулянтов золотом.) ...Молодые тогда Лариса Васильева, Сергей Высоцкий, Вадим Кожинов, Святослав Котенко, Анатолий Ланщиков, Олег Михайлов, Пётр Палиевский, поэт Валентин Сидоров, архитектор и реставратор Михаил Кудрявцев, художники Николай Пластов и Сергей Шапошников, университетские люди, военные издатели..." К вышеперечисленным стоит добавить имена посещавших собрания Анатолия Никонова, историка Сергея Семанова, главного редактора журнала "Техника – молодёжи" Василия Захарченко, критика и публициста Виктора Чалмаева, литераторов Евгения Осетрова и Александра Байгушева.

Эти заседания посещал и будущий руководитель секцией литературных связей Востока и Запада в Российском Палестинском обществе при Академии наук СССР, а тогда совсем ещё молодой поэт Николай Лисовой. В 1967 году, размышляя о полувековом юбилее Октября, он написал аллегорическую поэму "Двое из Эфеса" – о Гераклите и Герострате, – напечатанную два десятилетия спустя.

И забыв, что в светлых датах
Бог всегда темнит,
Ждёт последних Геростратов
Тёмный Гераклит.

Потом он вспоминал о виденном и слышанном в бывшем Высокопетровском монастыре:

"Секция пропаганды"... организовала так называемые *вторники,* где выступали с докладами писатели, архитекторы, скульпторы, искусствоведы и т. д. То есть возник некий салон, клуб... объединивший национально мыслящую московскую интеллигенцию. Если я не ошибаюсь, курировал эту секцию журналист, писатель Иван Андреевич Белоконь. В ядро секции входили искусствовед Владимир Александрович Десятников (очень хороший, чистый человек, который с азартом занимался и спасением древнерусской архитектуры, и ростовскими колоколами, и организацией выступлений в печати), Тамара Александровна Князева (на ней, насколько помню, лежала основная забота по проведению вторников), скульптор Сергей Дмитриевич Шапошников...

И вот в один из таких вторников были приглашены тогда ещё молодые Вадим Кожинов и Пётр Палиевский. Кожинов говорил о славянофилах, а Палиевский, кажется, о Розанове. Вот тогда мы и познакомились. Мне шёл 22-й год..."

На самом деле и Кожинов, и Палиевский (как один из руководителей) посещали собрания каждый вторник, но важно, что Лисовой вспомнил здесь именно об этих докладах, прочитанных ими.

"Постепенно вместо "Вторников", – послушаем снова Дмитрия Жукова, – привилось устное название "Русский клуб", нынче мелькающее в мемуарах, справочниках и даже в энциклопедиях. Меня уже спрашивали, кто из лиц влиятельных "курировал" заседания, подразумевая, что в самом слове "русский" уже содержалась крамола. Да и мы как-то не задумывались над этим, потому что были патриотами, и дороже благополучия Родины для нас ничего не было. Однако, дабы избежать провокаций, был установлен порядок представления каждого нового члена клуба двумя ранее присутствовавшими на его заседаниях. Для этой же цели кордон из студентов не пускал подозрительных одиночек, и всё, что говорилось, записывалось двумя стенографистками..."

Читаешь – и тут же спрашиваешь себя: где теперь эти стенограммы, этот бесценный архив? Сергей Семанов, кстати, через много лет сетовал на отсутствие каких бы то ни было подробных записей произносившихся в стенах Высокопетровского монастыря докладов и сообщений... Если в самом деле были стенографические записи, потом утраченные, то эта потеря тяжелейшая и невосполнимая. Тем более, как вспоминал Жуков, "всё обсуждалось подробно и страстно. Помнится, доклад о Флоренском делал его внук. Очень много спорили на тему о влиянии петровских реформ на развитие русской культуры. Выезжали с докладами в другие города..."

Кстати о "подозрительных одиночках"... Не знаю, кого из них имел в виду Жуков, но отдельные "одиночки" так или иначе проникали на заседания.

В частности, недавно освободившийся из заключения бывший оратор на сборищах у памятника Маяковскому и "антисоветчик" Владимир Осипов или человек со сложнейшей и противоречивой биографией, также бывший зек Феликс Карелин... Осипов вспоминал об одном из тематических заседаний: "Я помню знаменитую дискуссию о расколе. Были сторонники Аввакума, были противники Аввакума, но и те, и другие были патриоты. Это была дискуссия патриотов между собой, без единой марксистской формулировки, без единого марксистского тезиса, будто марксизма не существует. Но антисоветских заявлений, разумеется, не было".

Их и не могло быть, и не "страха ради иудейска"... Вот уж чего в "клубе" не было – того не было. А было естественное желание докопаться до истины, выявить и определить корни многих исторических и современных нестроений в родном Отечестве. Никто не собирался показывать власти "фигу из кармана" или вносить в собрания дух ненавидимой всеми подпольщины. Кстати сказать, многие участники "Русского клуба" искренне считали своим союзником Александра Солженицына – не только на основании прочитанного в "Новом мире" "Захара-Калиты" или ходивших по рукам перепечаток его неопубликованных "крохоток" вроде "Молитвы", "Пасхального крестного хода" или "Путешествия вдоль Оки". В споре о языке Аввакума, столь резко отличавшемся от языка литературных произведений послепетровской эпохи, неизбежно вспомнилась сравнительно недавняя дискуссия в "Литературной газете", где Солженицын в заметке, озаглавленной "Не обычай дёгтем щи белить, на то сметана" резко ответил академику Виноградову: "Наша письменная речь ещё с петровских времён то от насильственной властной ломки, то под перьями образованного сословия, думавшего по-французски, то от резвости переводчика, то от торопливости пишущих, знающих цену мысли и времени, но не слову, пострадала: и в своём словарном запасе, и в грамматическом строе, и, самое главное, в складе... Я так понимаю, что, быть может, настали решающие десятилетия, когда ещё в наших силах исправить беду – совместно обсуждая, друг другу и себе объясняя, а больше всего – строгостью к себе самим. Ибо главная порча русской письменной речи – мы сами, каждое наше перо, когда оно поспешно, когда оно скользит слишком незатруднённо.

Умедлим же и проверим его бег! Ещё не упущено изгнать то, что есть публицистический жаргон, а не русская речь. Ещё не поздно выправить склад нашей письменной (авторской) речи так, чтоб вернуть ей разговорную народную лёгкость и свободу".

Валерий Ганичев через много лет описывал происшедшее по следам заседания, посвящённого огнепальному протопопу: "Мы пошли ещё дальше, предложив участвовать в возрождении и других храмов (пока как памятников культуры), а также очагов культурного наследия, назвав Холмогоры и Пустозёрск, где пребывал в заключении протопоп Аввакум. Ну, это было уж слишком! Марина Журавлёва (секретарь ЦК ВЛКСМ) прибежала со старой энциклопедией (видимо, это был 1-й том "Литературной энциклопедии", вышедший в конце 1920-х. – **С. К.**): "Вот, смотри, он поп, да ещё мракобес". Я успокаиваю: "Он один из лучших русских публицистов и ораторов, и вот почти для вас написано: "Борец с царским режимом". Павлов успокоил её, нам сказал: "Плодотворно. Работайте дальше, но главное, поход по местам боевой славы".

Так состоялся один из походов "по местам боевой славы" Владимира Десятникова, который он описывал в своём дневнике: "18 сентября 1967 г. Пятидесятилетие ссылки в Тобольск в 1917 году Николая II с Семьей мы с Галей решили отметить посещением этого, некогда губернского, города – столицы Сибири, а затем проделали путь на Голгофу, каким взошла на неё царская Семья, под арестом привезённая в 1918 году в Екатеринбург. На свои деньги нам это паломничество было бы не под силу. Мы обратились за помощью к В. Н. Ганичеву (ЦК ВЛКСМ). Всего мы ему раскрывать не стали. Думаю, он сам понял и поэтому командировал нас с узкопрактической целью: описать боевой путь Ермака на Иртыш, чтобы разведанный нами маршрут можно было включить в число комсомольских походов "по местам боевой и трудовой славы", как сказано было в заявке в обоснование нашей командировки".

Павлов доживал свои последние месяцы на посту первого секретаря ЦК ВЛКСМ. В июне 1968 года он был перемещён на должность руководителя

Спорткомитета при Совете министров. “Молодая гвардия” осталась даже без номинального “прикрытия”, не говоря уже о “Русском клубе”, о подлинном содержании которого Павлов, судя по всему, не имел никакого представления.

А в это же время...

В среде, кичащейся своим “свободолюбием” и “демократизмом”, о русском товариществе (кстати вспомнить здесь гоголевского “Тараса Бульбу”) распространялись недостоверные и достаточно мерзкие слухи. Причём ненависть здесь временами просто зашкаливала.

Из дневника Александра Гладкова 1964 года: “20 июня. Коля <Н. В. Панченко> рассказал о группе “русситов”, куда его затягивал этот Глазунов. Это полускрытая литературная группировка – не совсем “кочетовцы”, но близко: националисты, консерваторы. Во главе их будто бы Солоухин”.

Никакого “Русского клуба” ещё не было в помине. Но само по себе существование некоей “группы русситов” (названьице-то каково!) виделось чем-то явно ненормальным и ассоциировалось не иначе, как с дореволюционным “черносотенством”... Впрочем, *тогда* её, как видно, ещё отличали от “кочетовцев”. Ныне, ничтоже сумняшеся, их соединяют в многостраничных фолиантах в некое единое целое, более того, выводят их появление из среды “Софронова-Бубеннова-Грибачёва”, из времени “борьбы с космополитизмом” (даром, что ни один из поименованных литераторов ни разу не появился в стенах Высокопетровского монастыря и вообще участники литературных сшибок конца 1940-х старались держаться как можно дальше от молодой патриотической поросли).

Поэта Николая Панченко я помню очень хорошо. В самом начале 1960-х он тесно дружил с моим отцом (помнится, они вместе даже строили на берегу Москвы-реки яхту с символическим названием “Адам”). Со временем отношения начали расстраиваться (Панченко породнился тогда с семьёй Виктора Шкловского) и, в конце концов, расстроились совсем именно по причине тесного сближения Станислава Куняева с Вадимом Кожиновым и кругом его друзей. Панченко явно решил, что его бывший товарищ “дрейфует не в ту сторону”. Так что удивляться этим разговорам в квартире известного драматурга (по экранам только что с успехом прошёл фильм “Гусарская баллада” по его старой пьесе “Давным-давно”) не приходится.

Но это ещё, как говорится, “мягкая подстилка”. Григорий Свирский, прозаик никакой, но “скандалист выдающийся”, по выражению Владимира Бушина, распространял сплетни, что “Русский клуб” – это “изделие КГБ”. Ладно, что взять с убогого... В редакции “Нового мира” велись ещё более интересные разговоры. Заместитель Твардовского Алексей Кондратович вспоминал о приходах в редакцию бывшего работника ЦК и редактора отдела литературы и искусства “Правды” Георгия Куницына: “Он приносил мне свои статьи – сумбурные, но с неожиданно смелыми выпадами. Я с большим любопытством посматривал на него и слушал... А говорил он об интересных вещах... В Москве, на Петровском подворье, там, где сейчас располагается Музей русского прикладного искусства, регулярно под маркой Общества по охране памятников старины собираются молодые неославянофилы (прозвище уже было в ходу. – **С. К.**)... По их концепции, русский национальный дух особенно полно проявился в Достоевском, в его речи на открытии памятника Пушкину в Москве. Это была кульминация, высшая точка. А дальше – спад. Увлечение символизмом, упадок влияния почвеннических взглядов и вторжение Запада. Прежде всего, в виде марксизма. Ленин со своими явно прозападными (марксистскими) взглядами нанёс большой урон русскому национальному самосознанию. От него, как говорится, все нынешние блохи. Сталин попытался воспрепятствовать усилению чуждого русскому духу западного демократизма, но, к сожалению, не смог до конца довести эту полезную работу. Вот оно ведь как!.. Я ещё не раз слышал потом о заседаниях на Петровском подворье, пока его, году в 69-м, всё же не прикрыли (Кондратович года на три уменьшил жизнь “Русского клуба” – и не случайно! – **С. К.**). Всё, конечно, обошлось... Охотнорядские взгляды и замашки никогда не вредили государству и часто в прошлом были поощряемы...”

В этой записи есть любопытные моменты. Прежде всего, обращает на себя внимание то, что Куницын пересказывал услышанное на Петровке как очевидец всего происходящего. И это говорит о следующем: не так уж оберегали свои собрания от посторонних члены “клуба”, как потом об этом рассказывалось – да, судя по всему, и не видели в этом особой нужды (соблюдая

осторожность лишь по самому необходимому минимуму). В этой связи встаёт интересный вопрос: по каким ещё кабинетам ходил Георгий Куницын, рассказывая о собраниях "клуба" в своей интерпретации?.. Тут же тянет произнести знаменитое крыловское: "Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?.." – памятуя всех, кто вальяжно или с едва прикрываемой (а то вовсе не прикрываемой) злобой рассуждал о "покровительстве", оказываемом властями "новым славянофилам". И здесь самое время послушать свидетеля достаточно объективного – Дмитрия Михайловича Урнова: "Когда я приобщился к литературному миру, то увидел раньше меня увиденное и описанное Вадимом (Кожиновым. – **С. К.**): писательская среда затягивала и обрабатывала присяжных руководителей литературной политики, им нашёптывали решения, которые до нас доходили волей властей. Связанные с литературным миром (иногда родственными узами), партаппаратчики были опутаны сетями групповых интересов и, сами наслушавшись, продолжали плести те же сети. От этого симбиоза возникло смешанное потомство партаппаратчиков и протестантов, из бунтарей и блюстителей сложилась среда, страдающая *пустоутробием* (определение, данное Михаилом Лифшицем)".

Не менее интересна и реакция Кондратовича: само собой, он не мог слышать (тогда!) ни одного доброго слова в адрес пушкинской речи Достоевского – ведь 5-6 лет тому назад *сам* Твардовский (непосредственный начальник Кондратовича) на торжественном заседании в Большом театре, посвящённом пушкинскому юбилею (125 лет гибели поэта), назвал речь Достоевского "реакционной" (он набросился на Достоевского, переча Виктору Владимировичу Виноградову, который перед этим назвал речь "гениальной"). Конечно, совершенно непереносим для него любой косой взгляд, брошенный в сторону Маркса, – для Твардовского и его команды главной задачей в идеологическом плане было "отстаивать подлинный марксизм" (точнее, карикатуру на него, мало чем отличающуюся от карикатуры, рисуемой в высоких идеологических кабинетах: там настоящего Маркса давно не читали, а в "Новом мире" не появилась – и в этом нет никакой случайности! – ни одна работа Эвальда Ильенкова). Тем более непереносимо было любое упоминание в отрицательном контексте имени Ленина (совсем недавно на страницах "лучшего журнала" торжественно отмечалось 60-летие публикации статьи "Партийная организация и партийная литература"). Но самое замечательное в связи со всем этим – обвинение в "охотнорядстве", абсолютно в унисон как с официальными лицами, так и с либералами "диссидентского" толка.

В том же "Новом мире" уже знакомый нам Александр Лебедев печатал совершенно доносную рецензию на роман великого фантаста Ивана Ефремова "Лезвие бритвы". Леонид Рабинович, писавший под псевдонимом "Волынский", ветеран Великой Отечественной, принимавший участие в поисках Дрезденской картинной галереи, разносил по кочкам книгу Ильи Глазунова "Дорога к тебе", опубликованную в "Молодой гвардии" (он же в своей книге "Лицо времени" в духе самого времени и с полным непониманием того, о чём он пишет, изничтожал русских иконописцев, поднимая рядом с ними на недосягаемую высоту европейских живописцев эпохи Возрождения. То есть сопоставлял несопоставимое). Впрочем, недалека была дистанция от примитивных публицистических наскоков до изощрённых умствований "подпольных философов" вроде Григория Померанца, который писал на рубеже 1967-1968 годов эссе с характерным названием "Человек воздуха" (ставшее потом "Человеком ниоткуда"): "...Шум про святую Русь не повредит, скорее даже сгодится, покамест как брусничное варенье к военно-патриотическому цыплёнку, а со временем, может быть, и ещё для чего-нибудь, как неофициальная разведка очередного официального погрома... Казалось бы, всё это мерзость. Однако за короткое время к Глазунову примкнуло несколько не лишённых таланта людей: Солоухин, Кожинов, Палиевский, Чалмаев... И здесь платформа, занятая Глазуновым, представляет собой драгоценную находку. Она позволяет и личность соблюсти, и выгоду слизнуть. Потому что оппозиция глазуновского типа – единственная, которая не обещает никаких серьёзных неприятностей..." Интересно, о каких неприятностях для русских патриотов мечтал Померанц? О тюремной решётке? О лагерной баланде (вкус которой познал он сам)? Исключать подобные сладостные мечтания нельзя, ибо дальше он с упоением пересказывал грязную сплетню, шуршащую по закоулкам бывшего Горьковского особняка на улице Воровского: "Стоит заметить, что некоторые новоявленные

русские почвенники были выращены знаменитым провокатором Эльсбергом. Когда его после XXII съезда пытались исключить из Союза писателей и выгнать из ИМЛИ, будущие ревнители православия и народности ходили по Институту мировой литературы собирать подписи в защиту учителя. Можно ли хоть на минуту представить себе Хомякова или Киреевского учениками Булгарина, более того – собирающими подписи под адресом в честь разоблачённого агента?" Почти через четверть века эта ложь, нашедшая место на страницах открытой печати, заставит Кожинова обратиться в суд со справедливым требованием опровержения.

Масштабы упований Померанца были, кстати, нешуточные. Один финал его "эссе" дорогого стоит: "То, что у нас обычно называют народом, совсем не народ, а мещанство. Это мещанство хочет называть себя народом, подчинить себе интеллигенцию, заставить её относиться к себе как к норме или образцу... Потому даже с величайшей, глубочайшей точки зрения, на которую иногда становятся народники, нельзя проклинать бич Божий, истребляющий народы. Народы должны преобразиться, ветхий Адам должен умереть, чтобы родился новый". Пройдут два с лишним десятилетия – эти "заключения гордого ума" вылезут из "подполья" и станут своеобразной программой действий для "людей из воздуха"... Ещё один такой же "воздухоплаватель" Андрей Амальрик примерно в это же время в эссе "Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?", отталкиваясь от ходящего в списках русского перевода весьма своеобразно понятого романа Джорджа Оруэлла, писал с явной опаской: "Идеология великорусского национализма... уже формируется в обществе, прежде всего, в официальных литературных и художественных кругах (где она, видимо, возникла как реакция на значительную роль евреев в советском искусстве), однако она распространяется и в более широких слоях... для неё характерен интерес к русской самобытности, вера в мессианскую роль России, а также крайнее пренебрежение и вражда ко всему нерусскому. Поскольку эта идеология не была непосредственно инспирирована режимом, а возникла спонтанно, режим относится к ней с некоторым недоверием, однако с большой терпимостью – и в любой момент она может выйти на авансцену".

Если опустить намеренно клеветническую фразу о "пренебрежении и вражде ко всему нерусскому" (впрочем, это быстро стало общим местом, как в иных партийных так и иных литературных кругах), то здесь интересны два момента: констатация безусловного факта спонтанного, а не инспирированного возникновения "опасной" идеологии и нешуточное опасение того, что "в любой момент она может выйти на авансцену" – и тогда уж Советский Союз, безусловно, просуществует и до 1984-го года, и далее, что "подпольных философов" чрезвычайно тревожило.

Члены "Русского клуба" не могли не ощущать, не видеть подобных настроений в окружающем их "интеллигентном сообществе". Их пристальное внимание к истории имело самое непосредственное отношение к жгучим проблемам современности.

* * *

В изданной уже после смерти Кожинова псевдонаучной монографии "Русская партия и движение русских националистов в СССР. 1953–1985" её автор ничтоже сумняшеся утверждает следующее: "Судя по тому, что ни один из прочитанных на заседании докладов впоследствии не был перепечатан даже в подконтрольных русским националистам изданиях, их научная ценность была не очень велика, а публицистический пафос актуален только для своего времени". В общем, этот тот самый случай, когда наглость, порождённая ощущением всезнайства и в придачу смешанная со стремлением унизить крайне ненавистных автору (эта ненависть камуфлируется на протяжении всего шестисотстраничного тома, но в отдельные минуты – как сейчас – автор не выдерживает) деятелей русской культуры, совершенно застит учёному товарищу глаза. Мало того, что совершенно ни к селу ни к городу и в названии фолианта, и почти на каждой его странице он бомбит ошеломлённого читателя по голове словосочетанием "русский национализм", он, похоже (при всей своей назойливо демонстрируемой информированности), не имеет понятия о самых элементарных вещах. В частности, о том, что многое из прочитанного

и обсуждённого на заседаниях "Русского клуба" потом находило своё место на страницах не только "Молодой гвардии" ("подконтрольной"), но и "Вопросов литературы".

Стенограммы докладов, как я уже говорил, скорее всего, не сохранились. Но обсуждаемое не пропало втуне. Так, Виктор Чалмаев публиковал в "Молодой гвардии" статьи "Философия патриотизма" и "Великое наследие" (к юбилею Горького) на основе сообщений в благородном собрании. Потом эти статьи были ошельмованы журналом "Юность" в инвективе Владимира Воронова с соответствующим заголовком – "Заклинания духов".

Здесь заключалась одна любопытная тонкость.

Главный редактор "Юности" Борис Полевой, сменивший на этом посту в 1962 году Валентина Катаева, кажется, приходил в натуральное бешенство, когда слышал слова "русский дух" или "русская история". Именно от него пошло по литературному закулисью словечко "гужееды", которым он характеризовал авторов "Молодой гвардии". Лексикон Воронова вызывал в памяти газетные статьи времён антирусского погрома конца 1920-начала 1930-х годов: "Зачем же доходить до русопятства? Право, зря заклинатели вздыхают о "загадке" России, об избраннической доле русского народа. Они словно не знают о социалистическом мировоззрении современного русского (равно как украинского, белорусского, грузинского, любого другого) советского человека, что и приводит их в таких случаях к размыванию принципов пролетарского интернационализма".

И едва ли стоило удивляться подобному выпаду (у авторов никоновского журнала была соответствующая "симпатия" к "Юности"), если бы не одна тонкость: Воронов нападал на Чалмаева, но в большей части статьи приводил цитаты, содержащие слова "дух" и "духовность", из работ... Михаила Лобанова.

Зачем понадобился этот камуфляж? Рискну предположить, что Полевой внутренне поостерёгся впрямую задеть ветерана Великой Отечественной (возможно, для автора "Повести о настоящем человеке" воевавшие люди обладали определённой "неприкосновенностью"). Может быть, был определённый расчёт на то, что Лобанов поймёт "намёк" и угомонится сам. Но Лобанов не угомонился.

В 4-м номере журнала появляется его новая статья (он и так уже "достал" нашу "передовую интеллигенцию" своими размышлениями о русской традиции и русской духовности, в которых ревнители прогресса видели нечто "замшелое" и крайне "несовременное") – "Просвещённое мещанство". То, о чём Михаил Лившиц писал как о проблеме теоретической (с выходом в политику), у Лобанова обрело сугубо жизненные и зримые очертания.

И начал Лобанов с того, что, вспомнив "гитарно-гуманную песенку" Булата Окуджавы "Полночный троллейбус", привёл его яростное письмо, напечатанное в "Труде" и адресованное журналистке – автору рецензии на фильм по сценарию популярного исполнителя своих песен – "Женя, Женечка и "Катюша". С трудом сдерживая ненависть, Окуджава отрицал "прохладный приём" фильма зрителями, о котором писала эта женщина, и заявлял: "Не знаю, подлежат ли Ваши действия суду, но поверьте мне, что на всех своих выступлениях я буду широко знакомить публику с этим фактом... чтобы в редакциях упоминание Вашего имени ассоциировалось с подлогом". Лобанов увидел в этом послании нешуточную угрозу и весьма тревожный знак: "Даже как-то страшновато: попадись-ка под власть такой прогрессистской руки..."

Михаил Петрович едва ли подозревал тогда, насколько он близок к истине. Олег Михайлов через много лет вспоминал о своём разговоре с Окуджавой в Куйбышеве в 1964 году, где "гвоздём программы был, конечно, Булат Окуджава и его песни". Михайлов упомянул в разговоре с ним о своём друге Дмитрии Ляликове, который как-то обронил, что когда на Кавказе (где он вырос) услышали, что Сталин якобы убил Кирова, то начали относиться лучше к Сталину, ибо слишком хорошо помнили кровавые подвиги Кирова в тех местах. Окуджава переменился в лице, а потом в его голосе прорезались металлические нотки:

– Этого человека (то есть Ляликова. – **С. К.**) нужно расстрелять.

Олег Николаевич поначалу решил, что ослышался.

– Это почему же? – спросил он, ещё до конца не веря своим ушам.

Окуджава был непреклонен.

– С Кировым работала моя мама.

И дело было не в маме, отсидевшей в своё время свой срок. Дело было в этом абсолютно серьёзном и неукоснительном желании "расстрелять".

Тут же вспомнилась исполнявшаяся под восторженные аплодисменты зала песенка о комсомольской богине (очевидно, всё о той же маме), у которой "привычно пальцы тонкие прикоснулись к кобуре". Кажется, Окуджава жалел в ту минуту, что его пальцам не к чему прикоснуться.

...Да, Лобанов этого не знал и не слышал. Но не зря и не случайно в процитированном письме популярного стихотворца и певца он уловил завуалированную нотку этого самого "расстрелять".

И, отталкиваясь от этого вроде бы частного случая, перешёл к анализу того явления, которое и назвал "просвещённым мещанством".

Не таким уж безобидным оказывалось это явлением под его пером. И самое интересное: ругательное словечко в устах какого-нибудь неумолимого "прогрессиста", презирающего "косную массу", возвращалось к нему самому. И очертания портрета нового мещанина становились всё более и более угрожающими для окружающих.

"Мещанство своё дело делает. Оно считает себя в курсе всех современных наук и мировых прогрессов. Оно ужасно любит остренькое в науке – пересаженное сердце, летающие тарелки (которые должны быть непременно посланцами с других планет), оно любит порассуждать о физиках и лириках, о какой-нибудь электронной теории бессмертия и т. д. Такое просвещённое мещанство быстро поставит на место патриархально-отсталого Л. Толстого... Не имея собственных мыслей, мещанство делает плоским всё, к чему ни прилипнет. Даже великие мысли, великие имена забалтывают, гениальную индивидуальность пытаются заклеймить особым словцом, уничтожающим значение подвижничества мысли великого человека. Руссо – "руссоизм", Толстой – "фатализм", Есенин – "есенинщина" и т. д. У мещанства мини-язык, мини-мысль, мини-чувство – всё мини. И Родина для них – мини..."

Это ещё можно было бы перенести. Отругаться, переходя на личность критика. Но дальнейшие обобщения Лобанова лишали возможных оппонентов этого, казалось бы, вполне надёжного хода. Он апеллировал к русской классике.

В качестве образца "просвещённого мещанства" он представил чеховского профессора Серебрякова. "Десятки лет театры и критики высмеивают этого бездарного профессора, все-то знают цену этой посредственности, этому приживальщику в науке, а ему хоть бы что – по-прежнему он заведует кафедрами, "с надменным видом" изрекает учёные пошлости, пишет никому не нужные "труды", величаво заседает, подписывает юбилейные "адреса" и т. д." Люди, знающие историю более или менее основательно, не могли не поразиться: господство Серебряковых в наши дни? После того, к чему они привели полвека назад Российскую империю?!. Но дальше – хлеще. На сцену выходит "сам" Степан Трофимович Верховенский. Цитата из "Бесов" Достоевского била не бровь, а в глаз: "Помните, как он написал нечто смелое – поэму, где все поют, даже насекомые и какой-то минерал. Эту поэму вдруг печатают "там, то есть за границей... Он был сначала испуган, бросился к губернатору и написал благороднейшее оправдательное письмо в Петербург... Одним словом, волновался целый месяц, но я убеждён, что в таинственных изгибах своего сердца был польщён необыкновенно. Он чуть не спал с экземпляром доставленного ему сборника, а потом прятал его под тюфяк..." Читавшие не могли не привести параллели с нынешними "Степанами Трофимовичами" вроде Евтушенко с его "Преждевременной автобиографией", того же Окуджавы с изданным сборником песен в "Посеве", да и с Солженицыным, о публикациях которого "за бугром" денно и нощно трубили зарубежные радиоголоса... "Кроме того, Степану Трофимовичу принадлежит ряд замечательных мыслей, вроде: "Я... всех русских мужичков отдам в обмен за одну Рашель"; "К тому же Россия слишком великое недоразумение, чтобы нам одним его разрешить, без немцев и без труда". Конечно, в иных обстоятельствах Степаны Трофимовичи могут менять темы своих диссертаций, переваливаться на иной бочок своей "гражданской роли" – по многосторонности своей натуры... Они и не представляют себе иной аудитории, как целое человечество, не народ какой-нибудь. Народ для них – это провинциально..." И опять же невозможно было не углядеть в нарисованном портрете подлинные физиономии многих живых современников. Но это было бы ещё полбеды. Неприятно, конечно, но, поперхнувшись, проглотить можно. Суть же не

в отдельных личностях, а в явлении, обретающем на глазах характер массового захвата.

Примеры один жутче другого: жажда увидеть на кладбище Донского монастыря могилу не Чаадаева, не Ключевского – Салтычихи. "Действует поострее..." Монолог молодого музыканта, который в красках расписывает смерть своей жены в Боткинской больнице, наслаждаясь живописными "деталями"... Это уже не "отдельные случаи". Это, как говорилось и писалось в то время, нечто "типическое".

"Как короед, мещанство подтачивает здоровый ствол нации... Для него "общие" идеи – пустой звук, его греет только то, что можно попробовать на ощупь, что можно сегодня же реализовать на потребу брюха..." Духовное вырождение образованного человека, подмеченное ещё Чеховым, – утверждает Лобанов, – стало ныне массовым заболеванием. "Исторический смысл нации? Для мещанства это пустота... Мещанство... визгливо-активно в отрицании. В этом у него способности изощрённейшие, эрудиция современнейшая – вплоть до ссылок на заклятых зарубежных "друзей"...

Зарубежные друзья были разные. Были и "заклятые" – те, к кому периодически апеллировала так называемая либеральная общественность: иные выходцы из неё пользовались её прямой поддержкой, не уставая при этом вещать о "социализме с человеческим лицом" и о необходимости властями "соблюдать собственную конституцию". Другие пользовались предоставляемыми возможностями выпуска в издательствах, финансируемых Центральным разведывательным управлением США и подконтрольных ему организаций, своих сочинений, снабжённых предисловиями откровенных врагов советской страны с тем, чтобы потом, опуская очи долу, притворно или искренно покаяться за содеянное в советской печати (впрочем, сплошь и рядом шли откровенные "подставы" – вроде издания "на стороне" без какого-либо ведома авторами их книг, пересланных туда кем-нибудь из здешних "друзей" и "болельщиков": так происходило и с Фёдором Абрамовым, и с Варламом Шаламовым, и с Александром Твардовским)... Лобанов полностью отдавал себе отчёт в том, что значат подобные "данайские дары", как, впрочем, это прекрасно понимали все члены "Русского клуба".

Другое дело, если судить по позднейшим воспоминаниям некоторых его участников, картина духовной жизни сообщества предстаёт в той или иной степени искажённой, что видно, в частности, на примере мемуаров Сергея Николаевича Семанова.

"...Мы все были горячими патриотами, горой стояли за советскую власть, ну, с патриотическими поправками, конечно. Помню, я любил прилюдно шутить: вот Ленин говорил, что у нас советская власть с бюрократическими извращениями, а сегодня – с извращениями сионистическими. Все посмеивались, да ещё покруче высказывались... Запад и всю буржуазную сущность, и культуру мы нескрываемо презирали, а ведь именно там был – официально! – главный враг страны".

Проще всего сделать отсюда вывод (и он делается многими из тех, что мнят себя "серьёзными исследователями") о сплошном "советизме" и патологическом "антизападничестве" всех без исключения представителей так называемой "русской партии". Не говоря уже о том, что подобная характеристика вообще не применима ни к Илье Глазунову, люто ненавидевшему всех без исключения руководителей советского государства, начиная с Ленина, ни к Владимиру Солоухину, который публично выражал сочувствие расстреливаемым из пулемёта каппелевцам в кинофильме "Чапаев" (и схватившегося на этой почве врукопашную с Михаилом Бубенновым, однажды заоравшим в ответ Солоухину: "Так им и надо было!"). Эти слова Семанова с трудом применимы и к самому Семанову – при его восторженном отношении к руководителям "Белого движения", которое недвусмысленно выражено в его дневниках конца 1960-х и которое осталось до конца его жизни. Достаточно прочесть запись от 9 февраля 1969 года: "Лавр Георг[иевич] (Корнилов. – **С. К.**) – герой, Ал[ексан]др Васил[ьевич] (Колчак. – **С. К.**) – рыцарь, Антон Ив[анович] (Деникин. – **С. К.**) – военачальник, Пётр Ник[олаевич] (Врангель. – **С. К.**) – вождь. Так я их и опишу. И присных".

Это восхищение "белыми героями", боровшимися в тогдашнем восприятии Семанова за "единую и неделимую Россию", органически уживалось у автора дневника с "интеллектуальным сталинизмом" как средством "удержания"

государства от распада в размышлениях на ту же тему – сколько существовать Советскому Союзу: "Национальный вопрос – важнейший в Росс[ии]. Так наз[ываемое] право наций на самоопредел[ение] есть вещь с двумя полюсами, важна не только воля отделяющихся, но и настроение тех, от кого отделяются. Я не понимаю, почему у Архангельской губ[ернии] меньше прав на отделение, чем у губ[ернии] Эстляндской. Но будем логичны: разве не имеют права на отделение жители Вас[ильевского] о[стро]ва? Или даже части его – о[стро]ва Голодая? И, наконец, почему чья-нибудь дача у Сестрорецкого берега не может образовать независимую республику? Абсурд! (Этот абсурд правил бал в годы гражданской войны, что прекрасно было известно Семанову как историку. – **С. К.**) Но раз абсурд, значит самоопредел[ение] следует ограничить. Как же? Справедливый выход только в одном: учитываются интересы и отделяющихся, и остающихся...

...Законность власти определяется временем, привычностью к ней народа. То есть восставать и бороться против Бланка (Ленина, по девичьей фамилии матери. – **С. К.**) – это есть борьба за восстановление законной власти, а бунтовать против Иосифа Виссар[ионовича] и его наследников – деяние греховное. В России были и будут благими лишь преобразования, осуществляемые сверху".

Семановские взгляды разделялись далеко не всеми членами "Русского клуба", не говоря уже о том, что характеристика его ближайшего окружения имеет весьма отдалённое отношение и к Вадиму Кожинову, и к Петру Палиевскому – автору лучших статей, опубликованных в 1950-е в советской печати о Грэме Грине и Уильяме Фолкнере (хорош "антизападник"!)... Не говоря уже об Олеге Михайлове, с конца 1950-х переписывавшемся с представителями первой русской послереволюционной эмиграции (в частности, с Борисом Зайцевым и Александром Сионским), изучавшем творчество не только Ивана Бунина, но и того же Зайцева, и Ивана Шмелёва, первую книжку которого после долгого перерыва он издал со своим предисловием в 1960 году и чьи неизвестные творения (в частности, "Солнце мёртвых") он читал в кругу своих друзей:

"То было другое время – другие большевики, первые. То были толпы российской крови, захмелевшей, дикой. Они пили, громили и убивали под бешеную руку. Но им могло вдруг открыться, путём нежданным, через пустяк, может быть, даже через одно меткое слово что-то такое, перед чем пустяками покажутся все слова, лозунги и программы, требующие неумолимо крови. Были они свирепы, могли разорвать человека в клочья, но они неспособны были душить по плану и равнодушно. На это у них не хватило бы "нервной силы" и "классовой морали". Для этого нужны были нервы и принципы "мастеров крови" – людей крови не вологодской..."

Книги Бориса Зайцева, Владимира Набокова, того же Шмелёва Олег Михайлов получал от Сионского, о котором "Известия" в это время печатали весьма угрожающий материал.

"Пригретый в зарубежных антисоветских издательствах, главным образом в НТСовском листке "Русская мысль" и радиостанции "Свобода", Сионский развил кипучую деятельность. Перед ним поставлена вполне конкретная задача: вести в Советском Союзе многотрудный поиск "интеллигентов, выступающих против Советской власти", нащупывать в окололитературной среде лиц, именуемых в близких к Сионскому кругах "недовольными бунтарями". Средства работы? Все хороши и, например – переписка. Она помогает раскрыть характер человека, выяснить его наклонности, сумму интересов и в конечном итоге позволяет сделать вывод – можно ли "закупить" ту или иную жертву, чем и когда "закупить"...

Он принадлежит к числу тех эмигрантов, которые до сих пор не оставили мысль въехать в Москву на белом коне..."

Понятно, что в реальности ни о какой "закупке" не могло быть и речи. Переписка Сионского с Михайловым (кроме него бывший руководитель контрразведки "Русского имперского союза" переписывался с Виктором Лихоносовым), длившаяся почти два десятилетия с начала 1960-х, вызывает чрезвычайный интерес, и многое в письмах "злейшего врага Советской власти" способно удивить по-настоящему.

"Я видел мадам Кутырину, и она мне рекомендовала выслать Вам следующие произведения Шмелёва: "Солнце мёртвых", "Куликово поле" и "Старый

Валаам". Эти книги уже у меня, и я их Вам вышлю несколько позднее, а сегодня, одновременно с этим письмом, вышлю Вам "Древо жизни" Б. К. Зайцева.

Кроме того, я достал для Вас книги: 1) "Весна в Фиальте" и 2) "Другие берега" Набокова, они уже тоже у меня, и я вышлю их, вероятно, в течение следующей недели.

Если можете, то вышлите мне произведение Кочетова "Братья Ершовы". Я читал критику на это произведение, но здесь достать не смог, или что-либо из беллетристики по вашему выбору..."

"...На этих днях вышлю Вам книгу "Юность" Б. К. Зайцева, который просил передать Вам его сердечный привет.

С А. И. Куприным мы однокашники и учились в Москве, которую я всегда любил и обожаю сегодня со всеми её причудами, разнообразием и особым московским духом.

Вспоминаю свою юность с прогулками зимой на лыжах в Петровском парке, московские катки, как и теннисные площадки на Девичьем поле, свиданья и прочие невинные шалости молодости.

Ваши письма — какая-то нить, которая связывает и напоминает мне о Москве.

Два года тому назад имел огромное удовольствие быть на спектакле Московского Художественного театра. Какое бессмертие!.."

"...Конечно, Москва сильно изменилась. Кое-какие карточки и альбом, который я получил в подарок от Зуевой, артистки Московского Художественного театра, дают мне представление о нынешней Москве. Я жил, вернее, приходил в отпуск к моей бабушке, жившей в районе Арбата — Смоленского рынка. Там, кажется, сейчас большие перемены. Да и Лефортово тоже, кажется, поменялось. Я воспитанник 2-го Московского кадетского корпуса, и с А. И. Куприным мы однокашники по этой школе. Но нас разделяет время выпусков — почти четверть века...

В России я с ним не встречался, но познакомился здесь, в Париже. В общем, он был обаятельным человеком, всегда приветливый, с улыбкой через какую-то далёкую грусть, которую можно было прочесть в выражении его уже выцветших серо-голубых глаз. У него было лишь одно забвение — далёкая родная русская земля. Вероятно, ради этого забвения он отправился домой. Мы невольно говорили: решил ехать умирать на родной земле; и побаивались, чтобы смерть не случилась в дороге.

Читаю с интересом "Братьев Ершовых" Кочетова. Он талантлив и при некоторых обстоятельствах, по-моему, способен на глубокое жизненное произведение. Его диалоги создают полное впечатление нынешней психологии народа, его жизни, как и отдельных личностей. Они могли бы быть сильнее, если их углубить по духу "Не хлебом единым". Роман Дудинцева я читал, он у меня есть и имеет большой успех.

Обидно и досадно, когда порою нереальная и утопическая действительность создают пропасть между людьми одного благородного русского языка и одной культуры. Понять это — не значит простить, но приблизить день блестящего будущего нашей общей Родины.

В этом существо и проблема будущего..."

"Сердечно благодарю за "Каплю росы". Уже начал её читать и нахожу, что В. Солоухин художественно передал картинки России и незабываемые поездки на дровнях зимой. Я отчётливо переживаю всё это и благодарю за доставленное удовольствие перенестись к себе на Родину".

"...Передо мной журнал "Юность", где я прочёл Вашу очень глубокую по мыслям статью "Нашей молодости споры". Она обратила на себя внимание и наших критиков. И я посылаю Вам отзыв о Вашей статье — вырезку из газеты "Русская мысль". Я думаю, что Вам будет интересно прочесть её. Однако я не совсем согласен с ней, так как она написана с эмигрантской точки зрения, но не с точки зрения того жизненного процесса, который происходит у Вас. И особенно среди молодёжи.

Сейчас у нас в Париже очень много читают три советских журнала: "Новый мир", "Юность" и "Огонёк". По этим журналам мы как-то можем ориентироваться о вашей жизни. Вообще должен сказать, что в литературе у вас чувствуется большой сдвиг..."

Понятно, что переписка вызвала пристальное внимание соответствующих служб. Один представитель Комитета государственной безопасности даже

заявился к Михайлову на квартиру для профилактической беседы. Профилактики не получилось – Михайлов уселся к телевизору смотреть хоккей под полдюжины "Жигулёвского" и пообещал поговорить с визитёром после просмотра... На следующий день разговор-таки состоялся, и Олег Николаевич категорически отказался "прекратить переписку", а на заявление визави, что Сионский высылает в Россию зарубежные издания "на средства ЦРУ", ответил, что он сам, как специалист по литературе русского зарубежья, обязан эту литературу знать, и ему, соответственно, необходимы отсутствующие даже в спецхране "Ленинки" книги Бунина, Куприна, Замятина, Набокова и других писателей первой русской послереволюционной эмиграции. Беспартийный, не обременённый никаким чиновничьим постом, легально издающий книги в советских издательствах и не печатающийся "за бугром" Михайлов был неуязвим. Максимум, что мог ему сказать на прощание комитетчик, – это пожелать "сохранять достоинство советского человека".

...И в это же самое время на советском телевидении демонстрировались фильмы, где бывшие враги, "белые" офицеры, предстали в образах умных, красивых, достойных противников. Историческая правда, по сценариям и режиссёрским разработкам, была, разумеется, за "красными". Но с каким ощущением трагизма свершающегося играли Игорь Горбачёв роль Александра Якушева, Людмила Касаткина роль Марии Захарченко и Донатас Банионис роль Эдуарда Стауница (Опперпута) в фильме "Операция "Трест"! И напряжённо следя за приключениями капитана Кольцова в "Адъютанте его превосходительства", советский зритель не мог не проникнуться своеобразной правдой образа генерал-лейтенанта Ковалевского в исполнении Владислава Стржельчика (прототипом его был генерал Май-Маевский, запойный алкоголик, чего в помине не было в сценарной разработке образа!), не посочувствовать трагедии ротмистра Волина в исполнении Олега Голубицкого, не задуматься над поведением ювелира Исаака Либерзона в потрясающем исполнении Бориса Новикова, Либерзона, сдающего чекистам своего собрата по ремеслу – русского ювелира Федотова.

Писатели, собиравшиеся и общавшиеся в "Русском клубе", пытались своими силами решить задачу восстановления связи времён, засыпать "пропасть между людьми одного языка и одной культуры", о чём писал Сионский. Они прекрасно понимали, что идеологические "устои", на которых почти полвека стояло государство, подточены и готовы обрушиться. Более того, прекрасно осознавали чужеродность исторической России многого в этих "устоях". Разумеется, речь не шла и не могла идти о желании какого-либо государственного переворота – слишком хорошо (даже на уровне инстинкта) молодые русские патриоты понимали разрушительность подобного рода упований (и в этом они резко отличались, в частности, от членов подпольного "Всероссийского социального христианского союза освобождения народа" во главе с Игорем Огурцовым, члены которого, уже арестованные, начали своё тюремно-лагерное хождение по мукам. Кстати сказать, этот процесс, в отличие от процесса Синявского-Даниэля и других "диссидентских процессов" этого времени, не вызвал практически никакого отклика на Западе, никаких солидарных с осуждёнными акций, о чём с удовлетворением докладывал в ЦК КПСС новый председатель Комитета государственной безопасности Юрий Андропов: "Данные о практической враждебной деятельности участников "ВСХСОН" в ходе судебного процесса не получили широкой огласки. Отдельные слухи о нём, распространившиеся за рубежом, являлись домыслами буржуазных корреспондентов, которые, вследствие продвинутой заранее через возможности Комитета госбезопасности в западную прессу выгодной для нашей страны информации, не имели сенсационного значения").

Они рассчитывали на то, что их познание *всей* отечественной истории, не замутнённое никакими "марксистско-ленинскими" догмами, и их труды, основанные на этом познании, произведут переворот интеллектуальный, окажут необходимое влияние на властные идеологические структуры, необходимое духовное сопротивление новым революционерам, апологетам "далёкой гражданской" во всех областях жизни, потомкам "мастеров крови", которые, говоря о патриотизме, не упускали случая прибавить к нему эпитет "квасной".

...Резонанс от молодогвардейских публикаций был оглушительный.

Ближе к финалу статьи “Просвещённое мещанство” Лобанов подошёл к самому главному: он писал об опасности, которая нависла не только над Отечеством.

“Нет более лютого врага для народа, чем искус буржуазного благополучия. Это равносильно параличу для творческого гения народа. Что же тогда оставляет народ в памяти человечества? Когда нация не застыла ещё в определённых формах, когда внутренние силы её мощно бродят, пусть потенциально, тогда есть историческая надежда. Но может ли она быть, когда нация нивелируется в стандарте самых несложных прагматических идеалов и потребностей? Это упрощение заразительно в нынешнем мире. Американизм духа поражает другие народы. Уже анахронизмом именуется национальное чувство. Какие там могут быть судьбы народов, когда, по словам одного зарубежного социолога, Европа не что иное, как “единый индустриальный организм”, где взаимосвязь разноплемённой массы целиком определяется технико-организационными факторами. Интеграция — вот словцо, которым эти ревнители “единого организма” хотели бы духовно просветить народы, заражённые национальным “анахронизмом”. Так интегрировать, чтобы начисто соскоблить этот дикий пережиток национального, народного, чтобы перемещать всех во всеобщей индустриальной пляске. Чтобы ни духа, ни памяти о прошлом, ни самого языка не осталось от этих самых народов, без всего этого груза куда успешнее будет регулирование “единого организма”. Ничего, что с такой “интеграцией” в народах исчезнут атлантиды самобытной культуры, что вместо красочного луга, усеянного цветами, вытянется что-то вроде голого асфальтированного шоссе, что нивелировка породит гибельную для творчества стандартизацию.

Рано или поздно смертельно столкнутся между собой эти две непримиримые силы: нравственная самобытность и американизм духа”.

Конечно, не вороновская статья заставила Лобанова заговорить о том роковом рубеже, к которому ведёт не только русскую, но и мировую цивилизацию игнорирование описанной социальной опасности. В зеркале лобановской статьи мог увидеть свою реальную физиономию тот же Померанц, а вместе с ним и множество других интеллектуалов и государственных и партийных деятелей. Но тут-то и встала трудноразрешимая проблема, на поверку оказавшаяся и вовсе не разрешимой. Что было делать с авторами комсомольского журнала, которые, презрев всякие лозунги о нерушимом единстве всех групп населения в бесклассовом обществе социалистического отечества, указывают на реальную силу, подтачивающую ствол государства? Игнорировать сказанное? Заткнуть говорящим рот? Никакого реального повода для жёстких мер по отношению к себе они не давали. Но говорили и писали о том, что представлялось многим совершенно нетерпимым в атмосфере только что прошедшего юбилея Великой Октябрьской революции и в преддверии 100-летия со дня рождения Ленина.

* * *

29, 30 и 31 мая 1968 года в Новгороде состоялось долгожданное событие — научная конференция “Тысячелетние корни русской культуры”, организованная Всероссийским обществом охраны памятников, формально приуроченная к столетнему юбилею установки в городе памятника Микешина “Тысячелетие России”.

Но прежде чем вести разговор об этой конференции, хочется добрым словом вспомнить человека, благодаря которому и состоялся этот праздник в древнем русском городе.

Павел Васильевич Кузьменко, бывший председатель исполкома города, незадолго до события переведённый на должность заместителя председателя. Едва ли кто из сослуживцев, тем более из собравшихся на торжество писателей и деятелей культуры имел представление о чрезвычайно насыщенной и не менее драматической его биографии. Коренной ленинградец, он с 1944-го по 1946 год занимал должность заведующего Организационно-инструкторского отдела Ленгорисполкома, входил в ближайшее окружение председателя Ленсовета Попкова. В 1948-м был направлен в Рязань на должность 2-го секретаря областного комитета ВКП(б). 17 октября 1949 года был

арестован по “Ленинградскому делу” (как многие и многие выходцы из Ленинграда, отправленные на партийную работу в другие города России), приговорён к 25 годам заключения, освобождён в 1954-м и после освобождения и реабилитации направлен на работу в Новгород.

Едва ли можно сомневаться в том, что конференция, организованная его стараниями, была для него во многом исполнением тех чаяний, что бродили в умах молодых ленинградских партийцев послевоенных сороковых, той “русской партии”, разгромленной и уничтоженной, так и не возродившейся после ни в каких партийных структурах. Это было его последнее деяние на этой земле, благодаря которому он, думается, заслужил благодарную память потомков. В том же 1968 году Павел Васильевич ушёл из жизни.

Как это часто бывает, иные люди, приложившие немалые усилия к организации давно чаемого, бывают сплошь и рядом недовольны результатом; так это произошло с Владимиром Десятниковым. Во время конференции он записал в своём дневнике:

“30 мая 1968 г. Научная конференция “Тысячелетние корни русской культуры” в Новгороде, по замыслу её организаторов из Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников, должна была собрать цвет русской нации. И право, такой случай один раз в тысячу лет выпадает. Здесь не только Академия наук, а всё правительство в полном составе должно было быть. Мы выстояли и победили в самой кровопролитной войне, мы спасли человечество от фашистской чумы. Мы понесли неисчислимые жертвы. У нас нет такой семьи, которую обошла бы стороной война. В огне пожарищ были разрушены тысячи городов и сёл. Мы в одиночку, без чьей-либо помощи восстановили народное хозяйство, вернули к жизни наши памятники истории и культуры. Мы — великая нация, тысячу лет исповедующая Православие. Нам есть что помнить, есть чем гордиться, и прозвучать это должно было на весь мир. А что на деле вышло? Да ничего особенного — рядовые посиделки доброхотов Общества музейщиков и краеведов. Темы докладов, завизированных в ЦК КПСС, так робко были обозначены, чтобы, не дай Бог, кто-то выпал из идеологической колеи. На пленарных заседаниях, проходящих в Новгородском кремле, всё строго, как на партийной конференции. Никому слово нельзя сказать с места. Выступают лишь те, кто значится в списке. Всё проходит тихо, гладко, бесцветно и верноподданнически, никто из ораторов даже и не пытался голос возвысить в защиту русских национальных святынь. В набат надо было бить на Софийской звоннице, но ведь она-то бутафорская... Накануне отъезда в Новгород я позвонил М. А. Шолохову, как мы и договаривались. Его помощник сказал, что Михаил Александрович заболел. Л. М. Леонов тоже не смог поехать. Хотя я и не имел никаких полномочий от Центрального совета Общества охраны памятников, тем не менее, будучи составителем сборника “Памятники Отечества”, я направил А. И. Солженицыну как одному из авторов сборника программу научной конференции “Тысячелетние корни русской культуры”. Уверен, что если бы он приехал в Новгород, то ему, так или иначе, слово было бы дано. Видя никчёмность по-чиновничьи проводимой научной конференции, многие демонстративно покидали зал заседаний. Благо в Новгороде есть куда пойти и есть что посмотреть. Мы с В. А. Солоухиным предложили И. С. Козловскому и И. В. Петрянову-Соколову поехать с нами, чтобы поклониться могиле матери С. В. Рахманинова, похороненной в 1929 году у церкви Рождества-на-Поле.

А вообще-то, если строго говорить, то Солженицын, пожалуй, не поехал на Новгородскую конференцию, потому как предвидел, что придётся “западный сук” рубить, на котором он сидит и расчётливо двигается — то влево, то вправо. В Новгороде, ограбленном оккупантами и превращённом в руины, обязательно надо было говорить о Европе, которая, по словам Пушкина, всегда была в отношении России столь же невежественна, сколь и неблагодарна. Что-то не нашлось в высокообразованном, респектабельном и таком гуманном западном мире, к примеру, любителей изящной словесности, кто принял бы участие в восстановлении пушкинского Михайловского, державинской Званки, толстовской Ясной Поляны, грибоедовской Хмелиты, тургеневского Спасского-Лутовинова, чеховского Мелихова, Старой Руссы Достоевского — и ещё десятков других центров русской культуры, безжалостно разрушенных войной, пришедшей к нам с Запада... Кстати, почему никто не поднимет вопрос об ущербе, причинённом Козельску и его святыням во время войны?

Ведь город со всемирно известными Оптиной и Шамординской пустынями был на линии фронта. Вот если бы от наших бомбардировок в Веймаре сгорело несколько домов, где у друзей бывал Гёте, тогда газетчики всего мира заклеймили бы нас, обвинив в варварстве. И обязательно подписку объявили бы на восстановление порушенных домов. А то, что "цивилизованные" немцы и их союзники творили в России, никого по большому счёту не колышет".

Честно говоря, соглашаясь со многим, трудно понять раздражение Десятникова самой конференцией. Ведь совершенно иные впечатления остались от этого действа у многих и многих. В частности, у молодого театроведа, ленинградца, приглашённого в Новгород его близким другом Сергеем Семановым, Марка Николаевича Любомудрова. Почитаем записи и из его дневника:

"Эта конференция – событие историческое. По сути, это первый за последние пятьдесят лет на Руси съезд русских людей с целью обсудить судьбу России и русской культуры, судьбу нации. Именно так и развёртывалась конференция, в этом был пафос лучших выступлений: Палиевского, Кожинова, Волкова, Семанова, Афанасьева, знаменитого тенора Ивана Козловского и других.

Необходимы заслоны, и уже не только оборона, но и наступление ради защиты Руси...

О необходимости наступательного духа в пропаганде национальных ценностей говорил академик Петрянов. Он выступил против названия Общества, справедливо указав, что слово "охрана" имеет пассивный характер.

Зам. предисполкома Новгорода П. Кузьменко говорил о продолжающейся гибели ряда ценных памятников в городе. О попытке издать репродукции русских икон, отвергнутой издательством: усмотрели опасность пропаганды религии (!). Рассказал о том, как один американец, которого в России обслуживали по "люксу", предлагал любые деньги за возможность переночевать в бывших покоях архимандрита Юрьева монастыря. А покои эти разорены, не оборудованы.

Д. С. Лихачёв сделал интересный доклад, но уж слишком академический – ни одного прорыва в современность. Все ограничилось призывом сделать Новгород центром исторического образования.

Потом вышел на сцену Ив. Козловский. Говорил бессвязно, сбивчиво, но с чувством, с болью и тревогой за славянские ценности, культуру. Резко – о памятнике матери-Родине на Волоколамском шоссе, на котором он увидел однажды пионерский галстучек, – оскорбление святыни! Жаловался на снятие "Князя Игоря" в Большом театре, критиковал статью Зимина, опровергающего принадлежность "Слова о полку Игореве" XII веку. Говорил об уничтожении русской природы, озера Байкал. И в заключение спел "Сейте разумное, доброе, вечное..." под аккомпанемент рояля.

С выступлением Козловского славянский дух, запертый до этого в сердцах, вырвался на простор. Кожинов и Палиевский говорили почти откровенно. Кожинов оперировал Пушкиным, его словами о Радищеве: слабоумное изумление перед своим веком и презрение ко всему прошедшему... Центр его речи – в призыве не только охранять церковные памятники, но и вспомнить о церковной литургии православной, в которой много поэзии, – это прекрасная опера (молодец, бестия! Сумел призыв в защиту религии облечь в очень обдуманные термины, исключающие возможность провокационных наскоков).

Наиболее интересен, пожалуй, Палиевский. Его смелая идея: взрыв талантливых людей на Руси на рубеже XIX–XX веков связан с тем, что народ как бы в предчувствии катастрофы, грядущей бездны накапливал ценности, чтобы их перенести с одного берега пропасти на другой. Пётр опровергал устарелое, по его мнению, представление, будто искусство России того времени было только критическим. Нет – "Воскресение" (роман Толстого) – его суть в воскресении, а не в срывании всех и всяческих масок.

Палиевский привёл любопытную цифру: в 1886–1900 г<одах> было основано 9 тысяч церквей и монастырей (!). Поднял на щит Менделеева, Василия Розанова и его "Опавшие листья". Процитировал абзац, где Розанов говорит о современном ему образовании: большинство выходит из школы, зная лишь то, что у человека 32 зуба и 24 ребра.

На следующий день наиболее значительным было выступление писателя О. Волкова (к слову, он просидел в советских лагерях 28 лет). Он всё назвал

своими именами – надо поднимать, возвращать национальное самосознание русских граждан Советского Союза, вернуть величие и культуру Русского государства. Протестовал против отождествления русского национального сознания с великодержавным шовинизмом!

Господи! Как замечательно, что слова эти можно было услышать публично, при большом скоплении людей! Беспощадно высек политику власть предержащих в области национальной культуры архитектор Афанасьев: Дворец съездов чужероден Кремлю, гостиница "Россия" своим масштабом подавила Кремль, сделала его игрушечным и т. д.

Познакомился с группой прекрасных московских парней – это они стоят у колыбели "Общества охраны..." и данной конференции. Кроме Палиевского и Кожинова, это Игорь Кольченко, Дмитрий Жуков, Святослав Котенко, Урнов и другие. Ребята мыслящие, инициативные, искренне озабоченные судьбой России.

Я придаю конференции исключительное значение: это зачатие движения, которого сегодня ждут все лучшие люди России. Если удастся ещё пробить журнал – его предполагают назвать "Отечество", – то движение будет крепнуть более быстрыми темпами. Призыв к организации журнала раздавался почти в каждом выступлении.

В кулуарных беседах выплеснулось множество проблем, вопросов, которые сегодня существуют в нашей действительности. Это русские и жиды; интеллигенты и интеллектуалы; левые и правые; очищение от клеветы национальной культуры и искусства; отношение к властям; что понимать под национальными русскими ценностями. Единства в понимании всех этих сложнейших проблем нет".

Единства, на самом деле, не было, были жарчайшие споры в кулуарах, которые прорывались и в самих публичных выступлениях. Так, Кожинов, в частности, в своей речи неявно опровергал многое, о чём вещалось в стенах Высокопетровского монастыря.

"Во многих работах и, естественно, в представлениях людей, нередко получается так, что образуется своего рода непроходимая грань между древней русской культурой и культурой послепетровской, культурой XIX и XX веков... Во многих работах и, естественно, в представлениях людей подлинно национальной считается по преимуществу допетровская культура, то есть, прежде всего, древние храмы и терема, иконы и фрески, песни, сказки, былины, а в культуре XIX-XX веков национальные черты как бы замутнены, ослаблены, подлинно национальным нередко признаётся лишь то, что непосредственно, подчёркнуто перекликается с древними традициями зодчества, живописи, с устным народным творчеством. Приходилось сталкиваться с тем, что, например, поэт Кольцов признаётся глубоко национальным, ярко воплотившим в своём творчестве собственно русские черты, а его современник Тютчев рассматривается как поэт, в творчестве которого как бы стёрты и нивелированы национальные признаки... Мы нередко разрываем древнюю и новую русскую культуру и не чувствуем глубоко национальной природы новой культуры".

И далее Кожинов заговорил о Пушкине, выражая явное недоумение: как так получается, что в книгах о Новгороде и Пскове совершенно не упоминается, что именно на этой земле обрёл зрелость гений Пушкина, что между его творчеством и древней культурой Новгорода и Пскова "существует глубочайшая связь", что в Михайловском он читал карамзинскую "Историю государства российского", летописи, собирал на ярмарках русские народные песни, которые "становятся фундаментом знаменитого собрания Петра Киреевского".

"Пушкинская эпоха, – продолжал литературовед, преображавшийся в историка, – это эпоха становления русской культуры как непосредственно мировой культуры. В то же время Пушкинская эпоха явилась эпохой национального возрождения. Может быть, это звучит странно, потому что у нас нет канонической концепции мировой культуры".

И, наконец, Кожинов, вяжущий связь времён вопреки всем линиям – официальной, "подпольной", линии многих своих "соратников", – переходит к главному, ключевому моменту своего выступления:

“Мы, наконец, кажется, уяснили для себя совершенно ясно и неопровержимо, что архитектура древних храмов и живопись икон — это произведения, в которых воплотилось целостное мироощущение народа, что это не чисто религиозная культура. До сих пор как-то не признано, что подлинная культура, и культура именно целостная, воплощающая дух народа, содержится и в том, что наполняло эти стены, — в том, что можно назвать православной литургией, тем действом, которое совершалось в бережно сохраняемых нами стенах.

Исследователями доказано, что русская православная литургия представляет собой трансформацию древнегреческой трагедии (в особенности пасхальная литургия), что она прямо идёт от этого великого искусства театра, и, в сущности, православная литургия есть возвышенная опера, известная сейчас только по записям пения Шаляпина, исполняющего несколько частей православной литургии. А между тем на Западе издан целый ряд работ о православной литургии, которая ставится неизмеримо выше, чем католическое богослужение”.

Достойным финалом речи стало кожиновское исполнение строк из набросков черновой главы “Евгения Онегина”:

“Блажен, кто понял голос строгий
Необходимости земной,
Кто в жизни шёл большой дорогой,
Большой дорогой столбовой...
Онегин едет, он увидит
Святую Русь: её поля,
Пустыни, грады и моря...
Среди равнины полудикой
Он видит Новгород Великий.
Смирились площади — средь них
Мятежный колокол утих...
И вкруг поникнувших церквей
Кипит народ минувших дней...

Это можно сказать и сейчас, — вспомнив Бахтина, — заключил он. — Да, церкви поникли и колокол утих. Но прошлое не умирает. Оно только превращается в настоящее и будущее...”

Эта речь была через год опубликована в “Молодой гвардии” — и это было одним из очень немногих творческих соприкосновений Кожинова с этим журналом. Но впечатление от этой публикации было громоподобное.

Власть имущие смотрели на всё как бы со стороны. Невозможно было продолжать хрущёвскую оголтелую политику в отношении культурного и религиозного наследия. И так же невозможно было проявить свою солидарность с этим новым, набирающим силу интеллектуальным потоком. Всё словно замерло в каком-то напряжённом ожидании.

* * *

На самом деле забот у власть имущих в это время было гораздо больше. Внешняя политика их требовала ничуть не меньше, чем внутренняя. “Холодная война” выходила на новый пик.

1968 год — это год студенческих демонстраций во Франции, организованных и проплаченных людьми, непосредственно связанными с ЦРУ США (как об этом потом вспоминали “бывшие” сотрудники этого славного ведомства). Шарль де Голль (переживший 32 покушения) давно был бельмом в глазу у американцев, а выход Франции из военной организации НАТО по его инициативе, отказ от международных расчётов в долларах и осуждение Израиля за Шестидневную войну стали последними каплями, переполнившими чашу (при этом протестовавшее население было обуреваемо исключительно личными экономическими соображениями, требуя 40-часовой рабочей недели, 60-летнего пенсионного возраста и 1000-франковой минимальной зарплаты).

Де Голлю удалось устоять, но ненадолго. Через год он покинет пост президента страны.

Продолжается агрессия США в Северном Вьетнаме, против которой проходят демонстрации по всему миру (в этом же году население многих стран было потрясено зверством американских солдат, истребивших население деревни Сонгми). В самих Штатах сменяют друг друга расовые волнения. Убит моральный лидер чёрного населения — Мартин Лютер Кинг.

И — день ото дня не легче — начал давать трещины "социалистический лагерь". Началось всё с Польши, когда цензура запретила в одном из варшавских театров дальнейшую демонстрацию спектакля по пьесе Адама Мицкевича "Дзяды", выдержанного в предельно антирусской тональности. Дошло до того, что первый секретарь Польской объединённой рабочей партии Владислав Гомулка назвал этот спектакль "ножом в спину польско-русской дружбы". Студенческие волнения, разразившиеся в связи с этим запретом сначала в Варшаве, а потом и в других городах, подавлялись жёстко и безапелляционно. Более того, Гомулка, всегда лояльно относившийся к созданию еврейских организаций в Польше (он сам санкционировал создание частных еврейских кооперативов), имел возможность убедиться, что, по его словам, "агрессия Израиля была встречена аплодисментами в сионистских кругах польских евреев", после чего объявил войну "империалистически-сионистской пятой колонне" (реально существовавшей) и призвал всех, кто считает, что эти слова относятся лично к нему, "покинуть Польшу" (кстати, близко ничего подобного не было в Советском Союзе. Напротив, стремившихся уехать пытались удержать либо уговорами, либо административными мерами).

В апреле 1968 года Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины и член Политбюро ЦК КПСС Пётр Шелест записывал в дневнике:

"Международная обстановка накалена до предела. Очень сложное и напряжённое положение в Чехословакии, Польше. Румыния и Югославия занимают самостоятельную, далеко не определённую позицию, чем создают большие осложнения. В Европе заметно оживил свою деятельность сионистский центр, который, по всем данным, находится в Брюсселе. В него входят 36 европейских групп, крупные банкиры, промышленники, учёные. Профессор философии Брюссельского университета Хайн Перельман и израильский посол в Бельгии, по существу, руководят сионистским центром и всей пропагандистской кампанией против Польши. На В. Гомулку бешено обрушилась вся мировая печать сионистов. Его всячески поносят, критикуют, помещают разного рода карикатуры. В США и Израиле ведётся подготовка к тому, чтобы после окончания войны во Вьетнаме или снижения её активности им вплотную заняться Восточной Европой. Родилась теория "наведения мостов": при помощи этих "мостов", утверждает враждебная пропаганда, произойдёт "необратимый распад социалистического лагеря"..."

Ситуация была критической, но, видя решительные действия польского союзника, советская власть решила, что это "внутренняя жизнь" сопредельной страны, хотя предельное напряжение международной обстановки было напрямую связано с этой "внутренней жизнью".

Совершенно иную реакцию вызвало у руководителей Советского государства происходящее в Чехословакии. Но там и события развивались совершенно иначе.

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Чехословакии словак Александр Дубчек, избранный на свой пост при абсолютно благожелательном отношении советского правительства, объявил о построении "социализма с человеческим лицом", но никаких реальных реформ провести не смог. Время было потрачено на делёж кресел, которым занималось его окружение. Единственное, что он сделал, — упразднил цензуру. В результате средства массовой информации вещали без всяких стеснений:

"Закон, который мы примем, должен запретить всякую коммунистическую деятельность в Чехословакии. Мы запретим деятельность КПЧ и распустим её. Мы сожжем книги коммунистических идеологов — Маркса, Энгельса, Ленина" (журнал "Млада фронта", орган чехословацкого комсомола).

"Коммунистическую партию Чехословакии необходимо считать преступной организацией, которой она действительно всегда была, и выбросить её из общественной жизни" ("Литерарни листы").

Лиха беда начало. Потом появились требования выхода страны из Варшавского договора, ориентации на США и страны Западной Европы, и, наконец, чехи и словаки читали в своей прессе прямое требование к Советскому Союзу – передать "союзнику и другу" Закарпатье.

Создавалось недвусмысленное впечатление, что Дубчек полностью утратил контроль над ситуацией, что он безвольно плывёт по течению, сдавая позицию за позицией "демократам с человеческим лицом", вроде Иржи Пеликана, Йозефа Смрковского, Эдуарда Гольдштюккера, в своё время, в 1948-м, уничтоживших по повелению Москвы представительную демократию у себя в стране, а ныне перекрашивающихся на глазах в столь же бескомпромиссных антикоммунистов. И это было бы ещё самым невинным объяснением происходящего, если учесть, что демонтировались все укрепления на границе с Федеративной Республикой Германии и что начали создаваться лагеря для арестованных коммунистов, сопротивляющихся "Пражской весне".

Лишь чуть больше десяти лет прошло с кровавых событий в Венгрии, начавшихся с митингов в "Клубе Петефи"... Из самой Чехословакии, из недр компартии шли потоком в СССР сигналы, что со всем этим пора кончать. Об этом же сигнализировали советскому правительству представители Польши, Венгрии и Болгарии...

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев (в отличие от своего предшественника) делал всё возможное, чтобы избежать не то что резких движений, но даже тех или иных решительных д е й с т в и й (уже поэтому ни о какой полноценной "реабилитации Сталина", в которой его подозревала радикальная интеллигенция, не могло быть и речи). Он (вместе с ближайшим окружением) оттягивал принятие решения до последнего и решился на ввод войск (вместе с другими странами Варшавского договора) только тогда, когда стало совершенно очевидно: медлить больше нельзя.

Благодаря президенту ЧССР Людвику Свободе и министру обороны Мартину Дзуру (оба воевали с немцами во время 2-й мировой) армия осталась в казармах. Абсолютное большинство населения также не выступило против "вторжения", не удалось – вопреки всем призывам – и организовать всеобщую бессрочную забастовку (похоже, слишком многих успел "достать" этот "социализм с человеческим лицом"). Цель была достигнута: Чехословакия осталась членом СЭВ и организации "Варшавский договор".

Отечественная либеральная интеллигенция билась в припадках возмущения, поминая Герцена, Чаадаева и других своих кумиров. 8 человек вышли на Красную площадь на демонстрацию протеста, которая продлилась 10 минут и была разогнана сотрудниками спецслужб. Вездесущий Евгений Евтушенко написал и пустил по рукам тут же ставшее знаменитым в узких кругах стихотворение "Танки идут по Праге...", где объявил самого себя "раздавленным" русскими танками. Что же касается наших героев...

Одни из них, не тяготясь никакими сомнениями, полностью поддерживали шаги советского правительства. Сергей Семанов записывал в дневнике:

"Либеральная возня в Чехии очень надоела. Но в политике один критерий – успех. А теперь успех операции 21 августа для наших несомненен. Они напомнили, что миндальничать не станут, и в какой-то мере восстановили утраченный свой престиж. И ещё: они показали своим колониальным приказчикам, что *в минуту жизни трудную* не выдадут их. А что касается до всех этих либеральных вспышек в Чехии, то всё это рано или поздно перемелется, и глядь, лет через 10 те же чешские части будут вместе с нашими подавлять антирусское выступление где-ниб[удь] в Варшаве или Бухаресте! (Семанов, видимо, имел в виду Венгрию, где ещё недавно был подавлен антикоммунистический мятеж и которая отправила в августе 1968-го в Чехословакию свои военные соединения наравне с советскими, польскими и болгарскими, причём венгры без колебаний стреляли – в отличие от советских солдат – в чехов, оказывавших физическое сопротивление. – **С. К.**)

...Англичане, создавшие парламент и великую империю, верно говорили: права моя страна или нет, но это моя страна. А разве Англия всегда была права? В бурской войне, например, или в Ирландии? У нас, русских, а у русских интеллигентов особенно, слабо развито чувство национальной гордости".

Другие русские патриоты, не доверяя до конца пропагандистским материалам, публикуемым в советской прессе, в своём большинстве признавая необходимость такого шага (поминая, кстати, подавление русскими войсками венгерской революции 1848 года), не могли не думать о последствиях происшедшего для внутренней жизни. Сергей Бочаров вспоминал о состоянии Кожинова в те дни, сравнивая его реакцию с реакцией на венгерские события 1956 года, когда молодой Вадим был настоящим либералом и антигосударственником, когда он произносил совершенно невозможную для себя впоследствии фразу: "Ну, уж в патриотизме меня никто не сможет упрекнуть!" "Это было в 56-м. А в 1968 году события в Чехословакии он воспринимал уже иначе и на эту тему обычно молчал".

Молчание это было напряжённым и раздумчивым. Сознание необходимости подобного государственного шага парадоксально совмещалось с его внутренним неприятием. У Кожинова было много друзей среди чешских и словацких филологов, периодически принимавших участие в конференциях, организуемых Институтом мировой литературы, и он не мог не думать о том, как теперь они отнесутся и к нему, и к его московскому литературному окружению, отождествляя своих недавних сотоварищей и собеседников с государственной машиной, введшей войска. Ранее регулярно посещавший в Чехословакию для участия в совместных симпозиумах, Кожинов больше не приехал туда ни разу, время от времени отказываясь от предложений начальства отправиться в творческую командировку.

(Продолжение следует)

ВЛАДИМИР КРУПИН

ВОТ ВЗЯТЬ И ОСТАТЬСЯ...

Письмо издателю

Вы всё время напоминаете мне, чтобы я написал книгу о Валентине Распутине. Я постоянно об этом думал, но пришёл к выводу, что написать её не смогу. В той мере, какой заслуживает его личность. И постараюсь это объяснить.

Судите сами. Я познакомился с ним поздней осенью 1972 года. Работал тогда редактором в издательстве "Современник". И меня командировали в Иркутск, на конференцию молодых писателей. Она называлась "МТС". Название меня насмешило: до армии я как раз успел поработать именно на МТС – машинно-тракторной станции.

– Чего заулыбался? – спросил мой начальник.

– Я слесарем по ремонту в МТС работал.

– А-а-а... Нет, это конференция "Молодость, творчество, современность", такая "МТС". Там сильная молодёжь.

Добавлю, что издательство "Современник" (создано в начале 1971 года) свершало великое дело помощи писателям и поэтам России. Это ветераны Союза писателей хорошо помнят. Когда меня демократы старались укусить за уязвимый, по их мнению, факт моего пребывания в партии, это мне как награда. Откройте архивы, темы наших партсобраний, протоколы партбюро: о чём шли наши радения? Именно о помощи писателям из провинции. Строго спрашивали с редакции прозы, поэзии, критики и литературоведения, национальных литератур именно за издание книг не просто писателей с мест, а непременно за поиски молодых талантов. А то, что они были везде, сомневаться не приходилось: это же Россия, это же русская литература, это же литература народов Российской Федерации.

И вот я полетел. В самолёте не спал ни минуты. Летели часов семь с посадкой в Омске. Разница в Иркутске с московским временем пять часов. Открытие конференции – в день прилёта. А я вторые сутки без сна. Конечно, уснул прямо в президиуме. И вдруг меня толкают в бок. Оказывается, что мне предоставляют слово. Но так как я в самолёте думал о выступлении, то легко его проговорил. Произнёс вызвавшую аплодисменты заготовленную фразу:

– И точно так, как в зиму сорок первого года пришли в Москву сибирские полки и защитили её, так и сейчас сибирские писатели приходит в литературу России и спасают её.

Мне было что сказать: имена иркутян мелькали в планах нашего издательства – Геннадий Машкин, Вячеслав Шугаев, Станислав Китайский, Евгений Суворов, Альберт Гурулёв, Глеб Пакулов, Дмитрий и Марк Сергеевы.

Значился и Валентин Распутин. Но я у него ничего не читал. Хотя слышал самые хорошие отзывы о его повестях “Последний срок” и “Вверх и вниз по течению”.

Перед торжественным ужином по случаю открытия конференции он сам подошёл, протянул руку. Как-то легко и улыбчиво с ходу мы стали на “ты”.

— Я видел, что ты спал, это же понятно, такая переброска во времени. Но хоть бы что — тебя объявляют, вышел, отбарабанил.

— Такие речи может и табуретка говорить.

Он просил обратить внимание на молодого прозаика Валерия Хайрюзова, который как раз числился в моём семинаре.

Ещё из того приезда запомнил, как смотрел с третьего этажа из окна гостиницы “Ангара” на уходящего Валентина. Ветер, метель, а он в лёгоньком пальто, лёгких ботиночках, даже без перчаток, прижав локтем к груди изрядную стопку книг и рукописей, пересекает огромную центральную площадь.

Ну вот, вернулся я в Москву, и на следующий день наутро увидел около своей кровати жену, которая прижимала к груди книгу Распутина. Она спросила:

— Ты проснулся?

— Да.

— Ты знаешь этого писателя, ты с ним знаком?

— Да, — отвечал я, — он же книгу-то подписал. Хороший парень. Обещал, когда будет в Москве, зайти в гости.

— Какой парень? — потрясённо сказала жена. — Ты понимаешь, что это великий писатель?

— Да я пока ничего у него не читал. Хотел в самолёте почитать, но эти иркутяне так провожают, что потом улетаешь от них как в тумане. А что, хороший писатель?

— Не то слово! Я же сказала — великий.

Тогда же прочитал я “Последний срок” и понял: жена моя, учитель литературы, права. Когда Валентин прилетел в Москву, позвонил мне, мы встретились, и я сказал:

— Ну вот, как мне теперь дальше жить? Я же тебя уже на “ты” называю, а теперь прочёл и не смею.

— Нет уж, пятиться не будем, продолжай на “ты” называть.

Я и продолжил. И продолжал все последующие сорок два года. И теперь, в тоскливом одиночестве после его ухода в жизнь вечную, понимаю, что ничего о нём не смогу написать. Не от бессилия — от неохватности его личности. Ведь это же только представить, и представить даже невозможно эту прожитую жизнь в дружбе с ним: обилие встреч, сотни заседаний на всяких съездах и пленумах, комиссиях, совместные поездки в десятки стран, тысячи и тысячи звонков, сотни писем и записок, тысячи и тысячи чаепитий, радости выхода книг, премьеры спектаклей и кино. Сами эти мероприятия както облагораживались одним его присутствием. Бывали они иногда в не очень дружеском окружении. Вот мы, члены комитета по Ленинским и Государственным премиям, приходим на первое заседание. Валя, осмотревшись:

— Видимо, нас сюда посадили для прибавки процента русских.

В 1986 году на съезде писателей СССР нас избрали секретарями правления. Пришли на первое заседание, входим, ну — генералитет! Пробрались подальше от начальственного стола. И тут сразу подошёл председатель правления Сергей Михалков:

— Это что такое? Это что за галёрка, что за оппозиция? Ну-ка, пошли со мной! — Привёл на первые места, приговаривая: — Вы здесь по праву, вы никого не выживали, никого не подсиживали, тут всегда и будьте.

А были мы тогда самыми молодыми членами Секретариата СП СССР.

С одной стороны, Валентин Григорьевич был неисправимый пессимист, с другой — помню его и шутником. Летим в Венецию. А тогда очень читаемым был роман “Увидеть Париж и умереть”. Идём на посадку и долго, совсем низко летим над волнами, так и кажется, что булькнем. Валя хладнокровно смотрит в иллюминатор, поворачивается, улыбается: “Увидеть Венецию и утонуть”.

Приём в Ватикане у папы римского. Кардиналы в лиловом (шёпот на ухо: “Этот цвет показывает почтение к вашему визиту”) деликатно просят не занимать папу беседой более двух минут. Валя — мне:

— Бери мои две минуты и говори с ним четыре.

Первый раз мы вместе за границей были в 1976 году в Финляндии. И там наговорили много кой-чего. То есть ничего такого не говорили, но для того времени и это казалось смелостью. Валя:

— Вообще, я думаю, надо меньше писать. Всё уже написано. Надо больше читать. И меньше издавать новых книг. Будет экономия древесины, сохранятся леса. Сейчас писателей в Советском Союзе всё больше. Явный рост по сравнению с царским временем. В Орловской писательской организации пятьдесят человек (здесь он для красного словца увеличил цифру), пятьдесят, а до советской власти было только три писателя: Бунин, Лесков и Тургенев.

Я же в свою очередь добавлял:

— Мы уезжали из Москвы, и там был холодный проливной ливень, а вот у вас в Хельсинки сияет солнце. Значит, небеса более склонны к капитализму, нежели к социализму.

Такие шутки надолго (мне вообще на десять лет) закрыли нам выезды за рубеж.

Много чего можно вспомнить. Но что это добавит к показу личности Распутина? Главного всё равно не ухватить. Главное — невозможность выразить тайну его воцерковления. И значение этого в его жизни. Именно она давала ему силы в борьбе за возрождение Православия в нашем Отечестве. Крестился он осенью 1980-го в Ельце по благословению нашего первого общего духовника схииеромонаха Нектария (Овчинникова). Крестил архимандрит Исаакий. Были при этом только мы с Маргаритой (Ренитой) Григорьевой и келейница архимандрита. Раб Божий Валентин в своей новой белейшей рубашке прямо светился. И, несомненно, Крещение стало одухотворять его труды.

Вера Православная помогала ему сохранять великую скромность на заоблачных высотах власти и одновременно питала несгибаемую твёрдость в отстаивании позиций, когда дело касалось вопросов русской культуры, русского самосознания, русской самобытности.

Нет, пусть всё это останется только во мне — те места и события, когда мы были вместе: схождение Благодатного Огня в Страстную субботу в храме Воскресения Господня в Иерусалиме, и та ночь на поле Куликовом, и Прохоровское поле, могилы отца в Аталанке, дочери и жены в Иркутске, Ольхон и та морозная лунная ночь на Байкале, Япония и Монголия, Венеция, Ватикан, поездки в мою Вятку, Питер, Белгород, Мурманск, где был ранен его отец, Петрозаводск, Орёл (могила Воронцова), Киев и Минск, Вологда (иначе как нам без Василия Ивановича!) и научные центры подмосковных городов. И отдельно — Сергиев Посад, Задонск. И Новгород, и Кострома. И ночь у костра рядом с белеющим в темноте Ферапонтовым монастырём. Нилова пустынь... Всё это сияющее пасхальными свечами царство никогда мне не выразить, и пусть оно доживает и доживёт только во мне. Не от того, что не хочу им делиться, просто оно настолько велико, что не сумею. Нет уже сил, не смогу. А скорее всего, и не хочу.

И как вспоминать последние его земные годы. Эти болезни, вызванные двумя нападениями на него: в Красноярске и Иркутске. Его же убивали в самом прямом смысле этого слова. Особенно ужасно было видеть следы страшного удара по лицу. Когда даже лобная кость сломалась и потребовалась сложнейшая операция для выравнивания её.

А то московское утро, когда услышал об аварии самолёта в Иркутске и сразу позвонил ему, и спросил, не погиб ли кто из знакомых.

— Куда уж знакомее: Маруся ушла.

А потом и Света, венчанная жена, ушла. И восполнить такое ни сын, ни внуки, ни товарищи, ни друзья не могли. Одиночество обрушилось на него. Одиночество и болезни. Он так много перестрадал, что хватило бы на десятерых.

И — последняя встреча. Мы пришли к нему с иеромонахом Заиконо-Спасского монастыря отцом Иоасафом. Валя исповедовался и причастился. Лежал, весь выболевшийся и просветлевший.

Ушёл он в жизнь вечную в день иконы Божией Матери Державная. Он и родился в этот день. Несомненно, есть в этом что-то промыслительное, нам не доступное.

Дорогой издатель, судите сами, как обо всём этом написать? О том, как нас привели в алтарь храма Христа Спасителя, где показали мраморную доску

с именами членов первого совета по возрождению этой святыни. Там были и наши фамилии.

— Ради этой надписи стоило жить, — сказал Валентин.

А уже было через недолгое время в этом храме отпевание членов Совета Георгия Свиридова, Владимира Солоухина. Настала очередь и раба Божия Валентина. Именно в день своего рождения он ушёл в жизнь вечную. Ведь в Иркутске уже было 15 марта, когда в Москве 14-е. Близилась полночь. Что-то во всём этом есть промыслительное. Особенно то, что 15-е марта — это день Державной иконы Божией Матери, спасающей доселе Россию.

Ничего уже не вернётся. И умрёт вместе со мной. Но оно же было! Как и та ночь, когда мы сорвались из застолья в гостинице "Русь", схватили частника и поехали на могилу его друга Сани Вампилова, погибшего за три месяца до нашей встречи. Машина буксовала, я швырял под колёса свою вятскую ямщицкую дублёнку. Вернулись в город ночью. Валя не сразу меня отпустил, привёл к себе домой. Тогда они жили на бульваре Гагарина, ближе к Ангаре. Мы потихоньку прокрались на кухню. Валя достал из холодильника вкуснейшую байкальскую уху, сваренную его женой, великой мастерицей Светланой.

Согласитесь со мной, что всем нам пока не под силу осмыслить появление Валентина Распутина в России и его значение для её нравственной жизни.

И вот вроде уже закончил оправдание своего бессилия написать о Распутине, как озарилось в памяти ещё одно воспоминание: Оптина пустынь, 1980-й год, разрушенный монастырь. Школа механизации. Ночуем в скиту. Постелили нам на полу в доме, в котором был Достоевский, а до этого были в келье преподобного Амвросия, у которой стоял Толстой. Там жил мужичок, который из пребывания в келье святого извлекал для себя житейскую радость жизни.

— Парни, — говорил он, — я же вижу, что вы неспроста. В смысле, здесь появились. Вообще, парни, закуска у меня есть, а сбегать ещё кое за чем, это я в момент.

Выдали ему сумму. Пока он бегал, пошли к колодцу, умылись и напились. Такая тишина стояла. Валя, поглядев на вершины сосен, сказал:

— Вот взять и остаться. А? Нет, смелости не хватит.

ВЛАДИМИР ЮДИН

“НЕОБЪЯСНИМЫМ ЧУДОМ МЕНЯ ПОТЯНУЛО ПИСАТЬ...”

3 октября 1873 года в небольшом старинном городке Бежецке Тверской губернии, в небогатой купеческой семье Якова Дмитриевича и Екатерины Ивановны Шишковых родился сын Вячеслав – будущий выдающийся русский писатель. Здесь и в селе Шишково-Дуброво проходили его детские и юношеские годы. И потом, где бы ни бывал писатель, он непременно приезжал на свою малую родину, заходил в старый бревенчатый дом на тихой бежецкой улице, носящей теперь его имя.

Скромного, ничем, в общем-то, особенным себя не проявлявшего девятилетнего мальчика определили в Бежецкое городское училище, где он закончил учёбу с отличными оценками. “И вдруг, – признавался Вячеслав Яковлевич в автобиографии, – каким-то необъяснимым чудом меня потянуло писать. Первая работа – “Волчье логово” – повесть о разбойничьей жизни, вторая – описание крестьянских “посиделок” (бесед) с задорными плясками и песнями. С тех пор вплоть до самого зрелого возраста я литературой не занимался, и мне не приходило в голову, что я буду писателем”.

Окончив училище кондукторов путей сообщения в Вышнем Волочке и получив редкую в ту пору специальность техника по водным и шоссейным путям, В. Я. Шишков в 1894 году уезжает в Томск.

Двадцать лет своей жизни отдал Вячеслав Яковлевич подвижническому труду по исследованию сибирских рек и сухопутных дорог, совершая ежегодные экспедиции по Иртышу, Оби, Бии, Катуни, Енисею, Чулыму, Лене, Ангаре, Нижней Тунгуске, где едва не погиб, прошёл много вёрст по суровой сибирской тайге, Горному Алтаю. “Здесь родилось и стало крепнуть моё литературное дарование”, – скромно скажет он позднее.

...Поистине неистребима тяга русского человека к путешествиям, познанию сопредельных и дальних народов и государств, к поиску острых драматических впечатлений. Но Шишков не искал их – они сами находили его, послужив материалом для глубокого и живописного художественного осмысления российской жизни.

Началом своей литературной деятельности В. Я. Шишков считал 1912 год, когда в журнале “Заветы” появился остросюжетный рассказ из тунгусской жизни “Помолились”. С этого времени рассказы, повести, а затем и романы молодого одарённого автора стали регулярно печататься во многих журналах, выходить отдельными книгами.

Доброе, дружеское напутствие М. Горького и опубликование повести “Тайга” в редактируемом им журнале “Летопись” в 1916 году имели решающее

значение в дальнейшей судьбе В. Я. Шишкова. Под благотворным влиянием Горького и других русских писателей-классиков он обратился к профессиональному литературному творчеству и формировался как художник-реалист, традиционалист, народный писатель.

В 1926–1929 годах вышло в свет его первое собрание сочинений в издательстве "Земля и фабрика" в 12-ти томах, в 1931 году – повесть "Странники", о жизни беспризорных ребят; в 1933 году он закончил многолетнюю работу над романом "Угрюм-река", в котором нарисована широкая эпическая картина жизни дореволюционной Сибири.

С 1930 года и до конца своей жизни В. Я. Шишков работал над историческим романом-эпопеей "Емельян Пугачёв", первые две книги которого вышли в 1944 году, а весь роман был опубликован только после смерти писателя.

Великая Отечественная война не дала закончить эту грандиозную историческую эпопею, и Вячеслав Яковлевич устремился к актуальной военно-патриотической тематике. Как и многие его собратья по перу, Шишков активно работал в жанре публицистики, малых жанров, выступал на радио, в госпиталях. Жил он в это время в блокадном Ленинграде, об эвакуации не хотел и слышать. И только в апреле 1942 года по настоянию друзей он согласился, наконец, переехать в столицу. В этот период выходят в свет его рассказы "Прокормим", "Гость из Сибири", "Гордая фамилия" и другие.

Жизнь Вячеслава Яковлевича Шишкова оборвалась в марте 1945 года. До великой Победы он не дожил всего два месяца...

Писатель был награждён орденами Ленина и "Знак почёта", медалью "За оборону Ленинграда". За роман "Емельян Пугачёв" ему посмертно, в 1946 году присудили Сталинскую премию I степени.

Такова в общих чертах внешняя сторона жизни ярчайшего художника, певца России, русского народа, бесконечно и страстно влюблённого в своё Отечество.

Какими были его мировоззрение, нравственный и духовный облик, психология, какую эстетику он исповедовал и проповедовал? В этих и других вопросах надо ещё немало разбираться литературоведам и критикам, освобождая имя Шишкова и всю нашу литературу от десятилетиями копившихся вульгарно-социологических наслоений.

Вячеслав Яковлевич, по свидетельству современников, не принадлежал к числу льстивых угодников и любимцев партии и правительства, держался всегда гордо и независимо, хотя слыл человеком чрезвычайно мягким, добрым, отзывчивым, не любил засиживаться в "почётных президиумах" и быть "на виду", не был обласкан и чиновниками от литературы, что, естественно, создавало немало трудностей с опубликованием его творений. Напротив, горячо и страстно отстаивая русские национальные приоритеты в литературе, писатель нередко подвергался атакам злобных русоненавистников, хулителей традиционных ценностей отечественной культуры, занявших ключевые посты в подведомственном им агитпропе и стремившихся всецело подчинить искусство слова политическому заказу.

...Жизнь не стоит на месте. Время меняет и творческие направления, и методы, и художественные приёмы изображения в литературе и искусстве. Неизменным остаётся одно – одухотворяющая гуманистическая сущность и высокая морально-нравственная чистота русской литературы.

Сегодня, в связи с известными переменами в жизни общества и наших представлений о мире и человеке, ценностные эстетические ориентиры, культивируемые Шишковым и плеядой советских писателей, не утратили своей значимости, больше того – обрели чрезвычайную актуальность на фоне пошлости и безвкусицы, насаждаемых "масскультом", всевозможных формалистических изысков и откровенных антигуманных трюкачеств.

Весьма полезно и, думаю, поучительно современнику, особенно молодому, неискушённому, познать, к примеру, по рассказам и повестям Шишкова, каково было мурло зарождающегося, "свежего" капитализма в России на переломе XIX-XX веков ("Тайга", "Пейпус-озеро", "Угрюм-река" и др.).

В. Я. Шишков, по собственному признанию, вознамерился идти "вглубь", "ввысь, во все стороны", поставил перед собой цель показать неизбежность крушения Человека в человеке, обуреваемом жаждой неуёмного накопительства, живущем в мире, где правит бал золотой телец, нарисовать, как он писал Горькому, "жизнь в широком понимании этого слова", не столько

высветить “капитализма портрет родовой” (осознавая, что первое слово в литературе об этом принадлежит не ему), сколько предостеречь будущие поколения от тяжкой духовно-нравственной катастрофы.

Писатель предвосхитил грядущие, то есть сегодняшние, трагические потрясения России, вновь брошенной в бездну диких собственнических инстинктов, теряющей свой неповторимый нравственный лик и свою православную душу.

Вместе с тем творчество Шишкова не замыкается в социально-бытовой проблематике, драматизме классовых конфликтов, антагонизме противоборствующих общественных слоёв – оно шире, ёмче, глубже по мысли, философично по сути и пророчески устремлено в будущее России.

При этом важно подчеркнуть: вовсе не пресловутые “общечеловеческие” ценности влекли к себе писателя, а ценности, выработанные веками, отражающие специфику, характерные особенности народов, наций и этносов, населяющих великую Россию.

Шишков – художник истинно русский, питающий уважительные чувства ко всем народам. Вот почему остро необходимо науке глубоко осмыслить его взгляды на историю, культуру, национальные характеры.

Нынче в общественное сознание вновь, как на заре XX века, в пору всесокрушающей вандальной ломки в жизни и эстетике и пренебрежительного отношения к “изжившему себя” реализму, активно внедряется идеология космополитического нигилизма, выдаваемая за якобы “новое” слово в науке и искусстве. За точку отсчёта нередко берётся “методология” ниспровержения наших национальных святынь, выступающая под флагом некоего “обновлённого сознания”, “новаторского прочтения”, “переосмысления замшелых консервативных традиций” и прочих псевдоноваций.

Между тем никаким “обновлением” тут и не пахнет: так уже было в 1920-х годах, когда горячие невежественные головы, взбудораженные ажиотажем революционной “перестройки”, дискредитировали духовное наследие прошлого, рьяно низвергали с пьедестала гениальные имена и творения, глумливо предавали анафеме тысячелетние крестьянские и православно-христианские устои, выкинули вон бесценное наследие “классово чуждой” дворянской культуры, литературы и искусства русской эмиграции, оголтело ратуя за создание пресловутой “классово-чистой пролетарской культуры”.

“Неистовые ревнители” (выражение выдающегося исследователя русской литературы С. И. Шешукова), опьянённые дурманом кардинальных социальных и духовных преобразований “пламенные революционеры” ничтоже сумняшеся “сбросили с парохода современности” классиков, а Льва Толстого и Достоевского обвинили в “антиреволюционности”, религиозном мракобесии и мистике... Так уже было, было, было!.. И недурно бы нам, прислушавшись к объективному голосу Истории, поднабравшись векового поучительного опыта, извлечь полезные уроки, поставив жёсткий заслон всеразрушающему нигилизму и антинациональным выпадам.

Неостановимая ура-революционность “неистовых ревнителей” начала прошлого века, главным симптомом коей была крайне озлобленная русофобия, сменилась не менее рьяной, воинственной антиреволюционностью приверженцев либеральной “демократии”, захваченных столь же болезненным русоненавистническим синдромом, денно и нощно навязывающих нам так называемые “общечеловеческие ценности” в ущерб осознанию нами собственной этнической, исторической и культурной неповторимости.

“XX век по праву можно назвать веком наступления космополитизма, – пишет наш современник А. Т. Уваров. *– В качестве орудия разрушения избран либерализм, который понятийно можно определить как идеологию индивидуализма, проповедующего свободу человеческих инстинктов, открывающего простор для наступления агрессивного меньшинства на консервативное большинство. Реализация такой идеологии привела, особенно в конце века, к грубому наступлению на моральные ценности человеческой цивилизации, накопленные ею в ходе своего развития. Какие же мишени выбрал либерализм? Прежде всего, исторически сложившиеся общности, национальные культуры и сферу знаний и сознания человека”* (Уваров А. Т. Геостратегия для России. М., 1998. С. 36).

Какое же место в глубоком идеологическом расколе русской жизни занимал В. Я. Шишков?

Из прошлого ориентиром в политической и творческой жизни он не избрал конъюнктурно "выгодный", всесокрушающий нигилизм революционных демократов и их фанатичных последователей 1920-х годов, а просто разделил народную судьбу, так пронзительно звучавшую в произведениях русских классиков от А. С. Пушкина до М. А. Шолохова. Свою творческую задачу он видел не в политической борьбе и мелкотравчатой грызне окололитературных щелкопёров, не в показных диссидентских выступлениях против существующего строя, а в том, чтобы овладеть культурным богатством, завещанным нам предками, и достичь того высочайшего уровня творчества, которого они достигли, приведя в изумление весь мир.

Художественные творения Шишкова были строго ориентированы на постижение корневых проблем русской жизни, национальных традиций, на вековой опыт русского народа, его духовность, православную веру, культуру, этику и эстетику и уже потому вызывали ярость у пресловутых "интернационалистов", которые видели в литературе не тончайший "инструмент" познания души, а идеологическую дубину для "воспитания" масс в нужном политическом русле.

Не удивительно после этого, что оголтелые идеологические надсмотрщики приклеили В. Я. Шишкову и целому ряду беспартийных интеллигентов ярлык "попутчиков", якобы чуждых прогрессивным социальным преобразованиям.

Не потому ли и сегодня В. Я. Шишков "не вписывается" в поле научных интересов и пристрастий "демократической элиты", либо в упор не замечающей ни Шишкова, ни многих других русских писателей, либо подвергающей сомнению, перечёркивающей их подлинное художественное величие?..

Существует такой проверенный способ духовной "казни" неугодных творцов: не ругать их и не хвалить, а просто тупо замалчивать. Например, в учебниках по истории русской литературы XX века (под редакцией Ф. Кузнецова и В. Агеносова) В. Я. Шишкову уделено всего несколько строк, да и то в связи с разговором о так называемых "попутчиках". "Попутчик" он и есть "попутчик", что с него взять?..

В учебниках по литературе для учащихся средних общеобразовательных школ имя В. Я. Шишкова вы днём с огнём не найдёте, видимо, по той же вредоносной вульгарно-социологической методе – "чужих в свой стан не пущать!.."

Школьников лишили возможности познакомиться хотя бы обзорно с замечательными рассказами В. Я. Шишкова, не говоря уже о его крупных эпических романах. А ведь молодым читателям было бы крайне интересно и полезно познать героев творений этого писателя. В ряде своих рассказов и повестей – "Таёжный волк", "Алые сугробы", "Колдовской цветок", "Страшный кам", "Пурга" – Шишков ярко воссоздал характеры сильных, волевых, самобытных людей, в которых "видится не вымышленный, не идеализированный, а подлинный сибиряк, наделённый лучшими качествами: умом, смелостью, твёрдой волей, любовью к природе, к своей родине", – отмечал видный исследователь творчества Шишкова Николай Еселев.

Не только таинственная экзотика заповедных уголков Сибири прельщала писателя в повествованиях о Нижней Тунгуске, Чуйском тракте, Катуни, Иртыше, Енисее, Бии, Лене... Его живо волновала мятежная, неудержимо тянущаяся к добру и свету, непостижимая для инородцев "таинственная" русская душа...

К счастью, глубоко чтят память о своём писателе-земляке на его малой родине. В г. Бежецке много лет существует музей В. Я. Шишкова, в стенах которого ежегодно проводятся научно-творческие конференции, посвящённые его творчеству, с участием известных филологов, критиков, писателей, публицистов, студентов и школьников, деятелей культуры из многих регионов страны. Сотрудники музея провели огромную поисковую и научно-исследовательскую работу, позволившую раскрыть тайны многих творческих замыслов писателя, узнать немало новых фактов его биографии, что нашло отражение в широкой экспозиции музея.

"Думаю, что в недалёком будущем станут известны и другие, не менее интересные штрихи к литературному творчеству и биографии В. Шишкова. Но уже и сейчас абсолютно ясно: Вячеслав Шишков – яркая фигура отечественной культуры, подлинное достояние России", – подчеркнул С. Костыгов, заведующий Бежецким музеем.

Учащиеся школ г. Бежецка и района проводят конкурсы сочинений о творчестве знаменитого писателя, литературные утренники и концерты, на уроках

внеклассного чтения обсуждают его произведения. Именем В. Я. Шишкова названа улица, центральная библиотека города. 15 октября 1973 года имя писателя присвоено гимназии № 1 (ранее средняя школа № 1).

...20 августа 1950 года тысячи бежечан и гости города пришли в городской сад на встречу с любимым писателем: отныне, отлитый из бронзы, он остался на родной земле. Ежегодно 3 октября, в день рождения Вячеслава Яковлевича гимназисты идут к памятнику писателю, проводят торжественный митинг, читают стихи, возлагают цветы, ухаживают за могилой его родителей.

Именно такая работа позволяет педагогам и учащимся сохранять добрые традиции, чтобы не прервалась связующая нить времён, сохранилось чувство гордости за свою малую родину.

Шишков проехал, проплыл, прошёл пешком сотни и сотни километров, промерил и зарисовал на специальных картах Енисей, Иртыш, Обь, Лену, Бию, Катунь, Чулым, Ангару и Нижнюю Тунгуску. По его проекту, составленному в дореволюционные годы, в советское время перестроен Чуйский тракт от города Бийска до границ Монголии. На 118-м километре тракта установлен памятник В. Я. Шишкову работы барнаульского скульптора П. Л. Миронова.

Участвуя в экспедициях, Вячеслав Яковлевич долгое время жил и работал среди простых людей. От них он познал своеобразие разных судеб и характеров, жизнь и суровый быт сибиряков, местных народностей, полюбил их сочный и образный язык.

А какой великий поучительный смысл, весьма актуальный для нашего смутного времени, заложен в романе “Емельян Пугачёв”! Не доводите, господа хорошие, русский народ до возмущения, не испытывайте его могучего, но не беспредельного терпения. Русские долго запрягают, да быстро ездят. Не нами сказано: “Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!” Так в традициях великого Пушкина Шишков закладывает в концепцию исторического повествования глубокий пророческий смысл.

И сегодня В. Я. Шишков является нашим трепетным современником, поотечески предостерегающим потомков от грозящих им бед.

НАТАЛЬЯ ШУБНИКОВА-ГУСЕВА
доктор филологических наук,
главный научный сотрудник ИМЛИ РАН

МЕЖДУ “ВСЕЛЕННОЙ” И “АФОНИНЫМ ПЕРЕКРЁСТКОМ”

К выходу в свет “Есенинской энциклопедии”

Главным научным событием юбилейного есенинского года стал первый выпуск “Есенинской энциклопедии” – “Памятные места. Литературная география”, подготовленный к изданию в Институте мировой литературы имени М. Горького Российской академии наук (ИМЛИ РАН) к 125-летию со дня рождения поэта при финансовой поддержке Правительства Рязанской области. Этот труд объединяет 353 статьи о 445 реальных и литературных топонимах, то есть о тех географических местах, в которых поэт жил или бывал проездом и отразил в своём творчестве: от литературно-философского топонима “Вселенная” – безграничного пространства, объединяющего представление Есенина о “храме вселенной”, “царстве космических тайн”, земле и мироздании, о назначении человека – до затерявшегося в окрестностях Константинова и увековеченного поэтом в повести “Яр” Афонина перекрёстка.

Немного из истории создания этого труда. Большая “Есенинская энциклопедия” (далее ЕЭ) – полный свод данных о жизни и творчестве С. А. Есенина, его литературном и бытовом окружении, о русских и зарубежных писателях, традиции которых актуальны для его поэтики, об истории его наследия в искусстве, воздвигнутых ему памятниках и посвящённых ему музеях – была задумана почти тридцать лет назад как часть научной программы “Есенин академический”, включающей Полное собрание сочинений С. А. Есенина и Летопись жизни и творчества С. А. Есенина. Однако оказалось, что пока не завершена подготовка Собрания сочинений и Летописи, о ЕЭ думать рано. Существенных усилий требовали изучение связи Есенина с мировой культурой, переводов и изучения творчества поэта в культуре народов России и зарубежья и других белых пятен его творческого наследия. Параллельно с работой над последними томами Летописи на ежегодных Международных конференциях и в печати обсуждалась концепция и структура будущего труда, был разработан Словник и выпущены методические материалы для её авторов. Но непосредственная работа над ЕЭ началась только после издания последнего тома Летописи жизни и творчества С. А. Есенина в 2019 году.

Учитывая реальную сложность работы над энциклопедией (“Лермонтовская энциклопедия” готовилась коллективом из 200 авторов, среди которых были известные лермонтоведы, в течение 20 лет), было решено к 125-летию Есенина выпустить первый выпуск “Памятные места. Литературная география”.

Выбор темы обусловлен тем, что она непосредственно связана с биографией и творчеством поэта, с памятью о нём в России и мире. Кроме того, первый выпуск ЕЭ тематически связан с Путеводителями по Государственному музею-заповеднику С. А. Есенина, по отделу Государственного музея-заповедника С. А. Есенина в городе Спас-Клепики и с Всемирными картами есенинских мест: Европейский и Американский вектор, изданными в Константинове и Рязани в 2019-м и 2020 годах.

Такой труд представлен впервые и не имеет аналогов, поэтому особое внимание уделено содержанию и структуре вошедших в него статей. По своему характеру статьи тома "Памятные места. Литературная география" подразделяются на три группы: биографические, собственно литературные и комплексные. Биографические статьи посвящены географическим пунктам, связанным с жизнью поэта. Это статьи обо всех частях света, странах, городах и других населённых пунктах, реках, озёрах, морях, океанах, горах и др., которые видел и посетил поэт или бывал там проездом, в том числе города Бостон (США), Брюссель (Бельгия), Бузулук, Вологда, Гатчина, Гданьск (Польша), Дивово, Ессентуки, Ковно, Конотоп, Мцхета (Грузия), Страсбург (Франция), Падуя (Италия), Ялта и многие другие. За свою недолгую жизнь Есенин проехал по многим городам России, объездил страны Европы и северные штаты Америки.

Статьи вводятся в ЕЭ под современным Есенину географическим названием, вслед за которым указывается наименование, соответствующее нынешнему (ныне...), краткая характеристика административно-территориальной принадлежности, губернии и области (в есенинское время и ныне) и географического положения. Все остальные сведения об этом памятном месте (в том числе железнодорожное сообщение, население, история, достопримечательности) вводятся только в связи с Есениным при появлении того или иного сюжета, связанного с ним (ехал по железной дороге, на пароме, посещал какой-либо музей, здание, кафе и т. д.).

Биографических статей о местах, не упомянутых в произведениях Есенина, относительно немного. Но парадоксально, что к этим статьям относятся родные Есенину места – село Константиново и река Ока. Можно сказать, что эти места струят поэту "несказанный свет", как и его любовь к матери. Статья о селе Константиново – родине поэта, занимает в томе исключительное место. Она выписана детально, с привлечением богатой и славной истории. Автор статьи Н. М. Солобай отмечает, что родное село не упоминается, но "зримо присутствует во многих поэтических и прозаических произведениях поэта: "тихая река" с чередой правобережных приокских сёл, составляющих "тропу деревень", своеобразный береговой ландшафт с грядой крутых холмов, равнины, где "не видать конца и края – // Только синь сосёт глаза" (*"Гой ты, Русь, моя родная..."*; 1914)". Образ Константинова и его окрестности поэт запечатлел в повести "Яр" (1915) и поэме "Анна Снегина" (1925). Образ Оки также лишь угадывается во многих произведениях Есенина разных лет в обращении к родному любимому краю: "...сердцу снятся // Скирды солнца в водах лонных" ("*Край любимый! Сердцу снятся...*"; 1914); "Люблю разлив // Стремительным потоком, <...> // Такой простор, // Что не окинешь оком" ("*Ответ*"; 1924) и мн. др.

Читатели энциклопедии узнают немало нового и интересного не только о родине поэта, но и о железнодорожных станциях Бердичев, Евпатория, Жмеринка, Здолбунов, Клевань, Кривин, Курск, Новоселицы, Окница, Ровно и др. Во время остановок Полевого Царскосельского Военно-санитарного поезда № 143 Её Величества (поезда № 143) Есенин, проходивший воинскую службу в Царском Селе в качестве санитара вагона № 6, совершил две поездки к линии Юго-Западного фронта 27 апреля – 16 мая 1916 года и 28 мая – 13 июня 1916 года, участвовал в выгрузке и приёме раненых офицеров и нижних чинов (автор А. А. Николаева). Все остановки в статьях датированы по материалам Российского государственного исторического архива (Санкт-Петербург).

КЛЕВАНЬ, местечко в Ровенском уезде Волынской губернии (ныне – посёлок в Ровенской области, Республика *Украина*) с ж.-д. станцией. Е. в составе команды санитаров *Поезда 143* проследует *К.* с остановкой 10 мая 1916 и примет участие в приёме раненых и больных (1 офицер, 125 нижних чинов).

Лит.: Юсов, Шабунин, 26-27; Летопись, ук.

Во второй половине мая 1916 года Есенин подвергается операции в связи с приступом аппендицита. Во время служебных поездок продолжает писать. На пути к Конотопу набело переписывает поэму “Русь” (1914).

Новые подробности узнают читатели и о зарубежной поездке Есенина с Айседорой Дункан в 1922-1923 годах. Наиболее насыщена событиями и фактами статья о Берлине (нем. Berlin), столице и крупнейшем городе Германии, в начале 1920-х – центре русской эмиграции, “Русском Берлине”. Есенин едет в Берлин по издательским делам. Прибыв 11 мая 1922 года в 8 часов утра и устроившись в любимом отеле Айседоры, гостинице “Адлон” в самом центре города около Бранденбургских ворот (Adlon, Unter-den-Linden, 1; здание не сохранилось; новое в эксплуатации с 1997 года), уже около 12 часов дня Есенин приходит в один из банков, где встречается с писателем Глебом Алексеевым и затем беседует с ним во время прогулки по Берлину. В 1 час дня вместе с Дункан они посещают редакцию газеты “Накануне” (ул. Бойтштрассе, 8; Beuthstraße, 8; здание сохранилось), беседует с сотрудниками газеты и оставляет для публикации стихотворение “Всё живое особой метой...” (1922, впервые опубликовано в “Накануне” 12 мая 1922 года) и “Не жалею, не зову, не плачу...” (1921, опубликовано в “Накануне” 14 мая 1922 (лит. приложение № 3). В этот же день вместе с Дункан и А. Кусиковым посещает “Книжный салон” Русского универсального издательства (РУИ; Мартин-Лютерштрассе, 96; Martin-Luther-Straße, 96; здание не сохранилось), беседует с главой РУИ Г. Б. Забежинским, в частности, о поэме “Пугачёв”. Вскоре РУИ приобретает право на издание поэмы и издаёт её отдельной книгой. Наконец, поздно вечером Есенин выступает в Доме искусств (Nollendorfplatz, Bülowstraße, 1; ныне на месте этого здания жилой дом) – одном из наиболее известных мест Русского Берлина. В тот вечер состоялось первое известное публичное авторское чтение отрывков из поэмы “Страна негодяев” и стихотворения “Всё живое особой метой...” Это событие (с пением “Интернационала”) имело огромный резонанс. В Доме искусств Есенин видится с Эренбургом, который на одной из встреч даёт поэту брюссельский адрес своего друга, бельгийского писателя Ф. Элленса, который подготовит первую книгу переводов есенинских произведений на французский язык. Есенин встретится с Элленсом не в Париже, как считалось ранее, а в Брюсселе, куда приедет, чтобы получить согласие переводчика и оплатить аванс. Подготовка переводов продолжится в Париже в особняке Дункан на улице Помп, 109 (ныне 99).

Существенной составляющей биографических статей являются сведения о том, как отмечена память поэта: памятные мероприятия и мемориализация данного места (музеи, памятные доски, улицы и т. д.). Одним из примеров может служить отрывок из статьи о Ташкенте (автор М. В. Скороходов), вошедшей в книгу:

“В 1926 в *Т.* прошли вечера памяти Е. с чтением докладов, стихов поэта и посв. ему пр-ний: 10 янв. – в Доме работников просвещения (Правда Востока. 1926. 13 янв.), 29 янв. – в партийном клубе *Т* (организаторы – Ташкентская ассоциация пролетарских писателей и лит. кружок партклуба; Правда Востока. 1926. 5 февр.).

В *Т.* жила со времени эвакуации в 1941 <и> до смерти в 1992 дочь Е. *Т. С. Есенина*. В *Т.* работает музей Е., с 1981 – общественный, с 1988 – гос. (возобновление работы после длительной реконструкции – 1999; ныне – *Музей Сергея Есенина* Министерства культуры Республики Узбекистан; туп. Л. Толстого, 20). С 1992 музей издавал газ. “Мир Есенина”. В 2000–2011 под грифом Рус. культурного центра Республики Узбекистан и Есенинского об-ва “Радуница” в *Т.* выходил информационный бюллетень “Мир Есенина” (вып. 1–11; сост. С. И. Зинин и А. В. Маркевич)”.

Собственно литературные статьи, посвящённые образам, воплощённым в творческом наследии Есенина (произведениях, автобиографиях, письмах и др., связаны с идейно-художественным содержанием и поэтикой конкретного произведения. Назначение таких статей состоит в том, чтобы раскрыть смысл и функции литературного топонима в произведении, его источники, семантику, восприятие современниками и исследователями, а также литературные параллели и контекст. Литературные топонимы могут быть реальными и вымышленными, созданными автором. Реальные топонимы создают фон для развития сюжета, помогают очертить контуры художественного простран-

ства, изображённого в произведении, и способствуют реализации композиции. Примерами могут служить Амстердам, Белебей, Богульма, Вятка, Калифорния, Константинополь, Ляоян, Монголия, Нерчинск и др.

Географическое пространство в творчестве Есенина может быть представлено названиями реальных топонимов, часть которых уже не существует: Матово, Село, Белоборка, Кукариха и др. В основном это касается ландшафта родины поэта, приметы которой наиболее подробно, любовно и тщательно выписаны в повести Есенина "Яр" (автор Е. А. Самоделова).

"БЕЛОБОРКА, луг в Рязанском уезде и губ. (ныне – в Рыбновском р-не Рязанской обл.). Упоминается в повести Е. *"Яр"* (1915).

Б. расположена неподалеку от *Константинова* и хутора *Яр*. Название отражает характерную для этих мест систему распределения земель сельскохозяйственного назначения между крестьянами. <...> По восп. сестры поэта *А. А. Есениной*, "участки отводились по жребию" и имели свои названия – Белоборка, Журавка, Долгое, Первая Пожень <...> (Есенина, 64). Сколько "душевной щедрости, народной поэзии сполна отмерено в бытовавших названиях, особенно названиях константиновских лугов и покосов: "Белоборка", "Первая пожень", "Студёнка", "Кукариха" (Панфилов, 1, 31). В житейские разговоры героев повести на покосе вплетены местные топонимы, учитываются особенности распределения земельных угодий в Константинове – напр., в диалоге Ваньчка с Каревым: "На сколько душ косите-то? <...> Да тут, кажется, Белоборку наша выть купила" (5, 84).

Лит.: *Есенина А. А.* Родное и близкое // Восп., 55–125; Панфилов, 1; Самоделова-1998, 73-74; *Самоделова Е. А.* Об особенностях Есенинской топонимики // Новое о Есенине (2002), 93; Самоделова-2020".

Характерными для творчества Есенина являются топонимы Россия и Русь, подчёркивающие историческую славу и многовековые традиции родины поэта, а также "Русь уходящая", "Русь бесприютная" и "Русь советская". По этой модели образован и условный топоним Есенинская Русь, обозначающий достопамятное место, которому посвящена в томе специальная статья, написанная М. В. Скороходовым. Особое значение имеют так называемые библейские топонимы, раскрывающие сложные религиозно-философские искания Есенина: Голгофа, Елеон, Новый Назарет, Иордань, Сион, Содом, Фавор и др.

"СИОН, юго-зап. гора в Иерусалиме. Неоднократно упоминается в Библии: "У пророков имя С.<ион> часто означает царство Божие во всей его полноте, на земле и на небе, до окончательного совершения всего в вечности" (Сион, 154). У Е. упоминается в "песне с гор", завершающей *"Инонию"* (1918): "Радуйся, Сионе, // Проливай свой свет! // Новый в небосклоне // Вызрел Назарет" (2, 68). Обращение к *С.* представляет собой начало стихиры на "Господи воззвах", поёмой на 8-й глас субботнего богослужения малой вечерни (Субботин, 366). В худож.-филос. отношении это радостное обращение (как и сама "песня") должно нивелировать резкость богоборческой интонации поэмы и утвердить торжество "нового" *Назарета* (см. также *Елеон* и *Фавор*).

Лит.: Сион // Энциклопедический словарь / Под ред. проф. И. Е. Андреевского. СПб: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, 1890–1907. Т. 30. 1900; *Субботин С. И.* Комм. // ПСС, 2, 255–461".

В статьях о литературных топонимах важную роль приобретает литературный контекст. В другой статье этих же авторов "Голгофа" – "небольшая скала или холм, где, согласно Священному Писанию, был распят Иисус Христос; ныне на этом месте храм Гроба Господня в Иерусалиме" – отмечено, что религиозно-философское содержание топонима определяется "прежде всего, "христианской религиозной и культурной традицией: изобразительный сюжет распятия Христа был у Есенина на глазах с раннего детства (он жил в доме деда Ф. А. Титова, где "десять икон было в два ряда во весь угол"; сопровождал бабушку Н. Е. Титову в паломничестве в близлежащие монастыри (7 (1), 14) с посещением храмов: Летопись, 1, 84, 87); позднее в Константиновском четырёхгодичном земском народном училище и Спас-Клепиковской второклассной учительской школе изучал Закон Божий (Скороходов-2014)".

Как традиционный христ. образ, *Г.* широко представлена в рус. поэзии XIX–XX вв.: см. у *А. Н. Апухтина* ("И в прахе идолы, а в храмах Бога сил //

Сияет на кресте голгофский Искупитель!" – стих. "Голгофа"), *Д. С. Мережковского* ("На Голгофе, Матерь Божья, // Ты стояла у подножья..." – стих. "Stabat mater"), *К. Д. Бальмонта* ("Голгоф-Гора – страдание, // Стоокое, всезрячее"; стих. "А что вверху?"), *К. М. Фофанова* (поэма "После Голгофы"), *А. А. Блока* (см., напр., стих. "Когда в листве сырой и ржавой...") и мн. др.

Третью группу первого выпуска ЕЭ составляют комплексные статьи о реальных и литературных топонимах, которые так или иначе отразились и в биографии, и в произведениях поэта (Азербайджан, Азия, Батум, Брюссель, Волга, Днепр, Дон, Москва, Петроград, Рязань, Коломна, и др.); сюда же относятся статьи о Николо-Радовицком и Иоанно-Богословском общежительном мужском и др. монастырях, в которые Есенин ходил с бабушкой Н. Е. Титовой на богомолье (авторы Н. Н. Бабицына и Е. А. Самоделова). Эти статьи построены с учётом особенностей статей о реальных и о литературных топонимах.

К комплексным статьям относится, например, "Мтацминда" (автор Т. К. Савченко), которую мы можем привести целиком ввиду её небольшого объёма.

"МТАЦМИНДА (груз. მთაწმინდა – Святая гора), гора в *Тифлисе* (Тбилиси), часть Триалетского хребта; известна также как Давидовская (или Давидова) гора. Расположена на правом берегу р. *Куры* в центре города. Воспетая в грузинском фольклоре, *М.* доминирует над окружающими возвышенностями и является своеобразным символом столицы *Грузии*. Место захоронения выдающихся деятелей груз. науки, искусства и лит-ры – Пантеон (офиц. назв. с 1929; расположен вокруг церкви Св. Давида (XIX в.), построенной на месте жизни подвижника VI в.).

Во время пребывания в Тифлисе 9–13 сент. 1924 Е. поднимался на *М.* с группой груз. поэтов, чтобы поклониться могиле *А. С. Грибоедова*. Н. П. Стор передаёт благоговение Е., к-рый "впился руками в решётку, <...> медленно опустился на колени" и "положил хризантемы" к могиле великого русского поэта, и продолжает: "Через несколько дней после восхождения на Давидовскую гору, во время ужина в ресторане "Химерион", Есенин прочел только что написанное им стихотворение "На Кавказе" (Стор, 22-23). Там *М.* упоминается через описательный оборот ("И Грибоедов здесь зарыт, // Как наша дань персидской хмари, // В подножии большой горы // Он спит под плач зурны и тари" (2, 108). В одной строфе Е. передаёт и трагедию гибели поэта-дипломата в *Персии,* и описывает место его последнего упокоения.

Лит.: *Вержбицкий Н. К.* Есенин в Тифлисе // Воспоминания о Сергее Есенине. М.: Моск. рабочий, 1965. С. 393–403; *Стор Н. П.* Тифлисская осень // Огонёк. 1975. № 40. С. 22-23; *Вержбицкий Н. К.* Встречи с Есениным // Восп., 2, 208–231; ПСС, ук.; Летопись, ук."

При помощи соподчинённости макро- и микротопонимов и системы отсылок, принятых в энциклопедических статьях, отражается индивидуальный географический ландшафт Есенина и система географических образов, воплощённых в его произведениях, которые объединяют земное и небесное пространство в единый художественный мир, мир, который принимает масштабы Вселенной и сохраняет приметы не только разных частей света, стран, городов, сёл, рек, морей и океанов, но и дорогие приметы родной земли вплоть до Афонина перекрёстка, местожительства мельника Афанасия Афанасьевича, в повести "Яр" – Афонюшки, дорогой образ которого отзовётся в последней большой поэме Есенина "Анна Снегина" (1925).

В будущем статьи о реальных и литературных топонимах в сжатом виде могут стать составной частью статей о биографии и произведениях поэта, поэтому не должны содержать анализа конкретных произведений, а лишь дополнять его и связывать с литературным контекстом. Все статьи содержат подробный список литературы по каждому из топонимов. Имеются списки условных сокращений в тексте и условных сокращений источников, а также указатели топонимов, имён и произведений, упомянутых в тексте.

Презентация и обсуждение проблем подготовки научных материалов для "Есенинской энциклопедии" состоялись на научных и культурных мероприятиях, которые прошли в нашей стране и за рубежом к 125-летию со дня рождения

С. А. Есенина. 4 февраля 2020 года Российский центр науки и культуры (РЦНК) и ИМЛИ РАН в рамках XI Дней русской книги и русскоязычной литературы и Русских сезонов во Франции организовали юбилейный вечер с презентацией готовящегося к выходу в свет первого выпуска “Есенинской энциклопедии”. Состоялся Круглый стол с участием есениноведов из России и Франции и выставка редких архивных документов, книг и фотографий. Н. И. Шубникова-Гусева рассказала о памятных местах Есенина в Париже, Страсбурге, Версале, где бывал Есенин (статьи об этих городах вошли в ЕЭ); Захар Прилепин, писатель и журналист – о своей новой книге о Есенине из серии ЖЗЛ, вышедшей в конце прошлого года; Мишель Никё, известный славист и есениновед, доктор Каннского университета и заслуженный профессор Университета Лозанны, – о первых переводах Есенина на французский язык в 1920-е годы. Исполнялись романсы на слова Есенина.

16–19 сентября в ИМЛИ совместно с Рязанским государственным университетом имени С. А. Есенина (РГУ) и Государственным музеем-заповедником С. А. Есенина (ГМЗЕ) в Константинове состоялся Международный научный симпозиум “Сергей Есенин в XXI веке”, в котором приняли участие около 150 исследователей из разных регионов России и зарубежных стран: Австрии, Великобритании, Франции, Италии, Индии, Китая, Колумбии, Сирии, Белоруссии.

В работе симпозиума приняли участие директор ИМЛИ, чл.-корр. РАН В. В. Полонский, министр культуры и туризма Рязанской области В. Ю. Попов, зав. отделом новейшей русской литературы и литературы зарубежья, чл.-корр. РАН, Н. В. Корниенко и председатель Есенинского комитета Союза писателей России И. Ю. Голубничий. Зал тепло приветствовал профессора Бристольского университета, автора научной биографии Есенина, не потерявшей значения до наших дней, известного английского учёного, проф. Гордона Маквея, который несколько лет назад передал свой большой уникальный архив рукописей и материалов С. А. Есенина и А. П. Чехова в Константиново. Прошло семь пленарных заседаний и три секции.

В рамках симпозиума состоялся Круглый стол, посвящённый 100-летию со дня рождения основателя академических есенинских проектов, главного редактора Полного собрания сочинений С. А. Есенина, заслуженного работника культуры и почётного гражданина Рязани Юрия Львовича Прокушева. Среди выступающих – научный руководитель ИМЛИ РАН, академик РАН В. В. Куделин, директор ГМЗЕ Б. И. Иогансон, руководитель Отдела новейшей русской литературы и русского зарубежья Н. В. Корниенко, О. В. Воронова, В. Н. Терёхина, С. А. Серёгина, С. И. Субботин, О. А. Прокушева и мн. др.

На заседании Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 125-летия со дня рождения С. А. Есенина, проходившего 2 октября 2020 года в Рязани накануне юбилея, директор ИМЛИ, член-корреспондент РАН В. В. Полонский сделал доклад “О подготовке научных материалов для издания “Есенинской энциклопедии”, в котором обозначил темы следующих выпусков: “Современники Есенина” и “Есенин и русская литература от “Слова о полку Игореве” до “Во весь голос” Маяковского”. Губернатор Рязанской области Н. В. Любимов наградил В. В. Полонского Знаком Губернатора Рязанской области “125 лет со дня рождения Сергея Есенина”.

ВАЛЕНТИНА СЕМЁНОВА

ДУХ ПОБЕДЫ, ЦЕНА ПОБЕДЫ

Великая Отечественная война определила целое направление в литературе советского периода. Это, естественно, находило отражение в критике, отзывавшейся на наиболее заметные публикации, которые появлялись сначала в "толстых" литературных журналах, а потом и в столичных и региональных издательствах.

Имя Надежды Степановны Тендитник (1922–2003) известно российским литературоведам с 1970-х годов. Её исследования творчества выдающихся земляков и бывших её студентов Александра Вампилова и Валентина Распутина занимают достойное место. Писала она и на другие темы. Будучи преподавателем филфака Иркутского госуниверситета, разрабатывала курс современной литературы и сделала основательный обзор главных направлений отечественной прозы 1950–1980 годов в очерке под названием "Школа истории"*. В нём есть страницы, посвящённые лучшим произведениям о войне.

К этим страницам стоит обратиться и сегодня, потому что, во-первых, это образец анализа высокого уровня, а во-вторых, они отражают линию осмысления военной прозы, что возобладала в критике к концу советского периода.

Характерная черта Тендитник, представительницы реалистического направления, – следовать за создателем произведения, сопоставляя его взгляд на события войны с жизнью и расставляя временны*е* акценты. Тем более что это была и её жизнь: тяготы войны она переживала в тыловом голодном Иркутске, отдававшем все силы фронту.

* * *

Если обозначить путь литературы о войне коротко, то это был путь от замалчивания трагических первых месяцев 1941 года к погружению в правду о всенародном подвиге, достигнутом ценой огромных жертв.

Стоит напомнить, что такой курс был задан Л. Н. Толстым в романе "Война и мир" – убеждённостью, что "писать войну как естественное состояние общества, как историю подвигов и побед – преступно, аморально". Толстого не приводило в восторг восхваление побед Петра I и Суворова, как и признание Ломоносова в "Разговоре с Анакреоном", где он "отвергает лирику сердца, чтобы "издать геройский шум". Н. С. Тендитник пишет, что "роман "Война

---

* Тендитник Н. С. Школа истории // Тендитник Н. С. Энергия писательского сердца. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1988. 352 с. С. 3–173. Там, где упомянут этот очерк, указаны только страницы.

и мир" был революцией в искусстве отражения эпохальных событий и остался на высоте и в наши дни", вместе с другими произведениями Толстого о войне как "пример нравственного отношения к предмету".

Однако "геройский шум" прошлых веков оказался востребован в начале Великой Отечественной, чтобы поднять дух армии и народа. И тогда обратились к образам великих полководцев Димитрия Донского и Александра Невского, Суворова и Кутузова. Показательно, что военный труд А. В. Суворова "Наука побеждать" пригодился и в новую лихую годину – спустя полтора века после его создания! У Суворова можно было взять многое не только в боевых делах, но и в бережном отношении к солдату, его воспитании, организации его быта*.

Героическая победная нота, свойственная XVIII–XIX векам, в XX веке уступила место другой – главным героем литературы о войне, вполне по Л. Н. Толстому, стала правда.

Тендитник высоко оценила трилогию К. Симонова "Живые и мёртвые", после которой, по её словам, "стало труднее (или невозможно) писать неправду...", согласилась с позицией журнала "Новый мир", взявшего в 60-е под защиту К. Симонова, Г. Бакланова, Ю. Бондарева, В. Богомолова, В. Быкова, К. Воробьёва (критик Л. Лазарев), и не поддержала упрёков журнала "Октябрь" "в чрезмерном внимании писателей к "окопной" правде и "забвении" "правды великой войны" (критик И. Кузьмичёв).

Наблюдая дальнейшее развитие военного направления в литературе, Тендитник прослеживает, как от масштабного изображения событий шло обращение к "малому плацдарму" войны "с явным и обострённым вниманием к судьбе человеческой". Рассматривая повести В. Быкова ("Атака с ходу", 1968, "Круглянский мост", 1969, "Его батальон", "Сотников", 1970), она видит в них "соединение углублённого самоанализа героя с картинами высоких и значительных обобщений".

Повесть В. Астафьева "Пастух и пастушка", написанную в 1967–1971-х годах, критик выделяет как "новый эпос, поражающий смелостью кисти и глубоко национальным колоритом", "пример нового типа художественного освоения действительности", как "совершенное по строгости и гармоничности формы произведение", в котором писатель "показал, как легко убить на войне самое хрупкое – душу человека" и т. д.

Достижением военной прозы 70-х годов критик считает тягу к документализму в романах В. Сёмина "Нагрудный знак ОСТ" (1976), "Плотина", повести А. Адамовича "Каратели", "Блокадной книге" Д. Гранина и А. Адамовича. Опыт работы в этом жанре В. Богомолова – роман "Момент истины" ("В августе сорок четвёртого", 1973) Тендитник называет уникальным *(с. 54, 61)*.

Роман "Плотина" привлёк автора "Школы истории" описанием состояния бывших русских пленных, задержанных в Германии: "Это и победа, и отсутствие этого чувства у бывших пленных... когда рухнул фашистский орднунг и ему на смену явился новый порядок, внесённый в зону американскими войсками..." И вот деталь, имеющая отношение к нашим дням: "Анатомируя механизмы предательства, самозащиты человека, В. Сёмин пророчески воспроизводит облик будущего, в котором янки видят себя хозяевами мира".

Не прошла Тендитник и мимо темы предательства в "Карателях" А. Адамовича. "Разве не загадка, – пишет она, – поведение карателей из России, Белоруссии, Украины? На путь предательства они встали в годы, когда никто уже не сомневался: Германия побеждена. Большинство отступников находилось в возрасте 19–25 лет. У них всё было в будущем. Но оказывается, голос здравого смысла легко заглушается духовным капитулянтством, оказывается слабее сиюминутной выгоды и эгоистического расчёта".

Эту загадку нам предстояло разгадывать много лет. К теме предательства мы ещё вернёмся, а пока следует напомнить о нравственных задачах, которые решала военная проза: неприятие бюрократизма, казёнщины, карьеризма на фронте, пришедших из мирной жизни; морального разложения в армии, где не было угрозы прямой гибели (например, в повести известного сибирского прозаика Д. Сергеева "Позади фронта", 1976) – всё это укладывалось в понятие "цены победы" как основного, передающего сущность войны.

---

* См. об этом: А. В. Суворов // Русские мемуары. М.: Правда, 1988. С. 19–72.

Не оставлен без внимания и такой момент: литература о войне вбирала в себя круг тем, прямого отношения к войне не имеющих, но вызревших в общественном сознании. “Литература о войне... вплотную приблизилась к всестороннему охвату идей современных”, – писала Тендитник *(с. 64)*. И это было именно так. “Мысль народная”, унаследованная от Льва Толстого, органично вписывалась в военную прозу, она звучала в голосах героев из народа, созданных писателями, также вышедшими из народа. И неудивительно, что неостывшая история раскулачивания заговорила о себе в таких, например, повестях, как “Знак беды” В. Быкова и “Раны” А. Зверева. Как и то, что военная проза легко сливалась с деревенской.

Так расширялись границы военной прозы, происходило насыщение её мотивами исторической памяти, философскими раздумьями о судьбах людских и войнах, несущих гибель и страдание. Совершалось преображение литературы военной в литературу антивоенную.

Этим русская литература отличалась от литератур других стран. Как известно, там главной темой была судьба потерянного поколения, когда человек, привыкший разрушать и убивать, не вписывался в мирную жизнь и терпел личную катастрофу. У нас подобное могло случиться с людьми, побывавшими в “горячих точках”. Если говорить о послевоенных лишениях, то они достались тем, кто побывал в плену или получил в битве тяжёлое увечье. Для фронтовиков же, имевших достаточно сил, открылся новый фронт по восстановлению страны, их востребованность была колоссальной.

Великая литература о великой войне исследовала тему на высоком духовном уровне. И это было важно не только для нашей страны, но и для всего мира. Можно сказать и по-другому: как страна выстрадала победу, так литература выстрадала военную тему, пройдя тернистый путь художественного осмысления исторических событий и человеческих судеб.

Усталость военных и послевоенных лет не могла не сказаться на энергии нации. Несмотря на трудовые подвиги в возведении производственных гигантов, строительстве новых городов в Сибири, произошло постепенное выветривание победного духа в стране, одолевшей сильного и жестокого врага.

* * *

Появление повести “Живи и помни” В. Распутина (1975) сразу же вызвало споры. Одни считали, что дезертир не может стоять в центре истории военных лет, другие на встречах с автором задавали вопрос: так ли уж виноват Андрей Гуськов? Если бы после госпиталя ему дали отпуск, на который он имел право, и если бы дом не оказался рядом, он бы не совершил побега.

Валентин Григорьевич всегда вполне однозначно отвечал, что Гуськов – не жертва, червоточина имелась в нём самом и что в военное время нельзя отделять себя от народа. В письме Алексею Звереву по поводу рассказа о пылкой любви, преодолевшей всё, в том числе и дезертирство, Распутин упрекает автора за симпатию к герою и героине: “Я не могу принять рассказ по его позиции, – пишет он. – Любовь, которая преодолевает, лучше сказать, бежит от фронта, от войны, наверное, всё-таки преступная любовь, какой бы горячей она ни была”*.

Можно привести и ещё одно любопытное свидетельство – о диспуте в Ангарске в 1976 году, где в литературном клубе “Свеча” обсуждалась повесть “Живи и помни”. Об этом рассказывает в своей книге “Кубик Рубика” организатор клуба Инна Фруг, врач и литератор: “Хотя диспут был интересным, долгим, горячим – ни к чему не привёл. В том смысле, что автор, сжав губы, устремив куда-то вдаль свои чёрные жгучие глаза, стоял на своём: Андрей плохой, очень плохой, и не зря чуть ли не превращается в животное...”**

В этой книге о диспуте подробно описан спор одной из читательниц с автором, его трактовкой образа дезертира Гуськова, чего мы не наблюдаем сегодня. Сегодня спор идёт между критиками в толковании текста, зачастую

---

* Цит. по: Тендитник Н. Ответственность таланта // Тендитник Н. С. Мастера. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1981. С. 79 (из архива А. В. Зверева).

** Фруг И. Л. Кубик Рубика : Иркутск, 2005. С. 98–104.

без учёта не просто мнения писателя и его мировоззрения, но и, что самое главное, без учёта характера героя, логики его развития, заложенной писателем изначально. Вместо несогласия с автором возникает несогласие якобы с прочтением текста, что уводит спор совсем в другую плоскость. Всякий имеет право не согласиться с автором в изображении героя или события. Надо только сказать об этом прямо и не забывать, что всякий имеет право также и согласиться с автором! А не пытаться через "более правильное прочтение" переиначивать смысл произведения.

Вообще стало трудно опровергать какие-то очевидные вещи после того, как в литературоведении появилось особое понятие текста, который рассматривается как нечто самодовлеющее и может толковаться в отрыве от авторского "я" с его мыслями и чувствами. По сути, открылась возможность ловить писателя на слове. И такое произошло однажды с Распутиным, когда на съезде депутатов СССР он произнёс фразу, из середины которой нашлись охотники вырвать слова: "...а может быть, России выйти из состава Союза?.." Эти слова ему дорого стоили. Даже четверть века спустя продолжает звучать в адрес писателя упрёк в призыве к развалу Союза. Никто из упрекавших почему-то не приводит ни предшествующего: "...я размышляю: а может быть...", ни вывода из размышлений: "А лучше всего вместе бы нам поправлять положение. Для этого сейчас, кажется, есть все возможности". В искажении смысла высказывания легко убедиться, если заглянуть в стенограмму выступления писателя от 1 июня 1989 года, размещённую в интернете.

Примерно то же произошло с повестью "Живи и помни", когда в перестроечное время появились статьи в защиту Андрея Гуськова с обвинением тоталитарного советского режима, беспощадного к человеку. Поскольку они продолжают появляться, придётся ещё раз ненадолго вернуться к этой повести*.

Оправдание Гуськова нельзя признать правомерным даже и по логике самодовлеющего текста. Приводить подробные доказательства не входит в задачу этой статьи, да они и не нужны, сошлюсь лишь на один эпизод.

...Начало войны. Пароход увозит призывников из родных мест. Проплывая мимо Атамановки, мужики начинают кричать, чтобы их услышали на берегу, и в ответ им тоже закричали, замахали платками. При виде этой сумятицы "он (Андрей) почему-то готов был уже не войну, а деревню обвинить в том, что он вынужден её покидать". В нём вызревает обещание, о котором помнил все годы. И "со взыгравшим недобрым упрямством он вслух пообещал: "Врёте: выживу. Рано хороните... Уж с вами-то ни черта не сделается – увидите"**. Это "выживу" и толкнуло его к дезертирству.

Распутин, разумеется, не рисовал характер односторонне. Не заведомый предатель, Гуськов "воевал, как все", "поперёд других не лез, но и за чужие спины тоже не прятался", то перебарывал страх, то поддавался страху – особенно когда "ясно начал проглядывать конец войны" и хотелось уцелеть. Просто той меры самоотдачи, которая была отпущена ему, оказалось мало, потребовалась очень высокая – сверх меры. И он не выдержал последнего испытания, не дотерпел, не сдюжил. И стал бедой для родных, и не догадался, что поставил Настёну в безвыходное положение. Потому что для неё было важнее не "выжить", а "стыдно жить". И это главный конфликт "Живи и помни", и лежит он в сфере духовной. Переводить его в социально-политическую, которая есть вторичная, зависимая от духа сфера, означает ограничивать масштаб повести, не учитывать её главного смысла.

В сущности, здесь могло и не быть трагедии. Если бы Андрей Гуськов не сломался после совершения побега, а был последователен в своём выборе. Ты хотел выжить – выживай, прячься и дальше, уходи туда, где тебя не знают, меняй имя, выбирай момент, когда объявиться или не объявиться никогда, и т. д. Побереги Настёну, старых больных родителей. Настёна не выдаст, даже скроет твоё отцовство.

---

* См. об этом: Фокин П. Е. Наследник по прямой. Достоевский и Распутин // Валентин Распутин. Правда памяти: материалы Всероссийской конференции, посвящённой 80-летию со дня рождения В. Г. Распутина. Иркутск, 2018. С. 139–151.

** Распутин В. Живи и помни: Повесть, рассказы. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1978. С. 18-19.

Исчезнуть – был бы, по крайней мере, мужской поступок, и он вызвал бы больше сочувствия к оступившемуся, но заплатившему сполна за свою минутную слабость человеку. Гуськов такого выхода не рассматривал*.

Разумеется, в этом случае была бы преуменьшена глубина огромного бедствия страны не только в связи с войной, но и в связи с качественными потерями, понесёнными мужской половиной народа в почти беспрерывных катастрофах всей первой половины XX века. Потому у Распутина – героини, а не герои: его знаменитые старухи (все вдовы!), а также Настёна, Галя Позднякова, Тамара Ивановна, мужья которых сравнения с жёнами не выдерживают.

Второй пример снижения победного духа – это широко известное мнение всенародно любимого писателя В. П. Астафьева о том, что Ленинград надо было сдать врагу, чтобы сохранить жизнь блокадников.

Мы дожили до того, что уже можно ставить вопрос: а не надо ли было сдаться на милость Гитлеру в самом начале его нападения? Интересно, как бы разделились голоса? И где бы мы были при таком варианте? Не исключено, что до сих пор бы воевали за освобождение от колониального рабства. Да и негоже нам, ныне живущим, говорить, что погибшие погибли напрасно. Они ведь и за нас погибли...

Так же странно выглядит название последнего романа Астафьева "Прокляты и убиты" (1994), которое родилось из фразы, приведённой в тексте: "Все, кто сеет на земле смуту, войны и братоубийство, Богом прокляты и убиты". К кому относится проклятие, если речь идёт о войне оборонительной, развязанной иноземными захватчиками? Догадок было высказано немало. Из самого же текста ясно: цена Победы назначена писателем самая высокая. В неё включено всё: помимо ошибок командования и бесчеловечного отношения к солдату – все потрясения начала XX века: революция 1917 года, гражданская война, раскулачивание, отпадение от православной веры. Они извратили душу человека, сделали её греховной. За что и настигла расплата – посланная свыше новая жестокая война. Список грехов почему-то не был продолжен в другую, дореволюционную сторону, где были и войны, и Смутное время, и церковный раскол – тоже надсада для души...

Критики отмечали большую долю натурализма в картинах этого романа. Действительно, тяжёлого так много, что невозможно представить, как люди, пройдя такое, могли, были способны радоваться победе! А ведь радовались! Именно эта радость, этот дух Победы и дал народу силы залечивать раны, восстанавливать разрушенное.

Касаюсь "Проклятых и убитых" не в осуждение писателя-воина, защищавшего страну на поле боя и принявшего на себя все тяготы войны. Ему возразил в письме его друг, тоже писатель-воин, Е. И. Носов**. Но мы-то сегодня уже осознаём, что война была многоликой и много правд в ней слилось в одну: правда солдатская и правда командующих фронтами, правда лейтенантская и правда военных корреспондентов. И были разные взгляды у очевидцев сражений и тех, кто изо дня в день шёл под пулями.

Примеры приведены лишь как показатели вытеснения победного духа духом сомнений, колебаний – так называемой рефлексией.

* * *

Надо заметить, мы как-то трудно осмысливаем реальность, долго вырабатываем стратегию существования страны в мирное время. Зато поиск правды в прошлом, нравственные оценки правления вождей и царей стали в некотором роде навязчивой национальной идеей. Мы спорим о Сталине,

---

* Подобный этому поворот в сюжете видел В. Астафьев в письме В. Распутину: "Твоей Настёне с ребёнком, да вместе с мужем затеряться было в любом леспромхозе – тьфу! раз плюнуть". Но это была бы уже повесть не про Настёну, которая, по словам автора, не послушалась его и нарушила его замысел, когда покончить с собой предстояло Гуськову, а не ей. См.: Астафьев В. П., Распутин В. Г. Просто письма... М., 2018. С. 2.

** См. об этом: Астафьев В. П. Собр. соч.: В 15 тт. – Т. 15: Письма 1990–1997 гг. – Красноярск, 1997–1998. С. 148.

Николае II, Петре I, Иване Грозном, реформаторе Столыпине, якобы извлекая опыт. Но результатов не видно. Вместо того чтобы с уважением отнестись к истории, учесть провалы, но и не забывать о победах. Нельзя опираться на бесконечное перебирание горестных страниц – это не даёт духовной силы для свершений.

При всём при том мировая политика развивается по своей логике. Давно уже ясно: государство можно разрушить без применения оружия – перестроить сознание населения методом информационных диверсий извне, если им нет противостояния изнутри. И вот новое вероломство, такое же неожиданное, как внезапное нападение в 1941 году, как отказ Европы и США принять новую Россию в 1990-е годы, – массированный пересмотр истории Второй мировой войны и сведение на нет заслуг СССР в победе над фашизмом. Наш опыт переживания, осмысления войны как противоестественного явления отброшен прочь западными политическими элитами, поскольку не совпадает с их интересами. Включая даже страны-союзницы, выступившие в войне на стороне СССР.

Мы потеряли победный дух, потеряли свой миф о могучей державе, о граде Китеже, Беловодье, Святой Руси, миф о социализме и коммунизме как единственном выборе человечества.

Каждый народ пишет свой миф. И это не сказка, а сокровенное представление народа о себе, утверждение своей значимости среди других народов. На наших глазах создаёт новый миф Украина – о том, что древние укры внесли в историю человечества небывалый вклад. Можно смеяться, но в этом нация черпает силы, чтобы преодолевать трудности на своём пути. И победный дух будет востребован до тех пор, пока существуют границы между странами. А они в ближайшее время вряд ли будут отменены.

Чем ответил народ России на попытку отнять у него Великую Победу?

Ответил Бессмертным полком. Он зародился в заснеженной сибирской глубинке, в городе Томске в 2012 году. Поклон Томску!

Россия подняла над собой лики предков, победителей и жертв вместе, как щит, как последний заслон от вновь грянувшей напасти. Хотелось бы надеяться, что это стихийное и мощное движение не выродится в формальность или, чего доброго, в шоу, уж лучше пусть уйдёт в те глубины народного духа, из каких и пришло.

* * *

XXI век принёс постсоветской России новые тревоги. Конкуренция между странами не ослабевает, несмотря на перемены в общественно-государственных устройствах. В таких условиях необходим духовный подъём народа, опора на лучшее, что можно извлечь из прошлого.

Русская литература сказала своё слово о Великой Отечественной войне. Книги выдающихся писателей второй половины XX века стали классикой, потому что в них сохраняется духовно-исторический опыт народа, выдержавшего небывалые испытания.

Но и суворовскую “Науку побеждать” забывать не следует.

Надо только прибавить к науке побеждать на поле боя науку побеждать на поле мирного труда. Выработать её сообща и воплощать в жизнь. И тогда литература будущего непременно запечатлеет путь восхождения на новый холм Славы необыкновенной и удивительной страны России! Пафос уместен.

ВАЛЕНТИНА ЕФИМОВСКАЯ

ПОВЕСТЬ – БЫЛЬ, ДА В НЕЙ НАМЁК...

О повести Игоря Изборцева "Чудеса болотные"

Новую повесть известного псковского прозаика Игоря Изборцева "Чудеса болотные", имеющую сказочное название, с долей сомнения можно отнести к заявленному автором жанру повести. Нарушение жанровой классификации есть допустимая реалия современной литературы, и сама повесть обладает очевидной актуальностью, хотя время действия – 70-е годы прошлого века. Сегодня их называют "золотыми", и многие читатели, как и сам автор, помнят эти безмятежные, но не без тягот годы, выпавшие на их детство и юность. По замыслу писателя – это произведение для детей, которые, конечно же, такой давней истории не знают, ещё и поэтому примут его как сказку о далёком волшебном времени и мире, где не было зловещих компьютерных игр, но жили добрые волшебники и случались настоящие, сбывающиеся на всю жизнь чудеса. Время событий в повести важно и многое определяет. Но, кажется, и для взрослых постарался автор, помня заповедь Спасителя – *будьте как дети* (Мф. 18: 3), "*ибо таковых есть Царствие Божие*" (Мк. 10: 14). Как говорит священник Иоанн Федотов: "*Вера для детей естественна, она является опытной частью их жизни. Наоборот, им несвойственны сомнения, колебания, лукавые мудрования и самооправдания. Их вера безотчётная и при этом искренняя... Дети верят в слова взрослых, для них эти слова то же, что и дела их... Вера детей во взрослых, вера последних в детей ведут к глубокой, искренней и естественной вере в Бога*"*. Именно в качестве "*будьте как дети*" взрослому человеку становятся более понятны закономерности бытия и особенности мира собственных детей. Но что бы ни было задумано автором, можно отметить, что отражение нереального события в "реальности идеального" является особенностью этого чудесного по содержанию, образного по слогу, доброго по идее произведения.

Сложно представить, что в век науки, во времена тотальной цифровизации и всеобщей идентификации есть потребность в чудесах, в метафизике. Но она очевидна и, вероятно, объяснима потерей достоверного критерия оценки человеческого существования и человеческих дел. Раньше такой абсолютный критерий был, но прежняя его формулировка – "приближение к Богу или удаление от Него" – сегодня у большинства наших современников вызовет непонимание или улыбку. Начало повести тоже вызывает улыбку и недоверие к реальности происходящего, что постепенно рассеивается, и все

* Будьте как дети. https://pravoslavie.ru/110476.html (дата обращения 18.06.19).

необычные коллизии воспринимаются, как возможные. Писатель заставляет проникнуться доверием к героям его повести, полюбить их и понять происходящее через сопереживание.

Сюжет не сложен: восьмилетний мальчик Мишаня, проживающий с измученной скудной жизнью и тяжёлой работой матерью в бедном рабочем городском районе на Псковщине, конечно, как и любой его ровесник, мечтает о приключениях, которые, как, например, кино, мороженое, паровозы в его простой жизни, можно назвать чудесами. Именно это слово вынесено в название повести, хотя возвышенная семантическая тональность этого глубокого понятия резко снижена плоскостным определением "болотные". Получается своеобразный смысловой крест. Но это, действительно, "повесть" об обитателях "Болота", как в первой строке поясняет автор, "*Восточную часть Завокзалья сыздавна называли Болотом. Долгое время эта территория от Паровозного проезда до Морозовской ветки, подпёртая с юга переулком Машиниста, была пуста. Да и как обживёшься на мхах да камышах?*" Но русский человек не только обживается, но доверяет и жизнь свою, и сердце родной земле, какая бы убогая и зыбкая она ни была. Таков и главный герой повести – мальчик Мишаня, Михаил Коробов. Даже при встрече в тупичке Бригадного переулка с волшебником Макаром Ивановичем Афанасьевым-Никитиным мальчик с достоинством старожила, наследника своей земли, в которой покоится его отец, бывший фронтовик, не суетится, не жадничает, не просит у волшебника ни дальних странствий, ни перемены родины, ни лёгкой жизни. Его простые просьбы достойны и благи для совершенствования его характера: книги, расширяющие исторические горизонты рассказы, совершение добрых дел, даже скворечник, чудесным образом выросший на грядке, – всё искренне радует и обогащает неизбалованного мальчишку. Во все эти чудеса Мишаня верит, воспринимает их как реальность, как закономерный дар. И они, действительно, легко даются именно ему, облечённому не понятной ещё маленькому человеку миссией – сбережения русскости или, по-научному, русской ментальности, или философски – сотворения личности.

А в повести об этом рассказывается так:

"*Макар Иванович, склонив голову к плечу, внимательно посмотрел на Мишаню.*

– Нет, так не годится! – сказал он тоном директора школы. – Никакой стрельбы по галкам! Ты вот по гусю своему стал бы стрелять? (Мишаня отрицательно помотал головой). То-то. А по галке что ж? Чем же она хуже твоего гуся? Мы лучше вот что сделаем. Тут на грядке ещё есть место, посадим в неё твою рогатку и посмотрим, что назавтра вырастет? Идёт?

Мишаня округлил глаза, сделал губы трубочкой и пожал плечами. На призывный жест Макара Ивановича он отдал ему рогатку и смотрел, как тот откапывает ямку и укладывает в неё его личное оружие. Потом обильно поливает из лейки".

Назавтра на этом месте выросло кривое дерево саксаул, конечно, по-хорошему волшебное, а через несколько дней произошло дальнейшее его преображение.

"*– Сейчас посмотрим, – Макар Иванович склонился над корифеем джунгарских степей и туранских пустынь. – Так, всё понятно, здесь вырос птичий домик, сиречь скворечник, мал он, правда, ещё. Ты, Мишаня, его сорви и прикопай где-нибудь в укромном уголке вашего огорода. Пускай пустит корни. Глядишь, через недельку-другую он и поднимется в нужный рост. А там – повесите его с дедом Пахомом на кривую яблоню, вот будет радость для пернатых! Но пойдём же собирать урожай с чудо-дерева. Сколько раз это делал, а всегда волнуюсь...*"

Радость – одна из основных мелодий повести. Радостны взаимоотношения волшебника и мальчика, узнающего от своего нового друга о всеохватном, проникающем в нынешний день мире минувшего, о прошлом страны и всей земли. Через чудесные образы и волшебные превращения взрослый друг показывает мальчику нравственные основы бытия, даёт представление о законах поведения в человеческом обществе, воспитывает в нём интерес к истории. И это необходимо, так как глубина русской исторической памяти прервана множественными нашими убийственными революциями; сегодня до неузнаваемости искажены многие нравственные понятия, инвертированы знаки оценок поступков. Поэтому автор использует приём перевода исконных

русских заветов и исторических законов на доступный ребёнку язык чудес, прибегая для этого к изменению композиции и стиля художественного текста. В одном пространстве произведения талантом писателя свободно сосуществуют символ и аллегория, назидательные эпиграфы к каждой главе и волшебные образы, выдумка и быль, повесть и сказка.

Ассоциативно упоминание фильма 60-х годов, который мечтает посмотреть Мишаня, – это фильм-сказка "Три золотых волоска Деда Всеведа", созданный чешскими авторами во времена единства и благоденствия всех стран соцлагеря, дававшего уверенность в завтрашнем дне и неизбежной победе добра над злом. Фильм рассказывает о том, как прекрасный юноша Плавачек побеждает злого короля с помощью добрых дел, любви и трёх золотых волосков волшебника Деда Всеведа. Автор повести с помощью сказочных символов выстраивает алгоритм оценки реальных человеческих поступков, определяет количество и качество в них добра – не заданного, а искреннего, которое делается по необходимости души. Именно такой нерассудочный, сердечный, "от избытка любви" принцип является признаком русского самосознания, из которого русский человек был на время изгнан и в которое ему необходимо вернуться именно сейчас, когда под влиянием сторонних негативных воздействий незаметно происходит дерусификация нашего народа.

"На протяжении всей истории развития русского самосознания в качестве основного сохраняется убеждение в том, что *идея вечна и представляет особую ценность, из неё нельзя исходить, в неё следует входить*. На этом утверждении основан русский "реализм", который и стал *русской формой философствования вообще*"* (выделено мной. – **Е. В.**). Этим выводом учёных можно оправдать и объяснить смешение жанров произведения Игоря Изборцева, вводящего сбитого с нравственных позиций современного читателя в реально существующий мир добра, поэтому писатель называет своё произведение повестью. Добро – не сказка, оно реально и действенно, но убедить современного читателя в его объективности и всепобедимости сегодня можно только сказочными образами. Однако у сказки свои особенности, свои правила. Как говорил В. Г. Белинский, сказочник "...не только не гонялся за правдоподобием и естественностью, но ещё как будто поставлял себе за непременную обязанность умышленно нарушать и искажать их до бессмыслицы". В произведении Игоря Изборцева, на первый взгляд, правдоподобия гораздо меньше, чем немыслимых искажений действительности, как, например, урожай с чудо-дерева, на котором вырастают (материализуются) потерянные людьми или необходимые им вещи. С точки зрения здравого смысла, всё это абсолютно не понятно, так же абсурдны на первый взгляд и пояснения волшебника, собирающего эти "плоды" в большую коробку.

"*Соберём в неё всё, что уродилось, – пояснил он и, не откладывая, начал тут же аккуратно снимать с чудо-дерева "плоды".*

– С этим ясно, – Макар Иванович вслух комментировал ход уборочной страды. – А это что? Чудны дела Твои, Господи, думал, уж никогда не найдётся. Так, это в депо, это в милицию. А это куда? Ясно! Возьми! – Макар Иванович протянул мальчику спичечный коробок. – Здесь засушенный коллекционный жук-олень, которого твой школьный дружок потерял в Летнем саду, когда гулял там с бабушкой. Передай Серёге с пламенным приветом!

– А Серёга говорил, что его рогача забрали в зоологический музей как ценный экспонат, – с недоумением пожал плечами Мишаня.

– Это, наверное, другого рогача забрали, а этот был утерян, аккурат у качелей-лодочек. Так, идём дальше, утюг отправим тёте Клаве, это ей за то, что она плюнула на сапог фашистскому обер-фельдфебелю Герману Шланге. А трубка и табак – деду Пахому, отличился старик при ликвидации левоэсеровского мятежа в Москве в восемнадцатом году. Лично Ульянов-Ленин руководил! – Макар Иванович потряс перед Мишаниным носом указательным пальцем. – Лично! А тебе, товарищ Мишаня, октябрятское поручение. Этот кошелёк отнесёшь в паровозное депо, отдашь бригадиру ремонтников Поликарпу Ефимовичу".

Непонятен процесс появления этого "урожая", но реальны добрые "плоды" чудо-дерева, имеющие не только вещественный облик, но и личностное,

---

* Колесов В. В., Пименова М. В. Языковые основы русской ментальности. М., Наука. 2017. – С. 23-24

человеческое содержание, определяющееся мерой душевного добра возделывателей этой нивы. Но если есть добро, значит, есть и зло. Писатель не сопоставляет добро со злом, не показывает их борьбу, но, как принято в русской традиции, исследует количество добродетели в жизни, подтверждает известный философский тезис, что зло укрепляется и разрастается при понижении степеней блага. По мысли древнегреческого философа Платона, зло вовсе не реально существующее явление, а простое отсутствие добра. Это отсутствие добра у взрослых свидетелей дружбы Мишани с волшебником оказалось для неё роковым.

Макар Иванович невероятным способом решил исполнить просьбу своего маленького друга, мечтающего иметь паровозик. От широты великорусской души он не захотел делать копию, но умалил до величины детской игрушки настоящий, стоящий в депо паровоз с номером ОР-237-85, так что даже академик Куликовский, приглашённый в качестве консультанта для идентификации необычного макета, отверг категорию "игрушки":

"*– Игрушка? – переспросил Куликовский. – А вы знаете, что внутри этой игрушки висела курточка машиниста, а в её кармане лежал паспорт, выданный на фамилию гражданина Кузякина, а также деньги? И всё это, уменьшенное в тридцать тысяч раз? А хотите, расскажу про иголку, которая была заколота в воротник? Про катушку ниток? Про анальгин и бутылочку йода в аптечке? Видели бы вы эти игрушки! Я имею в виду – в электронный микроскоп. А вы говорите! Да тут фундаментальная наука в тартарары летит! Вся таблица Менделеева! Вы представляете структуру материи артефакта? Из каких атомов он состоит? Да это вообще нечто не из нашей Вселенной, не имеющее отношения к нашему миру!*"

Многолюдное расследование было назначено по факту хищения паровоза и сопутствующих невероятных происшествий. Никто не мог понять, как "*маневровый паровоз сегодня пропал. И что самое интересное, никуда уехать он не мог, все пути движения были перекрыты подвижным составом. Но уехал!*" Взрослые, не верившие своим рациональным умом в то, что любовь может воскресить Спящую Красавицу, что может явиться в гости к Дону Гуану Каменный гость, не поверили и тому, как мог умалиться до размеров детской ладошки большой реальный паровоз, оставаясь настоящим. Не пытаясь осознать явление, не проникнув в суть происходящего, не допустив, что чудо может быть явлено через вещь, не осознавая, что человек, как говорил Н. Бердяев, не объясним только из природного мира, они дружно попытались исправить "ошибку", ввели жизнь в привычную норму и разрушили добрую сказку. Волшебник вынужден был покинуть "Болото", его обитатели остались без благодатного, хоть и кривого чудо-дерева, но в душу Михаила заронились зёрна добра, имеющего не сказочную, но реальную, божественную природу.

О том, кто такой был Макар Иванович, можно только догадываться. Как говорит автор повести: "*Я оставляю этот вопрос открытым, пусть читатель соображает сам. Быть может, ангел небесный встречается с ангелом земным? И первый, поражённый непосредственностью и чистотой второго, идёт несколько дальше того, что ему дозволено? Если бы то, что происходило между ними, не разомкнулось на внешний мир, мир взрослых, то ничего бы собственно и не произошло, оставаясь их маленькой тайной. Пропавший паровоз, к примеру, тихо вернулся бы на своё место*". Но такого благополучного финала быть не могло, дружба не осталась тайной, и само "размыкание" необходимо было автору не только для "правды жизни", но и для того, чтобы детально показать мир обитателей "Болота", ярко проявившийся в соприкосновении с невиданным, с небываемым. В многослойной повести много полноценно действующих и просто названных лиц: это и таинственный дед Пахом, оказавшийся национальным героем, и хитроватые "болотные" пьяницы, и отважные стражи порядка, и воспитанные на военной героике мальчишки, и гусь Мартин, и щенок Булька, и многие другие зверюшки и птицы. В общем, писатель изобразил с той или иной долей прорисовки большой живой мир маленькой окраины. Как известно, мир есть совокупность, цельность, и в бедном рабочем городском районе явление волшебства стало своеобразной центростремительной силой, заставившей людей задуматься над реальностью невиданного, сплотиться в поиске смысла случившегося, поднять глаза к небу, посмотреть "*на облака, которые, как вражеские танки, чёрными тенями наползали на Завокзалье*". Но более всех своей детской

верой утвердился в существовании чуда Мишаня Коробов. Не остаётся сомнений, что со временем Михаил ещё более укрепится в вере, что смело пронесёт свою добрую сказку-быль по жизни. Ведь на разумное предупреждение участкового Брагина спрятаться от начинающейся грозы он, не сомневаясь, отвечает:

"– Сам прячься! Солдаты не прячутся!

Вдали тревожно загудел паровоз. В этот же миг небесная сфера треснула и, ослепив мгновенной вспышкой огня, громыхнула из всех калибров, так что всё вокруг зашаталось и затряслось". Но Мишаня, представляя себя воином, защитником своей земли и своих земляков, не обращая внимания на падающий с неба дождь, на *воображаемом* коне поскакал в огород...

Так просто в повести-сказке Игоря Изборцева выявляются сложные логосы загадочной русской ментальности, раскрывающиеся в правде духовной реальности и в чудесных сказочных смыслах, помогающих русским людям выдержать испытания и "социальным строем", и вражеским нашествием. Игорь Изборцев восстанавливает посредством своей сказочной повести воспитательную функцию литературы, возвращает из забвения традиционные культурные навыки, формирующие русский склад ума, что сегодня, конечно, необходимо детям, но в большей степени – взрослым.